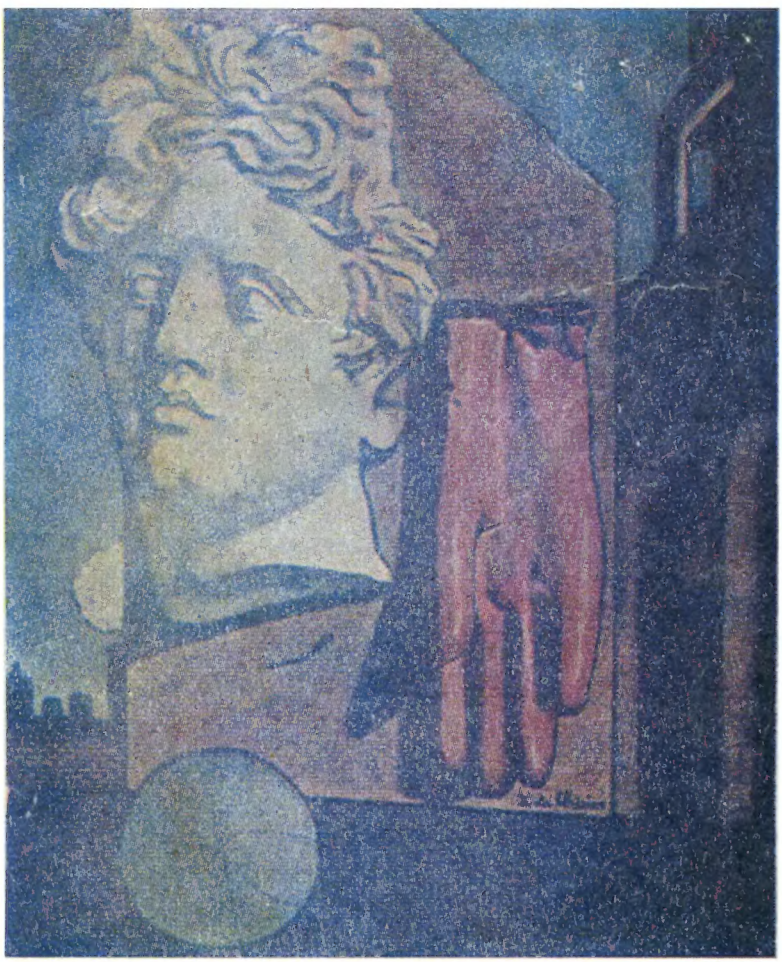
ISSN 0130–6545

7. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Тайна и меланхолия улицы

На 1-й странице обложки — Песнь любви

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника Джорджо Де Кирико

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 июль 1988

Содержание

Молодые поэты Греции

ЯННИС ПАТИЛИС. МИХАЛИС ГАНАС. ГЕОРГОС МАРКОПУЛОС. ЯННИС ИФАНДИС *(Вступление и перевод с греческого С. Ильинской)* 3

ДЭШИЛ ХЭММЕТ — Две повести *(Перевод с английского В. Голышева. Послесловие Сергея Белова)* 12

Рассказы канадских писателей

СИНКЛЕР РОСС. УИЛЬЯМ ПАТРИК КИНСЕЛЛА *(Перевод с английского М. Лорие, Оксаны Кириченко)* 71

Танка нового времени

ЁСАНО АКИКО. ВАКАЯМА БОКУСУЙ *(Вступление и перевод с японского А. Долина)* 90

В. С. КХАНДЕКАР — Король Яяти *(Роман. Окончание. Перевод с хинди М. Салганик)* 95

Антирубрика

СЬЮ ТАУНСЕНД — Тяжкое отрочество Адриана Моула *(Фрагменты романа. Перевод с английского Юрия Зараховича)* 159

Публицистика

ЛАСЛО ДЮРКО — 1956 Предварительное исследование и прагматическое изложение событий *(Главы из книги. Перевод с венгерского и комментарий П. Бондаровского)* 187

ТОНИ ШУМАХЕР — Судейский свисток *(Фрагменты книги. Вступление и перевод с немецкого Павла Френкеля)* 213

Критика

Д. ЗАТОНСКИЙ — Нобелевская премия полвека спустя *(Штрихи к портрету Элиаса Канетти)* 220

Возвращаясь к напечатанному

В. ЛАКШИН — Воспоминание о Дёрде Лукаче 231

О романе Гюнтера де Бройна «Новое благоденствие»

ИРИНА РАКША — Красота первоначального замысла 236

П. ТОПЕР — Опыт первого прочтения романа 238

Из месяца в месяц 242

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1988

Молодые поэты Греции

■

Вступление и перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

В 1971 году, в период диктатуры «черных полковников» (1967—1974), критик Васос Варикас опубликовал статью, положившую начало многолетней дискуссии о «поколении 70-х». Название статьи указывало на главную черту молодых — «Поэтический конконформизм». Поколение, о котором шла речь, только-только выходило на литературную арену, оно едва успело заявить о себе первыми публикациями и сборниками, но в голосах молодых поэтов звучало открытое, дерзкое неприятие диктаторского режима и навязываемого им уклада жизни, и это сразу же привлекло благожелательное внимание критики и старших коллег по поэтическому цеху.

В общественной и культурной жизни страны назревали в это время подспудные перемены, решимость противостоять диктатуре. Клокотал вулкан студенческого движения — волнения на юридическом факультете Афинского университета (1972), восстание студентов Политехнического института (1973). От бойкота средств массовой информации деятели культуры переходили к активному действию — к антидиктаторским манифестам и изданиям, индивидуальным и коллективным. Естественно, что в этих условиях протест молодых поэтов получил широкий резонанс, вызвал сочувствие и поддержку.

В стихах молодых звучала непримиримость к насилию, всеобщему лицемерию, солдафонской демагогии. Острой критике подвергалась не только диктатура, но и культивируемое ею общество потребления с его девальвацией духовных ценностей. Эта тема скоро стала в поэзии молодых ведущей, и, разрабатывая ее, они принимали во внимание опыт современной западной литературы, в первую очередь — творчество американских «битников». Определенная преемственность мотивов и художественных средств не вызывает сомнений, однако мировосприятие греческих поэтов определяется конфликтами их собственной страны, поэтическая образность насыщена конкретными греческими реалиями, и нужно отметить, что в раскрытии новейших социальных и психологических примет времени уже после 1974 года (то есть после падения режима «черных полковников») творческая молодежь проявляет особую зоркость и прямоту.

Стихи их пронизывает вошедшая в плоть и кровь нетерпимость к любого рода демагогии и фальши (Я. Патилис. «Право на молчание»), стремление вновь и вновь находить подлинные «имена вещей» и воссоздавать их с максимальной достоверностью (Яннис Ифандис. «Тайна Потерянного Рая Поэтов»).

Экологические проблемы особенно остры в творчестве тех, кто родился и вырос в провинции (М. Ганас и Г. Маркопулос в нашей подборке). Художественный мир их поэзии насыщен образами «раненой» и поруганной человеком природы, заброшенного отчего дома, покинутых могил близких людей. Например, у М. Ганаса:

...Там где ранена горлица
родина стала чужбиной.

(«Без огня»)

Тема отчуждения от родной земли, взаимного отчуждения, некоммуникабельности волнует молодых поэтов чрезвычайно. Во многих стихотворениях Г. Маркопулоса отчетливо просматривается сюжет, воплощающий человеческую судьбу. Такова, например, его зарисовка «Встреча», этюд об одиночестве, о несостоявшейся попытке добиться даже самой малой радости. Вообще любовь у молодых поэтов— это желанное, но чаще всего недостижимое прибежище одинокой смятенной души (Г. Маркопулос. «Давайте поищем»; Яннис Патилис. «Костыли»), а сама человеческая судьба нередко рождает поэтический образ кораблекрушения (М. Ганас. «Кораблекрушение»).

Объектом горькой иронии нередко оказывается и лирический герой, даже само его занятие поэзией — вероятно, главным образом потому, что и оно не развязывает и не разрубает «гордиевых узлов», которые «встают комом» в горле (Я. Патилис. «Гордиевы узлы»).

Но очевидная неразрешенность серьезных конфликтов не вызывает у молодых настроений смирения и покорности, напротив, все острее в их стихах становится изобличение всех форм приспособления (М. Ганас. «Немые удары»), фразерства, близорукости, вялости, апатии — вплоть до гротеска, до хлесткой сатиры, как в стихотворении Я. Ифандиса «Слово пьяного крестьянина». Хотя жажда подлинного порой и замыкает поиск в сфере подсознания, сновидений, восточной символики (Я. Ифандис).

Критика судит их сейчас значительно строже— поэты поколения 70-х вступают в период творческой зрелости. Все более взыскательно пишут и говорят о себе и они сами. Испытание временем, испытание зрелостью дается нелегко, но в целом преодолевается успешно, наделяя поэзию новой глубиной и человечностью.

ЯННИС ПАТИЛИС

Дни 1973 года

Дни падают один за другим
бомбы сверхзвукового лайнера нашего века.
Разрываются на двадцать четыре отточенных ядовитых осколка
с грохотом шлепаются на улицы площади учреждения
сеют смерть и мы говорим
в два тридцать
сшиб мотоцикл
в десять утра
суд присяжных вынес приговор
в шесть двадцать
актовый зал приговор трибунала.
Дни падают как грибы смертоносные.
Разрываются бомбы.
Ядовитые газы — «ветер нашего обновления» —
рвутся наружу меж ребер дырявого дня.
Вслепую сбивают каждого встречного.
Падают дни.
Сбивают.

Гордиевы узлы

Из гордиевых узлов
иные развязываются
иные разрубаются
в большинстве же своем они
встают комом
у нас в горле.

Костыли

Я смогу говорил он я сумею!
В зубах он держал ее имя.
Если бы он его проглотил то умер бы.
Если бы потерял то расшибся бы вдребезги.
Я смогу говорил он
я сумею!
На весь мир грохотали
его костыли.

© Yannis Patilis, 1980

Безрассудна только любовь

В то время как зверь от жары спасался в горах
мы пили апельсиновый сок в летнем кинотеатре.
Поздно вечером ложились в постель.
Там ждали нас наши тела.
Когда они кончали мы выключали транзистор.
Ты только послушай что они говорят. Будто мы разойдемся.
В бесконечных конторах будем сновать с бумагами в руке.
Под конец заболеем. Но не умрем.
Будем жить больными до скончания света.

Бескрайняя пустыня

Неспособность цвести вот она наша жизнь.
Автобусы без номеров и указаний маршрута
груз человечий
затерявшийся в дороге.
Куда вы? Почему вы молчите?

Среди бескрайней пустыни
кто услышит нашу песню
наши шаги...
Кто вспомнит шаги друзей
что пропали без вести
в отливах дорожного перехода
на остановках...

Позавчера
мы подобрали на улице
бутылку от кока-колы. С запиской:
«...на перекрестке Фересихнон — Технилис
третий этаж... вот уже несколько лет
нет выхода... задыхаюсь...»
Мы бросили ее снова
нет выхода...

Ночь скорняка

Днем он трудится над соболем песцом и шакалом.
Ночью во сне его царит телевизор вечно включенный.
Вот его загоняют в угол теснят.
Одной рукой обнимает он девушку в другой револьвер.
Со всех сторон целятся телекамеры.
Над головой машет крыльями вертолет...

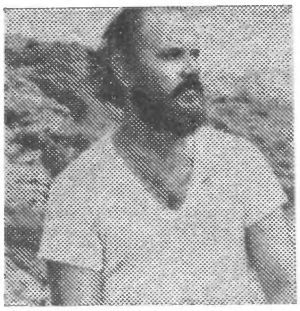
Только будильник может его спасти.

Катарсис

Сюда где сейчас мчатся машины
завтра придут пастухи.
По разрушенным стенам домов
вскарабкается дикий кустарник.
Будет ночь абсолютная тишина.
На небо вернутся звезды.

Право на молчание

нужно чтоб появилась здесь чья-то рука
выключила усилитель
заткнула глотку певице в парче
закопала поглубже в землю фальшивые песни
которые словно осколок бутылки
режут нам горло.



МИХАЛИС ГАНАС

Кораблекрушение

Дом старый падает штукатурка
можно пересчитать ребра стены.
Мать в доме
палец бога снаружи
того и гляди раздавит.
В какой бы угол ни сел
вещи поворачиваются глядят на тебя
как непоенные коровы.

За кухонными шкафами
есть другие шкафы
за ними другие
уходят в самую глубь стены
и старого холодильника.
Здесь баюкают свои истерзанные артритом руки
тетушки Мария и Лени...

Дом старый изведавший много дорог
вдруг обретает память и тонет.

Расплата

Только змея и знает
что такое
менять свою кожу
поэтому у нее много яда.

© Michalis Ganas, 1978, 1981

Без названия

Просыпаешься онемевшим.
Твой голос осел на сто сажень
всю ночь он тонул
размокал разбухал
и теперь не умещается в горле.

Утро свежее прямо из типографии
только дотронешься и уже перепачкан.

Немые удары

Это уже немало знать свои трудности
разложить свою душу
как замысловатый кроссворд
по вертикалям горизонталям
перескакивая через большие темные квадраты
спотыкаясь о забытых друзей.
Обычно настороженных
не расположенных к искренности
со следами немых ударов.
Спрашиваешь как же это случилось
один говорит
поскользнулся в ванной
другой говорит
поскользнулся на улице.
Видимо мир завален дынными корками.

Без огня

Вечные птицы
над холмами и высохшими смоковницами.
Одни только птицы да ручей скользящий по гальке
еще тратят всуе свои речения.

Выжженный известняк
ослепляет своей белизной
и доводит до обморока.

Птицы-целительницы
силятся пробудить ото сна
опаленные травы на склонах.
Там где ранена горлица
родина стала чужбиной.

Те что ушли
года через два через три
нагрянут как-нибудь летом:
чемоданы транзисторы магнитофоны
кларнеты без души без огня.

Основополагающий цвет

Раненый дрозд
прыгает с ветки на ветку.

Капает кровь
оставляет след на снегу
множится черное.

ГЕОРГОС МАРКОПУЛОС

Мой отец хотел построить дом

Мой отец потратил целую жизнь чтобы построить дом.
Все вечера по воскресеньям он проводил на кухне
не позволяя себе заглянуть в кофейню
полакомиться саадким.
Так было долгие годы.

Времена между тем настали лихие.
Нас с братом занесло далеко.
Там узнали мы о смерти отца.

Вероятно поэтому вечером я вглядываюсь в глубину
твоих глаз.
Может быть мне достанется кусочек тепла
которого не досталось ему.

Оркестр

По приморской улице где-то в провинции шествовал
местный оркестр.
Играл старинные марши. Мальчуган лет четырнадцати
в костюме музыканта несколько обветшавшем и в шляпе
с большими полями
играл на тромбоне и не заметил как дорога свернула.

Свернул и оркестр, а мальчик шагал себе прямо
с тромбоном и в шляпе с большими полями.

© Georgos Markopoulos, 1979

Встреча

Как жаль, однако, что спускается вечер и маленькая девочка уже не играет на пианино.

Костас Рицонис

На верхнем этаже в нашем доме
мальчик играет грустные серенады
до позднего вечера пока не стемнеет
и он не ложится спать.

Иногда в подъезде я сталкиваюсь с его матерью
и порываюсь заговорить с ней пожелать ее сыну
здоровья удачи что-нибудь в этом роде.
А вдруг она скажет:
приходите как-нибудь вечером скоротаем время
за чашечкой чая приходите заглядывайте.
Но куда тебе...
Даже платья приличного не купила
за столько лет
к тому же еще прихрамываешь
и куда ты потащишься сонной тетерей
в чужой дом к незнакомым людям.

Давайте поищем

Давайте поищем каплю любви
как бедняки ищут себе одеяла на ярмарках.

Покой это нечто не поддающееся выкупу
люди так одиноки я ж говорил тебе
как два черных грузовых судна
что пристали под вечер в провинциальном порту.

Мы тогда отдались любви безотчетно
а потом ты ушла как обычно тайком.
Густые сумерки растекались по улицам.

Где-то играла пластинка.
Голос падал и поднимался падал и вновь поднимался
как пьяный который не держится на ногах.

Мужчина кварталом выше
от которого говорят сбежала жена.
Дочь сумасшедшей.

Усталая песня упала наверно на пол
и разбилась точно ваза задетая вором.

Как мне снова написать тебе стихотворение.
Нужно найти слова позабытые
словно платье что ты тогда сбросила
в последнем классе гимназии и стала женщиной.

Нужно найти камни первобытные дикие.
А я не моряк чтоб искать их на берегу.
И к тому же я не разбираюсь в камнях.

Война

Кто сказал что война окончена.
Война продолжается еще и сегодня.
Десятки мертвых у тебя на дороге
когда ты возвращаешься домой на рассвете.
В час когда закрываются кинотеатры
в час когда закрываются рестораны
и мусорные мешки возвышаются у подъездов —
десятки мертвых на перекрестках
красивые парни упавшие навзничь
вещевые мешки и кители запорошенные пылью.

Ранний прохожий не наступи на них будь осторожен.

ЯННИС ИФАНДИС

Слова пьяного крестьянина

Детки буржуев
как легко впадаете вы в левачество
как легко увлекаетесь анархией
как легко припрятываете в себе
фашиста.
До чего же честная у вас жизнь детки буржуев
ни попов ни жандармов не поставляет ваше сословие
только интеллигенцию артистов ученых.
До чего вы прогрессивные детки буржуев.
До чего высокого класса бесчестие. Но ничего.
Я-то вас знаю. А ну-ка подите сюда
бедненькие
я вас по головке поглажу
а после такого дам вам пинка по заднице
сволочи!

Тайна Потерянного Рая Поэтов

Нужно
снова найти
имена
вещей.
Однако не звать их по имени
не ждать что они нас услышат
не ждать что послушаются.

© Yannis Ifantis, 1977, 1986

Предчувствие зимы

Предчувствие зимы влечет меня в глубинку
в ночь расшитую огнями и сказками.
Волки зовут меня в свое логово кабаны в дубовые рощи
в темную дрему зимы
в дрему капель дождя стучащих по крыше.
Предчувствие зимы влечет меня к корням моим в глубинку
туда где сытая медведица
— благополучно бога растерзав —
в своей тяжелой шубе в складках жира
невинность сна вкусить теперь желает.

Печка

С кем мне поговорить сегодня Печка
старушка жестяная бабушка уютная моя
Печь с дверцей в животе с задвижкой
с предплечьем дымовой трубы и кулаком
морщинистым вонзенным в стену. Печка
хоть сердце у тебя и жестяное да и в жилах
течет горючее я все же знаю
твоя прабабка — очага домашего богиня
душа твоя огонь и мне отрадно
смотреть как пляшут голубые струйки-ножки
возносят огненную наготу и разливают
тепло по телу моему одежде книгам
по этой комнате... о печка
мне дорого содружество твоей души здесь в этой келье
оно дает мне силы заполняет пустоту
и ты конечно это знаешь чувствуешь
хотя ни глаз ни носа ни ушей тебе не дали
но ведомо тебе не только это близкое
но и далекое... когда на крыше
ты выпускаешь из-под шляпы дым колечками
ты слышишь нюхаешь и видишь и доподлинно
тебе известна поступь мягкая дождя
и танец ангелов среди снежинок и загадка
тумана
в этом городе который заколдован
и превратился в обиталище дракона. Печка
старушка жестяная бабушка уютная моя
с предплечьем дымовой трубы и... Печка
я сердце поверну тебе на ноль
и буду слушать лежа в темноте
как затихает твой уютный шум
потрескивание робкое застенчивое
и погружаясь в сон душой очищусь.

■

ДЭШИЛ ХЭММЕТ

Две повести

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

Большой налет

Пэдди Мексиканца я нашел в шалмане Лароя.

Пэдди, симпатичный аферист, с виду — король Испании, оскалил в улыбке все свои крупные белые зубы, толкнул ко мне ногой стул и сказал сидевшей напротив девушке:

— Нелли, познакомься с самым благородным сычом в Сан-Франциско. Этот дядя сделает для тебя все на свете — лишь бы закатать тебя потом на пожизненное.— И, повернувшись ко мне, показал на девушку сигарой: — Нелли Уэйд, и ей ты ничего не воткнешь. Ей работать ни к чему, у ней отец — бутлегер.

Нелли: тоненькая девушка в голубом; кожа белая, глаза продолговатые, зеленые; короткие каштановые волосы. Ее хмурое лицо ожило и похорошело, когда она протянула мне через стул руку, и мы оба посмеялись над Пэдди.

— Пять лет? — спросила она.

— Шесть,— поправил я.

— Черт,— сказал Пэдди, ухмыляясь и подзывая официанта.— Когда же я обману хоть одного легавого?

До сих пор он обманывал всех — он ни разу не ночевал в тюрьме.

Я опять посмотрел на девушку. Шесть лет назад эта Анжела Грейс Кардиган раздела до нитки пятерых молодых людей в Филадельфии. Мы с Даном Мори поймали ее, но потерпевшие не захотели давать показания, и ее выпустили. Девчонке шел тогда двадцатый год, но она была уже ловкой мошенницей.

Посреди зала одна из артисток Лароя запела: «Скажи, чего ты хочешь, и я скажу, чего я дам». Пэдди долил джину в стаканы с имбирным ситро, принесенные официантом. Мы выпили, и я дал Пэдди клочок бумаги, где были написаны карандашом фамилия и адрес.

— Горячка Мейкер просил передать,— объяснил я.— Вчера его видел на Фолсомской даче. А это будто бы его мать, просил тебя заглянуть к ней — не нужно ли ей чего. Как я понимаю, это значит, что ты должен отдать ей его долю с последнего вашего дела.

— Ты меня обижаешь,— сказал Пэдди, пряча бумажку и снова извлекая из-под стола бутылку джина.

Я опрокинул второй стакан и подобрал уже ноги, налаживаясь домой. В это время с улицы вошли четверо новых посетителей. Узнав одного, я остался сидеть. Он был высок, строен и наряжен во все, что полагается иметь на себе хорошо одетому человеку. Остроглазый, остролицый, с тонкими, как лезвия, губами и остроконечными усиками — Бритва Бэнс. Я удивился: что он делает в пяти тысячах кило-

метров от своих нью-йоркских охотничьих угодий? Пока я дивился, я повернулся к нему затылком, сделав вид, будто слушаю певицу, которая пела теперь посетителям: «Стать бы мне бродягой». За ней, в углу, я заметил другую знакомую личность из другого города — Фарта Джима Хакера, круглого и румяного детройтского бандита, дважды приговоренного к смерти и дважды помилованного.

Когда я снова принял нормальную позу, Бритва Вэнс и трое его товарищей уже расположились за два стола от нас. Он сидел ко мне спиной. Я оглядел его соседей.

Напротив Вэнса сидел молодой великан, рыжий, голубоглазый, румяный, с красивым — на свирепый и грубый манер — лицом. Слева помещалась смуглая девушка с бегающими глазами, в понурой шляпке. Она беседовала с Вэнсом. Внимание рыжего гиганта было приковано к четвертой персоне. Она того заслуживала.

Она не была ни высокой, ни низкой, ни худой, ни пухлой. На ней была черная косоворотка с зеленой вышивкой и серебряными штучками. На спинке ее стула висело черное манто. Лет около двадцати. Глаза у нее были синие, рот алый, зубы белые, локоны, видневшиеся из-под черно-зелено-серебряной шляпки,— темно-каштановые; и был у нее носик. Словом, если не воспаляться из-за деталей, она была миленькая. Так я и сказал. Пэдди Мексиканец согласился: «Ничего»; а Анжела Грейс предложила мне подойти и сказать О'Лири, что она мне нравится.

— О'Лири — это большой? — спросил я, сползая на стуле так, чтобы протянуть ногу между Пэдди и Анжелой.— А кто его красивая подруга?

— Нэнси Риган, а та — Сильвия Янт.

— А принц, спиной к нам?

Под столом ботинок Пэдди вместо ее ноги ударил по моей.

— Не пинай меня, Пэдди,— взмолился я.— Больше не буду. Впрочем, хватит мне сидеть здесь, зарабатывать синяки. Домой пора.

Я попрощался и пошел к двери, держась к Бритве Вэнсу спиной. В дверях мне пришлось уступить дорогу двум новым гостям. Оба меня знали, но оба прошли индифферентно — Еврей Холмс (другой, не тот ветеран, который устроил налет в Мус-Джоу в веселые старые дни) и Денни Берк, Король Лягушачьего острова в Балтиморе. Славная парочка — обоим в голову не придет отнять чужую жизнь без гарантированной выручки и политического прикрытия.

Я направился к Керни-стрит, думая на ходу о том, что сегодня вечером притон Лароя полон воров и почему так много среди них выдающихся гастролеров. Тень в подъезде нарушила мою умственную работу. Тень сказала:

— Тсс!

Я остановился и стал разглядывать тень, пока не признал в ней Бино, кокаиниста-газетчика, который, случалось, подкармливал меня сведениями — когда верными, когда нет.

— Спать хочу,— проворчал я, размещаясь в подъезде рядом с Бино и кипой его газет,— а байку про зайку-мормона я слышал, так что, если ты насчет этого, скажи сразу, и я пошел.

— Не знаю я ни про каких мормонов,— возразил он.— Но кое-что я знаю.

— Ну?

— «Ну» — это легче всего сказать, а я хочу знать, что я с этого имею.

— Найди подъезд почище и вздремни,— посоветовал я.— Ты поправишься, когда проспишься.

— Нет! Послушайте, я правда знаю. Честно!

— Ну?

— Слушайте! — Он придвинулся, зашептал: — Готовится дело в Национальном банке Симена. Какое дело, не знаю, но это точно. Это

не брехня. Честно! Назвать никого не могу. Вы же знаете, я сказал бы, если знал. Честно. Дайте десятку. Ведь за такое не дорого. Сведения верные — честно.

— Верные — из понюшки.

— Не, не, не! Честно, я...

— Так какое будет дело?

— Я не знаю. Я слышал только, что Симена возьмут. Че...

— Где слышал?

Бино затряс головой. Я сунул ему в руку серебряный доллар.

— Понюхай еще и придумай остальное,— сказал я ему.— Получится интересно — добавлю до десятки.

Я шел к углу, ломая голову над рассказом Бино. Сам по себе он смахивал на то, чем, возможно, и был — басней, придуманной, чтобы выманить доллар у доверчивого легаша. Но он существовал не сам по себе. Притон Лароя — а в городе он был не один такой — ломился от публики, опасной для жизни и имущества. Тут стоило пораскинуть мозгами — тем более что компания, застраховавшая Национальный банк Симена, была клиентом сыскного агентства «Континентал».

За углом, пройдя десяток шагов по Керни-стрит, я остановился.

На улице, где я только что был, грохнуло два раза — выстрелы крупнокалиберного пистолета. Я повернул обратно. За углом я увидел на тротуаре кучку людей. Молодой армянин, пижонского вида малый лет девятнадцати-двадцати, прошел навстречу — лениво, руки в карманах, насвистывая: «У Сью разбито сердце».

Я присоединился к кучке — превратившейся уже в толпу — вокруг Бино. Бино был мертв — кровь из двух дыр в груди пачкала смявшиеся под ним газеты.

Я вернулся к Ларою и заглянул туда. Рыжего О'Лири, Бритвы Вэнса, Нэнси Риган, Сильвии Янт, Пэдди Мексиканца, Анжелы Грейс, Денни Берка, Еврея Холмса, Фарта Джима Хакера — никого из них не было.

Возвратившись к Бино, я постоял там, прислонясь к стене, и посмотрел, как приехала полиция, поспрашивала зевак, ничего не выяснила, свидетелей не нашла и отбыла, захватив с собой то, что осталось от газетчика.

Я пошел домой спать.

Утром я просидел час в архиве агентства, копаясь в папках и нашей картинной галерее. На Рыжего О'Лири, Денни Берка, Нэнси Риган и Сильвию Янт у нас ничего не было; насчет Пэдди Мексиканца — только догадки. Не было заведено дел и на Анжелу Грейс, Бритву Вэнса, Еврея Холмса и Джима Хакера, но их фотографии имелись. В десять — час открытия банка — я отправился в Национальный банк Симена, имея при себе эти снимки и рассказ Бино.

Сан-францисское отделение сыскного агентства «Континентал» помещается в конторском здании на Маркет-стрит. Национальный банк Симена занимает нижний этаж высокого серого дома на Монтгомери-стрит, в финансовом центре города. В другое время — поскольку даже семь кварталов пройти без нужды считаю излишним — я сел бы в трамвай. Но на Монтгомери-стрит была какая-то пробка, и я отправился пешком, по Гранд-авеню.

Через несколько кварталов я ощутил, что в том районе, куда я иду, не все ладно. Во-первых, звуки: шум, треск и как будто взрывы. У Сатер-стрит мне встретился человек, который держался обеими руками за лицо, со стоном пытаясь вправить вывихнутую челюсть. Щека у него была ободрана в кровь.

Я свернул на Сатер-стрит. Затор — до самой Монтгомери. Всюду бежали взволнованные люди без шляп. Взрывы слышались ближе. Машина, набитая полицейскими, обогнала меня на предельной скоро-

сти, какая была сейчас доступна. Проехала «скорая помощь», звеня колоколом, забирая по тротуару там, где движение было гуще. Керни-стрит я пересек рысью. По другой стороне бежали двое патрульных. У одного в руке пистолет. Выстрелы впереди слились в барабанную дробь.

Свернув на Монтгомери, я увидел впереди несколько зевак. Мостовая была запружена грузовиками, такси, открытыми машинами — брошенными. Следующий квартал, от Буш до Пайн-стрит, был — пекло в праздник.

Праздничное настроение было выше всего в середине квартала, где стояли через улицу Национальный банк Симена и трест-компания «Золотые ворота».

В следующие шесть часов у меня было больше дел, чем у блохи на пуделе.

К концу дня я прервал охоту и пошел в агентство потолковать со Стариком. Он уютно сидел в кресле, смотрел в окно и постукивал по столу своим неизменным желтым карандашом.

Этот высокий дородный человек на восьмом десятке, с белыми усами, младенчески-розовым лицом, кроткими голубыми глазами, в очках без оправы — начальник мой, и душевности в нем — как в веревке палача. Пятьдесят лет сыска в «Континентале» высосали из него все, кроме мозгов и этой улыбчатой вежливой кожуры, всегда одинаковой — плохо ли идут дела, хорошо ли — и одинаково ничего не значащей в обоих случаях. Мы, подчиненные, гордились его хладнокровием. Мы хвастались, что он может плеваться сосульками в июле, и между собой звали его Понтием Пилатом — за вежливую улыбку, с которой он посылал нас на убийственные задания.

Когда я вошел, он отвернулся от окна, кивнул мне на кресло и разгладил карандашом усы. Вечерние газеты на его столе на все голоса заливались об ограблении Национального банка и компании «Золотые ворота».

— Какова обстановка? — спросил он, как спрашивают о погоде.

— Обстановка — люкс,— сказал я.— Полтораста воров вышли на операцию — если таковая была. Сотню я видел сам — если это не сон, и многих не видел — рассаженных там, откуда можно выскочить и укусить, когда понадобятся свежие зубы. И они кусали. Они устроили полицейским засаду и дали им прикурить — не один раз. На банки напали ровно в десять, захватили весь квартал, благоразумных выгнали, остальных уложили. Сама выемка — пара пустяков для банды такого размера. По двадцать — тридцать человек на банк, пока остальные держали улицу. Всех дел — завернуть добычу да отвезти домой.

Сейчас там идет собрание разъяренных бизнесменов: акционеры встали на дыбы и требуют голову начальника полиции. Полиция чудес не творила, это факт, но ни одна полиция не справится с работой таких масштабов — как бы хорошо она о себе ни думала. Все длилось меньше двадцати минут. Полтораста, скажем, бандитов, вооруженных до зубов, и каждый их шаг расписан до сантиметра. Где вы возьмете столько полицейских, как оцените обстановку, спланируете бой и развернете его в такое короткое время? Легко сказать, что полиция должна заглядывать вперед, быть готовой к любой неожиданности,— но те же умники, которые кричат сейчас «Подлость!», первыми заверещат «Грабеж!», если к их налогам накинут цент-другой на покупку лишних полисменов и снаряжения.

Тем не менее полиция осрамилась, это ясно,— и не один мясистый загривок ляжет под топор. Броневики ничего не дали, игра гранатами закончилась один-один, поскольку бандиты тоже умели в нее играть. Но главным позором были полицейские пулеметы. Банкиры и маклеры говорят, что было вредительство. Нарочно их испорти-

ли или просто хранили небрежно — бог их знает, но работала только одна из этих спринцовок и то неважно.

Отвал был по Монтомери и Колумбус-стрит. На Колумбус процессия растаяла — по несколько машин в переулок. Между Вашингтон и Джексон-стрит полицейские попали в засаду, и пока они пробивались, машины с бандитами успели рассеяться по всему городу. Многие из них уже найдены — пустыми.

Полного отчета еще нет, но пока что картина складывается такая. Сорвано бог знает сколько миллионов — без сомнения, самая большая добыча, захваченная гражданским оружием. Шестнадцать полицейских убито и втрое больше ранено. Двенадцать посторонних зрителей, банковских служащих и так далее погибли и примерно стольким же сильно досталось. Тяжело ранены два бандита и пять неизвестных — возможно, воры, возможно, зрители, подошедшие слишком близко. Налетчики потеряли семь человек убитыми и тридцать один задержан — большей частью подранки.

Среди убитых — Пузырь Кларк. Помните его? Это он три или четыре года назад сбежал, отстреливаясь, из зала суда в Де-Мойне. Так вот, в кармане у него мы нашли листок: карту Монгомери-стрит от Пайн до Буш — место ограбления. На обороте карты напечатаны точные предписания, что ему делать и когда. Крестиком на карте показано место, где он должен поставить машину, на которой приедет со своими семью людьми; кружком — где он должен с ними стоять, следя за ходом событий в общем и за окнами и крышами на другой стороне — в частности. Цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на карте обозначены подъезды, лестницы, ниши, которые должны служить укрытием, если придется вести перестрелку с этими окнами и крышами. Кларк не должен обращать внимание на Буш-стрит, но если полиция нападает со стороны Пайн-стрит, он бросает своих людей туда и расставляет их в точках a, b, c, d, e, f, g, h (его тело найдено в точке a). В течение налета, каждые пять минут, он посылает человека к машине, которая стоит на месте, отмеченном звездочкой,— за новыми распоряжениями, если таковые будут. Он должен сказать своим людям, что, если его подстрелят, один из них докладывает об этом штабной машине и к ним направляют нового начальника. Когда дадут сигнал уходить, он должен послать одного человека за машиной, на которой они прибыли. Если машина исправна, она едет к ним, не обгоняя впереди идущей. Если она не заводится, человек идет к штабной за указаниями, где достать новую. Тут они, видимо, рассчитывали на чужие машины, оставленные на улице. Дожидаясь транспорта, Кларк со своими людьми поливает свинцом каждую цель в его секторе, и ни один из них не лезет в машину, пока она с ними не поравняется. Затем они едут по Монтомери, по Колумбус и — испаряются.

— Понятно? — спросил я.— Полтораста налетчиков разбиты на отряды — с командирами, картами, схемами, где показано, что делать каждому: за каким пожарным краном присесть, на какой кирпич поставить ногу, куда плюнуть — все, кроме фамилии и адреса полицейского, которого надо свалить. Невелика беда, что Бино не рассказал мне подробностей — я все равно бы счел их бредом наркомана.

— Очень интересно,— произнес Старик с вежливой улыбкой.

— Других расписаний, кроме Кларкова, мы не нашли. Я видел несколько друзей среди убитых и пойманных, и полиция еще пытается опознать остальных. Часть из них — местные дарования, но больше, кажется, привозного товара. Дейтройт, Чи, Нью-Йорк, Сент-Луис, Денвер, Портленд, Л. А., Филадельфия, Балтимор — все прислали делегатов. Как только полиция покончит с опознанием, я составлю список.

Из тех, кого не поймали, самая важная птица, по-моему,— Вэнс. Он был в машине, которая командовала налетом. Кто еще там сидел — не знаю. На празднествах присутствовал Дрожащий Мальчик и, ка-

жется, Азбука Маккой, хотя его я толком не разглядел. Сержант Бендер сказал мне, что видел Цыпу Сальду и Котелка Маклоклина, а Морган заметил Такого-Сякого. Это хороший поперечный разрез компании — арапы, стопщики, мокрушники со всей страны.

Дворец юстиции сегодня больше похож на бойню. Никого из гостей полиция не убила, насколько я знаю, но кожа на них будет отваливаться. Журналистам, которые любят порыдать о том, что у них называется третьей степенью, стоило бы туда заглянуть[1]. После хорошей бани кое-кто из гостей заговорил. Но в том-то и чертовщина, что всего они не знают. Они знают некоторые имена: Денни Берк, Фрей Тоби, Старик Пит Бест, Пузырь Кларк и Пэдди Мексиканец названы — но все лошадиные силы полиции не выбьют из них больше ничего.

Дело, по-видимому, было организовано так: Денни Берк, к примеру, широко известен как военный артист в Балтиморе. Теперь этот Денни беседует с восемью или десятью подходящими ребятами — по очереди. «Как ты смотришь на то, чтобы подзаработать на Западном побережье?» — спрашивает он. «А делать что?» — интересуется кандидат. «Делать что тебе скажут,— отвечает ему Король Лягушачьего острова.— Ты меня знаешь. Я тебе говорю: дело жирное, дело верное, раз — и ваших нет. Все, кто пойдет, вернутся богатыми — и вернутся все, если не будут мух считать. Больше я ничего не говорю, а не подходит — разговора у нас не было».

Все эти субчики знают Денни, и если он сказал, что дело верное, им этого довольно. И они соглашаются. Он им ничего не объясняет. Он велит им взять пистолеты, каждому выдает двадцать долларов и билет до Сан-Франциско и договаривается о месте встречи. Вчера вечером он их собрал и сказал, что налет будет утром. Они уже поболтались по городу и знают, что тут полно гастролеров, среди прочих — такие молодцы, как Цыпа Сальда, Бритва Вэнс и Дрожащий Мальчик. И утром во главе с Королем Лягушачьего острова отправляются на дело.

Остальные расколовшиеся изобразили примерно такую же картину. Несмотря на тесноту в тюрьме, полиция нашла свободные места и запустила наседок. Бандиты в большинстве друг с другом не знакомы, работать наседкам было легко, но единственное, что они сообщили нового,— арестованные сегодня ночью ожидают оптового освобождения. По-видимому, думают, что банда нападет на тюрьму и выпустит их. Скорее всего, это сказки, но, так или иначе, полиция теперь приготовилась.

Таково положение на этот час. Полиция прочесывает улицы и забирает всех небритых и всех, у кого нет справки от приходского священника о посещении церкви,— с особым вниманием к отбывающим поездам, пароходам и автомобилям. Я послал Джека Конихана и Дика Фоули на Северный берег — поболтаться по кабакам, послушать, о чем там говорят.

— Как вы полагаете, задумал операцию и руководил ею Бритва Вэнс? — спросил Старик.

— Надеюсь... мы его знаем.

Старик повернулся в кресле, посмотрел кроткими глазами в окно и задумчиво постучал по столу карандашом.

— Боюсь, что нет,— возразил он, как бы извиняясь.— Вэнс — хитрый, находчивый и решительный преступник, но у него есть слабость, общая для людей этого типа. Его стихия — непосредственное действие... не планирование. Он провел несколько крупных налетов, но мне всегда мерещился за ними еще чей-то ум.

Я не смог с ним препираться. Если Старик говорил, что дело обстоит так, то так оно скорее всего и обстояло; он был из тех осмотрительных, которые увидят ливень за окном и скажут: «Кажется,

[1] То есть допрос с пристрастием. *(Прим. перев.)*

дождик пошел», чтобы не ошибиться: а вдруг кто-то льет воду с крыши.

— И кто же этот архивор? — спросил я.

— Вероятно, вы это узнаете раньше меня,— сказал он с милостивой улыбкой.

Я вернулся в суд и помогал варить арестованных в масле часов до восьми — когда голод напомнил мне, что я не ел с утра. Я исправил эту оплошность, а потом отправился к Ларою — не спеша, чтобы ходьба не мешала пищеварению. У Ларoя я провел три четверти часа и никого особенно интересного не увидел. Кое-кто из посетителей был мне знаком, но они не выразили желания общаться — в преступном мире точить лясы с сыщиком сразу после дела не полезно для здоровья.

Ничего тут не добившись, я перешел к Итальянцу Хили — в соседний притон. Приняли меня так же — дали столик и оставили одного. Оркестр у Хили играл «Не обманывай», и те, кому хотелось размяться, упражнялись на площадке. Среди танцоров я увидел Джека Конихана, руки его были заняты крупной смуглой девицей с приятным, глупым, грубо вылепленным лицом.

Джек, высокий стройный парень двадцати трех или двадцати четырех лет, прибился к нашему агентству месяц назад. Эта служба была у него первой, да и ее бы не было, но отец Джека решил, что если сынок хочет погреть руки в семейной кассе, то должен расстаться с мыслью, будто, продравшись через университет, он натрудился уже на всю жизнь. И Джек поступил в «Континентал». Он решил, что сыск — забавное дело. Правда, он скорее схватил бы не того человека, чем надел не тот галстук, но, в общем, обнаружил неплохие задатки ищейки. Симпатичный малый, вполне мускулистый, несмотря на худобу, с приглаженными волосами, лицом джентльмена и повадками джентльмена, смелый, скорый на руку и с быстрым умом, бесшабашно веселый — впрочем, это по причине молодости. Конечно, в голове у него гулял ветер, и его надо было окорачивать, но в работе я предпочел бы его многим нашим ветеранам.

Прошло полчаса, ничего интересного.

Потом с улицы вошел парень — невысокий, развязный, в очень отутюженных брюках, очень начищенных ботинках, с наглым землисто-смуглым лицом характерного склада. Это он попался мне навстречу на Бродвее после того, как пришили Бино.

Откинувшись на стуле, чтобы широкополая дамская шляпа заслонила от него мое лицо, я увидел, как молодой армянин прошел между столиков в дальний угол, где сидели трое мужчин. Он что-то небрежно сказал им — с десяток слов, наверно,— и перешел к другому столику, где сидел в одиночестве курносый брюнет. Он уселся напротив курносого, бросил ему несколько слов, с ухмылкой ответил на его вопросы и заказал выпивку. Опорожнив стакан, прошел через весь зал — сообщить что-то худому человеку с ястребиным лицом — и удалился из ресторана. Я вышел следом, миновав столик, где сидел со своей девушкой Джек, и переглянулся с ним. Молодой армянин отошел уже на полквартала. Джек нагнал меня, обогнал. С сигаретой в зубах я его окликнул: «Огоньку не найдется?»

Я взял у него коробок и, прикуривая, шепнул между ладоней:

— Вон пижон идет — на хвост ему. Я за тобой. Я его не знаю, но если он вчера убил Бино за разговор со мной, он меня узнает. Ходу!

Джек сунул спички в карман и пошел за парнем. Я выждал и отправился за ним. А потом случилась интересная вещь.

На улице было много народу, в большинстве мужчины — кто гулял, кто околачивался перед кафе с прохладительными напитками.

Когда молодой армянин подошел к углу освещенного переулка, оттуда появились двое и заговорили с ним, встав так, что он оказался между ними. Он, видимо, не хотел их слушать и пошел бы дальше, но один преградил ему путь рукой. А другой вынул из кармана правую руку и махнул перед лицом армянина — на ней блеснул никелированный кастет. Парень нырнул под вооруженную руку и под руку-шлагбаум и пересек переулок, даже не оглянувшись на двоих, хотя они его нагоняли.

Перед тем как они его нагнали, их самих нагнал еще один человек, которого я раньше не видел,— с широкой спиной и длинными руками, похожий на гориллу. Одной рукой он схватил за шею одного, другой — другого. Он отдернул их от парня, встряхнул так, что с них попадали шляпы, и стукнул головами — раздался треск, как будто сломалась палка от метлы, и он уволок обмякшие тела в переулок, с глаз долой. Армянин тем временем бодро шагал дальше и ни разу не оглянулся.

Когда головолом вышел из переулка, я увидел под фонарем его лицо — смуглое, с глубокими складками, широкое и плоское; желваки на челюстях торчали так, как будто у него под ушами нарывало. Он плюнул, поддернул штаны и двинулся по улице за парнем.

Тот зашел к Ларою. Головолом за ним следом. Парень вышел — за ним шагах в семи следовал головолом. Джек проводил их в кабак, а я ждал на улице.

— Все еще передает донесения? — спросил я .

— Да. Говорил там с пятью людьми. А ничего у него охрана, а?

— Ага,— согласился я.— И ты уж постарайся не попасть между ними. Если разделятся, я — за гориллой, ты — за пижоном.

Мы разошлись и продолжали двигаться за клиентами. Они провели нас по всем заведениям Сан-Франциско — по кабаре, закусочным, бильярдным, пивным, ночлежкам, игорным домам и бог знает чему еще. И всюду парень находил, кому бросить десяток слов, а между визитами умудрялся сделать это на перекрестках.

Я бы с удовольствием проследил кое за кем из его абонентов, но не хотел оставлять Джека одного с парнем и телохранителем: тут пахло чем-то важным. И Джека не мог пустить за кем-либо другим — мне не стоило наступать молодому армянину на пятки. И мы доигрывали игру так, как начали — следуя за нашей парочкой от притона к притону, а ночь между тем перевалила через середину.

Было начало первого, когда они вышли из маленькой гостиницы на Керни-стрит и впервые на наших глазах пошли вместе, бок о бок, к Грин-стрит, а там свернули на восток, по склону Телеграфного холма. Еще полквартала — и они поднялись по ступенькам ветхих меблирашек, скрылись за дверью. Я подошел к Джеку Конихану, стоявшему на углу.

Поздравления разнесены, решил я, иначе он не подозвал бы телохранителя. Если полчаса там не будет никакого движения, я сматываюсь. А тебе предстоит потоптаться тут до утра.

Через двадцать минут человек-горилла вышел из дома и двинулся по улице.

— Это мой,— сказал я.— Ты жди своего.

Человек-горилла сделал шагов двадцать и остановился. Он оглянулся на дом, поднял лицо к верхним этажам. Тогда мы с Джеком услышали, что его остановило. В доме наверху кричал человек. Так тихо, что и криком не назовешь. Даже теперь, когда голос стал громче, мы его едва слышали. Но в нем — в этом вое — будто слился страх всех, кто боится смерти. Я услышал, как лязгнул зубами Джек. То, что осталось у меня от души, давно покрыто мозолями, но и я почувствовал, что на лбу у меня дернулась кожа. Уж больно тих был этот крик для того, что в нем выражалось.

Гориллообразный тронулся с места. В пять скользящих скачков он вернулся к крыльцу. Шесть или семь первых ступенек он одолел, даже не прикоснувшись к ним ногой. Он взлетел с тротуара в вестибюль одним прыжком — быстрее, легче, бесшумнее любой обезьяны. Минута, две минуты, три минуты — и крик смолк. Еще три минуты — и человек-горилла опять вышел из дома. Остановился на тротуаре, чтобы сплюнуть и поддернуть штаны. И зашагал по улице.

— Джек, это твоя дичь,— сказал я.— А я загляну к парню. Теперь он меня не узнает.

Парадная дверь была не только не заперта, но и распахнута. Я вошел в вестибюль, где при свете с верхнего этажа виднелся марш лестницы. Я поднялся туда и повернул к фасадной стороне. Кричали с фасада — либо на этом этаже, либо на третьем. По всей вероятности, гориллообразный не запер комнату — если и парадную-то дверь закрывать поленился.

На втором этаже я ничего не нашел, зато на третьем уже третья дверная ручка подалась под моей осторожной рукой, и я приоткрыл дверь. Я постоял перед щелью, но не услышал ничего, кроме заливистого храпа, где-то дальше по коридору. Я тронул дверь и приотворил еще на четверть метра. Ни звука. Комната была беспросветна, как будущее честного политика. Я провел ладонью по косяку, по обоям, нащупал выключатель, нажал. Две лампочки посередине пролили слабый желтый свет на обшарпанную комнату и на молодого армянина — мертвого на кровати.

Я шагнул в комнату, закрыл дверь и подошел к кровати. Глаза у парня были открыты и выпучены. На одном виске кровоподтек. Горло взрезано чуть ли не от уха до уха. Около разреза, там, где тонкая шея не была залита кровью, я заметил синяки. Телохранитель свалил его ударом в висок и душил, пока не счел, что дело сделано. Но парень очухался — настолько, чтобы закричать, но не настолько, чтобы удержаться от крика. Телохранитель вернулся и прикончил его ножом. Там, где он вытирал нож о простыню, остались три красные полосы.

Карманы у парня были вывернуты. Это убийца их вывернул. Я обыскал труп, но, как и ожидал, безуспешно; человек-горилла забрал все. Осмотр комнаты тоже оказался напрасным — кое-что из одежды, но ни одного предмета, за который можно было бы уцепиться.

Я закончил обыск и стоял посреди комнаты, почесывая подбородок и размышляя. В коридоре скрипнула половица. Три бесшумных шага назад на каучуковых подошвах — и я очутился в затхлом чулане, прикрыл за собой дверь, оставив щель в палец.

В дверь постучали, я вынул из заднего кармана револьвер. Снова постучали, и женский голос сказал: «Малыш, а малыш?» И стучали и говорили тихо. Ручка повернулась, щелкнул замок. В двери стояла девушка с бегающими глазами, которую Анжела Грейс назвала Сильвией Янт.

Глаза ее остановились на парне и от удивления перестали бегать.

— Что за черт,— прошептала она и скрылась.

Я уже шагнул из чулана в комнату, как вдруг услышал, что она на цыпочках возвращается. Снова отступив, я стал следить за ней через щелку. Она быстро вошла, беззвучно закрыла дверь и наклонилась над мертвым. Обшарила его, проверила все карманы, которые я успел заправить.

— Тьфу ты! — громко сказала она, закончив бездоходный обыск, и удалилась.

Я выждал, пока она спустится на улицу. Когда я вышел из подъезда, она направлялась к Керни-стрит. Я проследовал за ней по Керни до Бродвея, по Бродвею до ресторана Ларoя. Там было оживленно, в особенности у дверей: посетители входили и выходили.

Я стоял от нее в трех шагах, когда она остановила официанта и спросила шепотом, но взволнованно, так что мне удалось расслышать: «Рыжий здесь?»

Официант помотал головой:

— Сегодня не заходил.

Девушка вышла на улицу и, стуча каблуками, быстро привела меня к гостинице на Стоктон-стрит.

Сквозь стекло я увидел, как она подошла к столу портье и о чем-то спросила. Портье покачал головой. Девушка сказала что-то еще, он дал ей бумагу и конверт, и она наспех написала записку возле кассового аппарата. Перед тем как занять менее заметную позицию в ожидании ее выхода, я заметил, в какое гнездо положили записку.

Из гостиницы она поехала на трамвае по Маркет-и Пауэлл-стрит, потом дошла до О'Фарелл-стрит, где толстолицый молодой человек в сером пальто и серой шляпе, стоявший на краю тротуара, взял ее под руку и повел к стоянке такси. Я запомнил номер такси — толстолицый больше смахивал на клиента, чем на приятеля.

Было уже почти два часа ночи, когда я вернулся в нашу контору на Маркет-стрит. Фиск, ночной дежурный, сказал, что от Джека Конихана донесений не поступало; новостей никаких. Я попросил разбудить мне кого-нибудь из агентов, и минут через десять ему удалось вытащить из постели к телефону Мики Линехана.

— Слушай, Мики,— сказал я.— Я нашел тебе прекрасный уголок — постоять до утра. Так что надевай свою распашонку и туда, ладно?

Дождавшись перерыва в его воркотне и ругани, я дал ему адрес гостиницы на Стоктон-стрит, описал Рыжего О'Лири и сказал, в какое гнездо положили записку.

— Может быть, О'Лири и не там остановился, но проверить стоит,— объяснил я.— Если он появится, постарайся его не потерять, пока не пришлю тебе смену.— Я повесил трубку посреди непристойной тирады, которой он ответил на это оскорбление.

Дворец юстиции, когда я прибыл туда, кишел народом, хотя взломать тюрьму на верхнем этаже пока никто не пытался. То и дело поступали новые партии подозрительных. Полицейские в форме и в штатском сновали повсюду. Бюро уголовного розыска превратилось в улей.

Я обменялся новостями с полицейскими сыщиками, рассказал им об армянине. Собрали компанию, чтобы осмотреть его останки, но в это время распахнулась дверь капитана, и перед собранием появился лейтенант Дафф.

— Алле! Оп! — произнес он, показывая толстым пальцем на О'Гара, Галли, Ричера, Ханта и меня.— Есть что посмотреть на Филмор-стрит.

Мы пошли за ним к машине.

Привезли нас к серому каркасному дому на Филмор-стрит. Перед ним стоял полицейский фургон, снаружи и внутри толпились полицейские.

Рыжеусый капрал отдал Даффу честь и повел нас в дом, объясняя на ходу:

— Тревогу подняли соседи: позвонили нам, что тут какая-то драка, но когда мы приехали, драться уже было некому.

В доме остались только четырнадцать трупов.

Одиннадцать человек отравлено: в виски подмешали большие дозы снотворного, сказал врач. Троих застрелили в разных местах коридора. Судя по положению тел, они подняли тост — с ядом, а тех, кто не выпил — то ли непьющих, то ли просто осторожных,— перестреляли, когда они попытались бежать.

Характер публики давал представление о характере их тоста. Все были воры и обмывали отравой удачный налет.

Мы знали не всех покойников, но некоторые были известны нам всем, а позже в архиве мы определили и остальных. Общий список читался как путеводитель по уголовному миру. Тут были: Такой-Сякой, всего два месяца назад сбежавший из тюрьмы в Левенуорте; Еврей Холмс; Шайти из Снохомиша — считалось, что он пал смертью храбрых во Франции в 1919 году; Щепка Лос-Анджелес из Денвера, как всегда без носков и без нижнего белья — в плечи его пиджака было вшито по тысячедолларовой бумажке; Паук Джируччи, у которого под рубашкой была надета кольчуга, и от макушки до подбородка тянулся шрам — памятка от братниного ножа; Старик Пит Бест, некогда член конгресса; Нигер Воджен, однажды в Чикаго выигравший в кости 175 тысяч долларов,— в трех местах на нем было вытатуировано: «АБРАКАДАБРА»; Азбука Маккой; свояк Азбуки Том Брукс, придумавший ричмондскую аферу и на доходы от нее купивший три гостиницы; Рыжий из Кьюдехи, в 1924 году ограбивший поезд на Юнион Пасифик; Денни Берк; Бык Макгоникл, все еще бледный после пятнадцатилетней отсидки; Фрей Тоби, дружок Быка, хваставшийся тем, что обчистил карманы президента Вильсона в вашингтонском варьете; и Пэдди Мексиканец.

Дафф посмотрел на них и свистнул.

— Еще несколько таких номеров,— сказал он,— и нас уволят. Не от кого будет охранять налогоплательщиков.

— Рад, что тебе здесь понравилось,— сказал я.— Но я лично ни за какие деньги не хотел бы стать на эти дни полицейским в Сан-Франциско.

— Почему, интересно?

— Ты посмотри, каков размах надувательства. Городишко наш полон лихих людей, которые надеются получить от этих вот жмуров свою долю награбленного. Представляешь, что тут начнется, когда станет известно, что доли им не видать как своих ушей? Больше сотни бандитов окажутся на мели и станут добывать деньги на отъезд. Будет по три скока на квартал, по стопу на каждом перекрестке, покуда они не наберут деньгу на билеты. Храни тебя господь, сынок, тебе придется попотеть за свое жалованье.

Дафф пожал толстыми плечами и, шагая через трупы, направился к телефону. Когда он кончил говорить, я позвонил в агентство.

— Только что звонил Джек Конихан,— сказал Фиск и назвал мне номер дома на Арми-стрит.— Говорит, что проводил своего человека туда — с компанией.

Я вызвал по телефону такси, а потом сказал Даффу:

— Я пока сматываюсь. Если возникнет что-то новенькое, позвоню тебе сюда; если не возникнет — тоже. Подождешь?

— Только недолго.

Я отпустил такси чуть раньше, два квартала по Арми-стрит прошел пешком и нашел Джека Конихана, наблюдавшего за домом из темного угла.

— Мне не повезло,— приветствовал он меня.— Пока я звонил из закусочной по соседству, кое-кто из моих людей смылся.

— Да? А что нового?

— Из дома на Грин-стрит горилла отправилась на трамвае в дом на Филмор-стрит и...

— Какой номер?

Джек назвал номер дома с мертвецами, откуда я приехал.

— Потом, за десять или пятнадцать минут в этот дом пришло примерно столько же людей. Большинство пешком, по одному или парами. Потом подъехали сразу две машины с девятью людьми — я пересчитал. Вошли, машины оставили перед домом. Мимо ехало такси, я остановил его — на случай, если мой отправится отсюда на машине.

После того как приехали эти девять, с полчаса было тихо. А потом в доме все стали вести себя экспансивно — кричали, стреляли. И продолжалось это довольно долго — успели разбудить всю округу. Когда стихло, из дома выбежали десять человек — я считал,— сели в две машины и уехали. Мой был среди них.

Мы с моим верным таксистом закричали «Ату!», и они привезли нас вон к тому дому, где еще стоит одна их машина. Через полчаса или около того я решил, что надо доложиться, оставил такси за углом — оно там до сих пор щелкает счетчиком — и пошел звонить Фиску. А когда вернулся, одной машины уже не было, и — горе мне! — я не знаю, кто в ней уехал. Я подлец?

— Конечно! Когда пошел звонить, надо было захватить с собой их машины. Последи за оставшейся, пока я вызываю группу.

Я пошел в закусочную и позвонил Даффу, сказал, где я, и:

— Если привезешь сюда наряд, может, что-нибудь добудем. Две машины с людьми, которые побывали на Филмор-стрит, но не остались там, приехали сюда, и если не канителиться, мы кое-кого еще можем застать.

Дафф привез четырех своих сыщиков и с десяток полицейских в форме. Мы двинулись на дом с фасада и с тыла. На звонки времени не тратили. Мы просто высадили двери и вошли. Внутри была тьма, разогнали ее только наши фонари. Мы не встретили сопротивления. В обычных обстоятельствах шесть человек, которых мы там застали, устроили бы нам хорошую баню, несмотря на наше численное превосходство. Но — если были бы поживее.

Мы переглянулись, чуть ли не разинув рты.

— Это становится монотонным,— пожаловался Дафф, откусив табак от плитки.— Всякий труд, конечно, однообразен, но мне надоело вламываться в комнаты с убитыми ворами.

Здесь список постояльцев был короче, но имена крупнее. Здесь был Дрожащий Мальчик — никто уже не получит премий, назначенных за его поимку; Котелок Маклоклин — на носу перекосились роговые очки, на пальцах и галстуке — бриллиантов на десять тысяч долларов; Фарт Джим Хакер; Осел Марр, последний из кривоногих Марров, все были убийцами, отец и пятеро сыновей; Цыпа Сальда, самый сильный человек в уголовном мире — однажды в Саванне он сбежал вместе с двумя полицейскими, к которым был прикован наручниками; Бухарь Смит, в шестнадцатом году убивший в Чикаго Красного Рида,— на левом запястье у него были намотаны четки.

Здесь — никаких тонкостей с ядами: молодцов уложили из карабина 7, 62 с громоздким, но эффективным самодельным глушителем. Карабин лежал на кухонном столе. Из кухни в гостиную вела дверь. Прямо против этой двери — широко распахнутая дверь в комнату, где лежали мертвые воры. Лежали они возле фасадной стены, как будто их выстроили там перед расстрелом.

Серые обои были забрызганы кровью и в нескольких местах пробиты — там где пули прошли навылет. Молодые глаза Джека Конихана приметили на обоях пятно, которое не было случайным. Над самым полом, рядом с Дрожащим Мальчиком — а правая его рука была испачкана кровью. Он писал на стене перед смертью, макая пальцы в свою и Цыпы Сальды кровь. В буквах были просветы и разрывы — там, где на пальце кончилась кровь, а сами буквы кривились и прыгали, потому что писал он, наверное, в темноте.

Заполнив просветы, распутав выверты и угадывая там, где прочесть было вообще нельзя, мы составили два слова: Б о л ь ш а я Ф л о р а.

— Мне это ничего не говорит,— высказался Дафф,— но это — имя, а большинство известных нам имен принадлежат уже покойникам, так что добавим и его в список.

— Как это понять? — глядя на тела, спросил О'Гар, круглоголо-

вый сержант из отдела тяжких преступлений.— Приятели выстроили их у стены под дулами пистолетов, а потом стрелок перещелкал их с кухни — пах-пах-пах-пах-пах-пах?

— Похоже на то,— согласились мы хором.

— Десятеро прибыли сюда с Филмор-стрит,— сказал я.— Шестеро остались здесь. Четверо отправились в другой дом... И сейчас кто-то из них кого-то убивает. Нам нужно только следовать за трупами от дома к дому, покуда не останется только один... а он уж сам доиграет игру, прикончив себя своими руками, и добычу оставит нам в тех же пачках, в каких ее взяли. Надеюсь, вам не придется разъезжать всю ночь в поисках последнего трупа. Джек, пошли домой спать.

Было ровно пять часов утра, когда я отвернул пододеяльник и забрался в постель. Я уснул раньше, чем выпустил дым последней затяжки. Телефон разбудил меня в четверть шестого. Говорил Фиск:

— Только что звонил Мики Линехан — полчаса назад твой Рыжий О'Лири вернулся на насест.

— Пускай его арестуют,— сказал я и снова уснул в 5.17.

В девять под звон будильника я выполз из постели, позавтракал и отправился в бюро уголовного розыска, узнать, что у них с Рыжим. Оказалось, ничего хорошего.

— Вывернулся,— сказал мне капитан.— Что касается налета и ночных дел — у него алиби. Не можем обвинить даже в бродяжничестве. Имеет заработок. Торгует Универсальным энциклопедическим словарем полезных и повседневных сведений Хампердикеля — так кажется. Начал таскаться с книжонками за день до налета — и во время налета звонил в двери и уговаривал людей купить свой дурацкий словарь. По крайней мере, у него есть свидетели, которые это подтвердили. Ночью был в гостинице с одиннадцати до четырех тридцати, играл в карты, имеет свидетелей. Ни черта не нашли ни на нем, ни в его номере.

Тут же, из кабинета, позвонил Джеку Конихану.

— Ты смог бы опознать кого-нибудь из тех, кого видел ночью в машинах? — спросил я, когда он вылез наконец из постели.

— Нет. Было темно, и шли они быстро. Свою-то гориллу едва разглядел.

— Не узна́ет, да? — сказал капитан.— Ну что ж, я могу продержать его 24 часа, не предъявляя обвинения, и сделаю это, но если ты ничего не отроешь, придется отпустить.

— А что, если отпустить сейчас? — предложил я, покурив с минуту и подумав.— У него кругом алиби, и прятаться от нас незачем. Оставим его на день в покое — пусть убедится, что за ним не следят,— а вечером сядем ему на хвост и не слезем. Есть что-нибудь по Большой Флоре?

— Нет. Парень, убитый на Грин-стрит,— Берни Бернхаймер, он же Маца, вероятно, карманный вор, крутился среди ширмачей, но не очень...

Его прервал телефонный звонок. Он сказал в трубку:

— Алло. Да. Одну минуту,— и придвинул аппарат ко мне.

Женский голос:

— Это Грейс Кардиган. Я звонила вам в агентство, и мне сказали, где вас найти. Мне надо с вами увидеться. Можно прямо сейчас?

— Где?

— Телефонная станция на Пауэлл-стрит.

— Буду через пятнадцать минут,— сказал я.

Позвонив в агентство, я вызвал к телефону Дика Фоули и попросил его сейчас же встретиться со мной на углу Эллис и Маркет-стрит. Затем я отдал капитану его телефон, сказал: «До скорого» — и отправился на свидание.

Дик Фоули уже ждал меня на углу. Этот маленький смуглый канадец, ростом под полтора метра — на высоких каблуках,— весил минус сорок килограммов, разговаривал, как телеграмма скупца, и мог проследить за каплей соленой воды от Сан-Франциско до Гонконга, ни разу не выпустив ее из виду.

— Анжелу Грейс Кардиган знаешь? — спросил я его.

Он сэкономил слово, помотав головой.

— Я встречусь с ней на переговорном пункте. Когда мы расстанемся, иди за ней. Не думай, что тебя ждет легкая прогулка: девушка шустрая и знает, что за ней будет хвост, но ты постарайся.

Дик опустил углы рта, и у него сделался один из редких припадков разговорчивости:

— Чем они шустрее на вид, тем с ними проще.

Я направился к переговорному, он — за мной следом. Анжела Грейс стояла в дверях. С таким мрачным лицом я ее никогда не видел, и поэтому она показалась мне менее хорошенькой, чем обычно; в зеленых глазах, правда, было слишком много огня, чтобы говорить о мрачности. Она держала свернутую трубкой газету. Она не поздоровалась со мной, не улыбнулась, не кивнула.

— Пойдем к Чарли, там можно поговорить,— сказал я, проводя ее мимо Дика Фоули.

Она не проронила ни звука, пока мы не уселись друг против друга в кабинете ресторана и официант не принял заказ. Тогда она дрожащими руками развернула на столе газету.

— Это правда? — спросила она.

Я взглянул на то место, по которому постукивал ее дрожащий палец,— репортаж о находках на Филмор и Арми-стрит, но осторожный. Я сразу заметил, что имена не названы, полиция подстригла заметку. Сделав вид, будто читаю, я прикинул, выгодно ли будет сказать ей, что газета все выдумала. Но никакой отчетливой пользы в этом не увидел и решил не отягощать душу лишней ложью.

— В целом все верно,— ответил я.

— Вы туда ездили? — она скинула газету на пол и подалась ко мне.

— С полицией.

— Был там...— Слова застряли у нее в горле. Белые пальцы скомкали скатерть посередине между нами.— Кто был?..— удалось ей выдавить на этот раз.

Молчание. Я ждал. Она опустила глаза, но раньше я успел заметить, что вода в них притушила огонь. Пока мы молчали, явился официант, поставил еду, ушел.

— Вы знаете, что я хочу спросить,— наконец сказала она тихим, севшим голосом.— Он был? Он был? Скажите ради бога!

Я взвесил их — правду против лжи, ложь против правды. И снова правда восторжествовала.

— Пэдди Мексиканца убили — застрелили — в доме на Филмор-стрит.

Зрачки у нее стали как булавочные головки... снова расширились, превратив глаза из зеленых в черные. Она не проронила ни звука. Лицо ее ничего не выражало. Она взяла вилку, поднесла ко рту салат... и еще раз. Я протянул руку через стол и отобрал у нее вилку.

— Все ведь на платье падает,— проворчал я.— Рта не откроешь — ничего не съешь.

Она потянулась через стол к моей руке, схватила ее дрожащими руками — пальцы подергивались так, что она меня оцарапала.

— Вы мне не врете? — не то всхлипнула, не то выпалила она.— Вы всегда честно себя вели. В Филадельфии вы были человеком. Пэдди всегда говорил, что из легавых вы один порядочный. Вы не обманываете?

— Все честно,— подтвердил я.— Пэдди для тебя много значил?

Она тупо кивнула, стараясь справиться с собой, и опять будто оцепенела.

— Есть возможность рассчитаться за него,— предложил я.

— Это как?..

— Говорить.

Она долго смотрела на меня непонимающим взглядом, будто пытаясь ухватить смысл моих слов. Ответ я прочел в ее глазах раньше, чем услышал.

— Господи, да я сама хочу. Но я дочь Коробки Кардигана. Мне — стучать? Вы против нас. К вам идти? Пошла бы. Но я же Кардиган. Молиться буду, чтобы вы их повязали. Крепко повязали, но...

— Твои чувства благородны, по крайней мере слова.— Я усмехнулся.— Ты кого изображаешь — Жанну д'Арк? А сидел бы сейчас твой брат Фрэнк, если бы его не заложил в Грейт-Фолс его дружок Джон Водопроводчик? Проснись, моя милая. Ты воровка среди воров, и кто других не надул, тот сам с бородой. Твоего Пэдди кто убил? Дружки! Но ты не можешь им ответить — тебе закон не велит. Боже мой!

После этой речи лицо ее стало еще угрюмее.

— Я им отвечу,— сказала она.— Но с вами не могу. Вам сказать не могу. Если бы вы были наш, сказала бы... а подмогу если найду, так не у вас. И кончим, ладно? Я знаю, что вы сердитесь, но... вы мне скажите, кого еще... кроме... нашли в этих домах?

— Сейчас,— огрызнулся я.— Все выложу. Расскажу как на духу. Только ты, не дай бог, не оброни лишнего словечка, пока слушаешь, а то нарушишь этику вашей благородной профессии.

Как всякая женщина, она пропустила мои слова мимо ушей и повторила:

— Кого еще?

— Зря теряешь время. Но я вот что сделаю: я назову тебе парочку, которой там не было: Большая Флора и Рыжий О'Лири.

Она перестала смотреть на меня как одурманенная. Зеленые глаза потемнели от ярости.

— А Вэнс был? — спросила она.

— Угадай,— ответил я.

Она посмотрела на меня еще немного, потом поднялась.

— Спасибо за то, что сказали, и за то, что встретились со мной. Я вам желаю успеха.

Она вышла на улицу, где ее поджидал Дик Фоули. Я доел то, что мне принесли.

В четыре часа дня мы с Джеком Кониханом остановили нашу взятую напрокат машину неподалеку от входа в гостиницу «Стоктон».

— В полиции он отвертелся, так что жилье менять ему вроде незачем,— сказал я Джеку,— а к служащим в гостинице я приставать бы пока не стал — мы их не знаем. Если он до ночи не появится, подкатимся к ним.

Мы закурили и стали обсуждать, кто будет следующим чемпионом в тяжелом весе, где достать хороший джин, как несправедливо новое правило в агентстве, что за работу в Окленде больше не полагается командировочных, и прочие волнующие темы — и так скоротали время от четырех до десяти минут десятого.

В 9.10 из гостиницы вышел О'Лири.

— Бог милостив,— сказал Джек и выскочил из машины, чтобы идти за ним пешком, а я завел мотор.

Огневолосый великан увел нас недалеко. Он скрылся за дверью у Ларoя. Пока я поставил машину и дошел до кабака, О'Лири и Джек успели найти себе место. Джек устроился за столиком у края танцевальной площадки. О'Лири сидел у противоположной стены возле

угла. Когда я вошел, толстая блондинистая пара как раз освобождала столик в углу, и я убедил официанта отвести меня туда.

О'Лири сидел так, что я видел только его затылок и щеку. Он наблюдал за входной дверью, наблюдал с нетерпением, которое сменилось радостью, когда вошла девушка. Та самая, которую Анжела Грейс назвала Нэнси Риган. Я уже сказал, что она была миленькая. И это правда. Задорная синяя шляпка, закрывавшая все волосы, нисколько не повредила сегодня ее милоте.

Рыжий вскочил на ноги и, оттолкнув по дороге официанта и двух-трех посетителей, пошел ей навстречу. Наградой за энтузиазм ему были несколько ругательств, которые он оставил без внимания, и белозубая синеглазая улыбка... тоже, скажем так, милая. Он подвел девушку к своему столу, усадил лицом ко мне и сел сам — лицом исключительно к ней.

Речь его доносилась до меня в виде баритонального рокота, из которого мое шпионское ухо не могло вычленить ни слова. Похоже было, что он ей много чего говорил, и слушала она так, как будто ей это нравилось. Один раз до меня долетело:

— Нет, Рыжик, дорогой, так не надо...— Голос у нее — я знаю другие слова, но уж будем держаться этого — звучал мило. В нем был мускус, у него был тембр. Не знаю, откуда взялась эта подружка бандита, но либо она воспитывалась в хорошей семье, либо хватала все на лету. Время от времени, когда оркестр брал передышку, до меня доносились несколько слов, но из них я уяснил только, что ни она, ни ее буйный кавалер ничего не имеют друг против друга.

Когда она пришла, ресторан был почти пустой. К десяти он наполнился, а десять для клиентов Ларoя—время детское. Я стал меньше обращать внимание на подругу О'Лири, хотя она была мила, и больше — на других моих соседей. Мне бросилось в глаза, что женщин тут маловато. Я присмотрелся — в самом деле, по сравнению с мужчинами их было чертовски мало. Мужчины — мужчины с крысиными лицами, мужчины с угловатыми лицами, с квадратными челюстями, с отвисшими подбородками, бледные мужчины, сухопарые мужчины, странного вида мужчины, свирепого вида мужчины, обыкновенные мужчины — сидели по двое за столиком, по четыре за столиком и приходили все новые, а женщин чертовски мало.

Эти люди разговаривали друг с другом так, будто им было не очень интересно, о чем они говорят. Как бы невзначай они окидывали взглядом зал, и глаза их делались особенно безразличными, когда натыкались на О'Лири. И непременно этот безразличный, скучающий взгляд задерживался на О'Лири на секунду-другую.

Я снова обратился к О'Лири и Нэнси Риган. Он сидел на стуле чуть прямее, чем прежде, но по-прежнему свободно, без скованности, и хотя плечи он немного ссутулил, в них тоже не чувствовалось напряжения. Она ему что-то сказала. Он засмеялся и повернул лицо к середине зала — казалось, что смеется он не только ее словам, но и над теми, кто сидит вокруг, чего-то дожидаясь. Смеялся он от души, молодо и беззаботно.

У девушки сделался удивленный вид, как будто этот смех чем-то ее озадачил, потом она продолжила свой рассказ. Не понимает, что сидит на бочке с порохом, решил я. О'Лири же понимал. Каждый его жест, каждый сантиметр его тела будто говорил: я большой, сильный, молодой, лихой и рыжий; когда я понадоблюсь вам, ребята, я буду тут.

Время текло потихоньку. Несколько пар танцевали. Джин Ларой ходил с выражением хмурого беспокойства на круглом лице. Его кабак был полон посетителей, но лучше бы он был пустым.

Около одиннадцати я встал и поманил Джека Конихана. Он подошел, мы обменялись рукопожатиями, «как делами» и «ничего себе», и он сел за мой столик.

— Что происходит? — спросил он под гром оркестра.— Ничего не вижу, но в воздухе что-то зреет. Или у меня истерика?

— Ничего, скоро начнется. Волки собираются, а ягненок — Рыжий О'Лири. Пожалуй, можно бы найти и понежнее, если бы был выбор. Но эти бандюги, видишь ли, ограбили банк, а когда настал день получки, в конвертах у них оказалось пусто, да и конвертов-то не оказалось. Прошел слух, что Рыжий может знать, как это получилось. Результат мы наблюдаем. Сейчас они ждут — может, кого-то, а может, когда покрепче наберутся.

— А мы сидим тут, потому что это будет самый ближний стол к мишени, когда начнется пальба? — спросил Джек.— Подсядем прямо к Рыжему? Это еще ближе, а кроме того, мне приглянулась его дама.

— Не спеши, развлечений тебе хватит,— пообещал я.— Мы не хотим, чтобы О'Лири убили. Если будут торговаться с ним благородно, мы не встреваем, но если станут бросать в него предметами, ты и я вызволим его и подругу.

— Славно сказано, мой любезный.— Он улыбнулся побелевшими губами.— Будут конкретные указания или вызволяем просто и без лишней суеты?

— Видишь дверь у меня за спиной, справа? Когда начнется буза, я иду туда и открываю ее. Ты удерживаешь подступы — на полдороге. Когда тявкну, сделаешь все, чтобы Рыжий сумел до нее добраться.

— Слушаюсь.— Он оглядел зал, наполненный громилами, облизнул губы и посмотрел на свою руку с сигаретой — дрожащую руку.— Надеюсь, вы не думаете, что я загрустил,— сказал он.— Но я же не такой застарелый убивец, как вы. Естественно, у человека реакция на предстоящую бойню.

— Реакция, слыхали! Да ты ни жив ни мертв от страха. Только без глупостей, учти. Если будешь ломать тут комедию, я докончу то, что не успеют с тобой сделать эти зверюги. Выполняй, что тебе сказано,— ничего больше. Если возникнут остроумные идеи, побереги их, потом поделишься.

— Поведение мое будет примерным! — заверил он меня.

Было около полуночи, когда появился тот, кого ждали волки. Беспокойство все явственнее проступало на лицах, и теперь от напускного безразличия не осталось и следа. Ноги и ножки стульев скребли по полу — люди слегка отодвигались от столов. Мышцы пошевеливались, готовили тела к действию. Языки пробегали по губам, глаза с нетерпением смотрели на входную дверь.

В зал вошел Бритва Вэнс. Он вошел один, кивая знакомым налево и направо, высокий и легкий, грациозно неся свое тело в прекрасно скроенном костюме. Лицо с резкими чертами улыбалось самоуверенно. Не торопясь, но и не мешкая, он подошел к столу О'Лири. Лица Рыжего я не видел, но мускулы у него на шее напряглись. Девушка сердечно улыбнулась Вэнсу и подала руку. Она сделала это естественно. Она ничего не знала.

Поздоровавшись с Нэнси, Вэнс с улыбкой обратился к рыжему великану, в улыбке было что-то от кота, играющего с мышью.

— Как дела, О'Лири? — спросил он.

— У меня — лучше не надо,— грубовато.

Оркестр смолк. Ларой стоял возле входной двери, отирал лоб платком. За столиком справа от меня человек в полосатом костюме — громила с широкой грудью и перебитым носом — тяжело выпускал воздух между золотых зубов и выпученными глазами смотрел на О'Лири, Вэнса и Нэнси. Он ничем не выделялся в этом смысле — очень много людей вели себя точно так же.

Вэнс повернул голову, окликнул официанта:

— Принеси мне стул.

Стул принесли и поставили у свободного края столика, напротив

стены. Вэнс сел, лениво развалился, боком к О'Лири; левую руку он закинул за спинку стула, в правой — дымилась сигарета. Разместившись так, он начал:

— Ну, Рыжий, что ты можешь мне сказать? — Голос звучал вежливо, но достаточно громко и слышен был за соседними столиками.

— А ничего.— О'Лири даже не пытался говорить приветливо или осторожно.

— Что, денег нет? — Тонкие губы Вэнса еще больше растянулись в улыбке, а в темных глазах возник веселый, хотя и неприятный блеск.— Тебе для меня ничего не передавали?

— Нет,— выразительно ответил О'Лири.

— Ничего себе,— сказал Вэнс. Глаза его блеснули еще веселее и неприятнее.— Вот неблагодарность! Поможешь мне получить, Рыжий?

— Нет.

Мне был противен Рыжий; я с удовольствием бросил бы его в беде. Почему не выдумает какую-нибудь отговорку, чтобы Вэнс хотя бы наполовину поверил? Нет, он будет чваниться своей храбростью, как мальчишка, ему непременно надо устроить представление, хотя достаточно было чуть-чуть пошевелить мозгами. Если бы расправились только с этой орясиной, я бы не возражал. Но страдать придется и нам с Джеком, а это уже обидно. Мы не можем потерять Рыжего, он для нас слишком ценен. Мы будем спасать осла от награды, причитающейся ему за упрямство, и из нас сделают отбивные. Какая несправедливость.

— Мне задолжали много денег, О'Лири,— с ленивой насмешкой проговорил Вэнс.— И мне эти деньги нужны.— Он затянулся, небрежно выдул дым Рыжему в лицо и продолжал: — Ты знаешь, что в прачечной за одну пижаму берут двадцать шесть центов? Мне нужны деньги.

— Спи в подштанниках,— сказал О'Лири.

Вэнс засмеялся. Нэнси Риган улыбнулась, но смущенно. Она, очевидно, не понимала, в чем дело, но что какое-то дело есть, догадывалась.

О'Лири наклонился вперед и проговорил раздельно, громко, чтобы слышали все желающие:

— Вэнс, у меня для тебя ничего не будет — ни сегодня, ни завтра. И то же самое для остальных, кому интересно. Если ты или они думают, что я вам должен, попробуйте получить. Пошел ты к черту, Вэнс! Не нравится — у тебя тут кореша. Зови их!

Ну какой отъявленный идиот! Ни на что, кроме санитарной машины, он не согласен, и меня повезут вместе с ним.

Вэнс зло улыбнулся ему, блеснув глазами.

— Ты этого хочешь, Рыжий?

О'Лири растопырил широкие плечи, потом опустил.

— Можно и потолковать,— сказал он.— Только отправлю Нэнси. Ты беги, детка. У меня тут сейчас дело.

Она хотела что-то сказать, но с ней заговорил Вэнс. Он говорил легкомысленным тоном и не возражал против ее ухода. Речь его сводилась к тому, что ей будет одиноко без Рыжего. Но он коснулся интимных подробностей этого одиночества.

Правая рука О'Лири лежала на столе. Она переместилась ко рту Вэнса. За это время она успела превратиться в кулак. Удар из такого положения неудобен. Веса в него не вложишь. Действуют только мышцы руки, и не самые сильные. Однако Вэнс улетел со своего стула к соседнему столику.

Стулья в ресторане опустели. Гулянка началась.

— Не зевай,— шепнул я Джеку Конихану и, изо всех сил стараясь сойти за нервного толстячка,— что было не так трудно,— побежал к задней двери, мимо людей, которые пока еще медленно двигались к О'Лири. Я, наверное, неплохо изобразил спасающегося от неприятностей — никто меня не остановил, и к двери я поспел раньше, чем стая

окружила О'Лири. Дверь была закрыта, но не заперта. Я повернулся к залу, с гибкой дубинкой в правой руке и револьвером в левой. Передо мной были люди, но все — спиной ко мне.

О'Лири возвышался перед своим столиком, на его грубом красном лице было выражение отчаянной лихости, и он уже пружинил на носках, оторвав от пола пятки. Между нами, лицом ко мне, стоял Джек Конихан, его рот кривила нервная усмешка, глаза метались от восторга. Вэнс поднялся. С тонких его губ на подбородок стекала кровь. Глаза были холодны. Он смотрел на О'Лири с деловитостью лесоруба, прикидывающего, куда свалить дерево. Шайка Вэнса наблюдала за атаманом.

— Рыжий!— рявкнул я в тишине.— Сюда, Рыжий! — Лица повернулись ко мне — все лица в шалмане, миллион лиц.

— Живо, Рыжий,— крикнул Джек Конихан и шагнул вперед с револьвером в руке.

Рука Вэнса нырнула за лацкан. Револьвер Джека гавкнул на него. Вэнс бросился на пол раньше, чем Джек нажал спуск. Пуля прошла выше, но выхватить оружие вовремя Вэнс не успел.

О'Лири сгреб девушку левой рукой. В правой у него расцвел большой автоматический пистолет. После этого мне стало не до них. Появились другие дела.

Ресторан Ларoя был беременен оружием — пистолетами, ножами, дубинками, кастетами, стульями, бутылками и прочими инструментами разрушения. Со своим оружием люди шли ко мне общаться. Игра заключалась в том, чтобы оттеснить меня от двери. Рыжему бы это пришлось по вкусу. Но я не был рыжим молодым забиякой. Лет мне было почти сорок, и лишнего весу — килограммов десять. Возраст и вес располагают к покою. Покоя мне не дали.

Косой португалец полоснул меня по горлу ножом — испортил галстук. Прежде чем он отскочил, я ударил его по уху стволом револьвера, увидел, что ухо надорвалось. Паренек лет двадцати с ухмылкой кинулся мне в ноги — футбольный прием. Я почувствовал его зубы коленом, вскинув его навстречу, почувствовал, как они сломались. Рябой мулат высунул над плечом впередистоящего пистолет. Моя дубинка угодила впередистоящему в руку. Он дернулся в сторону, как раз когда мулат нажал спусковой крючок, и ему снесло половину лица.

Выстрелил я дважды: один раз, когда в полуметре от моего живота возникло дуло, второй — когда увидел, что человек, стоящий на столе, тщательно целится мне в голову. В остальном я полагался на руки и ноги, берег патроны. Ночь была молода, а у меня всего дюжина воробышков — шесть в револьвере, шесть в кармане.

На хорошего ежа мы сели. Левой сбоку, правой сбоку, ногой; правой сбоку, левой сбоку, ногой. Думать некогда, цель не выбираешь. Господь позаботится, чтобы всегда было рыло для твоего револьвера и дубинки, брюхо — заехать ногой.

Прилетела бутылка и угодила мне в голову. Шляпа меня спасла, но в голове от удара яснее не стало. Я покачнулся и сломал чей-то нос — там, где должен был проломить череп. Зал казался душным, непроветренным. Сказал бы кто-нибудь Ларою. Как тебе эта свинчатка в висок, блондинчик? Эта крыса слева что-то слишком близко. Давай поближе — наклонюсь вправо, угостить мулата, а потом обратно — тебе навстречу. Неплохо! Но на всю ночь меня не хватит. Где Джек с Рыжим? Стоят, любуются мной?

Кто-то огрел меня чем-то по плечу — похоже, что ножкой рояля. Я не успел уклониться. Еще одна бутылка унесла мою шляпу и часть скальпа. О'Лири и Джек Конихан прорвались, таща между собой девушку.

Пока Джек проталкивал девушку в дверь, мы с Рыжим немного расчистили перед собой пространство. Тут он был молодец. Я за него не прятался, но и поупражняться ему дал сколько влезет.

— Порядок! — крикнул Джек.

Мы с Рыжим вошли в дверь и захлопнули ее. Она бы и запертая не выдержала. О'Лири послал в нее три пули, чтобы ребятам было о чем подумать, и наше отступление началось. Мы очутились в узком коридоре, хорошо освещенном. В дальнем конце — закрытая дверь. На полпути, справа,— лестница наверх.

— Прямо? — спросил Джек, бежавший первым.

О'Лири сказал: «Да», а я: «Нет. Вэнс ее перекроет, если полиция не перекрыла. Наверх — на крышу».

Мы добежали до лестницы. Дверь позади распахнулась. Свет погас. Дверь в дальнем конце коридора грохнула о стенку. Света за обеими дверьми не было. Ларой, наверное, выключил рубильник, чтобы его притон не разобрали на зубочистки.

Мы ощупью поднимались по лестнице, а внизу уже началась свалка. Те, кто ворвался через дальнюю дверь, встретили тех, кто гнался за нами,— встреча сопровождалась ударами, руганью, а иногда и выстрелами. Бог им в помочь! Мы шли наверх: Джек впереди, за ним девушка, потом я, и последним О'Лири.

Джек галантно читал девушке дорожные указатели:

— Осторожней на площадке, теперь немного влево, возьмитесь правой рукой за стенку и...

— Замолчи! — прорычал я.— Пусть лучше она упадет, чем весь кабак на нас навалится.

Мы добрались до второго этажа. Темнее не бывает. Дом был трехэтажным.

— Я потерял эту несчастную лестницу,— пожаловался Джек.

Мы тыкались в темноте, искали лестницу, которая должна была вывести нас на крышу. Не нашли. Грохот внизу затихал. Голос Вэнса объяснял своре, что дерутся со своими, спрашивал, куда мы делись. Никто не знал. И мы не знали.

— Пошли,— шепнул я, двинувшись по темному коридору к задней части здания.— Надо куда-то выбираться.

Внизу еще слышался шум, но уже не дрались. Говорили о том, что нужно включить свет. Я наткнулся на дверь в торце коридора, открыл ее. Комната с двумя окнами; через них проникал слабый свет уличных фонарей. Но после коридора он показался ярким. Мое маленькое стадо вошло за мной, и мы закрыли дверь.

О'Лири был уже у окна, высунулся наружу.

— Переулок,— шепнул он.— Спуститься нельзя — разве только прыгать.

— Никого не видно? — спросил я.

— Вроде никого.

Я окинул взглядом комнату: кровать, два стула, комод и столик.

— Столик в окно пройдет,— сказал я.— Бросим его подальше — будем надеяться, что они выбегут на шум, пока не сообразили полезть за нами наверх.

О'Лири и девушка убеждали друг друга, что оба они целы и невредимы. Он оторвался от нее, чтобы помочь мне со столиком. Мы подняли его, раскачали, бросили. Он полетел отлично — ударился о стену противоположного дома и упал во двор — то ли на кучу кровельного железа, то ли на мусорные баки, словом, на что-то изумительно гремучее. Квартала за полтора наверняка было слышно, а дальше — не знаю.

Через черный ход из ресторана высыпали люди; мы отошли от окна.

Нэнси, не найдя ран на О'Лири, занялась Джеком Кониханом.

У него была порезана щека. Нэнси стала колдовать над ней с носовым платком.

— Когда кончите эту,— говорил Джек,— пойду к ним и попорчу другую.

— Никогда не кончу, если будете разговаривать — вы дергаете щекой.

— Это идея,— обрадовался он.— Сан-Франциско — второй по величине город в Калифорнии. Столица штата — Сакраменто. Любите географию? Рассказать вам о Яве? Я там никогда не был. Но пью их кофе. Если...

Она засмеялась:

— Глупый! Если не замолчите, я сейчас же перестану.

— Это хуже. Молчу.

Ничего особенного она со щекой не делала, только стирала кровь — лучше бы дала ей просто засохнуть. Закончив эту бесполезную операцию, она медленно отняла руку и с гордостью осмотрела почти незаметные результаты своих трудов. Когда ее рука оказалась против его губ, Джек поцеловал на лету кончик пальца.

— Глупый! — повторила она, отдернув руку.

— Кончай там,— сказал Рыжий О'Лири,— или я тебе заеду.

— Легче на поворотах,— сказал Джек Конихан.

— Рыжик! — крикнула девушка, но поздно.

Правый кулак О'Лири описал дугу. Он попал Джеку точно в подбородок, и Джек уснул на полу. Рыжий великан круто повернулся на носках и навис надо мной.

— Хочешь что-нибудь сказать? — спросил он.

Я усмехнулся, глядя на Джека, потом Рыжему в лицо.

— Мне стыдно за него,— ответил я.— Если его уложил лопух, который начинает с правой.

— Сам хочешь попробовать?

— Рыжик! Рыжик! — взмолилась девушка, но ее никто не слушал.

— Если начнешь с правой,— сказал я.

— С правой,— пообещал он и начал.

Я щеголевато увел голову от удара и приложил указательный палец к его подбородку.

— А мог бы кулаком,— сказал я.

— Да? На́ тебе кулаком.

Я нырнул под его левую, и его предплечье скользнуло по моему затылку. Заниматься балетом дальше не имело смысла. Пора уже было попробовать, что я сам смогу с ним сделать и смогу ли. Девушка повисла у него на руке.

— Рыжик, милый, неужели тебе не хватит на сегодня драк? Пускай ты ирландец, но хоть раз ты можешь вести себя как разумный человек?

У меня руки чесались заехать этому дроволому, пока его держит подруга.

Он засмеялся, нагнул голову, чтобы поцеловать ее в губы, и ухмыльнулся мне.

— Ничего, как-нибудь еще попробуем,— благодушно пообещал он.

— Надо все-таки выбираться отсюда,— сказал я.— Ты тут устроил базар, оставаться опасно.

— Не огорчай себя, мальчик,— сказал он.— Держись за мой хлястик, и я тебя вытащу.

Дубина. Если бы не мы с Джеком, от него бы и хлястика не осталось.

Мы подкрались к двери, прислушались, ничего не услышали.

— Лестница на третий этаж должна быть ближе к фасаду,— шепнул я.— Попробуем ее найти.

Мы осторожно открыли дверь. Из нашей комнаты в коридор просочилось немного света: похоже было, что там никого нет. Мы, крадучись, пошли по коридору, причем и Рыжий и я держали девушку за руки. Я надеялся, что Джек выпутается благополучно, но пока что он отдыхал, а у меня забот и без него хватало.

Никогда не думал, что в ресторане у Ларoя два километра коридоров. Оказалось — не меньше. Только до лестницы, по которой мы поднялись, пришлось идти не меньше километра. Мы не задержались перед ней, чтобы послушать голоса снизу. Еще через километр О'Лири нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущей на третий этаж.

И тут на верхней площадке прежней лестницы закричали:

— Все наверх — они здесь!

На кричавшего упал белый луч света, и снизу кто-то с ирландским выговором скомандовал:

— Да слазь оттуда, петух полуночный.

— Полиция,— прошептала Нэнси Риган, когда мы уже взбегали по нашей лестнице на третий этаж.

Снова темень не хуже той, из которой мы вылезли. Мы тихо стояли на площадке. Новых спутников у нас, кажется, не появилось.

— На крышу,— сказал я.— Рискнем зажечь спичку.

Слабый огонек осветил нам в углу прибитую к стене лесенку и над ней люк в потолке. Не теряя больше времени, мы вылезли на крышу и закрыли люк.

— Пока все как по маслу,— сказал О'Лири,— а если Вэнсова шпана повозится с легавыми еще минутку — будьте здоровы.

Я повел их по крышам. Спустились метра на три, на крышу соседнего дома, поднялись на следующую и на другом ее краю, над узким двором, который выходил в переулок, нашли пожарную лестницу.

— Годится, по-моему,— сказал я и полез вниз.

За мной стала спускаться девушка, потом О'Лири. Двор был пуст — узкий бетонный проход между домами. Нижняя перекладина лестницы заскрипела под моей тяжестью, однако этот шум никого не привлек. Во дворе было темно, но не совсем.

— На улице разбегаемся,— сказал мне О'Лири, даже не подумав поблагодарить за помощь,— кажется, он так и не понял, что нуждался в ней.— Ты своей дорогой, мы — своей.

— Ага,— согласился я, пытаясь наскоро сварить что-нибудь в котелке.— Сперва разведаю переулок.

Я осторожно прошел в другой конец двора и рискнул высунуть в переулок голову. Там было тихо, но на углу, примерно за четверть квартала, два бездельника бездельничали чересчур настороженно. Это были не полицейские. Я вышел в переулок и поманил их. Они не могли узнать меня на таком расстоянии и при таком свете, и если они были из шайки Вэнса, ничто не мешало им принять меня за своего.

Когда они направились к нам, я отступил во двор и тихо свистнул Рыжему. Он был не из тех, кого надо дважды звать на драку. Он подошел ко мне одновременно с ними. Я занялся одним. Он взялся за другого.

Поскольку мне нужна была кутерьма, я трудился, как вол, чтобы ее добиться. Эти ребята были форменные кролики. Из тонны таких не получится и пяти граммов драки. Мой все никак не мог понять, зачем я с ним так груб. Пистолет у него был, но он умудрился сразу его выронить и пока мы возились, от чьей-то ноги пистолет отлетел в сторону. Он барахтался, а я потел чернилами, пытаясь перекантовать его в нужную позицию. Темнота была мне на руку, но

даже в темноте трудно было изображать борьбу, пока я перемещал его за спину О'Лири, не имевшего никаких хлопот со своим клиентом.

Наконец я добился желаемого. Я был позади О'Лири, который прижал своего к стене одной рукой, а другой — приготовился еще разок ему вмазать. Левой рукой я заломил своему человеку кисть, поставил его на колени, потом вынул револьвер и выстрелил О'Лири в спину, под правое плечо.

О'Лири качнулся, придавив своего партнера к стене, а я своего ударил по темени рукояткой револьвера.

— Он попал в тебя, Рыжий? — спросил я, поддерживая его, и приласкал по голове его пленника.

— Да.

— Нэнси! — позвал я.

Она подбежала.

— Возьмите его под ту руку. Держись, Рыжий, мы оторвемся.

Свежая рана не дала еще толком себя почувствовать, но правая рука у него не действовала. Мы побежали к углу. За нами погнались раньше, чем мы туда прибежали. На улице к нам поворачивались удивленные лица. Полицейский, стоявший за квартал от нас, направился в нашу сторону. Поддерживая О'Лири с обеих сторон, мы отбежали от него еще на полквартала — туда, где осталась машина, на которой мы приехали с Джеком. Пока я заводил мотор, а Нэнси устраивала Рыжего на заднем сиденье, улица оживилась. Полицейский закричал нам вслед и выстрелил в воздух.

Куда ехать, я пока не знал и поэтому, оторвавшись от погони, сбавил скорость, попетлял по городу еще немного и остановился на темной улице за Ван-Несс-авеню.

Я обернулся: О'Лири обмяк в углу, а Нэнси его подпирала.

— Куда? — спросил я.

— В больницу, к врачу, куда-нибудь! — закричала девушка.— Он умирает!

Я ей не поверил. А если и вправду умирает — сам виноват. Если бы он был благодарным человеком и взял меня с собой как друга, мне не пришлось бы его дырявить, чтобы сопровождать потом в качестве санитара.

— Куда, Рыжий? — спросил я, постучав его по колену пальцем.

Сиплым голосом он назвал мне гостиницу на Стоктон-стрит.

— Не годится,— возразил я.— Весь город знает, что ты там; вернешься — тебе крышка. Куда?

— В гостиницу,— уперся он.

Я вылез из-за руля, встал коленями на сиденье, перегнулся через спинку и начал его обрабатывать. Он был слаб. Сопротивляться долго он не мог. Ломать человека, который и в самом деле, может быть, умирает, неблагородно, но очень уж много хлопот я взял на себя из-за этого фрукта, чтобы попасть к его друзьям, и бросать дело на половине не собирался. Поначалу было похоже, что он недостаточно размяк и придется еще разок его продырявить. Но девушка приняла мою сторону, и вдвоем мы убедили его, что единственный надежный выход — ехать туда, где его спрячут и где за ним будет уход. И даже не так убедили, как просто замучили — сдался он потому, что ослаб и больше не мог спорить. Он дал мне адрес возле Холлипарка.

Надеясь на лучшее, я повел машину туда.

Дом был маленький, в ряду других маленьких домов. Мы извлекли О'Лири из машины и, поддерживая с обеих сторон, повели к двери. Даже с нашей помощью он дошел еле-еле. На улице было темно. В доме свет не горел. Я позвонил.

Никакого ответа. Я позвонил опять, потом еще раз.

— Кто там? — спросил грубый голос.

— Рыжего ранили,— сказал я.

Тишина. Потом дверь слегка приоткрылась. Изнутри дома в прихожую падал свет — достаточно света, чтобы узнать плоское лицо и мускулистые челюсти головолома — телохранителя, а затем палача Мацы.

— Какого черта надо? — спросил он.

— На Рыжего напали. Он ранен,— объяснил я, выдвигая обмякшего великана вперед.

Но приютить нас не торопились. Горилла держал дверь по-прежнему.

— Подождите,— сказал он и захлопнул ее у нас перед носом. Внутри раздался его голос: «Флора».

Все правильно — Рыжий привел меня куда надо.

Дверь снова открылась — на этот раз настежь, и мы вместе с Нэнси Риган ввели раненого в прихожую. Рядом с гориллой стояла женщина в черном шелковом платье с глубоким вырезом — Большая Флора, решил я.

На каблуках ей чуть-чуть не хватало росту до метра восьмидесяти, но я заметил, что туфли на ней маленькие и руки без колец — тоже маленькие. Остальные части маленькими не были. Широкие плечи, могучая грудь, толстые бицепсы и шея, при всей ее розовой гладкости напоминавшая шею борца. Моих лет — под сорок; очень курчавые коротко остриженные волосы соломенного цвета, очень розовая кожа и красивое, но грубое лицо. У нее были серые глубоко посаженные глаза и толстые, но хорошей формы губы; широковатый, чуть загнутый нос производил впечатление силы, и основательный подбородок этого впечатления отнюдь не портил. От лба до горла под розовой кожей все было простелено ровными плотными тугими мышцами.

Я понял, что с Флорой шутки плохи. Судя по внешности и повадкам этой женщины, она вполне могла организовать и налет и последующую раздачу призов. Если лицо и тело не врали, у нее для этого вполне хватило бы сил — и физических, и ума, и воли — и еще остались бы лишние. Стоявший рядом с ней громила и рыжий великан, которого подпирал я, были сделаны из материала пожиже.

— Ну? — спросила она, когда за нами закрылась дверь. Голос у нее был низкий, но не мужской. Он вполне отвечал ее внешности.

— Вэнс со своей кодлой прихватили его у Лароя. У него пуля в спине,— сказал я.

— А ты кто?

— Уложите его.— Я тянул время.— У нас вся ночь для разговоров.

Она повернулась и щелкнула пальцами. Из двери в тыльной стороне вынырнул потертый старичок. В карих глазах его застыл испуг.

— Живо наверх,— приказала она.— Постели кровать, принеси горячей воды и полотенца.

Старичок запрыгал вверх по лестнице, как ревматический заяц.

Гориллообразный сменил Нэнси возле Рыжего, и вдвоем мы втащили великана в комнату наверху, где старичок суетился с тазами и тряпками. За нами поднялись Флора и Нэнси Риган. Мы положили раненого ничком на кровать и раздели. Из раны еще текла кровь. Он был без сознания.

Нэнси Риган зашлась.

— Он умирает! Врача! Рыжик, дорогой мой...

— Замолчи! — сказала Большая Флора.— Поделом ему, идиоту— поперся к Ларою! — Она схватила старичка за плечо и отшвырнула к двери.— Еще воды,— крикнула она ему вслед.— Окунь, дай мне свой нож.

Гориллообразный вынул из кармана пружинный нож с точеным-

переточенным узким и тонким лезвием. Этот нож, подумал я, перерезал горло Мацы.

Флора вырезала им пулю из спины О'Лири.

Пока шла операция, Окунь не выпускал Нэнси Риган из угла комнаты. Напуганный старичок стоял на коленях возле кровати, подавал Флоре то, что она просила, промокал кровь из раны.

Я стоял рядом с Флорой и раскуривал сигареты из пачки, которую она мне дала. Она поднимала руку, я вынимал сигарету из своего рта и вставлял ей. Она делала затяжку, сразу на полсигареты, и кивала. Я вынимал сигарету у нее изо рта. Она выпускала дым и снова наклонялась к раненому. Я прикуривал от окурка новую и ждал ее сигнала.

Ее голые руки были по локоть в крови. По лицу тек пот. Все это напоминало бойню и длилось довольно долго. Но когда она выпрямилась, чтобы затянуться в последний раз, пуля из Рыжего была вынута, кровь остановлена и сам он перевязан.

— Ну, слава богу, все,— сказал я, закуривая теперь уже свою сигарету.— Они у тебя с торфом, что ли?

Испуганный старичок занялся уборкой. Нэнси Риган потеряла сознание в кресле, и никто не обращал на нее внимания.

— Окунь, присмотри за этим гостем,— сказала Флора, кивнув на меня,— я помоюсь.

Я подошел к девушке, потер ей руки, плеснул воды в лицо, и она очнулась.

— Пулю вынули. Рыжий спит. Через недельку опять полезет в драку,— сказал я ей.

Нэнси вскочила и подбежала к кровати.

Вошла Флора. Она умылась и переменила измазанное кровью черное платье на зеленое кимоно, из-под которого там и сям выглядывали крупные части в сиреневом белье. Она встала передо мной и скомандовала:

— Говори: кто, откуда, зачем?

— Я Перси Магуайр,— сказал я, словно это только что выдуманное имя все объясняло.

— Это — «кто»,— сказала она так, словно мое липовое имя ничего не объясняло.— А теперь — откуда?

Гориллообразный Окунь стоял сбоку, оглядывая меня с головы до пят. Я коренаст и грузноват. Дети от моего лица не разбегаются, но на нем более или менее правдиво запечатлелась жизнь, не перегруженная утонченностью и этикетом. Сегодняшние развлечения украсили меня синяками и царапинами, оставили след на том, что сохранилось на мне из одежды.

— Персик,— откликнулся горилла, ощерив редкие желтые зубы.— У тебя папа с мамой цветов не разбирали!

— Это тебе и «откуда» и «зачем»,— настаивал я, не обращая внимания на шутки из зоопарка.— Я Перси Магуайр, и мне нужны мои полтораста тысяч долларов.

Толстые брови ее сползли на глаза.

— Тебе причитается полтораста тысяч, да?

— Ага, — ответил я.— За ними и пришел.

— Ах, ты не получил? Ты хочешь получить?

— Слушай, сестренка, гони мои деньги.— Чтобы спектакль удался, вести себя надо было без церемоний.— А от этих «ах, ты получил», «ах, ты не получил» мне только пить охота. Банк мы взяли, поняла? Потом вижу, деньги наши накрылись, и говорю своему корешу: «Ничего, мы с них стребуем. Держись за Перси, и все». Потом ко мне подваливает Вэнс и говорит: «Давай с нами», я говорю: «Ладно» — и мы с корешом идем с ними и сегодня вечером встречаем Рыжего в шалмане. Тогда я говорю корешу: «Эти костогрызы кончат Рыжего, и мы ничего не получим. Мы его у них отнимем и заставим

отвести туда, где Флора сидит на деньгах. Теперь там будет по полтораста тысяч на брата — делить-то осталось почти не с кем. А когда получим, охота будет Рыжего убрать — никто не мешает. Только дело сперва, удовольствия после, а полтораста тысяч — это дело». Сказано — сделано. Мы выручили большого, когда на него насели. Кореш по дороге залип на девушке, получил в зубы и лег спать. Мое дело маленькое. Если она ему дороже, чем полтораста тысяч,— на здоровье. Я пошел с Рыжим. Я вытащил его, когда он поймал пулю. Вообще-то мне и кореша доля полагается — это триста тысяч,— но дай мне полтораста, как я хотел сначала, и мы в расчете.

Я думал, что этот номер у меня пройдет. Что она выдаст деньги, я, конечно, не надеялся, но если рядовые в банде не знают этих людей, с чего бы этим людям знать каждого бандита?

Флора сказала Окуню:

— Убери его телегу от подъезда.

Когда он вышел, мне стало легче. Если бы она хотела разделаться со мной сразу, она бы не послала его отгонять машину.

— Пожрать у вас есть? — сказал я, располагаясь, как дома.

Она подошла к лестнице и крикнула наверх:

— Принеси нам поесть.

Рыжий лежал без сознания. Нэнси Риган сидела рядом с ним, держала его за руку. В лице у нее не было ни кровинки. В комнату снова вошла Флора, посмотрела на раненого, приложила ладонь к его лбу, пощупала пульс.

— Пойдем вниз,— сказала она.

— Я... я лучше тут останусь, если можно,— сказала Нэнси Риган. В глазах и голосе ее был ужас перед Флорой.

Большая женщина, ничего не сказав, пошла вниз. Я спустился за ней в кухню, где старичок жарил на плите яичницу с ветчиной. Я заметил, что окна и черный ход забиты толстыми досками, которые связаны вдобавок брусьями, приколоченными к полу. Часы над раковиной показывали 2.50 ночи.

Флора принесла бутылку и налила себе и мне. Пока мы ждали за столом еду, она ругала на чем свет стоит Рыжего О'Лири и Нэнси Риган — он выбыл из игры, потому что пошел к ней на свидание, как раз когда его сила тут больше всего нужна. Она ругала их и по отдельности и парой, и даже расширительно, затрагивая всю ирландскую нацию,— но тут старичок принес нам яичницу с ветчиной.

Когда мы покончили с едой и размешивали самогон уже во второй чашке кофе, вернулся Окунь. С новостями.

— На углу торчит парочка рож, и они мне не нравятся.

— Легавые или?..— спросила Флора.

— Или,— сказал он.

Флора снова стала проклинать Рыжего и Нэнси, но на эту тему добавить было почти нечего. Она повернулась ко мне.

— Какого лешего ты их приволок? — спросила она.— С хвостом в километр длиной! Пусть бы подох там, где получил, идиот!

— Я приволок его сюда за сто пятьдесят тысяч. Отначишь мне, и я смываюсь. Ты мне больше ничего не должна. Я тебе ничего не должен. Чем языком молоть, гони бабки, и я отваливаю.

— Сейчас, как же,— сказал Окунь.

Женщина посмотрела на меня из-под нахмуренных бровей и отпила кофе.

Через пятнадцать минут в кухню вбежал обтрепанный старичок и сказал, что слышит шаги на крыше. Его выцветшие карие глаза затянула коровья поволока страха, сморщенные губы кривились под взлохмаченными желто-седыми усами.

Флора высыпала на него пригоршню похабных существительных и прилагательных и прогнала наверх. Она встала из-за стола и потуже запахнула на себе зеленое кимоно.

— Ты здесь,— сказала она мне,— и отбиваться будешь с нами. У тебя нет выхода. Пушка есть?

Я признал, что револьвер есть, но в ответ на остальное помотал головой.

— Не моя вахта — пока что,— сказал я.— Чтобы нанять Перси, надо полтораста тысяч, мелкими бумажками, на руки.

Я хотел узнать, здесь ли спрятана добыча.

С лестницы донесся слезливый голос Нэнси Риган:

— Нет, нет, милый! Прошу тебя, прошу тебя, ляг в постель! Рыжик, ты себя погубишь!

В кухню вошел Рыжий О'Лири. На нем были только серые штаны и повязка. Глаза горели лихорадочным счастьем. Пересохшие губы улыбались. В левой руке у него был пистолет. Правая висела бесполезно. За ним семенила Нэнси. Она перестала причитать и сжалась позади него, увидев Большую Флору.

— Дайте гонг, и начинаем.— Полуголый великан захохотал.— Вэнс на нашей улице.

Флора подошла к нему, взяла пальцами его запястье, подержала секунды три и кивнула.

— Полоумный сукин сын,— больше всего в ее голосе было, пожалуй, материнской гордости.— Ты уже сейчас годишься для драки. И очень кстати — будет тебе драка.

Рыжий засмеялся — засмеялся торжествующе, хвастаясь своей крепостью,— и тут его глаза обратились ко мне. Смех из них исчез, и они недоуменно сощурились.

— А-а, ты? — сказал он.— Ты мне снился, не помню только где. Где же... Погоди. Сейчас вспомню. А-а вот... Черт! Снилось, что это ты в меня стрелял!

Флора улыбнулась мне — в первый раз я увидел у нее улыбку — и быстро сказала:

— Окунь, возьми его!

Извернувшись, я наискось выскочил из кресла. Кулак Окуня ударил меня в висок. Ловя ногами пол, я отлетел в другой конец комнаты и вспомнил синяк на виске мертвого Мацы.

Стена остановила меня, и тут же навалился Окунь.

Я ударил его кулаком в плоский нос. Брызнула кровь, но его волосатые лапы меня не выпустили. Я прижал подбородок к груди и ударил его головой в лицо. На меня пахнуло духами Большой Флоры. По мне скользнуло ее шелковое кимоно. Обеими руками схватив меня за волосы, она отогнула мне голову — открыла мою шею для Окуня. Он сжал ее лапами. Я затих. Он душил не сильнее, чем было нужно, но этого хватало.

Флора обыскала меня — револьвер, дубинка.

— Револьвер 9,65,— объявила она.— Рыжий, я вынула из тебя револьверную пулю 9,65.— Ее слова едва доносились до меня сквозь рев в ушах.

В кухне тараторил голос старичка. Я не мог разобрать, что он говорит. Руки Окуня отпустили меня. Я сам схватил себя за горло. Невыносимо было, когда его не сдавливали. Чернота медленно уплыла из моих глаз, оставив много пурпурных облачков, плававших и плававших по кругу. Наконец я сумел сесть на полу. И только тогда понял, что лежал на нем.

Пурпурные облачка съеживались, и я уже видел между ними, что нас в комнате трое. В углу свесилась в кресле Нэнси Риган. В другом кресле, у двери, с черным пистолетом в руке сидел испуганный старичок. В глазах у него был отчаянный страх. Наведенный на меня пистолет трясся вместе с рукой. Я хотел сказать, чтобы он

либо перестал трястись, либо отвел пистолет, но еще не мог выдавить ни слова.

Наверху прогремели выстрелы, их грохот наполнил тесный дом.

Старичок вздрогнул.

— Выпустите меня,— вдруг прошептал он,— и я вам все отдам. Отдам! Все... если выпустите меня из этого дома!

Слабый лучик света там, где не было и проблеска, вернул мне голосовые способности.

— Ближе к делу,— выдавил я.

— Я отдам вам этих, наверху... эту дьяволицу. Я отдам вам деньги, я отдам вам все — если выпустите. Я старый. Я больной. Я не могу жить в тюрьме. Что у меня общего с грабежами? Ничего. Разве я виноват, что дьяволица?.. Вы же сами видели. Я раб... а мне жить осталось всего ничего. Надругательства, брань, побои... и этого мало. Теперь я попаду в тюрьму, потому что эта дьяволица — настоящая дьяволица. Я старик, я не могу жить в тюрьмах... Выпустите меня. Сделайте доброе дело. Я отдам вам дьяволицу... и этих дьяволов... награбленные деньги. Обещаю вам! — И это говорил насмерть перепуганный старичок, ерзавший и корчащийся в кресле.

— Как я тебя выпущу? — Я поднялся, не сводя глаз с его дула. Добраться бы до него, пока разговариваем.

— Как «как»? Вы друг полицейских, я знаю. Полицейские уже здесь — ждут рассвета, чтобы войти в дом. Я своими старыми глазами видел, как они забрали Бритву Вэнса. Вы можете провести меня мимо ваших друзей, полицейских. Сделайте как я прошу, а я отдам вам этих дьяволов и их деньги.

— Предложение хорошее,— ответил я, беспечно шагнув к нему.— Но могу я просто выйти отсюда, когда захочу?

— Нет! Нет! — сказал он, не обратив внимания на то, что я сделал к нему еще шаг.— Сперва я отдам вам трех дьяволов. Я отдам вам их живыми, но бессильными. И их деньги. Обещаю — и тогда вы выпустите меня... и эту девушку.— Он вдруг кивнул на Нэнси, чье белое лицо, все еще хорошенькое, несмотря на ужас, почти целиком превратилось в огромные глаза.— Она тоже неповинна в преступлениях этих дьяволов. Она должна уйти со мной.

Интересно, подумал я, что этот старый заяц о себе возомнил? Я нахмурился с преувеличенной задумчивостью, а тем временем сделал еще один шаг.

— Не сомневайтесь,— убежденно прошептал он.— Когда дьяволица вернется в эту комнату, вы умрете — она вас обязательно убьет.

Еще три шага — и я доберусь до него и до его пистолета.

В коридоре раздались шаги. Поздно прыгать.

— Да? — в отчаянии прошептал он.

За какую-то долю секунды до того, как вошла Большая Флора, я кивнул.

Она переоделась перед боем в синие брюки — возможно Окуня,— расшитые бисером мокасины, шелковую кофточку. Курчавые соломенные волосы, чтобы не мешались, она стянула лентой. В руке у нее был револьвер, и еще по одному — в карманах брюк.

Тот, что в руке, поднялся,

— Тебе конец,— сказала она деловито.

Мой новый союзник заныл:

— Подожди, подожди, Флора! Не здесь же, прошу тебя! Дай я отведу его в подвал.

Она нахмурилась, пожала шелковыми плечами.

— Только быстро,— сказала она.— Через полчаса рассветет.

Я бы засмеялся над ними, если бы не так хотелось плакать. Я должен верить, что этот старый заяц заставил ее переменить планы?

Видимо, я отчасти надеялся на помощь старика, иначе не был бы так разочарован этой маленькой комедией, показавшей мне, что они просто устроили западню. Но в какую бы дыру меня ни заманивали, едва ли она будет хуже той, в какой я нахожусь.

И я вышел впереди старичка в коридор, открыл дверь, которую он мне показал, включил свет в цокольном этаже и стал спускаться по неровным ступенькам. Он шептал у меня за спиной:

— Сперва я покажу вам деньги, потом отдам вам этих дьяволов. А вы не забудете ваше обещание? Мы с девушкой пройдем через полицейских?

— Ну да,— успокоил я хрыча.

Он нагнал меня, сунул мне в руку пистолет.

— Спрячьте его,— шепнул он, и когда я засунул пистолет в карман, дал еще один, вынув, как и первый, из-под пиджака.

А потом он и в самом деле показал мне добычу. Деньги еще лежали в ящиках и мешках, как их вынесли из банков. Он захотел открыть несколько штук и показал мне деньги — зеленые пачки, обклеенные желтой банковской лентой. Ящики и мешки хранились в маленьком кирпичном чулане с висячим замком на двери, и ключ был у него.

Когда мы кончили осмотр, он закрыл дверь, но не запер и повел меня назад, ко входу.

— Это, как видите, деньги,— сказал он.— Теперь насчет них. Вы станете здесь, спрячетесь за этими ящиками.

Перегородка делила подвал надвое. В ней была дверная коробка, но без двери. Старик велел мне спрятаться около этого проема, между перегородкой и четырьмя ящиками. Стоя там, я оказывался чуть сзади и справа от того, кто спускался по лестнице и шел через подвал к чулану с деньгами. Оказывался я в этой позиции тогда, когда человек проходил через проем в перегородке.

Старик возился за каким-то ящиком. Он достал полуметровый обрезок свинцовой трубы, одетый в черный садовый шланг. Он дал мне его и все объяснил:

— Они будут приходить сюда по одному. Когда войдут в эту дверь, вы знаете, что надо делать. И тогда они ваши, а мне вы дали обещание. Так или нет?

— Ну да,— ответил я, теряя уже всякое соображение.

Он ушел наверх. Я пригнулся за ящиками, осмотрел пистолеты, которые он мне дал, и будь я проклят, если обнаружил в них хоть один изъян. Оба были заряжены и с виду исправны. Этот последний штрих окончательно сбил меня с толку. Я уже не понимал, в подвале стою или летаю на аэростате.

Когда в подвал вошел О'Лири, по-прежнему только в брюках и повязке, мне пришлось сильно тряхнуть головой, чтобы прийти в себя; я ударил его трубой по затылку, едва его босая нога переступила порог. Он растянулся ничком.

Старик сбежал по ступенькам, не переставая улыбаться.

— Торопитесь! Торопитесь! — пропыхтел он, помогая мне тащить Рыжего в чулан с деньгами. Потом он достал два куска веревки и связал великана по рукам и ногам. — Торопитесь! — пропыхтел он еще раз и убежал наверх, а я вернулся в засаду и помахал трубой, размышляя, что если Флора меня застрелила, то сейчас я просто получаю вознаграждение за свою добродетель — в раю, где я буду вечно радоваться, глуша тех, кто плохо обходился со мной внизу.

Спустился горилла-головолом, подошел к двери. Сам получил по голове. Прибежал старичок. Мы отволокли Окуня в чулан, связали.

— Торопитесь! — пропыхтел старый хрыч, приплясывая от возбуждения.— Теперь эта дьяволица — бейте сильнее!— Он убежал наверх и зашлепал ногами где-то у меня над головой.

Я чуть отодвинул в сторону недоумение, расчистив место для хотя бы маленькой работы ума. Эта ерунда, которой мы занялись, ни

на что не похожа. Этого просто не может быть. В жизни так ничего не делается. Ты не стоишь в углах, не глушишь людей одного за другим, как машина, покуда старый сморчок подает их тебе в дверь. Бред собачий! С меня хватит!

Я прошел мимо своей засады, положил трубу и нашел себе другое местечко, под какими-то полками, около лестницы. И присел там на корточки, с пистолетами в обеих руках. В этой игре что-то нечисто... должно быть нечисто. За болвана я больше сидеть не буду.

По лестнице спустилась Флора. Старичок трусил за ней.

Она держала два пистолета. Ее серые глаза рыскали повсюду. Она пригнула голову, как зверь, выходящий на драку. Ноздри у нее трепетали. Она спускалась не быстро и не медленно, и все движения ее тела были точны, как у танцовщицы. Сто лет проживу, не забуду, как спускалась по нетесаным ступенькам эта статная свирепая женщина.

Она увидела меня, когда я поднялся.

— Брось оружие! — сказал я, уже зная, что она не бросит.

В тот миг, когда она навела на меня левый пистолет, старик выхватил из рукава квелую дубинку и ударил ее в висок. Я прыгнул и подхватил Флору, не дав удариться о цемент.

— Вот видите! — радостно сказал старичок.— Деньги — у вас, и они — ваши. А теперь выпустите меня и девушку.

— Сперва уложим ее с остальными,— сказал я.

Он помог мне перетащить Флору, и я велел ему запереть дверь чулана. Он запер, я отобрал ключ одной рукой, а другой взял его за горло. Он извивался, как змея, пока я обшаривал его, вынимал кистенек и пистолет и ощупывал пояс с деньгами.

— Сними его,— приказал я.— С собой ты ничего не унесешь.

Руки его повозились с пряжкой, вытащили пояс из-под одежды, бросили на пол. Набит он был туго.

Держа старика за шею, я отвел его наверх, в кухню, где, застыв, сидела девушка. При помощи основательной порции чистого виски и множества слов мне удалось растопить ее, и в конце концов она поняла, что выйдет отсюда со стариком, но никому не должна говорить ни слова, в особенности полицейским.

— Где Рыжик? — спросила она, когда на лицо ее вернулись краски — хотя хорошеньким оно оставалось и без них,— а в глазах появился проблеск мысли.

Я ответил, что он на месте, и пообещал ей, что к утру он будет в больнице. Остальное ее не интересовало. Я прогнал ее наверх за пальто и шляпой, сходил вместе со старичком за его шляпой, а потом отвел их обоих в комнату на нижнем этаже.

— Сидите здесь, пока не приду за вами,— сказал я, запер их и положил ключ в карман.

Парадная дверь и окно на нижнем этаже были забраны досками и брусьями так же, как задние. Я не рискнул их открывать, хотя уже светало. Я поднялся наверх, соорудил из наволочки и кроватной планки белый флаг, высунул в окно и, когда чей-то бас сказал мне: «Ладно, давай говори», высунулся сам и сказал полицейским, что сейчас их впущу. Чтобы открыть парадную дверь, я минут пять работал топориком. Когда дверь открылась, на ступеньках и тротуаре стояли начальник полиции, капитан из уголовного розыска и половина личного состава полиции. Я отвел их в подвал и выдал им Большую Флору, Окуня и Рыжего О'Лири вместе с деньгами. Флора и Окунь очнулись, но не разговаривали.

Пока сановники толпились вокруг добычи, я ушел наверх. Дом наполнили полицейские сыщики. Я здоровался с ними по дороге к комнате, где оставил Нэнси Риган и старика. Лейтенант Дафф возился с запертой дверью, а Хант и О'Гар стояли у него за спиной.

Я улыбнулся Даффу и отдал ключ.

Он открыл дверь, посмотрел на старика и девушку — больше на девушку,— потом на меня. Они стояли посреди комнаты. Выцветшие глаза старика смотрели жалко и вопросительно, а голубые глаза девушки потемнели от тревоги. Тревога ничуть не повредила ее красоте.

— Если это ваше — вы не зря заперли на замок,— шепнул О'Гар мне на ухо.

— А теперь можете бежать,— сказал я им.— Отоспитесь как следует, на работу явитесь завтра.

Они кивнули и вышли из дома.

— Вот как у вас в агентстве поддерживают равновесие? — сказал Дафф.— На каждого урода служащего по красавице?

В коридоре появился Дик Фоули.

— Что у тебя? — спросил я.

— Финиш. Анжела привела меня к Вэнсу. Он привел сюда. Я привел полицейских. Его взяли... Ее взяли.

На улице грохнули два выстрела. Мы подошли к двери и увидели какую-то возню в полицейской машине. Мы подошли к ней. Бритва Вэнс в наручниках корчился в кабине, сползая на пол.

— Мы держали его в машине, Хьюстон и я,— объяснил Даффу агент в штатском, человек с жестким ртом.— Он хотел бежать, схватил револьвер Хьюстона обеими руками. Мне пришлось стрелять... два раза. Капитан нам голову оторвет! Ей-богу, я бы не стал стрелять, но тут — либо он, либо Хьюстон!

Дафф обозвал агента ирландской дубиной и помог ему поднять Вэнса на сиденье. Полные боли глаза Вэнса остановились на мне.

— Я... тебя... знаю? — выдавил он.— «Континентал»... Нью-Йорк?

— Да.

— Не мог... вспомнить... у Ларoя... с Рыжим?

— Да,— сказал я.— Взяли Рыжего, Флору, Окуня и деньги.

— А Папа... до... пуло... са... нет.

— Папа до чего?— переспросил я, и спина у меня похолодела.

Он приподнялся на сиденье.

— Пападопулос,— выговорил он из последних сил.— Хотел... пристрелить его... уходит с девушкой... легавый... поспешил... жалко...

Слова в нем кончились. Он содрогнулся. Смерть уже стояла в его зрачках. Врач в белом хотел протиснуться мимо меня в машину. Я оттолкнул его и нагнувшись схватил Вэнса за плечи. Затылок у меня оледенел. В животе было пусто.

— Слушай, Вэнс,— крикнул я ему в лицо.— Пападопулос? Старичок? Мозги шайки?

— Да,— сказал Вэнс, и последняя капля крови вышла из него с этим словом.

Я уронил его на сиденье и отошел.

Конечно! Как же я не сообразил? Старый мерзавец — если бы не он, при всем его испуге, был главной пружиной, смог бы он так ловко сдать мне остальных, по одному? Их загнали в угол. Либо погибнуть в перестрелке, либо сдаться и кончить на виселице. Ничего другого им не оставалось. Полиция схватила Вэнса — он мог сказать и наверняка сказал бы, что Пападопулос был атаманом, и ни возраст, ни хилость, ни маска прислужника не помогли бы старому хрычу выкрутиться на суде.

А я? Мне тоже ничего не оставалось, как принять его условия. Иначе — конец. Я был воском в его руках, его сообщники были воском. Он списал их так же, как они помогли ему списать других, а я его отпустил на все четыре стороны.

Теперь я могу искать его, могу перевернуть город вверх дном — я обещал только выпустить его из дома,— но...

Что за жизнь!

106 тысяч за голову

— Я Том-Том Кери,— с растяжкой сказал он.

Я кивнул на кресло возле моего письменного стола и, пока он подходил, прикинул, с кем имею дело. Высокий, широкоплечий, широкогрудый, узкий в поясе, он весил, пожалуй, килограммов восемьдесят пять. Смуглое лицо его было твердым, как кулак, но ничто в нем не говорило о дурном характере. Синий костюм на нем был хороший и сидел хорошо.

Усевшись, он завернул в коричневую папиросную бумагу заряд табака и объяснил:

— Я брат Пэдди Мексиканца.

Я решил, что это, возможно, правда. По масти и повадкам Пэдди был похож на гостя.

— Значит, ваша настоящая фамилия — Каррера,— обронил я.

— Да,— он раскурил самокрутку.— Альфредо Эстанислао Кристобаль Каррера, если желаете подробнее.

Я спросил его, как писать «Эстанислао», записал на листке, добавив: «Он же Том-Том Кери», вызвал Томми Хауда и попросил, чтобы в архиве посмотрели, нет ли у нас чего на эту фамилию. Томми ушел с листком, а смуглый человек с растяжкой проговорил в дыму:

— Пока ваши люди раскапывают могилы, я объясню, зачем пришел.

— Нескладно как Пэдди погиб,— сказал я.

— Такие доверчивые долго не живут,— объяснил его брат.— Но такой уж он был человек... последний раз я видел его четыре года назад, тут, в Сан-Франциско. Я тогда вернулся из экспедиции в... неважно куда. Короче, я сидел на мели. Вместо жемчуга привез из поездки только пулевой шрам на бедре. А Пэдди был жирный, только что нагрел кого-то на пятнадцать тысяч. В тот день, когда мы встретились, он собирался на свидание и опасался тащить с собой такие деньги. И вот дает мне пятнадцать тысяч и просит подержать до ночи.

Том-Том Кери выдул дым и мягко улыбнулся, мимо меня, своим воспоминаниям.

— Такой уж он был человек. Верил даже родному брату. А я в тот же день уехал в Сакраменто, оттуда — поездом на восток. Одна девочка в Питсбурге помогла мне истратить эти пятнадцать тысяч. Лорел ее звали. Любила запивать ржаное виски молоком. И я с ней пил, покуда внутри у меня все не свернулось — на творог с тех пор смотреть не могу. Так, значит, за голову этого Пападопулоса назначили сто тысяч?

— И шесть. Страховые компании предложили сто тысяч, ассоциация банкиров — пять и город — тысячу.

Том-Том Кери бросил окурок самокрутки в плевательницу и начал монтировать новую.

— А если я вам его доставлю? — спросил он.— Куда и куда разойдутся деньги?

— Здесь они не застрянут,— уверил я его.— Сыскное агентство «Континентал» наградных не берет и служащим брать не позволяет. Если полиция примет участие, они захотят долю.

— Но если нет, все — мои?

— Если возьмете его без посторонней помощи или только с нашей помощью.

— Возьму.— Он сказал это небрежно.— Так, с арестом ясно. Теперь насчет суда. Если его возьмут, это точно, что он там не отмотается?

— Должно-то быть точно, но он ведь предстанет перед присяжными, а тут все может случиться.

Мускулистая коричневая рука с коричневой сигаретой ответила на это беспечным жестом.

— Тогда, пожалуй, надо получить у него признание до того, как я его притащу,— предложил он не задумываясь.

— Так будет надежнее,— согласился я.— Вам стоило бы опустить кобуру сантиметров на пять. А то рукоять очень высоко. Выпирает, когда садитесь.

— Ага. Вы — про тот, что под левой рукой. Снял его с одного человека, когда свой потерял. Ремень коротковат. Сегодня достану другой.

Вошел Томми с папкой: «Кери, Том-Том, 1361-К». Там были газетные вырезки, самые старые — десятилетней давности, самые свежие — восьмимесячной. Я прочел их, передавая по одной смуглому человеку. Тома-Тома Кери описывали как наемника, торговца оружием, браконьера по тюленям, контрабандиста и пирата. Но все это только предполагалось, допускалось и подозревалось. Его многократно задерживали, но ни по одному делу не осудили.

— Они ко мне несправедливы,— мирно пожаловался он, закончив чтение.— Например, что украл китайскую канонерку — так это не я виноват. Меня же вынудили — меня на пулю взяли. Товар к себе погрузили, а платить не хотят. Я же не мог один выгрузить. Пришлось и канонерку взять, и все. А страховым компаниям этот Пападопулос, видно, очень нужен, если назначили сто тысяч.

— За такую поимку — недорого,— ответил я.— Может быть, газеты на него лишних собак навешали, но хватит и того, что есть на самом деле. Он собрал тут целую армию бандитов, захватил квартал в финансовом центре, ограбил два самых больших банка, отбился от всей городской полиции, ушел, потом улизнул от армии, с одними своими помощниками перебил других помощников — вот тут и вашему брату Пэдди досталось,— потом с помощью Окуня Рива, Большой Флоры Брейс и Рыжего О'Лири убрал остальных помощников. И, учтите, это были не школьники, это были тертые ребята, вроде Бритвы Вэнса, Дрожащего Мальчика и Котелка Маклоклина — молодцы, которые знали, что к чему.

— Угу.— Кери остался невозмутим.— А все-таки дело накрылось. Деньги вы отобрали, а сам он едва ноги унес.

— Ему не повезло,— объяснил я.— Выломился Рыжий О'Лири со своей любовью и фанаберией. Тут Пападопулос не виноват. Не думайте, что он дальше пяти не умеет считать. Он опасный человек, и страховые компании не зря решили, что будут спать спокойнее, если его поместят туда, где он не сможет устраивать пакости застраховавшимся у них банкам.

— Не очень много знаете об этом Пападопулосе, да?

— Да.— Я сказал правду.— И никто не знает. Эти сто тысяч сделали из половины воров в стране осведомителей. Они гоняются за ним не хуже, чем мы,— не только из-за денег, а из-за того надувательства. И знают о нем так же мало, как мы,— что он приложил руку еще к десятку дел, что он стоял за аферой Бритвы Вэнса с облигациями и что его враги имеют обыкновение умирать молодыми. Но никто не знает, откуда он взялся и где живет — когда живет дома. Не думайте, что я подаю его как Наполеона или какого-то стратега из воскресных приложений, но это хитрый, изобретательный старикан. Вы правильно сказали, я мало о нем знаю, но на свете много людей, о которых я мало знаю.

Том-Том Кери кивнул, показывая, что понял последнюю фразу, и стал сворачивать третью самокрутку.

— Когда я был в Ногалесе, Анжела Грейс Кардиган передала мне, что Пэдди убили,— сказал он.— Это было с месяц назад. Она, наверное, думала, что я сразу понесусь сюда, а мне что, больше всех надо? Не к спеху. Но на прошлой неделе я прочел в газете, что за этого человека, который, она сказала, виноват в смерти Пэдди, назначена награда. А это уже разница — в сто тысяч разница. И вот я

мотнул сюда, поговорил с ней, а потом к вам пришел — узнать, не встанет ли кто между мной и деньгами, когда я зааркаю вашего Папу-до-полу.

— Вас ко мне послала Анжела Грейс?— спросил я.

— Угу... только она этого не знает. Она помянула вас, когда рассказывала — сказала, что вы приятель Пэдди и хороший человек, хоть и сыщик, что спите и видите, как бы поймать Папу-до-полу. Я подумал: он-то мне и нужен.

— Когда вы уехали из Ногалеса?

— Во вторник на прошлой неделе.

— Это значит,— сказал я, покопавшись в памяти,— на другой день после того, как за границей убили Ньюхолла.

Смуглый человек кивнул. В лице его ничто не изменилось.

— Это случилось далеко от Ногалеса?— спросил я.

— Его застрелили около Окитоа, километрах в ста к юго-западу от Ногалеса. Интересуетесь?

— Нет... просто подумал, что вы уехали оттуда, где его убили, на другой день и приехали туда, где он жил. Вы его знали?

— Мне показали его в Ногалесе: миллионер из Сан-Франциско отправляется с компанией покупать шахты в Мексике. Я решил: попозже попробую кое-что ему продать, но мексиканские патриоты добрались до него раньше меня.

— И тогда вы поехали на север?

— Этот шухер испортил мне коммерцию. У меня там было аккуратненькое дело... скажем так, с поставками через границу и обратно. После убийства все очень заинтересовались этой частью страны. И я решил: поеду сюда, получу сто тысяч, а там пока все уляжется. Честно, друг, не помню уже, сколько недель не убивал миллионера — если вы об этом волнуетесь.

— Это хорошо. Значит, насколько я понял, вы рассчитываете поймать Пападопулоса. Анжела Грейс вызвала вас, решив, что вы изловите его в отместку за убийство Пэдди, вас же интересуют деньги, поэтому вы намерены работать и со мной, и с Анжелой. Так?

— Точно.

— Вы понимаете, как она отнесется к тому, что вы связались со мной?

— Угу. Будет биться в падучей — щекотливая насчет связей с полицией, а?

— Да, кто-то однажды объяснил ей про воровскую честь, и она не может выкинуть это из головы. Ее брат отбывает срок на севере — его продал Джон Водопроводчик. Ее возлюбленного Пэдди расстреляли дружки. Открыло ей это глаза? Ничего подобного. Боже упаси помочь нам, пусть лучше Пападопулос гуляет на свободе.

— Не страшно,— успокоил меня Том-Том Кери.— Она думает, что я хороший брат — Пэдди вряд ли много обо мне рассказывал — и я с ней полажу. Вы за ней следите?

— Да, с тех пор как ее выпустили. Ее арестовали в один день с Флорой, Окунем и Рыжим, но у нас на нее ничего не было — просто подруга Пэдди,— и я договорился, чтобы ее отпустили. Какие она дала вам сведения?

— Обрисовала Папу-до-полу и Нэнси Риган, больше ничего. Она про них знает не больше меня. А эта Нэнси как сюда вписывается?

— Да никак — разве что выведет нас на Пападопулоса. Она была подругой Рыжего. Он пришел к ней на свидание и испортил всю обедню. А когда Пападопулос выкрутился, он взял с собой и девушку. Не знаю почему. К налету она непричастна.

Том-Том Кери свернул четвертую самокрутку, закурил и встал.

— Работаем на пару?— спросил он, взяв шляпу.

— Если вы доставите Пападопулоса, я добьюсь, чтобы вы полу-

чили все причитающееся вам, до цента,— ответил я.— И обещаю свободу рук — не буду мешать вам слишком пристальным наблюдением.

Он ответил, что согласен, сказал, что остановился в гостинице на Эллис-стрит, и ушел.

Я позвонил в контору покойного Тейлора Ньюхолла, и мне было сказано, что, если я хочу получить сведения о его делах, надо связаться с его загородной резиденцией, в нескольких милях к югу от Сан-Франциско. Так я и сделал. Министерский голос сообщил мне, что я разговариваю с дворецким и что встретиться мне надо с адвокатом Ньюхолла Франклином Эллертом. Я пошел к Эллерту в контору.

Это был раздражительный шепелявый старик с выпученными от давления глазами.

— Есть ли основания предполагать,— спросил я напрямик,— что убийство Ньюхолла — не просто выходка мексиканских бандитов? Могло ли быть, что его убили умышленно, а не просто в перестрелке с теми, кто хотел их захватить?

Адвокаты не любят, чтобы их допрашивали. Этот брызгал слюной, строил мне гримасы, еще больше выпучивал глаза и, конечно, ответа не дал.

— То ешть? То ешть? — огрызнулся он.— Объясните, шэр, что вы имеете в виду!

Он свирепо посмотрел на меня, потом на стол, дрожащими руками поворошил бумаги, словно отыскивая полицейский свисток. Я рассказал ему свое дело — рассказал про Тома-Тома Кери.

Еще немного побрызгав, Эллерт спросил:

— Что вы имеете в виду, черт возьми?— И устроил уже полный кавардак на столе.

— Ничего не имею в виду,— проворчал я в ответ.— Что имею, то и сказал.

— Да! Да! Понимаю!— Он перестал выпучивать на меня глаза, и голос у него сделался менее сварливым.— Но нет шовершенно никаких ошнований подозревать что-либо подобное. Шовершенно никаких, шэр, шовершенно!

— Может быть, и так.— Я повернулся к двери.— И все же я в этом немного покопаюсь.

— Подождите! Подождите!— Он вскочил с кресла и побежал вокруг стола ко мне.— Мне кажетша, вы ошибаетешь, но раз вы вше равно будете рашшледовать, шообщайте мне, пожалуйшта, о результатах. И лучше вшего — берите ш меня ваш обычный гонорар и держите меня в курше дела. Шоглашны?

Я сказал, что согласен, вернулся к столу и начал его расспрашивать. По словам адвоката, в делах Ньюхолла не было ничего такого, что могло бы насторожить нас. Капитал его составлял несколько миллионов и в основном был вложен в шахты. Почти половину денег он получил в наследство. Никаких сомнительных сделок в прошлом, никаких незаконных претензий на чужие горные участки, никакого мошенничества, никаких врагов. Вдовец; единственная дочь. При жизни отца у нее было все, чего она только могла пожелать, и они очень любили друг друга. Он отправился в Мексику с группой горнопромышленников из Нью-Йорка, которые собирались продать ему там участки. На них напали бандиты, нападение отбили, но в перестрелке погибли Ньюхолл и геолог Паркер.

Вернувшись в контору, я составил телеграмму в наше лос-анджелесское отделение с просьбой послать в Ногалес агента и выяснить что можно об убийстве Ньюхолла и о делах Тома-Тома Кери. Сотрудник, которому я дал зашифровать ее и отправить, сказал, что

меня хочет видеть Старик. Я пришел к нему в кабинет, и он познакомил меня с маленьким круглым человеком по фамилии Хук.

— У мистера Хука,— сказал Старик,— ресторан в Сосалито. В прошлый понедельник он взял на работу официантку по имени Нелли Райли. Она сказала, что приехала из Лос-Анджелеса. По описанию мистера Хука ее приметы в точности совпадают с тем, как вы с Кониханом изобразили Нэнси Риган. Верно?— спросил он толстяка.

— Совершенно верно. В точности то, что я прочел в газетах. Рост — метр шестьдесят пять, среднего сложения, голубые глаза и каштановые волосы, лет двадцати двух или двадцати одного, красивая, но самое главное — фанаберия неслыханная, мнит о себе неизвестно что. Я тут попробовал перейти с ней как бы на более дружеские отношения — так она мне сказала: уберите ваши грязные лапы. А потом я выяснил, что она почти не знает Лос-Анджелеса, хотя говорит, что прожила там два или три года. Могу спорить, это она самая.— И дальше он стал интересоваться тем, сколько из обещанного вознаграждения придется на его долю.

— Вы сейчас туда отправляетесь?— спросил я его.

— Да, скоро. Мне тут надо зайти узнать кое о каких блюдах. А потом уже туда.

— Девушка будет на работе?

— Да.

— Тогда мы пошлем с вами человека — он знает Нэнси Риган.

Я вызвал Джека Конихана из комнаты оперативников и представил его Хуку. Они договорились встретиться через полчаса у парома, и Хук вразвалочку ушел.

— Нелли Райли не Нэнси Риган,— сказал я.— Но мы не можем пренебречь даже одним шансом из ста.

Я рассказал Джеку и Старику о Томе-Томе Кери и о моем визите к Эллерту. Старик выслушал меня с обычной вежливой внимательностью, молодой Конихан, всего четыре месяца назад ставший охотником за людьми,— с широко раскрытыми глазами.

— Ты, пожалуй, беги на встречу с Хуком,— сказал я, закончив рассказ, и вместе с ним вышел из кабинета.— А если окажется, что она — Нэнси Риган, вцепись и не выпускай.— Старик уже не мог нас слышать, и я добавил:— И, ради бога, постарайся в этот раз не получить по зубам за свою юношескую галантность. Сделай вид, что ты взрослый.

Мальчишка покраснел, сказал: «Идите к черту!»— поправил галстук и отправился на свидание с Хуком.

Мне надо было написать несколько отчетов. Покончив с ними, я положил ноги на стол и, множа полости в пачке сигарет, до шести часов думал о Томе-Томе Кери. Потом я пошел в ресторан есть свой лангет и похлебку из морских ушек, а потом — домой, чтобы переодеться и закончить вечер в клубе за покером. Переодевание мое прервал телефонный звонок. Звонил Джек Конихан.

— Я в Сосалито. Девушка не Нэнси, но я набрел на кое-что другое. Не знаю, как быть дальше. Вы можете приехать?

— Дело стоит того, чтобы отказаться от покера?

— Да... по-моему, это важно.— Он был возбужден.— Хорошо бы вы приехали. По-моему, это в самом деле нить.

— Ты где?

— Тут, на пароме. Не в Золотых воротах, на другом.

— Ладно. Приеду с первым же паромом.

Часом позже я сошел с парома в Сосалито. Джек Конихан протолкался сквозь толпу и начал говорить:

— Когда я уже возвращался и пришел сюда...

— Подожди, пока выйдем из толпы,— остановил его я.— Должно быть, что-то потрясающее — восточный уголок твоего воротничка загнулся.

Пока мы шли к улице, он механически поправил эту деталь своего безупречного в остальном костюма, но даже не улыбнулся — его мысли были заняты чем-то другим.

— Сюда,— сказал он, заводя меня за угол.— Кафе Хука — на углу. Если хотите, можете сами взглянуть на девушку. Она такого же роста и масти, как Нэнси Риган, но и только. Стервоватая девчонка, с последней работы, наверно, уволили за то, что плюнула жвачкой в кастрюлю с супом.

— Хорошо. Значит, она отпала — так чем ты взволнован?

— Я посмотрел на нее и пошел обратно, на паром. Паром подвалил, когда я был еще квартала за два. Навстречу мне попались двое — наверно, только что сошли с него. Оба были греки, довольно молодые, уголовного вида, и в другой раз я вряд ли обратил бы на них внимание. Но поскольку Пападопулос грек, они нас сейчас интересуют, и я к ним присмотрелся. Они спорили о чем-то на ходу. Негромко, но смотрели друг на друга сердито. Когда они проходили мимо, тот, что шел ближе к обочине, сказал другому: «Я ему говорю, прошло двадцать девять дней».

Двадцать девять дней. Я подсчитал — ровно двадцать девять дней, как мы ищем Пападопулоса. Он грек, и эти ребята греки. Когда я кончил считать, я повернулся и пошел за ними. Они провели меня через весь город — и на горку, на окраине. Вошли в домик — три комнаты, самое большее,— который стоит на отшибе, посреди поляны в лесу. На нем вывеска: «Продается». Окна без занавесок, вид нежилой, но на земле перед черной дверью было мокрое место, как будто выплеснули ведро или кастрюлю воды.

Я сидел в кустах, пока не начало смеркаться. Тогда я подошел. Услышал разговор внутри, но через окна ничего не мог увидеть. Они были забиты досками. Немного погодя эти двое вышли, говоря что-то на непонятном языке тому, кто был в доме. Пока они уходили по тропинке, дверь оставалась открытой, и я не мог идти за ними — меня увидели бы из двери.

Потом дверь закрылась, и я услышал в доме шаги людей — а может быть, одного человека, запахло кухней, из трубы поднялся дым. Я ждал, ждал, но ничего больше не произошло, и тогда решил, что надо связаться с вами.

— Интересно,— согласился я.

Мы проходили под фонарем. Джек остановил меня, схватив за руку, и вытащил что-то из кармана пальто.

— Посмотрите! — Он протянул мне предмет. Обожженный лоскут синей материи. Это могли быть остатки женской шляпки, на три четверти сгоревшей. Я осмотрел лоскут под фонарем, потом зажег свой фонарик, чтобы изучить тщательнее.

— Я подобрал это за домом, пока там шнырял,— сказал Джек,— а...

— А на Нэнси Риган в ту ночь, когда она исчезла с Пападопулосом, была шляпка такого же цвета,— закончил я за него.— Пошли к домику.

Уличные огни остались позади, мы поднялись на горку, спустились в небольшую долину, свернули на извилистую песчаную тропу, с нее по траве под деревьями перебрались на грунтовую дорогу, прошагали по ней чуть меньше километра, а потом Джек повел меня по узкой тропинке, петлявшей в черной чаще кустов и мелких деревьев. Я засомневался в том, что он помнит дорогу.

— Почти пришли,— прошептал он мне.

Из кустов выскочил человек и схватил меня за горло.

Руки у меня были в карманах пальто — одна на фонаре, другая на револьвере.

Я повернул револьвер в кармане дулом к напавшему — нажал спуск.

Выстрел погубил мое семидесятипятидолларовое пальто. Но человек отпустил мое горло.

Очень кстати. Другой человек бросился на меня сзади.

Я пытался вывернуться — не преуспел... почувствовал на спине лезвие ножа.

Это уже было некстати — но все же лучше, чем острие ножа.

Я попытался ударить его затылком в лицо — не попал, продолжал извиваться и вертеться, наконец вытащил руки из карманов и схватил его.

Лезвие ножа плашмя прижалось к моей щеке. Я поймал руку, державшую нож, повалился на спину — он подо мной.

Он сказал:

— Ой!

Я перевернулся, встал на четвереньки, кулак смазал меня по лицу, и я вскочил.

В лодыжку мне вцепились пальцы.

Я повел себя неспортивно. Я ударил по пальцам ногой — нашел тело человека — ударил ногой два раза, сильно.

Голос Джека шепотом произнес мое имя. Я не видел его в темноте и не видел того, в кого выстрелил.

— Тут все нормально,— сказал я Джеку,— как ты?

— Высший класс. Это все?

— Не знаю, но рискнем поглядеть, кого я поймал.

Я направил фонарь на человека, лежавшего у меня в ногах, и включил. Худой блондин с окровавленным лицом; он изображал жука-притворяшку и красные веки его дрожали в луче фонаря.

— Не валяй дурака!— приказал я.

В кустах грохнул крупнокалиберный пистолет... и другой, полегче. Пули прошили листву.

Я выключил свет, наклонился к лежавшему, ударил его по макушке пистолетом.

— Пригнись ниже,— шепнул я Джеку.

Меньший пистолет снова выстрелил, два раза. Где-то впереди, слева. Я сказал Джеку на ухо:

— Мы пойдем в домик, даже если они против. Держись ниже и не стреляй, пока не увидишь, куда стрелять. Вперед.

Пригибаясь к земле, я двинулся за Джеком по тропинке. Порез на согнутой спине натянулся, и от лопаток почти до пояса меня обожгло болью. Я чувствовал, что кровь стекает по бедрам, или так мне казалось.

В этой тьме красться было невозможно. Что-то трещало под ногами, шуршало вокруг плеч. Наши друзья в кустах пистолетов не студили. К счастью, хруст веточек и шуршание листьев в кромешном мраке — не лучшие ориентиры. Пули взвизгивали там и сям, но в нас не попадали. Мы не отвечали на огонь. Мы остановились у кромки кустарника, где ночь разжижилась до серого.

— Здесь.— Джек показал на прямоугольную тень впереди.

— Ходу,— буркнул я и бросился к темному дому.

Длинноногий Джек легко нагнал меня, пока мы бежали по поляне.

Из-за черного дома выглянула тень человека, и его пистолет замигал нам. Выстрелы шли один за другим так часто, что слились в прерывистый грохот.

Потащив с собой Джека, я плюхнулся на землю и прижался к ней плашмя, если не считать того, что лицо мое остановила зазубренная консервная банка.

С другой стороны дома закашлял другой пистолет. Из-за дерева справа — третий. Мы с Джеком тоже стали тратить порох.

Пуля набросала мне в рот грязи и камушков. Я выплюнул грязь и предупредил Джека:

— Высоко бьешь. Возьми ниже и на спуск жми плавно.

В черном профиле дома образовался горбик. Я послал туда пулю.

Мужской голос вскрикнул:

— О-о-ой!— А потом тише, но с большим огорчением:— Сволочь... сволочь!

Несколько горячих секунд пули шлепали вокруг нас. Потом ночь стихла, и тишина ее не нарушалась ни звуком.

После пяти минут затишья я встал на четвереньки и пополз вперед, Джек за мной. Почва была не приспособлена для такого передвижения. Трех метров нам хватило. Мы поднялись и оставшееся расстояние прошли как люди.

— Подожди,— шепнул я и, оставив Джека возле угла, обошел домик кругом: никого не увидел, ничего не услышал, кроме звуков, которые издавал сам.

Мы попробовали парадную дверь. Заперта, но хлипкая. Я вышиб ее плечом и вошел, фонарь в одной руке, револьвер — в другой.

Дом был пуст. Ни мебели, ни людей, ни следов их в двух пустых комнатах — только голые дощатые стены, голый пол, голый потолок с дымоходом, ни к чему не присоединенным.

Стоя посреди комнаты и оглядывая пустоту, мы с Джеком прокляли эту дыру от крыши до фундамента. Не успели мы кончить, как за дверью послышались шаги, в раскрытую дверь ударил белый луч света и надтреснутый голос сказал:

— Эй! Выходите по одному — и без фокусов!

— Кто это говорит? — спросил я, выключив фонарь и отступив к боковой стене.

— Целая стая помощников шерифа, вот кто,— ответил голос.

— Можете просунуть к нам одного, чтобы мы посмотрели?— спросил я.— Меня сегодня столько раз душили, резали и обстреливали, что уже ничьим словам неохота верить.

В двери появился долговязый человек с худым задубелым лицом и иксообразными ногами. Он показал мне бляху, я вытащил свою карточку, и тогда вошли остальные помощники. Всего их было трое.

— Мы ехали по мелкому делу в сторону мыса и услышали стрельбу,— объяснил долговязый.— Что происходит?

Я рассказал ему.

— Дом давно пустует,— сказал он, когда я кончил.— Тут кто угодно мог поселиться. Думаете, это Пападопулос, да? Будем поглядывать, может, его, а может, его друзей заметим — тем более, обещаны такие деньги.

Мы поискали в лесу и никого не нашли. И тот, с которым я боролся, и тот, в которого стрелял,— оба исчезли. Мы с Джеком доехали до Сосалито с помощниками шерифа. Там я отыскал врача, и мне забинтовали рану. Врач сказал, что порез длинный, но не глубокий. Потом мы вернулись в Сан-Франциско и разошлись по домам.

Так закончился этот день.

А вот что случилось на другое утро. Я этого не видел. Я услышал об этом около полудня, а ближе к вечеру прочел в газетах. Тогда я еще не знал, что меня это лично касается, но позже узнал — и расскажу по порядку.

В десять часов утра на людную Маркет-стрит спотыкаясь вышел человек, голый от разбитой макушки до окровавленных пяток. С его голой груди, спины и боков свисали узкие ленточки мяса, сочившегося кровью. Левая рука была сломана в двух местах. Левая

сторона лысого черепа вдавлена. Часом позже он умер в больнице «скорой помощи» — не сказав никому ни слова и все с тем же отсутствующим выражением в глазах.

Полиция без труда прошла назад по следу из кровавых капель. Он кончился красным пятном перед маленькой гостиницей в переулке рядом с Маркет-стрит. В гостинице полиция нашла комнату, откуда выпрыгнул, упал или был выброшен этот человек. Постель, пропитанная кровью. На ней — разорванные, скрученные и завязанные узлами простыни, служившие веревкой. Кроме того, полотенце, которым пользовались как кляпом.

Судя по находкам, голому человеку заткнули рот, связали его и стали обрабатывать ножом. Врач сказал, что ленты на теле вырезаны, а не вырваны. Когда орудовавший ножом ушел, голый человек вывернулся из пут и, вероятно, обезумев от боли, выпрыгнул или выпал из окна. При ударе о землю он проломил себе череп и сломал руку и тем не менее сумел пройти еще полтора квартала.

Администратор гостиницы сказал, что человек прожил здесь два дня. Поселился под именем Х. Ф. Барроуз. У него был черный саквояж, где помимо одежды, бритвенных принадлежностей и прочего полицейские нашли коробку патронов 9,65 мм, черный платок с прорезанными отверстиями для глаз, четыре отмычки, фомку, шприц с морфием. Кроме того, в комнате была еще одежда, револьвер 9,65 мм и две бутылки спиртного. Денег не нашли ни цента.

Полицейские предположили, что Барроуз был взломщиком и что его связали, ограбили и пытали, возможно, сообщники, между восемью и девятью часами утра. Никто о нем ничего не знал. Никто не видел у него гостя или гостей. Соседняя комната слева пустовала. Жилец из комнаты справа ушел на работу, на мебельную фабрику, до семи утра.

Пока все это происходило, я сидел у себя в кабинете, подавшись к столу, чтобы не тревожить спину, и читал отчеты, из которых явствовало, что агенты в местных отделениях сыскного агентства «Континентал» — по-прежнему ничего не могут выяснить о прошлом, настоящем и будущем местопребывании Пападопулоса и Нэнси Риган. Никаких новых данных в этих отчетах не было — я читал подобные уже три недели.

Обедать мы пошли вместе со Стариком, и за едой я рассказал ему о ночных похождениях в Сосалито.

Лицо доброго дедушки было, как всегда, внимательным, улыбка вежливой и заинтересованной, но когда я дошел до середины рассказа, он перевел кроткие голубые глаза с моего лица на свой салат и не сводил их с салата, покуда я не закончил. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз, он выразил мне сочувствие в связи с тем, что меня порезали. Я поблагодарил его, и мы продолжали есть.

Наконец он на меня посмотрел. Кроткие и любезные интонации голоса, выражение лица и глаз, которыми он прикрывал свое бессердечие,— все было на месте.

— Итак, первое свидетельство того, что Пападопулос еще жив, мы получили сразу после приезда Тома-Тома Кери.

Теперь уже я отвел глаза.

Я посмотрел на булочку, которую только что разломил, и сказал:

— Да.

К концу дня мне позвонила женщина из района Миссии — она наблюдала ряд весьма таинственных происшествий и была уверена, что они как-то связаны со знаменитым налетом. Я поехал к ней и, проведя там почти весь конец дня, выяснил, что половина ее происшествий — воображаемые, а вторая понадобилась этой ревнивой жене для того, чтобы разузнать о делишках мужа.

В агентство я вернулся только к шести. Через несколько минут

мне позвонил Дик Фоули. Зубы у него стучали так, что я едва разбирал слова.

— М-м-можете п-п-приехать в-в-п-п-ртовую бах-ха-льницу?

— Что?— спросил я и услышал то же самое, если не хуже. Но тут я уже сообразил, что он просит меня приехать в портовую больницу.

Я сказал, что буду через десять минут и, поймав такси, поехал.

Маленький канадец встретил меня в дверях больницы. Волосы и одежда у него были совершенно мокрые, но он уже выпил виски, и зубы у него перестали стучать.

— Идиотка бросилась в залив!— рявкнул он, словно это была моя вина.

— Анжела Грейс?

— А за кем же я ходил? Поднялась на оклендский паром. Отошла в сторонку, к поручням. Думал, хочет что-то выбросить. Смотрю за ней. Оп! Прыгает.— Дик чихнул.— Я, дурак такой, прыгнул за ней. Держал на воде. Нас выудили. Там.— Он кивнул мокрой головой в сторону вестибюля.

— Что происходило до того, как она поднялась на паром?

— Ничего. Целый день дома. Оттуда на паром.

— А вчера, например?

— Весь день в квартире. Вечером — с мужчиной. Придорожный ресторан. В четыре — домой. Нескладно. За ним не смог проследить.

— Какой он с виду?

По описанию Дика это был Том-Том Кери.

— Хорошо,— сказал я.— Давай-ка домой, прими горячую ванну и переоденься в сухое.— Я пошел посмотреть на несостоявшуюся самоубийцу.

Она лежала навзничь, уставясь в потолок. Лицо у нее было бледное — впрочем, как всегда,— и зеленые глаза ее глядели не угрюмее обычного. Если не считать того, что ее короткие волосы потемнели от воды, с ней, казалось, не произошло ничего чрезвычайного.

— Странные фокусы ты устраиваешь,— сказал я, когда подошел к кровати.

Она вздрогнула от неожиданности, рывком повернулась ко мне. Тут она узнала меня и улыбнулась — улыбка вернула ее лицу привлекательность, обычно скрытую угрюмым выражением.

— Подкрадываетесь к людям, чтобы навык не потерять?— спросила она.— Кто вам сказал, что я здесь?

— Об этом все знают. Твои фото — на первых страницах всех газет, и твоя биография, и что ты сказала принцу Уэльскому.

Она перестала улыбаться и пристально на меня посмотрела.

— Поняла!— воскликнула она через несколько секунд.— Этот недомерок, который за мной прыгнул,— ваш агент, следить послали. Так или нет?

— Я не знал, что за тобой надо прыгать,— ответил я.— Я думал, ты накупалась и сама приплыла к берегу. Тебе не хотелось на сушу?

Она не улыбнулась. Ее глаза уставились на что-то ужасное.

— Ох! Ну чего ко мне все лезут?— прохныкала она и поежилась.— Гнусная штука — жизнь.

Я сел на стульчик возле белой кровати и погладил ее по плечу, закрытому простыней.

— В чем дело?— Я сам удивился тому отеческому тону, каким мне удалось это произнести.— Почему ты хотела умереть, Анжела?

Слова, просившиеся наружу, блестели у нее в глазах, тревожили лицевые мышцы, кривили рот — но и только. Те слова, которые она произнесла, прозвучали равнодушно, но с какой-то неохотной решительностью:

— Нет. Вы сыщик. Я воровка. Мне к вам дороги нет. Никогда про меня не скажут...

— Ладно! Ладно! — Я сдался.— Только, ради бога, не заставляй меня снова слушать этические рассуждения. Я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Нет, спасибо.

— Ты ничего не хочешь мне сказать?

Она покачала головой.

— Ты себя лучше чувствуешь?

— Да. За мной следили? Иначе вы бы не узнали так быстро.

— Я сыщик — я все знаю. Не балуйся.

Из больницы я пошел во Дворец юстиции, в бюро уголовного розыска. За столом капитана сидел лейтенант Дафф. Я рассказал ему о том, как Анжела бросилась в воду. Когда я закончил, он спросил:

— Есть предположение, почему она так поступила?

— Она с большим заскоком, не поймешь. Пусть ее заберут за бродяжничество.

— Ну? Я думал, вы хотели ее выпустить, чтобы потом ловить.

— Эта затея себя исчерпала. Попробуем посадить ее на тридцать суток. Большая Флора ждет суда. Анжела знает, что Флора была среди тех, кто убил ее Пэдди. А Флора, может быть, не знает Анжелу. Посмотрим, что может выйти за месяц их сожительства.

— Это можно,— согласился Дафф.— У Анжелы нет видимых средств существования, и нечего ей прыгать в общественные заливы. Я передам куда следует.

Из Дворца юстиции я пошел в гостиницу на Эллис-стрит, где остановился Том-Том Кери. Его не было. Я передал, что вернусь через час, и потратил этот час на еду. Когда я вернулся в гостиницу, высокий смуглый человек сидел в вестибюле. Он отвел меня к себе в номер и угостил джином, апельсиновым соком и сигарами.

— Анжелу Грейс видели?— спросил я.

— Да, вчера вечером. Ходили по кабакам.

— Сегодня ее видели?

— Нет.

— Сегодня под вечер она бросилась в залив.

— Да бросьте.— Он как будто слегка удивился.— И что?

— Ее выловили. Ничего страшного.

Тень, мелькнувшая в его глазах, могла выражать и легкое разочарование.

— Девчонка со странностями,— заметил он.— Не скажу, что Пэдди проявил плохой вкус, когда ее подобрал, но она чудачка!

— Как идет охота на Пападопулоса?

— Идет. А вы зря нарушаете слово. Вы мне почти обещали, что за мной не будет хвоста.

— У меня есть начальство,— извинился я.— Иногда я хочу не того, чего оно хочет, но вам это не должно особенно мешать — вы же можете потерять его?

— Угу. Этим и занимаюсь. Но страшно надоедает: вскакиваешь в такси, выскакиваешь, убегаешь через черный ход...

Мы говорили и пили еще несколько минут, а потом я покинул номер Кери и гостиницу, пошел в аптеку, позвонил из автомата Дику Фоули домой, дал ему адрес смуглого человека и описал внешность.

— Дик, мне не надо, чтобы ты следил за Кери. Выясни, кто пытается за ним следить, и этого возьми под наблюдение. До утра просохнуть успеешь и приступай.

Так кончился этот день.

Утро было дождливое и пробуждение неприятное. Может быть, из-за погоды; может быть, я чересчур порезвился накануне; так или

иначе, порез на спине ощущался как полуметровый нарыв. Я позвонил доктору Канова, жившему подо мной, и попросил осмотреть рану перед уходом на работу. Он сменил повязку и велел мне денька два не перетруждаться. После того как он поковырялся в спине, мне стало легче, но я позвонил в агентство и сказал Старику, что, если ничего волнующего не произойдет, я побуду сегодня на положении больного.

Весь день я просидел в кресле перед газовым камином с чтением и сигаретами, то и дело гасшими из-за сырости. Вечером я по телефону организовал компанию для покера, но больших переживаний в игре на мою долю не выпало — ни в отрицательном смысле, ни в положительном. Кончил я с пятнадцатью долларами выигрыша, что было на пять долларов меньше, чем стоимость выпивки, которую я поставил моим гостям.

На другой день спине моей стало лучше — да и сам день тоже. Я отправился в агентство. На столе у меня лежала записка: звонил Дафф — Анжела Грейс Кардиган арестована за бродяжничество, месяц тюрьмы. Лежала и привычная стопка отчетов из разных отделений — их агенты по-прежнему не могут напасть на след Пападопулоса и Нэнси Риган. Пока я листал их, вошел Дик Фоули.

— Засек его,— доложил он.— Тридцать — тридцать два года. Метр шестьдесят восемь. Пятьдесят восемь — пятьдесят девять кило. Светлый, песочные волосы. Глаза голубые. Лицо худое, ободрано. Пакость. Живет в меблирашках на Седьмой улице.

— Что он делал?

— Хвостом за Кери один квартал. Кери стряхнул его. Искал Кери до двух ночи. Не нашел. Домой. Следить дальше?

— Ступай в его клоповник и узнай, кто он.

Маленький канадец ушел на полчаса.

— Сэм Арли,— сказал он вернувшись.— Здесь — шесть месяцев. Якобы парикмахер — когда работает,— если вообще работает.

— У меня насчет Арли две догадки,— сказал я Дику.— Первая: это он порезал меня позапрошлой ночью в Сосалито. Вторая: с ним что-то случится.

Тратить слова понапрасну было не в правилах Дика, и он ничего не ответил.

Я позвонил в гостиницу Тома-Тома Кери и вызвал его к телефону.

— Приходите сюда,— пригласил я смуглого человека.— У меня для вас новости.

— Сейчас, только оденусь и позавтракаю,— пообещал он.

— Когда Кери уйдет отсюда, пойдешь за ним,— сказал я Дику, повесив трубку.— Теперь если Арли за него зацепится, может получиться дело. Постарайся это увидеть.

Затем я позвонил в бюро уголовного розыска и условился с сержантом Хантом зайти на квартиру к Анжеле Грейс Кардиган. После этого я занялся бумажками, а немного позже Томми объявил, что пришел смуглый человек из Ногалеса.

— Этот жук, который следит за вами,— сообщил я ему, когда он сел и начал изготавливать самокрутку,— парикмахер по фамилии Арли.— И я сказал ему, где живет Арли.

— Да. С худым лицом, блондинчик?

Я воспроизвел портрет, данный Диком.

— Он самый,— сказал Том-Том Кери.— Что-нибудь еще о нем знаете?

— Нет.

— Вы посадили Анжелу Грейс.

Это не было ни вопросом, ни обвинением, поэтому я не ответил.

— Тоже неплохо,— продолжал высокий человек.— Мне все равно пришлось бы от нее отделаться. Когда я начну его арканить, она со своей дуростью только будет путаться под ногами.

— И скоро это будет?

— Это зависит от того, как получится.— Он встал, зевнул и расправил широкие плечи.— Но кто решит не есть, покуда я его не поймаю, тот от голода не умрет. Зря я упрекнул вас, что вы за мной следите.

— Ничего, переживу.

— Пока,— сказал Том-Том Кери и лениво вышел вон.

Я поехал во Дворец юстиции, забрал там Ханта, и мы вместе отправились в меблированные комнаты на Буш-стрит, где жила Анжела Грейс Кардиган. Управляющая — сильно надушенная толстуха с жестким ртом и мягким взглядом — уже знала, что ее жилица за решеткой. Она с готовностью отвела нас в квартиру девушки.

Хозяйкой Анжела оказалась неважной. В комнатах было чисто, но все вверх дном. Раковина в кухне полна грязной посуды. Складная кровать застелена кое-как и даже хуже. Одежда и мелкие женские принадлежности висели повсюду от ванной до кухни.

Мы спровадили управляющую и основательно обыскали квартиру. Узнали все, что можно, о гардеробе Анжелы и многое о ее привычках. Но ничего указывающего в сторону Пападопулоса не нашли.

Никаких известий о тандеме Кери — Арли ни в конце дня, ни к вечеру я не получил, хотя ждал звонка Дика с минуты на минуту.

В три часа ночи телефон на тумбочке оторвал мое ухо от подушки. Я услышал голос маленького канадца.

— Арли выбыл,— сказал он.

— Насовсем?

— Да.

— Как?

— Со свинцом.

— Нашего приятеля?

— Да.

— До утра терпит?

— Да.

— Увидимся в конторе.— И я опять уснул.

Я пришел в агентство в девять часов, и один из служащих только что кончил расшифровывать ночной отчет лос-анджелесского агента, посланного в Ногалес. Телеграмма была длинная и давала пищу уму.

В ней говорилось, что Тома-Тома Кери на границе хорошо знают. Около полугода он занимался перевозками через нее: оружия — на юг, алкоголя и, возможно, наркотиков и иммигрантов — на север. Перед отъездом на прошлой неделе он наводил справки о некоем Хенке Барроузе. Приметы этого Хенка Барроуза совпадали с приметами Х. Ф. Барроуза, разрезанного на ленточки, выпавшего из окна гостиницы и умершего.

Лос-анджелесскому агенту не удалось собрать много сведений о Барроузе — только что он явился из Сан-Франциско, пробыл на границе всего несколько дней и, по-видимому, в Сан-Франциско отбыл. Ничего нового об убийстве Ньюхолла агент не выяснил — все данные указывали на то, что его пытались захватить мексиканские патриоты, он оказал сопротивление и был убит.

Пока я читал это, в кабинет вошел Дик Фоули. Когда я кончил, он дополнил жизнеописание Тома-Тома Кери своими данными.

— Провожал его отсюда. В гостиницу. Арли на углу. Восемь часов, Кери вышел. Гараж. Прокатная машина без шофера. Обратно в гостиницу. Выписался. Два чемодана. Через парк. Арли за ним на драндулете. Моя телега — за Арли. По бульвару. За городом — на поперечную дорогу. Темно. Пусто. Арли жмет на газ. Нагоняет. Трах! Кери тормозит. Стреляют оба. Арли выбыл. Кери назад в город. Гостиница «Маркиз». Записывается Джордж Ф. Дэнби, Сан-Диего. Комната шесть-два-два.

— Том-Том обыскал Арли, когда застрелил?

— Нет. Не притронулся.

— Вот как? Возьми с собой Мики Линехана. Не спускайте с Кери глаз. Если смогу, вечером пришлю кого-нибудь сменить вас с Мики, но он должен быть под наблюдением двадцать четыре часа в сутки, до тех пор, пока...— Я не знал, до каких пор, и поэтому замолчал.

С новостями Дика я отправился в кабинет к Старику, изложил их там и закончил:

— По словам Дика, Арли выстрелил первым, так что для Кери это будет самообороной, но дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и я ни в коем случае не хочу его замедлять. Поэтому денек-другой нам лучше не рассказывать, что мы знаем об этой перестрелке. Если окружному шерифу станет известно, как мы себя ведем, это нашей дружбы не укрепит, но, по-моему, игра стоит свеч.

— Как вам угодно,— согласился Старик, протягивая руку к зазвонившему телефону.

Он сказал два слова в трубку и передал ее мне. Звонил сержант Хант:

— Флора Брейс и Грейс Кардиган перед рассветом бежали из тюрьмы. Очень может быть, что они...

Подробности меня сейчас не занимали.

— Исчезли бесследно? — спросил я.

— Пока что никакой ниточки нет, но...

— Подробности расскажешь, когда увидимся. Спасибо.— И я повесил трубку.— Анжела Грейс и Большая Флора бежали из городской тюрьмы,— сообщил я Старику.

Он вежливо улыбнулся, как будто это мало его касалось.

— Вы радовались тому, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки,— пробормотал он.

Расправив лицо и улыбнувшись, я буркнул: «Может быть», ушел к себе в кабинет и позвонил Франклину Эллерту. Шепелявый адвокат сказал, что будет рад меня видеть, и я отправился к нему в контору.

— Итак, что нового вы можете мне сообщить? — с нетерпением спросил он, когда я уселся перед его столом.

— Кое-что. Человек по фамилии Барроуз тоже был в Ногалесе во время убийства Ньюхолла и тоже сразу после этого приехал в Сан-Франциско. Кери выследил здесь Барроуза. Вы читали о том, как по улице шел голый изрезанный человек?

— Да.

— Это был Барроуз. Затем в игру вступает новый человек — парикмахер Арли. Он следил за Кери. Вчера ночью на пустынной дороге южнее города Арли стрелял в Кери. Кери убил его.

Глаза старого адвоката выкатились еще на сантиметр.

— На какой дороге? — задыхаясь спросил он.

— Вам точно назвать место?

— Да!

Я подтянул к себе его телефон, позвонил в агентство, попросил прочесть отчет Дика и назвал адвокату место.

Это произвело на него впечатление. Он вскочил с кресла. Морщины на его лице блестели от пота.

— Мисс Ньюхолл там одна! Это мешто меньше чем в километре от ее дома!

Я нахмурился и постучал полушариями друг об дружку, но ни к какому выводу не пришел.

— А если я пошлю человека присмотреть за ней? — предложил я.

— Великолепно! — Его встревоженное лицо разгладилось, так что на нем осталось не больше пятидесяти или шестидесяти морщин.

— Ей хочется побыть там одной пошле шмерти отца, наедине шо швоим горем. Вы пошлете надежного человека?

— По сравнению с ним Гибралтарская скала — осиновый листок на ветру. Дайте мне для него рекомендательную записку. Его зовут Эндрю Макэлрой.

Пока адвокат писал записку, я снова позвонил в агентство и попросил телефонистку разыскать Энди и сказать ему, что он мне нужен. Перед тем как вернуться в агентство, я пообедал. Энди уже ждал меня на месте.

Энди Макэлрой был человек-валун, не очень высокий, но почти квадратный и крепкий — как в смысле физическом, так и в смысле лба. Угрюмый суровый мужчина с воображением арифмометра. Я даже не уверен, что он умел читать. Но я был уверен, что, если Энди прикажут что-то сделать, он сделает это и ничего другого. Другого он придумать не сможет.

Я дал ему записку адвоката для мисс Ньюхолл, сказал, куда ехать и что делать, и с этой минуты о мисс Ньюхолл мог уже не заботиться.

Трижды в конце дня я получал донесения от Дика Фоули и Мики Линехана. Том-Том Кери ничего выдающегося не предпринимал, хотя купил в спортивном магазине на Маркет-стрит две коробки патронов 11,17 мм.

В вечерних газетах появились фотографии Большой Флоры Брейс и Анжелы Грейс Кардиган с заметками об их побеге. Факты в них выглядели так же неправдоподобно, как всегда выглядят в газетных заметках. На другой странице сообщалось, что в глухом месте, на дороге найден убитый парикмахер. Простреленыголова и грудь — в общей сложности четыре пули. По мнению окружных властей, он погиб, сопротивляясь грабителям, но бандиты бежали, ничего не взяв.

В пять часов в дверь заглянул Томми Хауд.

— К вам опять этот Кери.

— Давай его сюда,— сказал я веснушчатому парню.

Смуглый человек вошел не торопясь, сказал: «Привет», сел и свернул коричневую самокрутку.

— У вас на вечер особенных дел нет? — спросил он закурив.

— Таких, чтобы не отложить их ради чего-то лучшего, нет. Гостей собираете?

— Угу. Надумал. Только не гостей, а в гости к Папе-до-полу. Поедете со мной?

Настал мой черед сказать:

— Угу.

— Я подберу вас в одиннадцать — на углу Ван-Несс и Гири,— с растяжкой сказал он.— Только компания будет тесная: вы и я... и он.

— Нет, с нами должен быть еще один. Я его приведу.

— Мне это не нравится.— Том-Том Кери медленно покачал головой и благодушно нахмурился, не вынимая изо рта самокрутку.— Вас, сыщиков, получается больше. Должно быть один на один.

— Нас не получится больше,— объяснил я.— Этот фрукт, которого я беру,— ни на моей стороне, ни на вашей. И вам не повредит, если будете присматривать за ним так же внимательно, как я,— постарайтесь, если можно, чтобы он не оказался ни у вас, ни у меня за спиной.

— Тогда на кой вы его тащите?

— Колесики в колесиках, как сказано в Писании.— Я улыбнулся.

Смуглый человек опять нахмурился, уже не так дружелюбно.

— Сто шесть тысяч долларов награды — я ни с кем делиться не намерен.

— Справедливо,— согласился я.— Кого я приведу, требовать долю не будет.

— Поверю вам на слово.— Он встал.— Так мы должны приглядывать за этим малым, да?

— Если хотим, чтоб все прошло благополучно.

— Положим, он станет мешать нам, валять дурака. Мы его можем делать или только скажем: «Бяка! Бяка!»?

— Ему тоже придется рисковать.

— Годится.— Его жесткое лицо опять стало добродушным, когда он повернулся к двери.— В одиннадцать на углу Ван-Несс и Гири.

Я вошел в комнату оперативников, где, развалясь в кресле, Джек Кониган читал журнал.

— Надеюсь, вы придумали мне какое-нибудь дело,— приветствовал он меня.— У меня пролежни от этого кресла.

— Терпение, сынок, терпение — вот чему надо научиться, если хочешь стать сыщиком. Мне, например, когда я был парнишкой твоих лет и только поступил в агентство, мне повезло...

— Ой, не надо опять,— взмолился он. Но тут же его молодое миловидное лицо стало серьезным.— Не понимаю, почему вы держите меня на насесте. Кроме вас, я единственный, кто хорошенько разглядел Нэнси Риган. Казалось бы, вы меня должны послать на розыски.

— То же самое я сказал Старику,— сочувственно ответил я.— Но он боится тобой рисковать. Он говорит, что за все пятьдесят лет слежки он никогда не видел такого красивого агента, вдобавок модника, светского мотылька и наследника миллионов. Он считает, что мы должны беречь тебя как рекламный образчик и не подвергать...

— Идите к черту! — Джек покраснел.

— Но я убедил его, и на сегодня он разрешил вынуть тебя из ваты,— продолжал я.— Поэтому встречай меня на углу Ван-Несс и Гири без чего-нибудь одиннадцать.

— Дело? — Он весь был нетерпение.

— Может быть.

— Что будем делать?

— Захвати свою хлопушку.— В голову мне пришла мысль, и я ее выразил вслух.— И пожалуй, нарядись как следует — вечерний костюм.

— Смокинг?

— Нет, торжественнее — все, кроме цилиндра. Теперь о твоем поведении: ты не агент. Я не вполне себе представляю, кто ты, но это не имеет значения. С нами будет Том-Том Кери. Веди себя так, как будто ты не мой друг и не его — как будто нам обоим не доверяешь. Мы с тобой будем осторожничать. Если что-то спросят, а ты не знаешь ответа, прячься за враждебностью. Но на Кери чересчур не наваливайся. Понял?

— Кажется... да.— Он говорил медленно, наморщив лоб.— Я должен вести себя так, как будто еду с вами по одному делу, но в остальном мы не друзья. Так?

— Точно. Держи ухо востро. Ты всю дорогу будешь плавать в нитроглицерине.

— Что затевается? Будьте человеком, намекните хотя бы.

Я ухмыльнулся ему снизу. Он был гораздо выше меня.

— Мог бы,— признался я,— но боюсь, что это тебя отпугнет. Так что лучше я ничего не скажу. Радуйся жизни, пока можешь. Пообедай как следует. Многие приговоренные, кажется, любят плотно позавтракать яичницей с ветчиной перед тем, как их поведут к веревке. На обед тебе, наверно, этого не захочется, но...

Без пяти одиннадцать Том-Том Кери подъехал в большой открытой машине к углу, где мы с Джеком ждали его в тумане, облегавшем нас, как влажная шуба.

— Залезайте,— велел он, когда мы подошли к мостовой.

Я открыл переднюю дверь и знаком пригласил Джека. Он начал свой маленький спектакль: ответив мне холодным взглядом, открыл заднюю дверь.

— Я сяду сзади,— сказал он без обиняков.

— Здоровая мысль.— И я уселся рядом с ним.

Кери обернулся на сиденье, и они с Джеком долго глядели друг на друга. Я ничего не сказал, не познакомил их. Закончив разглядывать парня, смуглый человек перевел взгляд с его воротничка и галстука — фрак был виден из-под пальто — на меня, ухмыльнулся и протянул:

— Ваш друг в ресторане подает?

Я рассмеялся, потому что негодование, от которого потемнело лицо Джека и даже открылся рот, было натуральным, а не наигранным. Я толкнул его ногой. Он закрыл рот, ничего не сказал, посмотрел на Тома-Тома Кери и на меня, словно мы были представителями какого-то низшего вида животных.

Я улыбнулся Кери и спросил:

— Мы ждем, когда нам подадут бензин?

Он сказал, что нет, перестал разглядывать Джека и тронулся с места. Мы проехали через парк, по бульвару. Машины — и встречные, и шедшие впереди — возникали из ночного тумана и снова растворялись. Наконец город остался позади, туман рассеялся, и дорогу залил лунный свет. Я не оглядывался назад, но знал, что где-то там едет Дик Фоули с Мики Линеханом.

Том-Том Кери свернул с бульвара на дорогу, ровную и хорошую, но малоезжую.

— Не здесь ли где-то убили вчера ночью человека? — спросил я. Кери кивнул не повернув головы, а когда мы проехали еще с полкилометра, сказал:

— Вот здесь.

Теперь мы ехали чуть медленнее, и Кери выключил фары. По дороге, наполовину серебряной от луны, наполовину серой от тени, километра полтора машина едва ползла. Мы остановились под высокими кустами, затенявшими часть дороги.

— Все на берег, кому сходить,— сказал Том-Том Кери и вылез из машины. Мы с Джеком последовали за ним. Кери снял пальто и кинул на сиденье.

— Дом за поворотом, в стороне от дороги,— сказал он нам.— Луна, черт бы ее взял! Я рассчитывал на туман.

Я ничего не ответил. Джек тоже. Лицо у парня было бледное и взволнованное.

— Пойдем напрямик,— сказал Кери и направился через дорогу к высокой проволочной изгороди.

Он перелез через изгородь первым, потом Джек, потом... меня остановил звук чего-то двигавшегося по дороге нам навстречу. Двоим за забором я дал знак затихнуть, а сам укрылся под кустом. Приближавшиеся шаги были легкие, быстрые, женские.

В лунном свете перед нами появилась девушка. Девушка лет двадцати с небольшим, ни высокая, ни маленькая, ни худая, ни пухлая. В короткой юбке, в свитере, с непокрытой головой. На ее белом лице, в торопливых движениях был ужас — но и кое-что кроме него: там было больше красоты, чем привык видеть немолодой сыщик.

Когда она заметила в тени очертания автомобиля, она резко остановилась и охнула, едва сдержав крик. Я вышел вперед и сказал:

— Здравствуйте, Нэнси Риган.

На этот раз она не сдержала крика. А потом, если лунный свет не обманывал мои глаза, она меня узнала, и ужас стал уходить с ее лица. Она протянула ко мне обе руки, и в этом жесте было облегчение.

— Ну? — Медвежье рычание исходило от человека-валуна, возникшего из темноты у нее за спиной.— В чем дело?

— Здравствуй, Энди,— сказал я валуну.

— Здравствуй,— эхом откликнулся Макэлрой и застыл.

Энди всегда делал то, что ему велели делать. Ему велели охранять мисс Ньюхолл. Я посмотрел на девушку, потом снова на него.

— Это — мисс Ньюхолл? — спросил я.

— Она,— проурчал он.— Я приехал, как вы велели, а она говорит, что я ей не нужен — не пустила меня в дом. Но о том, чтобы возвращаться, вы не говорили. Я расположился во дворе, болтался тут, поглядывал, что и как. Потом увидел, что она вылезла через окно, и пошел следом — вы же велели за ней присматривать.

Том-Том Кери и Джек Конихан вернулись на дорогу, подошли к нам. У смуглого человека в руке был автоматический пистолет. Глаза девушки были прикованы к моим. На остальных она не обращала внимания.

— Что происходит? — спросил я ее.

— Не знаю,— пролепетала она, стоя ко мне вплотную и держась обеими руками за мою руку.— Да, я Анна Ньюхолл. Не знаю. Я думала, это просто забава. А когда поняла, что нет, уже не могла от них избавиться.

Том-Том Кери буркнул и нетерпеливо завозился. Джек Конихан пристально смотрел в сторону дороги. Энди Макэлрой стоял равнодушно, дожидаясь, что ему прикажут делать дальше. Девушка ни разу не перевела взгляда с меня на кого-нибудь из них.

— Как вы с ними связались? — спросил я.— Быстро говорите.

Я велел девушке говорить быстро. И она говорила. Двадцать минут она стояла передо мной и сыпала словами, останавливалась только тогда, когда я ее перебивал, чтобы вернуть рассказ в нужное русло. Он был путаный, местами почти нечленораздельный, не всегда правдоподобный, но на протяжении всей ее речи меня не оставляло чувство, что она пытается сказать правду — почти везде.

И ни на секунду она не сводила с меня глаз. Будто боялась посмотреть куда-нибудь еще.

Два месяца назад поздно ночью эта дочка миллионера в компании еще трех молодых людей возвращалась домой после какого-то светского развлечения на побережье. Кто-то предложил остановиться в придорожном ресторанчике, где обычно собиралась опасная публика. Опасность, конечно, и привлекла их — для них она была более или менее в новинку. Той ночью они насладились ею сполна: не просидев и десяти минут в притоне и не успев даже ничего понять, они были втянуты в драку.

Кавалер осрамился перед девушкой, показав себя не в меру трусливым. Он позволил Рыжему О'Лири уложить себя на колено и отшлепать и ничего после этого не сделал. Другой молодой человек вел себя не намного храбрее. Девушка, уязвленная их малодушием, подошла к рыжему великану, который разгромил ее кавалеров, и сказала ему во всеуслышание: «Не будете ли так добры подвезти меня домой?»

О'Лири с радостью согласился. Она рассталась с ним за квартал или два от своего городского дома. Сказала ему, что ее зовут Нэнси Риган. Возможно, он не совсем ей поверил, но никаких вопросов никогда ей не задавал, о делах ее разузнать не пытался. Несмотря на разницу в общественном положении, у них завязалась настоящая дружба. Он был бесподобный хулиган и поэтому представлялся ей фигурой романтической. Он влюбился в девушку, знал, что ему до нее — как до луны, и она легко справлялась с ним, покуда речь шла об их отношениях.

Они часто встречались. Он водил ее по всем притонам в районе залива, знакомил с медвежатниками, бандитами, аферистами, рассказывал немыслимые истории из преступной жизни. Она знала, что он вор, знала, что он участвовал в ограблении Национального банка и «Золотых ворот». Но все это представлялось ей каким-то театром. Не тем, чем было на самом деле.

Глаза у нее открылись в тот вечер, когда у Лароя на Рыжего напали налетчики: она поняла, что Рыжий помог Пападопулосу и остальным обмануть сообщников. Но — поздно, выпутаться она не могла. Когда я продырявил ее кавалера, она вместе с ним угодила в берлогу Пападопулоса. Там она увидела, что собой представляют эти романтические разбойники, с кем она связалась.

К тому времени, когда Пападопулос улизнул вместе с ней, она уже вполне проснулась, прозрела, закрыла этот опасный романчик с уголовным миром. Так она думала. Она в самом деле думала, что Пападопулос — запуганный старичок, раб Флоры, безобидный старый недотепа, и чуть ли не одной ногой в могиле, и никакого зла от него быть не может. Он скулил и был насмерть испуган. Он умолял девушку не покидать его в беде, со слезами на морщинистых щеках просил спрятать его от Флоры. Она увезла его в свой загородный дом и позволила возиться в саду, вдали от любопытных глаз. Она и не подозревала, что он с самого начала знал, кто она такая, и навел ее на мысль об этом убежище.

Она продолжала верить в его невиновность даже тогда, когда в газетах написали, что это он был командиром армии налетчиков, когда за его поимку назначили вознаграждение в 106 тысяч долларов. Он ее убедил, что Флора и Рыжий просто все свалили на него, чтобы отделаться более легким приговором. Напуганный суетливый старичок — как ему не поверить?

Потом ее отец погиб в Мексике, горе заставило ее забыть почти обо всем остальном — до нынешнего дня, когда в доме появилась Большая Флора с какой-то девушкой, по всей видимости Анжелой Грейс Кардиган. Флору она боялась смертельно еще в их первую встречу. Теперь испугалась еще больше. Вскоре она поняла, что Пападопулос не раб Флоры, а хозяин. Она увидела старого коршуна в натуральном обличии. Но на этом ее прозрение не закончилось.

Анжела Грейс неожиданно попыталась убить Пападопулоса. Флора ее одолела. Озлобленная Грейс сказала им, что она подруга Пэдди. А потом крикнула Анне Ньюхолл: «А ты, дура чертова, не знаешь, что они убили твоего отца? Не знаешь?..»

Большая Флора схватила Анжелу за горло и не дала договорить. Она связала Анжелу и повернулась к Анне.

— Ты влипла,— грубо сказала она.— Ты увязла по уши. От нас тебе хода нет — только знаешь куда. Вот такие дела, моя милая. Если нас со стариком возьмут, обоим петля. И ты покачаешься вместе с нами. Я уж постараюсь. Делай что тебе велят, и мы вылезем. Начнешь дурака валять — я с тебя шкуру спущу.

После этого девушка мало что запомнила. У нее сохранилось смутное воспоминание о том, как она подошла к двери и сказала Энди, что не нуждается в его услугах. Сделала она это механически, даже без понуканий большой блондинки, стоявшей у нее за спиной. Позже, все в том же страшном помрачении, она вылезла в окно своей спальни, спустилась по увитой виноградом стене террассы и побежала прочь от дома, по дороге, неизвестно куда, лишь бы скрыться.

Вот что я узнал от девушки. Она не все это рассказала. Словами она рассказала только бóльшую часть. Я дорисовал недостающее, сопоставив ее слова, ее интонации, выражение лица с тем, что я уже сам знал и о чем мог догадаться.

И ни разу на протяжении всего разговора ее глаза не оторвались от моих. Она ни разу не показала, что замечает присутствие других людей, стоящих тут же на дороге. Она смотрела мне в лицо с отчаянным упорством, словно боялась не смотреть, и руки ее цеплялись за мои так, как будто если бы она меня отпустила, то провалилась бы сквозь землю.

— Что с вашими слугами? — спросил я.

— Их здесь больше нет.

— Пападопулос уговорил отделаться от них?

— Да... несколько дней назад.

— Значит, кроме Пападопулоса, Флоры и Анжелы Грейс никого в доме нет?

— Да.

— Они знают, что вы сбежали?

— Не знаю. Вряд ли. Я довольно долго сидела у себя в комнате. По-моему, они решили, что теперь я буду послушной и сама ничего не осмелюсь сделать.

Меня раздражало, что я гляжу в глаза девушке так же неотрывно, как она на меня, а когда пытаюсь отвести взгляд, мне это дается с трудом. Я оторвал от нее взгляд, отнял у нее свои руки.

— Остальное можете рассказать мне позже,— проворчал я и отвернулся, чтобы дать указания Энди Макэлрою.— Оставайся здесь с мисс Ньюхолл, пока мы не вернемся из дома. Устраивайтесь в машине поудобнее.

Девушка взяла меня за локоть.

— А меня?.. Вы меня?..

— Мы сдадим вас в полицию, да,— пообещал я.

— Нет! Нет!

— Не будьте ребенком, я вас умоляю. Вы не можете разгуливать с шайкой головорезов, впутываться в разные преступления, а потом, когда споткнулись, сказать: «Извините, пожалуйста» — и идти на все четыре стороны. Расскажете всю историю в суде, включая то, что мне не рассказали,— возможно, вас отпустят. Но убей меня бог, если я знаю, как вам избежать ареста. Пошли,— сказал я Джеку и Тому-Тому Кери.— Надо шевелиться, если хотим застать людей дома.

Подойдя к изгороди, я оглянулся и увидел, что Энди посадил девушку в машину и сам влезает за ней.

— Минутку,— сказал я Джеку и Кери, которые уже двинулись через поле к дому.

— Придумал, как еще убить время,— проворчал смуглый человек.

Я опять пересек дорогу, подошел к машине, тихо и быстро заговорил с Энди:

— Где-то поблизости должны болтаться Дик Фоули и Мики Линехан. Как только мы скроемся, отыщи их. Передай мисс Ньюхолл Дику. Скажи, чтобы взял ее с собой и дул отсюда к телефону — пусть поднимет шерифа. Скажи Дику, чтобы сдал девушку шерифу, а тот держал ее до приезда сан-францисской полиции. Скажи ему, чтобы больше никому девушку не отдавал — даже мне. Понял?

— Понял.

— Хорошо. Когда объяснишь ему это и сдашь девушку, бери Мики Линехана и как можно скорее к дому Ньюхолла. Думаю, нам понадобятся все, кого можем собрать,— и понадобятся немедленно.

— Понял вас,— сказал Энди.

— Что вы там затеяли? — подозрительно спросил Том-Том Кери, когда я подошел к нему и Джеку.

— Сыщицкие дела.

— Надо было мне одному сюда приехать и провернуть дело без помощников,— проворчал он.— С тех пор как мы отправились, вы только время теряете и больше ни черта.

— Сейчас не я его теряю.

Он фыркнул и пошел по полю дальше, а мы с Джеком за ним. На краю поля нам пришлось перелезть через еще одну проволочную изгородь. Потом мы одолели небольшой лесистый бугор, и перед нами возник дом Ньюхолла — большой белый дом, поблескивавший под луной, с желтыми прямоугольниками завешенных окон, где горел свет. Освещенные комнаты были на первом этаже. На верхнем свет не горел. Кругом было тихо.

— Черт бы взял эту луну! — повторил Том-Том Кери и вынул из кармана еще один автоматический пистолет, так что теперь их оказалось два: один в правой руке, другой — в левой.

Джек стал вытаскивать свой, поглядел на меня, увидел, что я не вынимаю, и опустил его обратно в карман.

Лицо Тома-Тома Кери стало темной каменной маской — глаза-щели, рот-щель,— угрюмая маска охотника за людьми, убийцы. Он дышал тихо, его широкая грудь вздымалась едва-едва. Рядом с ним Джек Конихан казался взволнованным школьником. Лицо у него было меловое, глаза расширились до неузнаваемости, и дышал он как автомобильный насос. Но улыбка на лице Джека, при всей ее нервности, была натуральной.

— Мы подберемся к дому с этой стороны,— шепнул я.— Потом один заходит сзади, другой — спереди, а третий ждет и смотрит, где он понадобится больше. Так?

— Так,— согласился смуглый человек.

— Постойте! — встрепенулся Джек.— Девушка спустилась по винограду из верхнего окна. А что, если я поднимусь таким же манером? Я легче вас обоих. Если ее не хватились, окно еще открыто. Дайте мне десять минут, я отыщу окно, взберусь туда и займу позицию. Когда вы нападете, я буду у них в тылу. Ну как? — Он ждал аплодисментов.

— А если тебя схватят, как только ты взберешься? — возразил я.

— Ну схватят. Я подниму такой шум, что вы услышите. Пока со мной возятся, вы — карьером в атаку. Ничем не хуже.

— На кой пес? — рявкнул Том-Том Кери.— Какая выгода? Лучше, как сперва условились. Один — к парадной двери, другой — к черной, вышибаем, и пиф-паф.

— Если его план удастся, это лучше,— высказался я.— Хочешь в пекло, Джек,— я тебе не мешаю. Хочешь показать свое геройство — буду только рад.

— Нет! — прорычал смуглый человек.— Так не пойдет!

— Пойдет,— возразил я ему.— Попробуем. Джек, рассчитывай на двадцать минут. Лишнего времени все равно не останется.

Джек посмотрел на свои часы, я на свои, и он повернул к дому.

Том-Том Кери, мрачно нахмурясь, загородил ему дорогу. Я выругался и встал между парнем и смуглым человеком. Джек прошел у меня за спиной и заторопился прочь, через слишком светлую лужайку, отделявшую нас от дома.

— Меньше пены,— посоветовал я Кери.— В нашей игре много подробностей, о которых вы не знаете.

— Чересчур много,— проворчал он, но Джека задерживать не стал.

С нашей стороны на втором этаже открытого окна не было. Джек обогнул дом и скрылся из виду.

За спиной у нас послышался шорох. Мы с Кери обернулись одновременно. Пистолеты его поднялись. Я протянул руку и отжал их вниз.

— Только без родимчиков,— предупредил я.— Это еще одна подробность, про которую вы не знаете.

Шорох прекратился.

— Можно,— тихо сказал я в ту сторону.

Из-под деревьев вышли Мики Линехан и Энди Макэлрой.

Том-Том Кери придвинул лицо так близко к моему, что оцарапал бы меня, если бы забыл сегодня побриться.

— Облапошить меня хотел?..

— Спокойно! Спокойно! В ваши-то годы! — с укоризной сказал я.— Ребятам не нужна премия.

— Нечего тут вашей кодле делать,— проворчал он.— Нам...

— Нам понадобятся все люди, какие есть под рукой,— перебил я, взглянув на свои часы. Я сказал обоим агентам: — Сейчас идем к до-

му. Вчетвером мы справимся. Приметы Пападопулоса, Большой Флоры и Анжелы Грейс вы знаете. Они в доме. И не зевайте там: Флора и Пападопулос — это динамит. Джек Конихан сейчас пробует забраться в дом. Вы двое держите черный ход. Кери и я пойдем с парадного. Игру начинаем мы. Вы следите, чтобы никто не ускользнул. Шагом марш!

Мы со смуглым человеком направились к веранде — широкой веранде, увитой с одного боку виноградом, на который падал изнутри через высокие, от полу, окна с занавесями желтый свет.

Едва мы сделали первые шаги по веранде, как одно из этих высоких окон шевельнулось — раскрылось.

Первое, что я увидел,— спина Джека Конихана.

Он открывал створку ногой и рукой, не поворачивая головы.

За ним — лицом к нему, в другом конце ярко освещенной комнаты — стояли мужчина и женщина. Мужчина — старый, маленький, тощий, морщинистый, испуганно-жалкий — Пападопулос. Я увидел, что он сбрил свои лохматые седые усы. Женщина была высокая, с сильным телом, розовой кожей, желтоволосая сорокалетняя великанша с ясными серыми глубоко посаженными глазами и красивым свирепым лицом — Большая Флора Брейс. Они стояли очень тихо, бок о бок, глядя в дуло пистолета, который был в руке у Джека Конихана.

Пока я стоял перед окном, наблюдая эту сцену, Том-Том Кери, подняв оба пистолета, шагнул мимо меня в высокое окно и встал рядом с парнем. Я не вошел за ним в комнату.

Взгляд испуганных карих глаз Пападопулоса перескочил на лицо смуглого человека. Серые глаза Флоры повернулись туда же неторопливо, а потом посмотрели мимо него на меня.

— Всем стоять! — приказал я и отошел от окна, на ту сторону террасы, где виноград рос реже.

Просунув голову сквозь виноград, так что лицо мое осветила луна, я посмотрел вдоль боковой стены дома. Тень в тени гаража могла быть человеком. Я вытянул руку в лунном свете и поманил. Тень приблизилась — Мики Линехан. Энди Макэлрой высунул голову из-за заднего угла. Я снова поманил, и он подошел вслед за Мики.

Я вернулся к открытому окну.

Пападопулос и Флора — заяц и львица — стояли, глядя на пистолеты Джека и Кери. Когда я появился, они снова посмотрели на меня, и полные губы женщины изогнулись в улыбке.

Мики и Энди подошли и встали рядом со мной. Улыбка женщины угрюмо потухла.

— Кери,— сказал я,— вы с Джеком стойте на месте. Мики, Энди, идите в комнату и примите господни дары.

Когда оба агента вошли в окно, сцена оживилась.

Пападопулос закричал.

Большая Флора бросилась на него, толкнула его к черному ходу.

— Беги! Беги! — крикнула она.

Спотыкаясь, он кинулся в дальний конец комнаты.

У Флоры в руках вдруг возникли два пистолета. Ее большое тело, казалось, заполняет комнату, словно одним только усилием воли она превратилась в исполина. Она бросилась вперед, прямо на пистолеты Джека и Кери, заслонив от их пуль черный ход и убегавшего старика.

Сбоку мелькнуло неясное пятно — Энди Макэлрой сорвался с места.

Я схватил руку Джека, державшую пистолет.

— Не стреляй,— прошептал я ему на ухо.

Пистолеты Флоры грохнули одновременно. Но она падала. Энди врезался в нее. Кинулся ей в ноги, как будто ей под ноги вкатили валун.

Когда Флора упала, Том-Том Кери перестал ждать.

Его первая пуля прошла так близко к ней, что срезала ее кудрявые желтые волосы. Но прошла мимо: настигла Пападопулоса, как раз когда он выходил в дверь. Пуля попала ему в поясницу — размазала его по полу.

Кери выстрелил еще раз... еще... еще — в лежащее тело.

— Напрасный труд,— проворчал я.— Мертвее он не станет.

Он усмехнулся и опустил пистолеты.

— Четыре за сто шесть.— Всей его угрюмости, плохого настроения как не бывало.— За каждую пулю я выручил по двадцать шесть тысяч пятьсот долларов.

Энди и Мики уже скрутили Флору и тащили по полу.

Я перевел взгляд с них на смуглого человека и тихо сказал:

— Это еще не все.

— Не все? — Он как будто удивился.— А что еще?

— Не зевайте и слушайте, что вам будет подсказывать совесть,— ответил я и повернулся к молодому Кониханом.— Пойдем, Джек.

Я вышел через окно на террасу и прислонился там к перилам. Джек вышел следом и остановился передо мной, все еще с пистолетом в руке: лицо у него было усталое и бледное от нервного напряжения. Глядя мимо него, я мог наблюдать за тем, что происходит в комнате. Флора сидела между Энди и Мики на диване. Кери стоял сбоку, с любопытством посматривая на нас с Джеком. Мы стояли в полосе света, падавшего через раскрытое окно. Мы видели комнату — вернее, я, потому что Джек стоял к ней спиной,— из комнаты видели нас, но разговор слышать не могли, если только мы нарочно не заговорим громко.

Все было так, как я задумал.

— А теперь рассказывай,— велел я Джеку.

— Ну, я нашел открытое окно,— начал он.

— Эту часть я знаю,— перебил я.— Ты влез и сказал своим друзьям — Пападопулосу и Флоре,— что девушка сбежала и что идем мы с Кери. Ты посоветовал им сделать вид, будто ты захватил их в одиночку. Так вы заманите нас с Кери внутрь. Ты, как бы свой,— у нас в тылу, и втроем вы нас обоих захватите легко. После этого ты выйдешь на дорогу и скажешь Энди, что я зову его с девушкой. План был хороший — только ты не знал, что в рукаве у меня припрятаны Дик и Мики, не знал, что я не позволю тебе зайти ко мне за спину. Но я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, почему ты нас продал и что, по-твоему, теперь с тобой будет?

— Вы с ума сошли? — На его молодом лице была растерянность, в молодых глазах — ужас.— Или это какой-то?..

— Конечно, с ума сошел,— признался я.— Иначе бы разве позволил тебе заманить себя в западню в Сосалито? Но не настолько сошел с ума, чтобы и задним числом в этом не разобраться. И не заметить, что Анна Ньюхолл боится посмотреть на тебя. Не настолько сошел с ума, чтобы поверить, будто ты один захватил Пападопулоса и Флору против их желания. Я сошел с ума, но не окончательно.

Джек рассмеялся — беззаботным молодым смехом, только чересчур пронзительно. Глаза его не смеялись вместе с губами и голосом. Пока он смеялся, глаза переходили с меня на пистолет в его руке и обратно на меня.

— Говори, Джек,— хрипло попросил я, положив руку ему на плечо.— Скажи, ради бога, зачем ты так поступил?

Парень закрыл глаза, сглотнул и вздернул плечи. Когда его глаза открылись, они блестели, и во взгляде была твердость и бесшабашное веселье.

— Самое плохое в этом,— сказал он грубо, убрав плечо из-под моей руки,— что я оказался неважным вором, верно? Мне не удалось вас обвести.

Я ничего не ответил.

— Пожалуй, вы заслужили право выслушать мой рассказ,— продолжал он после короткой заминки. Говорил он с нарочитой монотонностью, словно избегая всякой интонации и нажима, которые могли бы выдать его чувства. Он был слишком молод, чтобы говорить естественно.— Я встретился с Анной Ньюхолл три недели назад, у себя дома. Когда-то она училась с моими сестрами в одной школе, но в ту пору мы знакомы не были. А тут, конечно, сразу узнали друг друга: я знал, что она — Нэнси Риган, она знала, что я агент из «Континентала».

Мы ушли вдвоем и все обсудили. Потом она отвела меня к Пападопулосу. Мне понравился старикан, и я ему понравился. Он объяснил мне, как мы сможем раздобыть неслыханное богатство. Вот вам и все. Перспектива такого богатства заставила меня забыть о совести. О Кери я сказал ему, как только узнал от вас, а вас, вы совершенно правы, заманил в западню. Он решил, что будет лучше, если вы перестанете докучать нам до того, как обнаружите связь между Ньюхоллом и Пападопулосом.

После этой неудачи он хотел, чтобы я попробовал еще раз, но я решил, что с меня провалов хватит. Нет ничего глупее, чем неудачное покушение. Анна Ньюхолл не виновата ни в чем, кроме безрассудства. По-моему, она даже не подозревает о моем участии в грязных делишках — за исключением того, что я не пожелал способствовать их аресту. Вот, дорогой мой Шерлок, и вся почти исповедь.

Я слушал рассказ парня, всем своим видом стараясь выражать сочувственное внимание. Теперь я нахмурился и заговорил с укоризной, но все еще дружелюбно:

— Кончай дурака валять! Купился ты вовсе не на деньги, которые посулил Пападопулос. Ты встретился с девушкой, и у тебя не хватило характера сдать ее полиции. Но ты даже себе в этом не признался — из-за тщеславия, из-за гордости, ведь тебе хотелось считать себя крутым парнем. Таким, которого ничем не прошибешь. И Пападопулос раскусил тебя в два счета. Он назначил тебя на роль, которую ты хотел играть перед собой,— бандита-джентльмена, стратега, учтивого, отчаянного злодея и всякую такую романтическую ерунду. Вот на что ты пошел, сынок. Ты не только спасал ее от каталажки, ты пошел гораздо дальше — и все для того лишь, чтобы показать свету, а главное себе самому, что действуешь так не из сентиментальности, а из дерзкого своеволия. И вот к чему ты пришел. Погляди на себя.

Не знаю, каким он себя увидел — таким же, как я его, или по-другому,— но лицо его медленно покраснело, и он не желал глядеть мне в глаза. Он глядел мимо меня вдаль, на дорогу.

Я смотрел в освещенную комнату у него за спиной. Том-Том Кери перешел на середину и стоял, наблюдая за нами. Я дернул углом рта — предупредил его.

— Ну хорошо,— снова начал Джек, но не знал, что сказать дальше. Он шаркал ногами и не смотрел мне в лицо.

Я выпрямился и отбросил все свое притворное сочувствие.

— Отдай мне пистолет, ты, шкура! — рявкнул я ему.

Он отпрянул, словно его ударили. Лицо его исказилось от бешенства. Он поднял пистолет — направил мне в грудь.

Том-Том Кери увидел, что пистолет поднялся. Смуглый человек выстрелил дважды. Джек Конихан свалился мертвым к моим ногам.

Мики Линехан выстрелил один раз. Кери упал на пол, из виска его полилась кровь.

Я перешагнул через тело Джека, вошел в комнату, опустился на колени возле смуглого человека. Он скорчился, хотел что-то сказать, но так и не смог — умер. Я подождал, пока разгладится мое лицо, и только тогда поднялся.

Большая Флора вглядывалась в меня, прищурив серые глаза. Я встретил ее взгляд.

— Я еще не совсем понимаю,— медленно сказала она,— но если вы...

— Где Анжела Грейс?— перебил я.

— Привязана к кухонному столу,— сообщила она мне и продолжала размышлять вслух: — Вы устроили так, что...

— Ага,— кисло откликнулся я,— я Пападопулос номер два.

Ее крупное тело вдруг задрожало. Красивое свирепое лицо потемнело от боли. Из глаз выкатились две слезинки.

Будь я проклят, если она не любила старого мерзавца!

В город я вернулся в девятом часу утра. Позавтракал, потом отправился в агентство и застал Старика за разбором утренней почты.

— Все кончено,— сказал я ему.— Пападопулос знал, что Нэнси Риган — наследница Тейлора Ньюхолла. Когда банковское дело провалилось и ему понадобилось убежище, он устроил так, что она спрятала его в загородном доме Ньюхолла. Держал он ее на двух крючках. Она жалела его как бестолкового и забитого старика, а, кроме того, после налетов сама стала — пускай невольной — соучастницей.

Вскоре папа Ньюхолл отправился по делам в Мексику. Пападопулос сообразил, как можно заработать. Если Ньюхолла убьют, дочка получит миллионы, и старый вор знал, что сможет их отобрать. Он послал за границу Барроуза нанять мексиканских бандитов для убийства. Барроуз все сделал, но проболтался. Сказал своей дамочке в Ногалесе, что должен вернуться «во Фриско и получить со старого грека хорошие деньги», а потом приедет сюда и купит ей все на свете. Дамочка передала это Тому-Тому Кери. Кери смекнул, что к чему. И явился сюда за Барроузом. Утром он навестил Барроуза, чтобы выяснить, Пападопулос ли этот «старый грек» и где его найти; Анжела Грейс присутствовала при выяснении. Барроуз был под морфием и никаких резонов слушать не желал. Тогда смуглый человек стал урезонивать его ножом, но Барроуз так накачался наркотиком, что даже это не производило впечатления, и боль он почувствовал только тогда, когда смуглый человек уже сильно его обстругал. Анжелу Грейс эта картина привела в ужас. Сперва она попробовала остановить Кери, потом просто ушла. А когда прочла в вечерних газетах, какое изделие вышло из рук Кери, попыталась покончить с собой — больше не могла выносить видения, стоявшие у нее перед глазами.

Кери вытянул из Барроуза все, что он знал, но Барроуз не знал, где прячется Пападопулос. Пападопулос услышал о приезде Кери — как именно услышал, вам известно. Он послал Арли убить Кери. Кери легко уходил от парикмахера — покуда не заподозрил, что Пападопулос может прятаться в доме Ньюхолла. Он поехал туда, позволив парикмахеру сесть ему на хвост. Как только Арли понял, куда направляется Том-Том Кери, он решил помешать ему во что бы то ни стало и начал его нагонять. Кери только этого и ждал. Он застрелил Арли, вернулся в город и позвал меня с собой, чтобы поставить точку в этом деле.

Тем временем Анжела Грейс подружилась в камере с Большой Флорой. Она знала Флору, а Флора ее не знала. Пападопулос организовал Флоре побег. Двоим всегда легче бежать, чем одному. Флора взяла с собой Анжелу, привезла к Пападопулосу. Анжела бросилась на него, но Флора сбила ее с ног.

Флора, Анжела Грейс и Анна Ньюхолл, она же Нэнси Риган, в окружной тюрьме,— закончил я.— Пападопулос, Том-Том Кери и Джек Конихан убиты.

Я замолчал и раскурил сигарету — не торопясь, внимательно разглядывая и сигарету и спичку по ходу дела. Старик взял со стола письмо, опустил не прочтя, взял другое.

— Они убиты во время задержания? — В его мягком голосе не слышалось ничего, кроме обычной беспредельной вежливости.

— Да. Кери убил Пападопулоса. Чуть позже он застрелил Джека. Мики, ничего не зная... видя только, что смуглый человек стреляет в Джека и в меня — мы стояли друг против друга и разговаривали,— выстрелил в Кери и убил его.— Слова скручивались у меня на языке, не желали складываться как положено.— Ни Мики, ни Энди не знают, что Джек... Никому, кроме вас и меня, не известно, в чем было... чем занимался Джек. Флоре Брейс и Анне Ньюхолл это известно, но если мы скажем, что он все время действовал по приказу, опровергнуть нас никто не сможет.

Старик кивнул и улыбнулся улыбкой доброго дедушки, но в первый раз за много лет я его понял — понял, о чем он думает. Он думал, что если бы Джек вышел из этого дела живым, мы оказались бы перед паршивым выбором: отпустить его на все четыре стороны или испортить физиономию агентству, признав во всеуслышание, что один из наших агентов — уголовник.

Я бросил сигарету и встал. Старик тоже встал и протянул мне руку.

— Благодарю вас,— сказал он.

Я пожал ему руку, и я понял его, но исповедоваться мне было не в чем — даже молча.

— Так получилось,— медленно сказал я.— Я разыграл карты так, чтобы извлечь выгоду из обстоятельств... но так уж получилось.

Он кивнул с благосклонной улыбкой.

— Недельки две отдохну,— сказал я уже от двери. Я чувствовал себя усталым.

Полицейские и воры Дэшила Хэммета

Минуло уже пятьдесят пять лет, как Дэшил Хэммет опубликовал свой детективный роман «Худой человек», не зная, что ставит точку в своей короткой, но блестящей писательской карьере. Все эти годы популярность Хэммета у «просто читателей» была весьма высока, но «читатели профессиональные» — критики и литературоведы — не проявляли интереса к его творчеству. Зато в 80-е годы наступил перелом: только в США успело выйти четыре обстоятельных исследования о нем.

Такой монографический взрыв вполне закономерен. Хэммет не просто классик детективного жанра, но основоположник той его разновидности, что именуется «крутым», или «жестоким» детективом. И жизнь он прожил колоритную, вполне способную стать сюжетом для приключенческого романа. Перепробовав множество профессий, он в 1915 году поступил на работу в агентство Пинкертона, старейшее частное детективное ведомство в США. Начав пробовать себя в литературе, он быстро осваивается в жанре детектива. Затем в зените славы перестает писать. С середины 30-х он становится популярной фигурой среди голливудской элиты, украшением вечеринок и пикников, где собирается цвет американской кинематографии. В конце 30-х Хэммет начинает проявлять интерес к общественной жизни Америки, выступает в поддержку республиканской Испании, редактирует журнал левой ориентации, в 1940 году возглавляет организацию «Конгресс за гражданские права», сближается с коммунистами и попадает под надзор ФБР, который прекращает лишь его смерть.

В начале 50-х он оказывается в фокусе внимания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Лилиан Хеллман, в течение многих лет бывшая его верным другом и спутником, так вспоминает об этом: «В 1951 году он попал в тюрьму, поскольку вместе с двумя другими попечителями фонда «Конгресса за гражданские права» отказался назвать имена тех, кто вносил в фонд средства. Хэммет, впрочем, не знал фамилий пожертвователей. Вечером накануне дня, когда он должен был предстать перед судом я спросила его: «Почему ты не скажешь, что тебе не известны фамилии?» — «Я не могу этого сделать», — отвечал он.— «Почему?» — «Сам не знаю». После напряженной паузы он произнес: «...Мне очень неприятен этот разговор, но все-таки я скажу так: даже если бы мне угрожала не тюрьма, а смерть, я бы принял ее во имя того, что я считаю демократией. И я не позволю, чтобы полицейские и судейские чиновники учили меня демократии». Он пошел домой, лег спать, а на следующий день отправился в тюрьму».

Но это будет гораздо позже, а в 20-е годы Хэммет молод, беден и никому не известен. Чтобы как-то заработать на жизнь, он пробует писать. Детективный опыт приходится кстати. В 1923 году он публикует свой первый рассказ о преступлении.

Хэммета не удовлетворял классический детектив, живописавший победы Великого Сыщика в мире, который «не оставляет шрамов», где читателя вконец запутывают бесконечными уликами, а хитроумное фабульное здание сооружается ради нескольких эффектных страниц финала. Стараниями Хэммета в жанр ворвалась злободневность, которой раньше не находилось места на страницах детективов.

Неудивительно, что новый канон романа о преступлении — «крутой детектив»— сложился именно в США, где насилие, как говорят сами американцы, «привычно, как яблочный пирог». Введение в стране «сухого закона» не уничтожило пьянства, но зато дало мощный импульс развитию организованной преступности. В основе «типично американского преступления» не было никаких личных мотивов, которые, по утверждениям теоретиков жанра, составляли основу истинного детектива. Действовал лишь мотив выгоды. «Меня называют гангстером,— говорил печально знаменитый Эл (Аль) Капоне,— я же считаю себя бизнесменом. Когда я продаю моим клиентам спиртное, это считается спекуляцией. Когда же они подают его гостям на серебряном подносе в своих особняках, это у них называется гостеприимством». В борьбе за «рынки сбыта» Капоне содержал армию в 700 с лишним человек. В 1925 году он по сути дела полностью контролировал Цицеро, один из пригородов Чикаго. За свою долгую карьеру бизнесмена нового образца он приложил руку к уничтожению 400 с лишним «конкурентов» и их подручных. На похоронах Диона О'Бэнниона, главного конкурента Капоне, побывало до 20 000 человек, среди которых были и «отцы города» — судьи, члены муниципального совета и т. д. Две дюжины грузовиков везли венки. Среди них был венок с краткой запиской: «От Эла». Выполняя приказ шефа, люди Капоне застрелили О'Бэнниона в его цветочном магазине.

Погружая читателя в мир насилия, организованной преступности, подчинявшей себе слабый и продажный закон, Хэммет создавал образ американской современности как опасной для человека. С Хэмметом в детективную прозу вошла тема утраченных иллюзий, шаткости и неразумности социального порядка. Американская мечта прогрессирующе деградировала, превращаясь в Американскую трагедию. В 20-е годы об этом заговорили в полный голос Драйзер, Фицджеральд, Хемингуэй, Дос Пассос. Об этом же поведал читающей Америке и Хэммет. Столкнув обжигающую злободневность с канонами детективного жанра, он высек искру настоящего искусства.

Цикл рассказов, написанный им в 20-е годы (прежде чем он переключился на сочинение романов), объединяется фигурой расследователя — «оперативника» из вымышленного детективного агентства «Континентал». Великие Сыщики Эдгара По, Конан Дойла, Агаты Кристи — гении интеллекта, всевидящие и всемогущие. «Оперативник» Хэммета — труженик, занимающийся расследованием преступлений не «скуки ради», не из любви к Справедливости, а по необходимости. Именно таким путем зарабатывает он себе на жизнь. Сам писатель так высказался о персонаже, который верой и правдой послужил ему в двух с лишним десятках рассказов и двух романах, а затем ушел в почетную отставку, уступив место другим героям: «Я вижу его как маленького человека, который изо дня в день бредет через кровь, и грязь, и смерть, и обман к неясной цели, проявляя ровно столько грубости, черствости и цинизма, сколько того требуют обстоятельства, и не имея для достижения этой цели никаких других мотивов, кроме того, что его наняли для ее достижения».

Таким предстает он и в повести-дилогии «Большой налет» и «106 тысяч за голову», составляющей своеобразный центр «саги об оперативнике», этом первом антигерое детективного жанра (по первой части ее — «Большой налет» и названа ставшая теперь классической антология малой прозы Хэммета, составленная Лилиан Хеллман).

Выпуская на оперативный простор своего анонимного персонажа, Хэммет последовательно разрушает прежний романтический образ Великого Сыщика, аристократа, интеллектуала и чудака, остававшегося в то же время верным агентом общества по наведению порядка. Разрушает, чтобы создать тип, рожденный новыми социальными обстоятельствами

Гангстерские перестрелки на улицах Лос-Анджелеса и Чикаго были как бы ояицетворением той скрытой гражданской войны, что не первый год велась в американском обществе. Былое единство и относительная социальная однородность нации канули в вечность. Стремление к материальному успеху любой ценой превращало, в глазах Хэммета, делового человека в респектабельного уголовника, стремящегося устранять конкурентов всеми доступными способами. Обыкновенный средний американец оказывался как бы между двух огней — преступным низом (гангстеры, бандиты, жулики всех калибров) и не менее преступным верхом (банкиры, магнаты, политики, законники) — теми полюсами, что имели тенденцию к сближению, испытывали друг к другу деловой интерес. В условиях «криминализации» социальной системы, когда лозунги общего блага и «открытых возможностей» оказываются либо ложью либо глупостью, единственный возможный выход, по Хэммету, похоже, заключался в том, чтобы делать свое дело профессионально безупречно, честно, не отступая перед опасностями и не соблазняясь наградами, что сводят с ума окружающих — большими деньгами, иллюзиями власти, мечтами о престиже. Только так в условиях нарастающей несвободы можно испытать моменты свободы, ощутить себя самостоятельной личностью.

«Оперативник» Хэммета, разыскивая бандитов, совершивших дерзкое ограбление банков в «Большом налете», а затем с чудовищным хладнокровием отправивших на тот свет своих же товарищей, формально действует по поручению финансовых магнатов. По сути же дела он сражается один на один со Злом. Он, правда, не рассуждает, в отличие от своих предшественников, о добре и зле, о благе общества и пр. Он вообще не рассуждает о «высоких материях». Но читатель верно воспринимает «зашифрованное» послание автора. Абстрактные понятия, увы, давно утратили свое реальное содержание, стали приманкой для простаков. Надеяться приходится лишь на себя, ибо вокруг, как видно из сюжета повести, обман, двойная игра, жесткий прагматизм. Бандиты и профессиональные убийцы, с одной стороны, а с другой — суровое начальство, которому плевать на все кроме результатов, олицетворением которого выступает анонимный, как и «оперативник», руководитель агентства «Континентал» — Старик, холодный и безжалостный профессионал, способный «плеваться ледышками в июле». В классическом детективе Конан Дойла преступник был «паршивой овцой», досадным исключением из правила, а в целом мир был прекрасен, разумен и справедлив. У Хэммета же мир порочен в своей основе, поражен тяжким социальным недугом, и герой-расследователь сам оказывается в положении одиночки. Если он кого и спасает, то разве что самого себя, свое достоинство и честь, ну и давние демократические идеалы, на которых строилась республика за океаном и которые нынче превратились в миф, иллюзию, фикцию. Колоритная занимательность хэмметовской прозы сочетается с ироничной философичностью. За подвигами «оперативника» проглядывает трагический стоицизм героев раннего Хемингуэя, героизм того самого «абсурдного человека», с которым позже познакомит мир Камю.

Мастера детективной прозы обычно отличаются плодовитостью. По сравнению со своими коллегами Хэммет написал просто мало. Он мог бы продолжать изготовлять детективы по отлаженной схеме, зарабатывая деньги и славу. Но это претило его натуре, где профессионализм сосуществовал с артистизмом, но не находилось места бизнесмену.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

■

■

С английского

СИНКЛЕР РОСС

Звуки корнета в ночи

Пшеница созрела, а было воскресенье.

— Ничего не поделаешь, надо жать,— сказал отец за утренним завтраком.— И нечего спорить. Ветер опять сильный, она уже осыпается.

— Но не в воскресный же день,— возмутилась мать.— Лошади, как положено, пусть стоят в конюшне. Днем пойдем в церковь, а к ужину я решила пригласить Луизу с мужем.

Обычно мой отец был кроткий, покладистый человечек, но в то утро пшеница и ветер придали ему неожиданного упорства.

— Нет,— возразил он спокойно,— сегодня будем жать. Ты, если хочешь, иди с Томом в церковь. А ко мне не приставай.

— Если ты сегодня не дашь лошадям отдыха — конец, я с тобой больше не разговариваю. И на этот раз я не шучу.

Он кивнул:

— Вот и хорошо. Знал бы я это раньше, я уж сколько лет начинал бы жать пшеницу в воскресенье.

— Постыдился бы хоть при сыне такое говорить. Придет время, он это вспомнит.

Наступило короткое молчание, а потом отец, словно воля его обрела неожиданную силу от противодействия матери, обратился ко мне:

— Том, мне нужен на несколько дней человек, копнить снопы, так что завтра поезжай-ка ты в город и привези мне работника. Пшеница созрела так рано, и овес догоняет, одному мне не справиться. Поедешь на Алмазе. С ним не страшно.

Но мать, не дав мне ответить, закричала:

— Вот этого уж я не потерплю. Жни на здоровье свою пшеницу, сам делай что хочешь, но мальчика оставь в покое. Завтра он, как всегда, пойдет в школу.

Отец весь подобрался и уставился на нее злыми глазами.

— Нет. Что-что, а в этот раз он послушается меня. Урожай важнее, чем один день в школе.

— Но по понедельникам у него урок музыки, а когда еще мы найдем такую учительницу, как мисс Уиггинс, чтобы могла и музыке обучать?

— Доллар за уроки, а пшеница осыпается! Я в его годы и в школу-то не ходил.

— Вот именно,— отрезала мать,— и видишь, что из тебя получилось. То-то мне не хочется, чтобы и он таким вырос.

Тут он вышел, хлопнув дверью,— пошел запрягать лошадей и жать свою пшеницу, а мать, кивнув мне, чтобы не отставал, удали-

лась на полчаса в темную тесную плюшевую гостиную. По-видимому, это было задумано как искупление отцовской вины: мы сели на жесткие кожаные стулья с прямыми спинками и все эти полчаса просидели, вперив глаза в стену, на которой в рамке из анютиных глазок красовалось изречение: «А я и дом мой будет служить Господу».

Наконец она встала и сказала:

— Теперь беги, приберись во дворе, но не задерживайся. Тебе еще нужно принять ванну, переодеться, а потом поможешь мне приготовить отцу обед.

В то солнечное августовское утро у ветра был вкус свободы и приключений, и моя лошадка Ветерок тихонько ржала в своем стойле, тоже просилась на волю. В другое время я, махнув рукой на воскресенье, непременно прокатился бы на ней галопом, но в тот день во мне всколыхнулась совесть, вспомнились общественные и церковные запреты, и я подумал, что, пожалуй, одного такого грешника, как отец, на семью достаточно. Вернувшись в дом, я заметил только, что жалко в такую чудную погоду сидеть в комнатах. Мать слышала меня, но не ответила. Возможно, и у нее заговорила совесть. Возможно, что, потерпев поражение в схватке с отцом, она не была расположена давать поблажки кому бы то ни было. Так или иначе, мне пришлось, как обычно, принять ванну, надеть чистую белую рубашку и сменить комбинезон на грубые плисовые штаны до колен.

А штаны эти к тому же скрипели. Уже три месяца как они портили мне все воскресенья. Скрип был слабый, приглушенный, вроде шелеста, но все же явственно слышный. Стоило сделать шаг — и они подавали голос, точно я нуждался в смазке. А мне было велено надевать их в церковь и в воскресную школу; и после службы, когда взрослые еще стояли на улице и судачили, другие мальчики, конечно, учуяли мою беду. Я дулся и негодовал, но поделать ничего не мог. Не выбрасывать же штаны, за которые плачено четыре с половиной доллара, пока они не сносились до дыр! Мать предупредила меня, что, если я вздумаю кататься в них с крыши конюшни, она их залатает, а меня все равно заставит их носить.

Бочком, чуть приседая на ходу, я опять пробрался в кухню спросить, что нужно делать.

— Ничего не нужно, но постарайся вести себя как христианин и джентльмен,— чопорно ответила мать.— Надень галстук, чулки и башмаки. На сегодня с меня и твоего отца хватит.

— А потом? — спросил я с надеждой, что она пошлет меня к отцу снести ему чего-нибудь промочить горло, но заикнуться об этом еще не решился.

— Потом можешь спокойно посидеть почитать, а попозже займись музыкой. Если зайдет тетя Луиза, пусть убедится, что хотя бы я воспитываю сына по-человечески.

Долгий это был день. Мать, как всегда, приготовила обед, но чтобы дать отцу прочувствовать всю чудовищность его поведения, только подала еду на стол, а сама вышла. Когда он опять ушел работать, мы с ней тоже сели за стол, осененный пресной праведностью. Есть не хотелось. Обед остыл, а разогревать его у нее душа не лежала. Наконец она заговорила, чтобы разрядить атмосферу:

— Беги покорми кур, а я пока переоденусь. Раз в церковь мы не идем, можно дома почитать Святое писание.

И мы почитали-таки Библию — пророка Исайю, по очереди, один стих она, другой я, она — в своем черном шелковом платье и броши с искусственным брильянтом, я — в своих плисовых штанах и воскресных башмаках, которые мне жали. День тянулся невыносимо чинный, в точности такой, как голос, которым мать говорила с самого утра. От того, чтобы открыто взбунтоваться, меня удерживала только надежда, что мне, если я буду слушаться, все же разрешат поехать в город на Алмазе. Я страшно гордился тем, что отец придумал такой замеча-

тельный план, а за то, что он в меня верил, простил ему даже пророка Исайю и этот плюшевый день. Что же касается матери, то я решил, что с ее стороны это чистое упрямство, и ничего больше.

Мы долго читали Исайю, а потом я поиграл на рояле церковные гимны, много гимнов, даже те, которые раньше не пробовал, с неудобными диезами и прочими трудными знаками,— это мать, опасаясь гостей, вознамерилась показать им, что мы с нею не заражены отцовским безбожием. Но в числе этих возможных гостей могла оказаться тетя Луиза, дородная, благодушная, замужем за богатым фермером. У них был нарядный автомобиль, и когда она бывала у нас, мать всегда заставляла меня сыграть ей какой-нибудь вальс, или «Мечты», или «Святую ночь», иногда даже с вариациями. Ведь ребенок, сын, да притом вундеркинд, мог затмить любой автомобиль. И в тот день она собралась с силами и затянула тоном ласковой укоризны:

— Ну, хватит с нас гимнов, Томми, лучше повтори «Сыны свободы», тете Луизе наверняка захочется послушать.

В этой пьесе был и полет и сила, но она была трудная. Трудная именно потому, что такая живая, в таком молодом забористом ритме. Это был марш, он и звал маршировать. У меня не хватало терпения сначала учить трудные места медленно, пока не выучу, меня самого подмывало шагать быстрее. А пальцы то пропускали какую-нибудь ноту, то ударяли не ту, что нужно. И в тот день я снова и снова начинал осторожно, решив, что все время буду считать, как меня учила мисс Уиггинс, и всякий раз вырывался вперед, чтобы вдохнуть в мой марш побольше огня и блеска, но тут же спотыкался и летел кувырком в горькую пыль диссонанса. Моей матери это было невдомек. Она думала, что в конце концов быстрота и упорство принесут мне успех. Она отбивала такт ногой и подбадривала меня улыбкой, но ближе к вечеру на лице ее начало проступать разочарование, она уже поняла, что гостей ждать нечего.

— Ну ладно, беги, корми коров,— сказала она наконец,— а я соберу отцу ужин. Чужих не будет, так что можешь опять надеть комбинезон.

Я посмотрел на нее, потом спросил:

— А завтра мне в чем ехать в город? Как бы не испачкать штаны колесной мазью или еще чем-нибудь.

Ибо я, хоть и любил представлять себе будущее, старался делать это с умом, в пределах нормального и вероятного. По пути в коровник я мог несколько раз пережить завтрашнюю поездку в город, каждый раз в новом варианте, но только с условием, что поездка в город завтра состоится. Я всегда был накрепко привязан к действительности, под влиянием какой-то злосчастной врожденной честности всегда предпочитал откровенное разочарование роскоши необоснованных мечтаний.

В город я наутро поехал, но лишь после спора, который длился добрый час и, как это ни парадоксально, для всех нас окончился победой. Отец настоял на своем: я поехал; я добился своего — поехал; а мать, за то, что дала согласие, выговорила у него обещание: когда хлеб будет обмолочен, купить новые плюшевые занавески в гостиную, а для меня метроном, без которого я, по словам мисс Уиггинс, никогда не научусь выдерживать темп в таких маршах, как «Сыны свободы».

Я в первый раз ехал в город один. Поэтому мне и дали Алмаза, он был старый, надежный и такой умный, что к автомобилям и паровозам относился не только без малейшей нервозности, но даже несколько свысока.

— Смотри, чтобы работник был крепкий, дюжий,— сказал отец, отправляясь в поле.— Заезжай в лавку к Дженкинсу, он тебе скажет, кто сейчас в городе. Только узнай наверняка, умеет ли копнить.

— И смотри, чтоб по нему было видно, что он хоть изредка моется,— добавила мать.— Я постелю на койке в амбаре чистые простыни и наволочки, но не желаю, чтобы на них спал какой-нибудь немытый бродяга.

Мне пришлось выслушать еще немало разных наставлений. Отвезти в лавку мистера Дженкинса два ящика яиц по двенадцать дюжин в каждом, а взамен получить по списку всякой бакалеи и фруктов. Дело осложнялось тем, что и качество и количество некоторых товаров определялось ценой на яйца. Например, если яйца стоят тридцать центов дюжина, брать кофе по шестидесяти пяти центов фунт. Двадцать девять центов за дюжину — тогда кофе по пятьдесят центов фунт. Если по двадцать восемь, апельсинов не брать. Если по тридцати одному — апельсинов крупных. Для отца жестянку особого табака и не говорить матери. Для матери — коробку пудры в аптеке и не говорить отцу. Двадцать пять центов от отца мне на мороженое и солодковый корень. Тридцать пять центов от матери на обед в китайском ресторане. И конечно, заботиться об Алмазе, с мистером Дженкинсом разговаривать вежливо и не запачкать штаны колесной мазью.

Ехать до города было три часа, но я их не запомнил. Я помню только, каким героем себе казался, как пьянило это чувство, что я взрослый и на меня возложена важная миссия, разом сменившееся растерянностью и ощущением собственной ничтожности, когда мы с Алмазом подъехали наконец к лавке Дженкинса.

Такое свойственно всякому мальчику из захолустья. Наедине с самим собой и своей лошадью он молодец хоть куда. Он центр вселенной. Он прозревает немало схваток с жизнью, в которых проявит себя достойно и даже более того. Он бесстрашен, находчив, не прочь прихвастнуть. Лошадь повинуется ему беспрекословно.

Но в городе все по-другому. Тут множество глаз, под критическим взглядом которых мыльный пузырь его самоуверенности мгновенно лопается и сам он съеживается до совсем уже карликовых размеров. Так бывает всегда. Эти незнакомые люди, что прохлаждаются на крылечках и шествуют по Главной улице, так недосягаемо спокойны и многоопытны, так явно чувствуют себя хозяевами положения, что он тут же уступает им место в центре вселенной, особенно если это маленький мальчик в скрипучих штанах, особенно если лошадь у него старая и умудренная жизнью, как Алмаз, знает наизусть все Главные улицы и для продвижения по ним сама выбирает свой задумчиво-неторопливый аллюр.

Но вот мы доехали. Мистер Дженкинс был низенький человечек с веснушчатой лысиной, и когда я, чуть согнув ноги в коленях, внес в лавку два моих ящика с яйцами, по одному в каждой руке, он сказал только:

— Ну, так ставь их сюда. Мой мальчишка разносит товар по домам, а самому их считать мне сейчас недосуг.

— Считать их не надо,— сказал я вежливо.— В каждом ряду две дюжины, а в каждом ящике шесть рядов. Я там был. Я видел, как моя мать их укладывала.

Услышав это, стоявший у окна долговязый парень в желтых ботинках и с прилизанными волосами обернулся и сказал:

— Вот оно, значит, как, Дженкинс. Он там был.

Задетый за живое Дженкинс вышел из-за прилавка и повторил сердито:

— Так ты, значит, там был? Смотри, какой прыткий. Как, ты сказал, тебя зовут-то?

Я тоже был задет за живое и потому ответил обстоятельно и точно:

— Я еще никак не сказал. Меня зовут Томас Диксон, а мой отец — Дэвид Диксон. Восемь миль отсюда, к северу. Ему нужен работник, копнить пшеницу, а сам он не приехал, потому что очень занят.

Он кивнул, не выказав ни малейшего удивления, и протянул руку.

— Где твой список? Мать, надеюсь, дала тебе список, чего купить?

Я кивнул, и он сердито посмотрел на меня.

— Так давай его сюда и приходи через полчаса. Был ты там или не был, а яйца твои я пересчитаю. Откуда мне знать, может, половина в дороге побилась.

— Правильно,— поддакнул парень и не спеша пошел к дверям взглянуть на Алмаза.— Они небось веселой рысцой катили. Коняга могла и шарахнуться, очень просто.

Пропустив эту дерзость мимо ушей, я возразил Дженкинсу:

— Понимаете, список нужно еще объяснить. Я лучше подожду здесь и все расскажу вам попозже.

Он переступил раза три с носков на пятки, потом сделал новый заход:

— Я и сам грамотный. Каждый день выполняю заказы. Катись-ка ты пока, ищи своего работника... чем хочешь займись.

— Нет, так не выйдет,— упорствовал я.— Тут написано не то, что оно значит. Без меня вам не понять.

Он затоптался быстрее.

— Покажи мне хоть одно такое место, чтобы я не понял.

— Вот,— сказал я,— апельсины. Но апельсины нужны, только если яйца пойдут по двадцать девять центов или дороже, а если по тридцати одному центу, то нужны крупные. Видите, ведь вы бы нипочем не поняли.

Так я настоял на своем, сразу объяснил все честь по чести. Сначала мы то и дело сбивались со счета, потому что яйца стоили двадцать девять с половиной центов дюжина и мать кое-где ошиблась в вычислениях. Мистер Дженкинс и тот парень долго спорили и вырывали друг у друга бумагу, на которой поочередно писали, но в конце концов все у них сошлось, только горчицу и мыло не включили совсем, а зато подбросили лишних полдюжины апельсинов.

— Витамины,— привел парень неопровержимый довод.— От них быстрей растут.— И кивнул мне на открытую жестянку с печеньем, приглашая отведать.

Я взял одно маленькое печенье, и мы с Алмазом двинулись дальше. Время было около часа, поэтому он, в предвкушении овса, уже пободрее затрусил к коновязи возле лесного склада. Это был самый тихий конец города. В дремотном воздухе пахло сосной, и лиственницей, и разогретой на солнце смолой. Я задал Алмазу овса и подождал, пока он все съест. После того как бессердечно со мной обошелся город, хорошо было постоять, запустив пальцы в лохматую гриву и слушая, как Алмаз жует. Я словно опять обрел место в жизни. Почувствовал себя почти так же уверенно, как перед тем. Но когда он доел овес и пришло время позаботиться о собственном обеде, я снова ощутил себя здесь чужаком, и путь до китайского ресторанчика дался мне вдвое труднее. Ведь Алмаз был старше меня. Старше, умнее и лучше разбирался во всяких важных вопросах. Он мог насладиться овсом даже в двух шагах от многоопытной Главной улицы. Я же до этого еще не дорос.

В ресторан я, впрочем, вошел. Но обедать не стал. Возможно, виной был мой желудок — от волнения мне казалось, что я не смогу проглотить ни куска. Возможно, виной был сам ресторан: горки апельсинов в витрине, и темно-зеленый фикус с такими тропическими листьями, и полусонный китаец за стойкой, и застарелый запах вчерашних окурков, в котором мои взращенные в прерии ноздри учуяли все ароматы Востока. С этой экзотикой как-то не вязался обед из мяса с фасолью и сладкого пирога. Я залез на высокую табуретку и заказал содовой воды с мороженым.

За несколько табуреток от меня сидел какой-то молодой человек. Я поглядывал на него с интересом.

Он был хорошо одет, и мне еще не приходилось видеть, чтобы человек чувствовал себя в такой одежде до того непринужденно. А между тем костюм его был сильно поношенный — локти блестели, рукава обтрепались. Руки у него были тонкие, почти как у девушки, но что-то в их спокойном изяществе меня смущало: в этих руках, пусть и тонких и нежных, чувствовалась сила, притом не та грубая сила рабочего человека, что была мне хорошо знакома.

Он курил сигарету и пускал колечки дыма в окно.

Не похожий на фермерских сыновей, каких я знал, однако не похожий и на того парня в желтых ботинках в лавке у Дженкинса, он смотрел в окно на Главную улицу, но был так же далек от нее, как я в моих скрипучих штанах и в обществе работяги Алмаза. На минуту я представил себе, что мы с ним приятели. Я допил содовую и, чтобы побыть с ним еще немножко, взял лимонаду. Почему-то это казалось мне очень важным — побыть рядом с ним, продлить это общение. У меня и в мыслях не было, что он может меня заметить, и в мыслях не было с ним заговорить. Мне просто хотелось побыть там, дать утешить себя чему-то дотоле неведомому, захватить это новое с собой в трехчасовую дорогу домой на старом Алмазе.

Тут в ресторан вошел коренастый небритый мужчина, лениво взгромоздился на табуретку рядом со мной и сказал:

— Ты, говорят, ищешь работников, я в лавке слышал. Сколько твой старик платит в этом году?

— Моему отцу не нужны работники,— поправил я.— Ему нужен только один.

— У меня есть напарник,— не отставал он.— Мы всегда вместе нанимаемся.

Он мне не нравился. Я невольно сравнивал его с тем тихим, опрятным молодым человеком, что сидел чуть подальше. И я молчал.

— Ну так как? — сказал он и сунул свой щетинистый подбородок чуть не в мой стакан с лимонадом.— Мы готовы, можем ехать хоть сейчас.

— Отцу нужен только один работник,— сказал я невозмутимо и залпом допил лимонад, чтобы показать, что не шучу.— Так что вы не обижайтесь, я поищу кого-нибудь еще.

— А это ты видел? — Он перехватил меня и, согнув руку в локте, продемонстрировал такие мускулы, что я проникся к нему если не симпатией, то во всяком случае большей почтительностью.— И напарник мой такой же. Вдвоем дело-то у нас пойдет вдвое быстрее.

— Нет, двоих не надо.— Я отодвинулся от него.— Вы не сердитесь. Просто вы не то, что нужно.

Он пренебрежительно тряхнул головой.

— Одного, понимаешь, ему нужно, чтобы копнил.

— Мой отец очень хороший фермер,— возразил я твердо, отстаивая фамильную честь не столько ради нее самой, сколько ради того, что о нас может подумать тот молодой человек.— И ему не один работник нужен. У него уже есть целых три. В другие годы этого хватает, но в этом году уродилось так много, что понадобился еще один. Понятно?

— Ферма, видать, на славу,— сказал он, так же неуклюже сползая на пол, и побрел к выходу.— Полтора акра картошки да две дюжины кур.

Я проводил его испепеляющим взглядом, потом опять залез на табуретку и заказал еще содовой с мороженым. Теперь тот молодой человек наблюдал за мной, глядя в зеркало позади стойки, и когда я поднял голову и глаза наши встретились, он медленно, с еле заметной улыбкой кивнул мне в знак одобрения. Этот кивок, что бы он ни означал, придал мне бодрости. Я не сконфузился, не стал мямлить,

как было бы, если бы за мной наблюдал парень в желтых ботинках, и с маху выложил ту правду, которой словно требовала его участливая улыбка:

— У нас нет трех работников... работает только мой отец... но сегодня он велел привезти одного. Пшеница в этом году созрела рано и начала осыпаться, одному ему не справиться.

Он опять кивнул и, подумав минуту, спросил спокойно:

— А я? Может быть, я как раз то, что нужно?

Я повернулся на табуретке и уставился на него.

— Я ищу работу, а если требуется рекомендация, могу сказать, что я хотя бы в единственном числе.

— Вы не понимаете...— Я пустился в объяснения, не решаясь поверить, что он, может быть, отлично все понимает.— Надо копнить. В семь часов утра уже быть в поле. А спать в амбаре, это такой сарайчик и в нем койка.

— Знаю. Я примерно так и думал.— Он побарабанил пальцами по стойке, потом скривил губы в какой-то невеселой усмешке и продолжал: — Мне, видишь ли, надо закаляться. Говорят, свежий воздух, побольше физической работы — и я стану как тот малый, что с тобой разговаривал.

Руки не годятся, подумал я. Белые тонкие пальцы, куда уж ими копнить, но, еще раз уловив эту невеселую усмешку, я отодвинул стакан и поспешно сказал:

— Тогда поедем поскорее. До дому ехать три часа, а у меня еще поручения. Но вы можете сесть в шарабан, поездим вместе.

Так мы и сделали. Я этого хотел — побыть с ним вдвоем, расквитаться с Главной улицей. Я хотел позаимствовать равнодушия и независимости у старого Алмаза; хотел проверить, что это такое — не портить себе кровь из-за каких-то парней в желтых ботинках, думать о своем, забывать про них, чуть только перестанешь их видеть и слышать. И это мне удалось.

— Меня зовут Филип,— представился молодой человек, когда мы покатили от лавки Дженкинса в аптеку.— Филип Колмен, а попросту Фил...

И я с охотой поддержал разговор:

— А меня — Томми Диксон. Только отец говорит, что я уже подрос и меня надо называть Том.

Вот что теперь имело значение — он и я, а вовсе не город.

— И ты всегда сам правишь? — спросил он, а я ответил беспечно:

— Им и править нечего, сам бежит. Вот увидите моего гнедого трехлетка, это другое дело. Я назвал его Ветерок. Если хотите, сегодня после ужина можете на нем прокатиться.

Но оказалось, что он никогда не учился ездить верхом и считал, что для начала ему, пожалуй, больше подойдет Алмаз, и тут мы опять поехали в ресторан за его корнетом и чемоданом.

— Это какой-то музыкальный инструмент? — спросил я на выезде из города.— Вроде горна?

Он поднял черный кожаный футляр, лежавший у него в ногах, и пристроил его на колене.

— Да, в этом роде. Когда-то я и на горне играл. Но корнет лучше.

— Так вы и на корнете умеете?

Он кивнул.

— Я играю в духовом оркестре. Вернее, играл. Может быть, если с твоим отцом мы поладим, опять когда-нибудь буду.

Лишь позднее я задумался над тем, какая связь между его отношениями с моим отцом и возвращением в духовой оркестр. А в ту минуту только признался:

— Я никогда не слышал корнета. Даже в глаза не видел. Наверное, вы и теперь можете поиграть,— ну, вечером, когда кончите копнить?

Вместо ответа он сказал:

— Значит, ты никогда не слышал духового оркестра?

Голос его прозвучал удивленно, почти недоверчиво, но беззлобно. Почему-то мне не стало стыдно, что я прожил все одиннадцать лет своей жизни на ферме в прерии и знал только мисс Уиггинс да граммофон тети Луизы. А он продолжал:

— Я был моложе тебя, когда начал играть в оркестре. Одно время и в симфоническом играл, а потом опять в духовом. Только этим с тех пор и занимался.

Я было затосковал — выходило, что я отрезан от всего, что есть в жизни замечательного,— но скоро приободрился и спросил:

— Вы знаете такую пьесу «Сыны свободы»? Четыре бемоля, счет четыре четверти.

Он попробовал вспомнить, потом покачал головой.

— Нет, к сожалению. Во всяком случае, названия такого не знаю. А ты можешь просвистеть оттуда кусочек?

Я просвистел две страницы, но он снова покачал головой.

— А мелодия хорошая. Откуда ты ее узнал?

— Я ее учу, но еще не выучил. То есть еще не совсем. Мне ее уже две недели задают, но она очень быстрая.

Ему как будто было интересно, и я рассказал ему про уроки, и про мисс Уиггинс, и что мне обещали купить метроном, чтобы я держал темп.

— Особенно для маршей,— сказал я.— Марши тебя подгоняют, чтобы играл быстрее, а ты сбиваешься и приходится начинать сначала. Я знаю, у меня получалось бы лучше, если бы я так не чувствовал, а играл медленно и ровно, как мисс Уиггинс.

Но он живо перебил меня:

— Нет, чувствуешь ты правильно, просто надо научиться держать это чувство в узде. Это все равно как старый Алмаз и Ветерок. Сейчас ты — Ветерок. Но если бы ты таким не был, если б был *норовом потише и тебя не тянуло пуститься вскачь*, ты был бы всего-навсего Алмаз. Понимаешь? С Алмазом легче иметь дело, чем с Ветерком, но он, сколько бы ни старался, всегда останется сонным старым работягой. С Ветерком иметь дело труднее, он может и сбросить тебя не раз и не два. Но объезди его — и у тебя будет первоклассная лошадь. Ее не променяешь и на дюжину таких, как Алмаз.

Пример был понятный, но очень уж обидный для Алмаза. А он слушал наш разговор. Я это знаю, потому что, хотя он, как и я, сроду не слышал корнета, я был уверен, что опыт научил его переживать такие огорчения сдержанно, не выдавая своих чувств.

Вскоре затем Филип, заметив, что я все поглядываю на футляр, который он по-прежнему держал на колене, расстегнул пряжки и вынул корнет. Корнет был чудесный, изящной формы и выразительный, и блестел на августовском солнце, как чистое, теплое золото. Я не удержался и сказал:

— Пожалуйста, поиграйте прямо сейчас, хоть немножко, мне так хочется послушать!

А он в ответ улыбнулся моей горячности и поднес корнет к губам.

Но прозвучала всего одна нота, всего начало одной ноты, и Алмаз обезумел. Никогда бы я не поверил, что он на такое способен. Он фыркнул и прыжком свернул с дороги в канаву, потом выскочил из канавы и сумасшедшим галопом понесся по полю. Там было полно камней и барсучьих нор, и он мчался по ним напролом. Ящики из-под яиц, полные бакалеи, полетели на землю, потом отцовский табак, потом коробка с пудрой. Я заорал:

— Тпру, Алмаз, тпру! — но за грохотом колес он, наверно, меня и не слышал. От Филипа толку было мало, он знай цеплялся за свой корнет. Я пробовал натянуть вожжи, но на такой скорости все силы у меня уходили на то, чтобы усидеть в шарабане. Алмаз был крупный конь, ему нужно было время, чтобы угомониться. А может быть, он

решил, что, если как следует нас измотает, мы потом не так строго с него спросим. И расчет его оправдался: я осмелился только обежать вокруг него и потрепать по потной шее, приговаривая:

— Умница, Алмаз, умница, никто тебя не тронет.

А еще надо было подумать о бакалее и о пудре, заказанной матерью. И под угрозой оказалась гордость и доброе имя Алмаза. Он устроил нам спектакль, достойный его подлинной натуры. Мы отыскали коробку с пудрой, она раскрылась, а один из ящиков треснул. Несколько апельсинов закатились в барсучью нору, нам так и не удалось их оттуда извлечь. Минут десять мы просеивали между пальцев изюм, и все-таки на нем чувствовался песок. Я пытался утешить Филипа:

— Апельсины эти были добавочные, а изюм мама все равно моет, я видел.

Он поглядел на меня с сомнением и еще несколько минут пробовал починить ящик.

Остальную дорогу до дому мы ехали молча. Мы много думали друг о друге, но вопросов не задавали. Корнет был надежно упрятан обратно в футляр, но я продолжал ощущать его присутствие, точно он был живым существом. Его золото и изящество длились, преображая день, сообщая пыльным полям отблески своего сверкания. И я ощущал уверенность, сопричастность. В окружающем мире вдруг появилась сила, течение, неотвратимость, захлестнувшая и меня. О чем меня будут спрашивать, когда мы приедем домой, как трудно будет им втолковать, что верный старый Алмаз в самом деле шарахнулся и понес,— такие мелочи меня уже не тревожили. Отныне этот незнакомец с тонкими белыми руками, этот блестящий корнет, которого я даже еще не слышал, прочно и надолго сделались моим достоянием.

Моя мать встретила Филипа учтиво, но не более того.

— Вещи свои снеси в амбар,— сказала она ему,— а мыться приходи сюда. Ужинать будем примерно через час.

Неуютный это был ужин. Отец с матерью все смотрели на Филипа и переглядывались. Я рассказал им про корнет и что выкинул Алмаз, и они слушали с каменными лицами. Мать проговорила каким-то неестественным голосом:

— Не помню, чтобы у нас на уборке когда-нибудь работал музыкант. Но копнить ты, надеюсь, умеешь?

Я умоляюще посмотрел на Филипа, и ради меня он соврал:

— Да, прошлый год копнил. Завтра, может быть, волдыри вскочат, но потом руки загрубеют.

— А вообще-то ты на земле не работаешь? — спросил отец.

И Филип ответил:

— Вообще-то нет.

Наступило неловкое молчание, и я попробовал встать на его защиту:

— Он играет на корнете в оркестре. С тех пор как был в моих годах. Вот он кем работает.

Они опять переглянулись. Молчание длилось.

Я подумал, не предложить ли им, чтобы Филип принес корнет в дом и поиграл нам, а я мог бы подыграть ему на рояле, но в нашу благопристойно плюшевую гостиную допускались только сугубо благопристойные гости, такие, как миссис Уиггинс или пастор, и к концу ужина мне уже было ясно, что, по мнению моей матери, Филип со своим корнетом не заслужил такой чести.

Поэтому я промолчал и, когда он отужинал, не пошел провожать его в амбар. Не успел он выйти из комнаты, как отец накинулся на меня:

— Говорил я тебе, чтобы спросил Дженкинса? Говорил я тебе, что работник мне нужен рослый, крепкий?

— Он высокого роста,— возразил я,— а больше никого не было. То есть были двое, но поврозь они ехать не захот ли.

— Это ты больше никого не искал. Корнетист! Хорошеньких копен он мне наставит. Потом повернулся к матери:— А все ты виновата. Заморочила ему голову своими уроками музыки. Послушалась бы меня хоть изредка, постаралась сделать из него мужчину.

— Я тебя слушаю,— огрызнулась мать.— Тринадцать лет тебя слушаю, потому и стараюсь сделать из него не такого, как ты. Поехал бы в город сам, а в поле работал бы шесть дней в неделю, как порядочные люди. Говорила я вчера, что затея эта дорого тебе обойдется.

Я тихонько выскользнул из дому. Почти час провозился в конюшне, а потом, вместо того чтобы вернуться домой, пошел проведать Филипа. Уже стемнело, и в амбаре горел закопченный фонарь. Филип сидел на единственном стуле и гостеприимным движением молча указал мне на койку. В этом жесте было и безразличие и признание. Словно мы всегда были знакомы и уже давно научились общаться без слов. Он курил и пускал дым в сторону открытой двери, откуда за нами подглядывала теплая осенняя ночь. Я ждал, весь напрягшись, опасаясь, что меня вот-вот позовут домой, однако зная, что нужно ждать. Фонарь коптил все сильнее, так что кроме лица Филипа ничего не было видно. Я сидел как на иголках, что-то предвкушая, спрашивая себя, кто он такой, откуда взялся, почему явился сюда копнить отцову пшеницу.

Ответов не было, но немного погодя он протянул руку к корнету. Я увидел золотые вспышки во мгле и до сих пор помню это долгое, жуткое мгновение и как я не дыша ждал, когда он заиграет.

И я не ошибся. Звуки полились пронзительные, золотые, как сам корнет, и жизнь распахнулась до беспредельности. Ноты улетали в ночную высь, каждая повисала там на мгновение, звонкая и зримая. То они взмывали отвесно, бередя душу, то парили как птицы и как птицы падали вниз и снова касались земли.

Это была пьеса «К вечерней звезде». Он объяснил мне, когда доиграл ее. Назвал и все другие вещи, которые исполнил: «Аве Мария», «Песня индеанки», серенада — все они просверкали во мраке, как неторопливые молнии, сквозь которые льдинками мелькало неведомое. Если бы не Филип, я бы этого не выдержал. Что было сил я старался запомнить его — едкий запах его сигарет, запрокинутый профиль в пятнах дымного света.

Потом он одним рывком встал, словно все поняв, и сказал:

— Ну, а теперь, Том, давай-ка сыграем марш, спустимся с облаков на землю. Корнет, знаешь ли, бывает и очень веселый. Вот послушай, как тебе покажется.

Он выпрямился, откинул голову, как горнист на картинке в моем учебнике, и звуки, вспыхивая, лихо поскакали сквозь ночь, так что и мы зашагали с ними в такт, как сотни тысяч солдат. Этот марш тоже звал маршировать. Он увел нас за много миль. Он придавал ногам силы, а сердцу храбрости. Он твердил, что жить стоит, и сам, светлый, как утро, шагал впереди и указывал путь.

Когда Филип кончил и отложил корнет, я сказал:

— Сразу за домом есть одно поле, там отец утром начал жать. Если хотите, можно сейчас сходить туда ненадолго, я покажу вам, как копнить... Понимаете, если ставить снопы поверх стерни, они через полчаса свалятся. Сначала все так делают, но это неправильно. Комель нужно сильно вдавливать в стерню, до самой земли, вот так, чтобы стебли сцепились со стерней. И под углом, только не слишком наклонно. Тогда их и ветер не свалит, и в случае дождя вода будет стекать.

Увидеть он почти ничего не мог, было слишком темно, но слушал внимательно и наконец сложил две копны, которые мне на ощупь показались достаточно плотными. Потом меня позвала мать, и мне при-

шлось бежать со всех ног кружным путем, чтобы она подумала, что я возвращаюсь из амбара.

— Будем надеяться, что он копнит так же хорошо, как играет,— сказала она, когда я вошел в дом.— А все-таки лучше бы ты послушался отца, привез бы нам на осень более подходящего помощника.

Тут из конюшни пришел отец, он, оказывается, тоже слушал музыку и, видимо, одобрил, потому что удивленно, даже недоверчиво покачивал головой.

— Что я говорил! — вскричал я, уже не скрывая, как горжусь Филипом.— Я же говорил, что он умеет играть!

Но ответ его прозвучал гневно:

— Ну и что ж, что умеет? Мне нужно, чтобы он не играть умел, а копнить. Ты только посмотри на его руки. Он, верно, и фермы-то никогда не видел.

Но это был не гнев, а бессилие — он не способен был забыть о своей пшенице, даже когда понял, что не в одной пшенице счастье, когда ему открылось и нечто более важное. Еще долго после того, как родители уснули, я ворочался с боку на бок, удрученный тяжким предчувствием, что нам, возможно, придется искать другого работника. Я призывал на помощь всю мою веру в жизнь. «Если встану пораньше,— говорил я себе,— я пойду с ним в поле, удостоверюсь, что он хотя бы начал как следует. Может, он и сгодится. А после школы буду ему помогать до самого ужина. Ведь отец у меня разумный человек».

Однако в таких обстоятельствах и после такого дня я сам не мог уснуть чуть ли не до утра, и когда мать разбудила меня, еле успел одеться и доехать до школы. Как я провел там время — это я начисто забыл. Помню только, что у меня сосало под ложечкой от страха и как в четыре часа я опять вскочил на Ветерка и поскакал прямо в дальний конец поля, где Филип в то утро должен был приступить к работе.

Но Филипа, конечно, там не было. Наверно, я это и предчувствовал, наверно, этого и опасался весь день. Я натянул поводья, Ветерок остановился, и я долго сидел, тупо глядя на копны. Их было немного, акра три или четыре, покривившихся, жалких, будто он и забыл, что комли надо крепко вдавливать в стерню. Смотрел до тех пор, пока Ветерок сам не повернул к дому. Ему хотелось пуститься рысью, но так как теперь впереди у нас не было ничего, кроме коротенького, с полмили, куска дороги, я заставил его идти шагом. Чтобы хоть ненадолго продлить возможность, что я не так понял. Чтобы наперекор всем вероятиям и здравому смыслу еще потешить себя надеждой, что вечером он опять поиграет на корнете.

Когда я вошел в дом, отец сидел за столом и раньше обычного ужинал.

— Сейчас отвезу его в город,— сказал он спокойно.— Он очень старался, просто сноровки нет. И солнце нынче сильно пекло. Он продержался примерно до полудня. Мы поедем через несколько минут, так что ты пойди попрощайся с ним.

Он без сил лежал на койке, постаревший, с изможденным лицом. Я подошел к нему на цыпочках, не решаясь заговорить. Он криво усмехнулся такой деликатности и знаком пригласил сесть.

— Жаль, что я сплоховал,— сказал он.— На будущий год опять приеду, ты тогда еще немножко меня подучи.

Я стиснул руки, хватаясь за это обещание, хоть и знал, что он не сможет его сдержать. Я хотел взбунтоваться против того, что случилось, против грубости и нелепости жизни, но вместо этого постоял молча, как в воду опущенный, а потом повернулся к нему спиной и понес корнет в шарабан. Моя мать уже вынесла из дома коробку с едой и банку мази от ожогов. Она сказала, что очень сожалеет, что так получилось, и он вежливо поблагодарил ее и сказал, что тоже сожа-

леет. Отец смущенно хмурился — видно, чувствовал, что все мы его виним, хотя вины его тут нет. На ферме всегда так, главное дело — урожай.

Ну вот, больше рассказывать нечего. Выезжая из ворот, Филип помахал мне; больше я его никогда не видел. Мы смотрели вслед шарабану, пока он не скрылся за первым поворотом, а тогда мать сказала с горькой обидой в голосе:

— Говорила я, что эта экономия ему боком выйдет. В другой раз, может, послушает меня... и будет помнить день субботний.

О чем она, в сущности, думала, этого я так и не узнал. Может, о пшенице и что целый рабочий день пропал зря. А может, о незнакомце, который на один день появился у нас со своим корнетом, а потом так же загадочно исчез. Ведь накануне она тоже его слушала и могла многое понять. Урожай, хотя бы скудный, бывает из года в год; а золотой корнет поет в ночи только раз.

Перевод М. ЛОРИЕ

УИЛЬЯМ ПАТРИК КИНСЕЛЛА

Ласки и горностаи

— Я верю, Сайлас, ты говоришь правду,— произносит мистер Николс,— но...— и у самого физиономия заливается краской, будто хотел что ляпнуть, да язык вовремя прикусил.— Все-таки на твоем месте я бы не стал про это никому рассказывать. Если не хочешь всю жизнь проторчать в резервации.

С мистером Николсом я всегда советуюсь, он у нас, в техническом училище в Уэтаскивине, язык и литературу преподает; вечно ходит в мешковатом синем костюме, сутулый, очки у него в золотой оправе, а рот полон золотых зубов, и они поблескивают, когда мистер Николс улыбается. Из всех белых, кого я знаю, по-моему, он самый добряк, потому-то мне и хочется верить всему, что он говорит.

Сейчас я в тюрьме, а полиция решает, виновны мы с Каргой Эттой в убийстве полицейского констебля Кретьена, Уэйда Гэскелла и его дружка Клета Айверсона или нет.

Помню, однажды мистер Николс сказал на занятиях в училище:

— Кто говорит правду, тот живет спокойно, ему прятаться незачем!

Не знаю. Только стоит сейчас рассказать по правде, как было, в два счета попадешь в психушку, которая в Поноке, а тогда уж прячься не прячься — деться некуда. Только, ясно, мистер Николс вовсе не это имел в виду. Нет, все же сдается мне, стоит индейцу правду выложить, сразу все оборачивается так, что уж лучше бы соврал.

Беды пошли с того самого дня, как Уэйд Гэскелл стал вертеться вокруг Флоренс Гром В Горах. Уэйд Гэскелл — это мерзавец отпетый. Он белый из Уэтаскивина, там у его папаши приличное дельце: продает и ремонтирует тракторы. Волосы у этого Уэйда белесенькие и до самых плеч, глаза голубые, мутные, широко расставленные, нос — пару раз перебитый — набок, губки розовые, как у девчонки.

Уэйд носил джинсы в обтяжку и такую же куртку, чтоб мускулы выпирали, а шкура у него — вся сплошь в наколках. Если не торчит в баре при гостинице «Элис» или в «Уютной бильярдной» в Уэтаскивине, значит, гоняет в своей на заказ сварганенной тачке, да с таким ревом, будто целых три тягача буксуют в грязи.

Наши девчонки соображают, что от такого надо подальше. А уж кому точно подальше, так это Флоренс Гром В Горах, потому что ей известно то, что Уэйду очень бы хотелось узнать.

© 1981 by W. P. Kinsella

Пару лет назад братец Уэйда, Кларенс Гэскелл, убил у нас девонку одну, Малютка Маргарет Волчонок ее звали, и за это убийство Кларенсу присудили всего три месяца отсидки в тюрьме Форт-Саскачевана; тогда наши ребята и решили сами его прибить. Полиция так и не дозналась, чьих это рук дело. Только пятеро девчонок наших знали, ну и я догадывался. Одна девчонка померла, другая уехала в Онтарио, третья как раз моя подружка — Сейди Разок Пырнутая, четвертая, Берта Не Подступись, жила с Робертом Койотом, ну а пятая — Флоренс Гром В Горах.

Первый раз я их вместе с Уэйдом увидел в Уэтаскивине, в гостинице «Элис». Было это в пятницу вечером, мы там в баре компанией пиво пили. Примерно в одиннадцать заходят Флоренс, Уэйд и еще одна белая парочка, видно Уэйдовы приятели. Садятся в другом конце бара и заказывают полный стол пива. Должно быть, только из «Канадского легиона» вывалились, потому как сразу видать — поддатые малость. Все, кроме Флоренс; эта — в усмерть поддатая. Плюхнулась на стул, ноги в самый проход выставила, а рожа вся заплыла — блин блином, ни глаз нет, ничего, и лоснится, как горячий ржаной хлеб, маслом смазанный. На Флоренс — джинсы и красный свитер, а поверх него — джинсовая куртка. Для девчонки Флоренс долговязая очень, ноги-руки слишком длинные.

Сидят они за своим столиком и знай ржут. Флоренс прикуривает сигарету, прилично отхлебывает из кружки и льет при этом пиво на себя. Уэйд тычет ей в мокрое пальцем, и они опять заливаются.

Вот, наконец, Уэйд встает, идет в туалет, а мы быстренько к столику, чтобы Флоренс оттуда вытащить. Мы — это, значит, я, Сейди, Фрэнк с Конни и Роберт Койот с Бертой Не Подступись. Окружаем Флоренс, а к тем двум белым становимся задом.

— Знаешь, кто с тобой? — спрашиваем.

Флоренс ухмыляется — дура дурой!

— Это же Уэйд Гэскелл! — говорим мы, хотя прекрасно знаем, что и ей это известно.

— Пойдем! — говорит Конни и дергает Флоренс за рукав.

— С кем хочу, с тем и сижу! — отвечает Флоренс, а сама злобно так на нас глазом косит.

И только мы собрались ее с собой утащить, как является Уэйд Гэскелл.

— Это что же здесь такое,— спрашивает,— военный совет? — и зловеще хихикает.

Нас много, вломить ему ничего не стоит, но не хочется связываться, если только сам не полезет. Известно, что Уэйд ходит с ножичком, что в машине у него наверняка дробовик и винтовка запрятаны и что малый этот бровью не поведет, любое оружие в ход пустит.

— Мы хотим Флоренс с собой забрать,— говорит Роберт.

— Ваша Фло,— заявляет Уэйд,— сегодня моя дама! — Обнимает Флоренс за плечи, стискивает, а та ему улыбается, словно кроме него на всем свете никого нет.— Так? — спрашивает Уэйд у Флоренс, а она все пуще ему улыбается. Тогда Уэйд поворачивает ее вместе со стулом прямо к нам спиной.

Ну, мы отходим, только вечер у нас, прямо скажем, испорчен. И я вспоминаю: раз как-то мистер Николс сказал, будто вся цепь держится силой одного звена; меня это очень огорчило...

Дали мне адвоката из местного управления, не помню, как зовут. Такой коротышка и весь будто из теста на дрожжах; на самом затылке островочек белых кудряшек, уши что блюдца и розовые, как у кролика. А у очков стекла такие толстые, что за ними, кроме голубой мути, ничего не видать, и серебряный ободок поблескивает вокруг, как новенький хромированный молдинг у машины.

Ну я ему просто ради смеха взял да и рассказал, как все было. Он — ни слова, только слушает, а за очками муть все голубее, все ярче становится. Когда я умолк, адвокат затряс мне на прощанье руку и быстренько-быстренько вон. Вот уж дня три как носа не кажет.

...Уэйд Гэскелл со своим приятелем Клетом Айверсоном снимали в Уэтаскивине комнаты, и Флоренс Гром В Горах прямо к ним вселилась — по неделям домой в резервацию, даже платье сменить, не являлась.

Сейди с Бертой рассказывали: как-то раз среди дня повстречали ее в универмаге «Саан» в Уэтаскивине; Флоренс, уже под газом, накупала там себе всякую мазилку и побрякушки, и в руках у нее была двадцатидолларовая бумажка — мол, Уэйд дал на мелкие расходы.

— Ты что, сдурела? — Берта ей.— С кем связалась? Ему знаешь, чего от тебя надо?

— Отцепись! — огрызнулась Флоренс.— Уэйду на ту историю с братом наплевать. Он мне так и сказал. А вы обе — брысь! — И берет прямо с прилавка флакончик духов и основательно спрыскивает себя.— Я Уэйду нравлюсь и буду с ним жить сколько он захочет!

Потом задом к ним и была такова.

Дня через два является в резервацию полицейский констебль Кретьен вынюхивать да выспрашивать: кто, дескать, прикончил Кларенса Гэскелла. Но на сей раз идет прямо в дом к Берте Не Подступись и спрашивает, где Сейди,— а мы ее уже успели спрятать в хижине Удалого Наездника. И ежу ясно, что сам, без чужой помощи, констебль Кретьен ни в жизнь бы не додумался задавать вопросы. Даже если с нашей местной полицией сравнить, и то констебль Кретьен потупее будет. Он родом-то из Квебека, по-английски примерно как мы, через пень-колоду, и вид вечно ошалелый, будто его только что здоровенным сапогом да под задницу.

— Чего теперь делать-то? — спрашиваем мы Каргу Этту, нашу врачевательницу. Этте не надо говорить, что пришла беда: у ней на беду нюх, как у койота на капкан или на дробь.

— Плохо дело,— говорит Этта.

А полицейские только белым и верят, их хлебом не корми, дай над нами, индейцами, поизмываться. Искать справедливого полицейского, как скажет Карга Этта, все равно что не вонючего скунса в чистом поле: смотришь да прикидываешь, какой, если поближе подойти, меньше воняет...

Регулярно через день-два Фрэнк Заборный Столб берет у Луиса Койота грузовичок и привозит Сейди ко мне в тюрьму на свидание. И каждый раз меня разбирает страх, потому что у Фрэнка нет водительских прав, а ехать ему прямо в центр Эдмонтона и припарковываться как раз у полицейского участка.

Бывало, изводил я Фрэнка: дескать, взял бы себе прозвище поприличней, чем Заборный Столб. Скажем, Горностаева Шкурка, как у меня. У горностая и шкурка красивая, и стоит недешево, говорю я ему; а заборный столб — что в нем такого, старая, сухая деревяшка да и только!

— Заборный столб — штука надежная. Вон, гляди, стоит! — отвечает Фрэнк.— Лучше уж столбом быть, чем твоей горностаевой шкуркой — не поймешь, есть она или нет вовсе!

И это чистая правда. Что такое, в самом деле, горностай? Может, я не так скажу, но только этот зверь вроде старухи мисс Уэйтс, нашей учительницы из резервации. Осенью и зимой она учительница, а летом — просто так, старуха. Горностаи только зимой и бывают, а летом они обыкновенные коричневые ласки. В прежние времена люди и не знали, что это один и тот же зверь.

Зимой горностаи становятся белые-белые, как снег, только кончик хвоста черный: блестит, как уголек. Горностаи — зверьки небольшие, меньше полуметра длиной, и тельца у них смахивают на те

самые колбаски, что висят в мясных лавках. Когда горностайчик бежит, спинка у него посередке выгибается пополам такой петлей, как у скрепки для бумаг. Зимой горностаи — загляденье, а летом — так себе. Да и вообще сами собой они существа препротивные. Из тех, кто убивает зазря. Вламывается один горностай в курятник и ну грызть подряд всех кур — просто так, из удовольствия.

...Флоренс Гром В Горах отловил наш Фрэнк: наткнулся на нее у шоссейки в Уэтаскивине. И что вы думаете — нос расквашен, под обоими глазами синячищи, а сами глаза так заплыли, только щелочки одни. И сбоку два зуба выбито, заметно.

— Говорил, что любит! — причитает Флоренс.— Говорил, поженимся! Значит, пусть я ему расскажу всю правду, как убили брата. Сказал, что все равно дело уже прошлое...

— И ты ему все рассказала?

— Все рассказала! — отвечает Флоренс и сплевывает кровью на пол хижины Карги Этты.— Сначала такой ласковый был, а потом...

— И что он собирается делать? — спрашивает Этта.

— Вроде звонил, констебля Кретьена искал,— говорит Флоренс,— а после сказал Клету, что нужно подождать до вечера, потому что констебль уехал в Эдмонтон.

— Значит, у нас часов семь в запасе,— прикидываю я.

Тут Флоренс снова запричитала:

— Сказал, что не станет, как брат, пачкаться, убивать такую грязную шлюху, как я!

— Тихо ты! — цыкает на Флоренс Карга Этта.

А потом жалостливо так на нее поглядела, обмакнула тряпицу в какую-то голубоватую жидкость, что кипела на дальней конфорке, протянула Флоренс, чтоб к лицу прикладывала, а после уложила ее на постель в глубине хижины.

— Чего же делать-то? — спрашиваю я Этту.— Если Уэйд заявит в полицию, они арестуют Сейди, и Флоренс, и Берту. А Флоренс, чует мое сердце, не сумеет держать язык за зубами...

— Ох, Сайлас, средство, чтоб вам помочь, очень уж нелегко сотворить! Но я все же попробую. Хоть видала только однажды, как готовилось, девчонкой еще была. Тогда наш старый врачеватель, звали его Бизон-Что-Ходит-На-Двух-Копытах, варил снадобье для маленькой дочки, она захворала шибко. Сначала все очень долго, как надо, подготавливал, хоть и знал: нельзя терять ни минуты, а то девочка помрет. Заварил он это сильное зелье, потом перелил в сумочки и развесил те сумочки по деревьям, что росли вокруг небольшого лужка. Лето стояло, помню, весь луг желтел лютиками. И пар от зелья все покрыл таким плотным туманом, будто утро раннее вставало. Вот Бизон-Что-Ходит-На-Двух-Копытах взял свою палочку, которой зелье мешал, и прямо посредь пара вырисовал женщину, и вдруг как поднимется ветер, хоть только что тишь стояла, как на кладбище. Ветром туман вокруг разнесло, а посередке колышется в воздухе призрачный образ Плетеной Женщины, самой знаменитой у индейцев-кри врачевательницы во все времена. И голосом таким тихим, будто кошка ступает по мокрой траве, спрашивает та женщина Бизона-Что-Ходит-На-Двух-Копытах:

«Зачем ты вызвал меня с гор?»

«Дочку мою сжигает лихорадка, а я не могу ей помочь,— отвечал старик, указывая на маленькую Маргаретту, что лежала на куче лосиных шкур: глазки помутнели и хрипло так дышит, точно кошка громко урчит.— Мне сказали, если изготовлю сильно крепкое зелье, чтоб призвал тебя на помощь. Самому мне ничего не надо. А коли тебе потребуется моя жизнь — бери, только дочку мою вылечи!»

«Я возьму ее с собой в то пространство, что между вашим и нашим миром,— говорит Плетеная Женщина врачевателю.— Укутай ее потеплее и подай мне». И Бизон-Что-Ходит-На-Двух-Копытах,

хоть и дюжий, это я вам говорю, был мужчина и руки имел огромные, величиной с медвежий капкан каждая, но так нежно свою доченьку укутал, будто та была воздушная, как бабочка, и подал ее в руки Плетеной Женщине.

«Ты добрый человек,— говорит она.— И я тебе постараюсь помочь». Двинулась прочь по лугу и исчезла в молодой поросли у края болота.

— И что дальше? — спрашиваю я.

— Что? Вот я, живая! — отвечает Карга Этта, и улыбается, и смеется, и тут я замечаю у нее на кистях рук какие-то крупные отметины.

— Выходит, ты и есть та Маргаретта?

— Это младшая моя сестренка все никак выговорить не могла, с тех пор меня и зовут «Карга Этта»...

— Надо же, а я думал...

— Думал, прозвали за то, что вечно на всех ворчу, да?

— Угу! — мычу я, смекнув, что лишним словом можно здорово все дело испортить.

Но я вижу, Этта меня понимает, потому что плетется вразвалочку в угол и достает из таза, полного ржавой воды, две бутылки светлого эля «Летбридж».

— Будет время, расскажу, что видала по ту сторону.

— Интересно, должно быть! — говорю.

— Меня научили, как вызывать дух Плетеной Женщины, но до сего дня не случалось такого, чтоб надо было ее вызывать.

— Ты точно знаешь, что сейчас тот самый случай?

На лице у Этты появилось задумчивое выражение, как у жующей коровы.

— Вы ребята-то добрые,— говорит Этта.

— А думаешь, Плетеная Женщина станет нам помогать? Ей-то что, ведь для нее все это, можно сказать, мелочи житейские...

— У Плетеной Женщины доброе сердце,— отвечает Этта и поворачивается ко мне своей широченной, будто бизоньей спиной, чтоб показать: разговор окончен...

Так вот Фрэнк про все, что у нас случилось, рассказывает ребятам в бильярдной в Хоббеме; тут Итен, Роберт, Руфус, Чарли и еще кто-то складываются, чтоб позвонить в Калгари, в контору к Мартину Белоручке, он наш индейский адвокат. Им отвечают, что мистер Белоручка отбыл в Галифакс на конференцию по правам человека или чего-то в этом духе.

— Мы говорим, когда вернется, передайте, пусть в Эдмонтон едет Сайласа выручать,— рассказывает Фрэнк.— А секретарше приспичило узнать, в чем тебя обвиняют, ну мы ей и брякнули, что тебя подозревают в убийстве двух белых и одного полицейского, а она нам: дескать, если мистер Белоручка станет мотаться по всей стране ради всякого индейца, который кого-то убил, у него времени не останется на такие важные проблемы, как права человека.

— Ладно, мне надо подумать! — говорю я ребятам.

Только они уходят, Сейди кидается мне на шею, а силища у нее такая, что ей тюремную решетку погнуть — раз плюнуть. Хоть она красой не блещет и не хохотушка, как Фрэнкова Конни, зато обожает целоваться, и когда она меня целует, никакого у меня насчет ее чувств сомнения нет. Когда я с ней, кажется, будто долго-долго нас не двое, а мы — одно. Я гляжу — а у нее глаза закрыты и лицо такое спокойное. В этот момент она мне кажется красивей всех — и Берты Не Подступись в том числе. У меня к ней такая нежность, как подумаю, это она со мной красивая сделалась, до чего же хорошо мне становится!

...Никогда не знал, что Карга Этта может так быстро поворачиваться! Заставила нас с Фрэнком и Сейди в печку побольше дров

наложить и раздобыть кастрюлек по соседству, а когда оказалось, что их не хватает, собрать все большие суповые кастрюли, потом намешала в них всякой всячины и поставила все кипятиться на огонь — прямо не знаю, как она управлялась за столькими кастрюлями следить.

— А что как нету больше Плетеной Женщины? — спрашиваю.— Ведь духи тоже старятся или на покой уходят в свой город.

— Ты попусту языком-то не мели! — обрывает меня Этта.

Вот под вечер велит она мне пойти и кое-что передать Бидилии Койот.

— На Флоренс полагаться нельзя,— говорит Этта.— Во-первых, умом не богата, а во-вторых, сейчас она не в себе, мучается.

И вот Бидилия отправляется на станцию обслуживания и звонит оттуда Уэйду Гэскеллу.

— Меня Флоренс просила позвонить,— говорит.— Хочет тебя видеть.

Наверно, тот спрашивает, почему, мол, сама не позвонила.

— Так ты ж, мерзавец, ей челюсть набок свернул! — орет в трубку Бидилия.— Флоренс говорить не может, пишет на бумажке. Все равно тебя любит. И кто ее знает, за что? А еще просит передать, что не все тебе рассказала, про что уж там, не знаю, только хочет, чтоб ты немедленно приехал. Она в хижине у Волчонка. Как на горку заедешь, последняя справа.

Тут Уэйд, видно, снова заартачился.

— Ну, как знаешь! Мне сказали — я передаю. А если трусишь, как последний сукин сын, в резервацию показываться, то шут с тобой.

Еще ей Уэйд чего-то говорит.

— Сказано: мне-то что, приедешь ты или нет и кого с собой привезешь. Флоренс говорит: что-то важное сообщить тебе надо.

И Бидилия вешает трубку.

— Явится, куда он денется! — смеется она.— Этот трус звереет, когда его трусом обзывают.

На горку, где стоят наши хижины, с ревом выбрасывая клубы пыли по обе стороны, въезжает машина. Правит Уэйд, рядом сидит его дружок Клет Айверсон, а из окошка кабины торчит дробовик. Клет примерно одногодок Уэйда, только длинный, тощий, рыжий, и мордочка у него какая-то лисья, и вся как есть в прыщах.

Вылезает Уэйд из машины, и дробовик у него наготове. Оглядывается по сторонам, все осматривает. Тут отворяется дверь хижины Волчонка, Уэйд с Клетом оба туда уставились, а я — хоп! — из высокой травы и за их машиной спрятался. Из хижины появляется Бидилия Койот в красном платье, которое Сейди как-то одна белая женщина отдала. А платье такое, что у Бидилии в нем вся грудь наружу. Не помню, чтоб она его когда до этого надевала.

— А ну-ка,— говорит Бидилия,— убирай свою пушку! — И рукой отклоняет дуло маленько в сторону, словно перед ней не ружье, а какая-нибудь щетка половая.— Флоренс лежит, не встает,— продолжает Бидилия.— Здорово ты ее отделал. Видать, и впрямь малый не промах! Понятно, почему Флоренс без ума от тебя.— Тут Бидилия поворачивается—и обратно в хижину, виляя задом прямо у Уэйда перед носом. Тот опускает ружье — и в хижину вслед за Бидилией.

Тут я, буквально по воздуху ступая, раз — и в машину, и приставляю свое ружьецо дулом прямо к уху Клета Айверсона. Тот подскакивает как ошпаренный, и дробовик у него бабахает в белый снег.

— Не убивай! Не убивай! — шепчет, а дробовик в окошко кидает. Руки кладет на приборный щиток перед собой, сам с меня глаз не сводит, а рот у него — клац! — захлопывается, как багажный шкафчик на автостанции.

В хижине Карга Этта с Бидилией связывают Уэйда, как вяжут

проигравшего в соревнованиях ковбоя. Точно так же мы связываем Клета и приступаем к изготовлению ритуальных сумочек, помогаем Этте принять необходимый для ритуала вид: проще говоря, вымазать краской лицо, надеть расшитые бисером гетры и сверху донизу к рукавам прицепить лисьи хвосты.

И все идем на луг, что километрах в трех от хижины, там развешиваем ритуальные сумки по деревьям, которые растут вокруг, и сумки торчат среди разлапистых ветвей, как маленькие птичьи гнезда. Еще мы набираем много-много полевых цветов и разбрасываем их внутри круга, который Этта очертила в ложбинке.

Мы ужасно рады, что нам попался Клет Айверсон, потому что Уэйда заставить позвонить было бы не так легко. А Клет со страха побелел еще пуще и соглашается на все, думает, тогда его не убьют. Он названивал каждые четверть часа и довольно долго, примерно до девяти, пока не напал на констебля Кретьена.

— Я из резервации звоню,— говорит.— Уэйд там с индейцами, которые его брата убили. Он на них дробовик наставил, просит, чтоб вы побыстрей приехали. Я бегу на подмогу, а вас, когда приедете, один индеец надежный встретит в том месте, где труба под дорогой, он и покажет, куда дальше ехать.

Мы с Бидилией написали Клету все это на клочке бумаги. И хоть читал он, прямо скажем, не слишком уверенно, такой умник, как Кретьен, все равно ничего не заподозрил.

Увидев подъезжавшую полицейскую машину, я замахал рукой и с радостью отметил про себя, что констебль Кретьен явился один. Сел я к нему и сказал, чтоб ехал прямо к лугу. Всю дорогу он меня забрасывал расспросами, но я ему только: «Белый дал пять долларов, чтоб я встречал. Куплю горючего, весело будет! Добренький буду, пьяненький!» И улыбался ему дурацкой такой улыбкой — уж это я умею!

Чуть-чуть мы до того луга не доехали, останавливает констебль Кретьен машину на холме и включает фары, разглядеть, что там внизу в темноте да в тумане.

Шел констебль Кретьен вперед осторожно, со вскинутой винтовкой. А Фрэнк Заборный Столб, тоже с ружьем, на всякий случай спрятался в сторонке, в густой траве. Он, видно, не меньше моего перетрусил.

— Эй, Уэйд! — крикнул констебль Кретьен.

А оттуда, с луга, Уэйд и отвечает:

— Давайте сюда, я здесь! Полный порядок.

Уж не знаю, как Этта заставила его такие слова выговорить, да и знать мне незачем.

Констебль Кретьен опустил винтовку дулом вниз и зашагал быстрее. Тут я выхватываю свое ружье, что в траве припрятал, навожу на него и говорю, чтоб бросал оружие. Потом подходим к тому месту, где были Этта, Уэйд и Клет. Эти двое сидят на пне спинами друг к другу, а руки у них даже не связанные. Сидят и улыбаются, словно их дружок констебль идет к ним в бильярд перекинуться. А меня всего, ей-богу, прямо так дрожь и пробирает, будто вылез голый на мороз. Даже представить страшно, на сколько меня упекут за одно то, что на полицейского ружье наставил! Спасибо, ему и в голову не пришло, что я ни за что не выстрелю. Ведь спокойно бы мог повернуться и отнять у меня ружье! Связали мы ему руки и усадили рядом с Уэйдом и Клетом. Карга Этта зашвырнула его винтовку и пистолет подальше в болото.

— А теперь уходи-ка отсюда, Сайлас,—говорит мне Карга Этта.— Забирай Фрэнка с Бидилией и уходите. Остальное — моя забота.

Глаза у констебля Кретьена выпучились, вот-вот лопнут,— видно, и он перетрусил, потому что принялся лепетать что-то, и все по-французски, никто из наших его не понимал.

Стали мы с Фрэнком и Бидилией подниматься вверх по холму, но когда, еще не добравшись до вершины, я не выдержал, оглянулся, то увидел, что в руках у Карги Этты заостренная палочка, которая, видно, ей от отца досталась, и Этта вырисовывает средь тумана что-то похожее на женский контур. И вдруг налетел сильный ветер, по-зимнему холодный, туман рассеялся, будто кто его сдунул; стоит Этта посреди луга, а прямо над ней из тумана женщина нависла, сгорбленная чуть-чуть, одежда длинная, а голова платком повязана. Кинулся я вверх к машине констебля Кретьена и поскорее фары и двигатель выключил.

Сказал Фрэнку и Бидилии, чтоб отправлялись домой без меня; на сей раз они спорить не стали. Самим не терпелось поскорей убраться. А я, привалившись к машине, стал вглядываться в темноту.

Вижу, констебль Кретьен с Уэйдом Гэскеллом и Клетом Айверсоном припустили прочь с луга прямо к тополиной роще, только ни одного из них не узнать, потому что все трое превратились в коричневых ласок; глаза у них отблескивают в ночи алым светом, а спинки на бегу изгибаются петлями — такой петлястый у иных почерк бывает,— сложатся пополам и резко выпрямляются, как кукленок, ползущий по ниточке, которого моей младшей сестренке на рождество подарили.

Недолго ждать пришлось, заявилась к нам полиция искать констебля Кретьена, потому что он успел сообщить, что едет в резервацию встретиться с Уэйдом Гэскеллом. Уэйд сказал кому-то в городе, что они с Клетом едут в резервацию к Флоренс Гром В Горах. Ночью мы отослали Флоренс на автобусе к родственникам в резервацию Литтл-Пайн в Саскачеване, а у нас все сделали вид, будто знать о ней ничего не знают. На мою беду, в машине констебля Кретьена обнаружились мои отпечатки, и полиция сначала забрала меня, а потом Каргу Этту. Привезли нас сюда, в Эдмонтон, и так как я не могу объяснить, откуда в машине Кретьена взялись мои отпечатки, а Карга Этта не может сказать, откуда ее отпечатки на пистолете констебля, который полицейские выгребли из болота особой штукой для вылавливания металлических предметов, которая стрекочет, как заведенный дятел, полиция считает, что мы оба виновны в преступлении.

Фрэнк, он навещает меня, однажды спросил: не заметил ли я на одной из ласок маленькую полицейскую фуражечку, что выдавало бы констебля Кретьена? Только мне уж не до этих шуток.

— Потерпи немного,— говорит мне сегодня Карга Этта, когда мы с ней вместе ожидали полицейского, чтоб отправиться к судье.— Через два месяца все трое вернутся, и к тому времени они все забудут — и про тебя, и про меня, и про Флоренс Гром В Горах, и про Кларенса Гэскелла. Станут кроткие, как младенцы. Может, только проходя мимо курятника, задергаются малость! — Тут Этта от смеха так и заколыхалась, что балаган кукольного театра под сильным ветром.

— А если их за это время подстрелят? — спрашиваю.— Или еще что выйдет не так, как ты задумала?

Карга Этта пожимает необъятными бизоньими плечами.

— Сейчас, слава богу, не время ставить капканы. Летом редко кто ласок отстреливает. Да ты что это? — И она, почуяв, что я вроде как не в себе, ободряюще улыбается.— К тому же здесь не так уж плохо, жратва приличная, вон и кровать мне специальную поставили, а то, если я на их койку прилягу, мигом из стенки вылетит. Как же нам с тобой не верить-то, Сайлас? — говорит она и кладет мне на плечо свою огромную коричневую лапищу.— Не дрейфь, все будет хорошо!

Где-то я читал, будто верить — это «полагаться на то, на что никто в здравом уме полагаться не станет». Не знаю, стоит ли верить тогда, но только, видно, нет у меня иного выбора.

Перевод ОКСАНЫ КИРИЧЕНКО

Танка нового времени

■

Вступление и перевод с японского А. ДОЛИНА

Сто лет тому назад, в период так называемой «духовной революции» периода Мэйдзи (1868—1912), вся японская культура оказалась расколотой на два противоборствующих лагеря. Многие юные поэты и художники, актеры и музыканты, пренебрегая национальным классическим наследием, обратились в поисках откровений к литературе и искусству Запада. В свою очередь архаисты упорно сопротивлялись «пагубным» влияниям извне, воскрешая полузабытые мифы, перепевая мотивы древних поэтических антологий, яростно отрицая необходимость реформ. Однако и те и другие подспудно догадывались, что истина лежит где-то посередине, что единственная возможность создания живой, полнокровной современной поэзии кроется в синтезе старого и нового, в магическом сплаве «своего» и «чужого».

Движение романтизма, возникшее на рубеже XIX—XX веков, вдохнуло свежие силы в лирику традиционных жанров, которой, казалось, грозило скорое и неминуемое вырождение. Плеяда поэтов, сплотившихся вокруг журнала «Утренняя звезда», с блеском доказала, что танка способна передать не только тончайшие движения души, запечатленные в «сезонных» картинах природы, но и гражданский пафос, любовный пыл, философские раздумья — весь широчайший спектр интересов человека новой эпохи.

Не выходя из условных границ жанра, оставаясь в рамках старого литературного языка, поэты «Утренней звезды» тем не менее сумели переосмыслить важнейшие принципы поэтики танка обогатив тематику стиха, разрушив привычные образные клише и лексические штампы.

Сборник романтических пятистиший Ёсано Акико «Спутанные волосы» (1901), как и последующие ее книги, заставил современников критически взглянуть на средневековые конфуцианские этические и эстетические регламентации. Поэзия в этом сборнике неотделима от жизни, а жизнь — от страсти, от чувственного порыва.

Дочь богатого купца из города Сакаи, Ёсано Акико до двадцати лет воспитывалась в строгих правилах японской семьи старого уклада, изучая под присмотром учителей литературу, музыку, каллиграфию и живопись. Встреча с Ёсано Тэкканом, знаменитым токийским поэтом и редактором «Утренней звезды», раскрыла перед скромной провинциалкой неизведанные, манящие горизонты. Бросив родительский дом, она бежала к любимому в столицу. После множества драматических перипетий Тэккан развелся с первой женой и оформил брак с Акико. Несколько месяцев влюбленные, а затем нежные супруги вели на страницах «Утренней звезды» поэтический диалог, обмениваясь признаниями и клятвами.

Ёсано Акико никогда не противопоставляла свою поэзию классической традиции танка. Вновь и вновь на протяжении многих лет она возвращалась к романам, повестям и поэтическим собраниям раннего средневековья. Не случайно многие пятистишия, вошедшие в «Спутанные волосы», перекликаются с лирикой Оно-но Комати, легендарной красавицы и прославленной поэтессы IX века.

При всем том танка Акико удивительно непохожи на эпигонские творения ее современников, воспевавших смутное томление, ловивших тонкий намек на ответную симпатию в аромате белых хризантем и беспрестанно увлажнявших слезами атласные рукава кимоно. Стихи Акико, опрокинувшие все представления читателя об аллегорической природе любовной лирики, пленяют не столько утонченным эротизмом, сколько предельной искренностью, эмоциональной раскованностью, неожиданной вольностью художественного образа, за которым стоит цельная, гармоничная личность автора.

Элегическая поэзия Вакаяма Бокусуй, дебютировавшего в 1908 году сборником танка «Голос моря», своей минорной тональностью резко отличается от бурного витализма ранних стихов Акико. Для пятистиший Бокусуй характерно острое, болезненное ощущение бренности всего живого, быстротечности времени. Его прекрасные пейзажные зарисовки несут на себе следы мироощущения «моно-но аваре» — печального «очарования вещи». Облака, плывущие над горными пиками, соцветия вишни, отразившиеся в потухшем взоре старика отца, следы волн на песчаном берегу, бой стенных часов — во всем поэт стремится уловить приметы преходящей, изменчивой жизни, неповторимую красоту сменяющихся мгновений.

Казалось бы, многое роднит стихи Вакаяма Бокусуй с дзэнской поэзией Сайгё (XII век) или Рёкана (XVIII—XIX века). И все же такого рода лирика могла возникнуть на японской почве только под влиянием Вордсворта и Китса, Бодлера и Верлена, Рембо и Малларме, прочно вошедших в литературный мир периода Мэйдзи.

Сложившийся в среде токийской богемы культ французских «про́клятых» поэтов наложил заметный отпечаток на лирику Бокусуй в пору расцвета его дарования. Сборники «Разлука», «В пути», «Смерть ияи искусство» позволяют отнести танка Бокусуй к течению японского символизма, органично соединившему лучшие традиции Востока и Запада. Как и песни любви Ёсано Акико, творчество Вакаяма Бокусуй стало одним из краеугольных камней в величественном здании обновленной лирики танка, воздвигнутом поэтами XX века.

ЁСАНО АКИКО

* * *

Разве румянец
сумеет сказать обо всем —
о буйстве крови,
о неистовом токе жизни,
из весенних грез сотворенной!..

* * *

Вдруг почудилось мне,
что милый ждет за порогом —
двери в ночь отворю.
О, как сияет луна
в вышине над лугом весенним!

* * *

От любви обезумев,
на огненных крыльях помчусь
и сама не замечу,
как растает за облаками
вся дорога в сто тридцать ри...

* * *

Эту долгую ночь
провожу я в обители грез.
Пламя в жилах струится.
Да хранят всесильные боги
одержимых хмелем весенним!

* * *

Пряди черных волос
уложила в прическу Симада
на столичный манер,
чтоб тебе понравиться утром,—
а сама мечтаю: «Останься!»

* * *

После ночи любви
я у зеркала грим подправляю.
Ах, не время еще,
соловей из горной лощины,—
не буди любимого, слышишь!

* * *

Я познала любовь,
полюбила безумные грезы,
вешних снов забытье!
Жар сплетенных тел охлаждая,
дождь весенний падает с неба...

* * *

Холод ранней весной.
На два дня из столицы уехав,
мы укрылись в горах —
как черны волос моих волны
под покровом цветущей сливы!

* * *

Что мне заповедь Будды?
Что грозных пророчеств слова?
Что наветы и сплетни?
В мире нас сейчас только двое,
обрученных самой Любовью!

* * *

Как страшит и чарует
запах лилий, что тает в ночи!
Как пленяет соблазном
аромат этих черных волос,
темный пурпур сгустившейся
мглы!..

* * *

С плеч соскользнули
просторной одежды шелка.
Зеленый ветер —
проплывает во тьме ночной
рой порхающих светляков...

* * *

Кто сказал, что любовь,
все былые прекрасные грезы —
только призрачный сон?
Ах, как сладостны воспоминанья
о весне в хмельном аромате!..

* * *

Аромат тех цветов,
что мы собирали когда-то,
мне напомнил сейчас
этот запах, плывущий в ложбине
над горячим источником горным...

* * *

Сердце мое!
К чему оно в жизни стремится?
Вперяю взор
в беспредельность ночи весенней—
всюду тьма без конца и края...

* * *

«Да пребудет любовь
прекрасней радуги в небе!
Да пребудет любовь
подобна молнии грозной!» —
так молюсь я, так заклинаю...

* * *

В час, когда из снегов
поднималось рассветное солнце,
перед взором моим
вся земля внезапно предстала
как огромнейший белый лотос...

* * *

Родные края!
Весь холмистый мыс Окадзаки,
что дымкой укрыт,
для меня сейчас — продолженье
нашей хижины уединенной...

* * *

Предрассветной порой,
в кухню дверь приоткрыв, замечаю
отраженный в бадье
тусклый отблеск лунного света
на соцветиях вишни вешней...

* * *

На равнине Акаги
под моросящим дождем
в высоких травах,
между ирисами и гвоздикой,
затерялись венчики лилий...

* * *

Вешнее море —
словно первая зелень в полях,
полосы ряби.
Проплывает в воде луна.
Незаметно вечер настал...

* * *

Уходит весна.
После ливня небо ночное
все в проблесках звезд —
так похоже на паутину,
окропленную росной капелью!..

* * *

На минуту замру —
и услышу, как с тихим журчаньем
торопливо бежит
ручеек по песчаному руслу.
Предрассветный месяц сияет...

* * *

Вот и ночь настает,
долгожданная ночь нашей
встречи—
как она коротка!
Вешний сумрак благоухает
цветом фенхеля и померанца...

* * *

Что за мученье!
Этот ветер сводит с ума —
с каждым порывом
облетает фенхель в саду,
опадает пионовый цвет...

* * *

Думалось мне,
облаков многослойных обитель
этот остров вдали,
а пристали — и оказалось,
тут приют цветущих камелий!..

* * *

Мелодии лютни
вторит колокол в дальних горах —
и музыка эта
колдовским чудесным созвучьем
отзывается в чутком сердце...

* * *

Первой встретить любовь
и первой познать увяданье,
первой же умереть...
Кто посмеет назвать недостойной
эту нашу женскую долю?!

ВАКАЯМА БОКУСУЙ

* * *

Берег пустынный.
Разжигаю под вечер огонь.
Эй вы, печали,
пилигримы далеких морей,
собирайтесь к костру моему!..

* * *

Наступила весна.
У отца-старика и сегодня
в потускневших глазах
бело-розовые соцветья
дикой вишни вновь отразятся...

* * *

На рассветной заре,
как и вечером, на закатной,
наблюдаю в тоске
облака, осенившие горы,—
нет, и в них не найти утешенья!..

* * *

Весенняя грусть!
В двадцать пять полюбил я впервые
белый сливовый цвет,
о котором в былые годы
никогда и думать не думал...

* * *

Под вечер иду
по песчаному ровному пляжу
вдоль кромки морской,
где остались еще очертанья
волн отхлынувшего прилива...

* * *

Дремотные горы,
а там, у подножия гор —
дремотное море.
Путешествую по стране,
напоенной грустью весны...

* * *

Вечерняя грусть!
Плесну на багровые угли
немного сакэ —
и наполнится комнатушка
ароматом зелья хмельного...

* * *

С черного хода
возвращаюсь под вечер домой —
и на ступеньках
останавливаюсь отряхнуть
хвою лиственницы с рукава...

* * *

Разошлись облака.
Я к вершине вулкана Асама
по тропинке бреду —
точно облачный след, белеют
клочья дыма над самым жерлом.

* * *

Два-три ярких пятна —
и те незаметно поблекли
у веранды в траве.
Значит, время пришло: опали
все цветы ушедшего лета...

* * *

Открываю окно.
Вот ласковый луч осторожно
тронул щеку мою.
Долгожданная! Наконец-то
ты пришла, золотая осень!

* * *

Будто бы слышу
откуда-то голос отца —
осенний вечер
я сегодня один встречаю
в этом старом пустынном доме.

* * *

Высокий бамбук
над пышной грядой георгинов.
Тихонько шуршат
под ветром мелкие листья,
как будто дождь барабанит...

* * *

«Осень»,— вымолвил я
и сам испугался немного,
голос свой услыхав.
Там, вдали, за проемом оконным
открывается вид на город...

* * *

Рассвет недалек —
и, быть может, предутренний холод
виною тому,
что в саду у меня так стенают,
так пронзительно плачут цикады...

* * *

На зимнем лугу
собираю букет горечавки
в подарок жене —
я ведь знаю, как любит она
этот темно-лиловый цветок...

* * *

Море утихло,
и птицы уже не кричат —
лишь в отдаленье
иногда, как тень, проплывет
над водою черный баклан...

* * *

Ветер поднялся.
Дождем опадает листва,
кружа в полете.
Шелестят, ветвями качая,
криптомерии у дороги...

* * *

Пробили часы —
на деленье подвинулась стрелка.
Как бьют о стекло,
как трепещут зеленые листья
в ясный день под ветром осенним!

* * *

Берег песчаный
розовеет в закатных лучах.
Вынесли волны
скорбный дар пучины морской —
сиротливый рыбачий челнок...

* * *

И сегодня опять
на песчаную белую отмель
я, наверно, пойду,
чтобы там, у кромки прибоя,
одиноко смотреть на волны...

■

В. С. КХАНДЕКАР

Король Яяти

РОМАН

Перевод с хинди М. САЛГАНИК

Деваяни

Авдруг Кача — враг из моих прошлых жизней?

Обряд жертвоприношения прошел хорошо. Все было отлично, пока не разыгралась эта сцена в дворцовом зале...

Когда Кача покидал отцовскую обитель, он произнес зловещие слова — сказал, что мне не быть женою брахмина. Я не за брахмина вышла замуж, но ничуть не прогадала. Роскоши хастинапурского дворца и сам Кубера, хранитель подземных сокровищ, может позавидовать. Мне хотелось, чтобы Кача своими глазами увидел меня на троне — королеву Хастинапуры. Пусть видит и пусть вспоминает, что все могло быть по-другому!

Я знаю, знаю — Кача любил меня, значит, я могу причинить ему боль, представ перед ним в облике супруги короля Яяти. Кача отверг мою любовь, но я уверена, он не забыл меня!

Кача не прибыл к началу жертвоприношения, но я не сомневалась, что он явится, непременно явится! Но обряд завершился, а Качи все не было. Супруга короля Яяти была поглощена дворцовыми делами, но Деваяни — она места себе не находила, изнывая от тоски.

Вдруг главный министр объявил, что Кача в Хастинапуре, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди от счастья. Все было так, как мне мечталось: я восседала на Львином троне, тысячи глаз восторженно любовались моей красотой. Шармишта покорно стояла за троном, овевая меня опахалом. Мудрейшие из мудрых сидели в зале, распевая священные песнопения, осыпая благословениями меня и моего супруга. Пусть видит Кача, чью любовь он отверг!

Кача не дал мне испытать радость любви — зато теперь он даст мне изведать сладость мести. И что же? В последний миг все изменилось. Если и был кто отомщен, то не Деваяни. Скорее, Кача.

Королева-мать скрытна. Душа ее — глубокий колодезь, вода в котором всегда спокойна и темна. Она привыкла властвовать, всегда помнит, что она постоянно на глазах у многих, что ни одно движение королевы не остается незамеченным. По ее виду невозможно догадаться, о чем она думает, что творится в ее душе.

Кто бы мог вообразить, что королева-мать способна забыться до такой степени! В Большом дворцом зале, презрев этикет, выбежала с истошным криком из-за занавеси и свалилась у ног старшего сына.

— Яти! Это мой Яти?

Окончание. Начало см. в № 5, 6.

Как недостойно! Вела себя точно простолюдинка. Конечно, все пришли в смятение, все зашумели, заметались, боясь, как бы глупая старуха не осквернила своей выходкой святость обряда. Не хватало только, чтоб ее вопли оказались дурным предзнаменованием для отца!

Но это еще ничего. Всякий мог видеть, что Яти — помешанный. Почему мой августейший супруг повел себя как болван? Что, тоже помешался? Ведь никому, кроме него, не было известно, кто такой Яти. Сам Кача, который притащил его, понятия не имел, кто этот оборванец!

Или вся их семья поражена безумием? Как ужасен был вид Яти! Но и его братец, мой дорогой супруг, был не лучше.

Крестьяне каменьями прогнали Яти за деревенскую околицу, и надо же было, чтоб его там увидел Кача. Увидел избитого, оборванного дурачка, пожалел, конечно, и захватил с собой. Что Кача, если родная мать не узнала своего Яти! Можно только пожалеть, что его узнал брат...

Впрочем, не подстроено ли появление Яти — все это выглядело достаточно странно. И даже готовность, с которой Яяти объявил его законным королем.

Я все пытаюсь до конца понять, какие беды может повлечь за собой пребывание Яти в хастинапурском дворце. Королеве-матери может взбрести на ум, что Яти должен занять престол, а поскольку он явно не в своем уме, то она провозгласит себя регентшей и станет править от его имени. Если она так бросилась к нему, то кто знает, на что она способна в ослеплении материнской любви. А я кем буду в этом случае? Нет, само предположение унижает меня! С другой же стороны, все правильно — Яти старший в роду. И Яяти так и брякнул при всех:

— Законный король Хастинапуры!

Ну нет. Король повел себя неслыханно глупо, нельзя так рисковать судьбой королевства!

Не одним только безумием поражена их семья. Мужчинам династии присуща слабость к женщинам. Это у них наследственное: что у деда, то и у отца и сыновей. Всем же известно — король Нахуша победил самого Индру и тут же потерял плоды победы, потому что не мог устоять перед его женой!

А Яти лучше? Пустынник, отрекся от желаний, отрастил волосы и бороду, обмотал бедра оранжевой тряпицей — и что? Только увидел Шармишту, тут же, не стесняясь никого, при всех, потребовал ее себе!

Над ним посмеялись — а, собственно, почему? Яти не знает жизни, мальчишкой убежал из дворца, скитался по лесам, жил по пещерам. А король Яяти, прославленный герой? Молодой воин, проследовавший за конем победы, доблестный король Хастинапуры — законный, кстати, король. На охоте вытащил девицу из колодца и сразу растаял. Пал жертвой ее чар.

С какой же легкостью читает женщина написанное в мужском сердце, как ясно она видит и его силу, и его слабости! Стоило мне заглянуть в глаза Яяти, когда я, мокрая, выбралась на край колодца, чтобы понять — победа!

Был бы Кача на месте Яяти, у меня язык бы не повернулся потребовать — подай мне руку!

А если б я и сказала это, Кача никогда бы мне не подчинился. О, я ли не знаю, как бы он повел себя:

— Я исполнил свой долг, принцесса, помог вам выбраться из колодца, не принуждайте же меня...

Кача покорил меня своею неприступностью. Если бы, впервые увидев меня в отцовской обители, Кача, как все остальные, обмер от моей красоты, а потом всячески старался бы хоть издали бросить на меня взгляд — я и головы не повернула бы в его сторону. Но Кача вел себя почтительно, и я никогда не видела желания в его глазах. Жен-

щин задевает вежливое безразличие, они готовы повернуться спиной ко всякому, кто ими увлечен, но тянутся к тому, кто поворачивается спиной к ним. Это нелепо, но это всегда так!

Кача сто раз мог свернуть себе шею, лазая по скалам за моими любимыми цветами. Эти цветы мне говорили о его любви, когда я по ночам ставила их поближе к постели. Но сам Кача никогда не говорил о своих чувствах.

Помню, я уколола руку о розовый шип в саду. Охнула, а когда Кача спросил, что со мной, ответила — змея укусила! Кача с таким испугом кинулся ко мне, что невозможно было сомневаться в его любви.

По вечерам он уходил молиться в дальний угол сада. Несколько раз я подслушала его молитву:

— Пусть будет счастлива Деваяни! — молился Кача.

Я тихонько удалялась, счастливая от уверенности, что Кача меня любит.

Я хотела его любви. Какая женщина отказалась бы от такой любви?

Но жить неразделенной любовью, перебирать четки воспоминаний о том, что было или чудилось,— нет, это не по мне. Кача больно ранил мое сердце, и я должна была пересилить боль. В колодец упала одна Деваяни, а выбралась из него совсем другая. Перемена произошла в тот самый миг, когда я узнала, что меня спас король Хастинапуры. Едва увидев его глаза, я сказала себе: стану королевой. Королевское величие, упоение властью и смиренная покорность августейшего супруга вполне могут заменить любовь.

Все это есть у меня — досталось мне в одну минуту. И вдруг Кача приводит безумного пустынника...

Останется ли этот сумасшедший во дворце или уйдет опять скитаться — я все равно королева Хастинапуры. И останусь королевой.

Поэтому я настояла, чтоб Яти не отпускали из дворца — не то он еще сделается одним из этих бродячих проповедников, своими разговорами смущающих народ.

Но хорошо, что он предпочитает находиться в Ашокаване. Кто знает, что мог бы натворить во дворце этот рехнувшийся аскет. Королева-мать переселилась поближе к сыночку. Тоже неплохо. Желая знать все, что затевается в Ашокаване, я отправила туда старую служанку, которой доверяю. Старуха прислуживает королеве-матери — в знак моей особой расположенности к ней — и доносит мне, что Яти не узнает собственную мать.

Прекрасный подарок бог ниспослал Каче! Какую драгоценность отыскал Кача на жизненном пути! И как позаботился обо мне!

Появление Яти предвещает беду, в этом нет сомнения.

В день дворцового приема, когда мы, королевская чета, ехали в колеснице, сиял чудесный ясный день. Ни облачка в небесной синеве, даже не верилось, что наступил сезон дождей, такой весенней прелестью дышало все вокруг.

Яти вступил во дворец предвестником бури — и не только в человеческих сердцах.

К вечеру небо заволокло тяжкими грозовыми облаками. В наших покоях было мрачно, как в подземелье. Потом по небу заметались молнии. Молнии? Они так зловеще извивались, как будто змеи заскользили в подземелье.

Четверо суток не унимался ливень. Джамна вышла из берегов, ее волны грозили столице. Главный министр пребывал в тревоге — если разлив не прекратится, говорил он, будут затоплены окрестные деревни, погибнет урожай.

Близилась полночь четвертых суток. Дождь лил не переставая, временами он будто умерял свою силу, но тут же снова принимался нахлестывать землю. Крупные капли с громким стуком падали на ве-

ранду. Король заснул, но мне не спалось. Я думала о том, каким будет мой ребенок. Похожим на меня? Мои глаза, мой нос, мои губы? Как странно... Будет топать маленькими ножками, будет говорить мне: мама! А короля будет звать отцом...

Вдруг сквозь шум дождя послышался стук копыт. Кто скачет в такую бурю? Или мне померещилось?

Я вышла на веранду. Стук становился слышнее, приближался всадник. Раз королева-мать отрядила ночного гонца, значит, что-то случилось в Ашокаване!

Промокший насквозь гонец пал к моим ногам.

— В чем дело? — спросила я.

— Ваше величество, не во дворце ли святой?

Я знала, что Каче никакой ураган не мешает погружаться в глубокое созерцание. Должно быть, ушел подальше и сидит там в позе лотоса, а королева-мать, встревоженная его отсутствием, ничего лучше не придумала, как разослать на поиски гонцов!

— Нет, святой Кача здесь не появлялся,— пожала я плечами.

— Не Кача, ваше величество, тот, другой святой! Святой Яти.

— И что же с ним?

— Был в Ашокаване вечером, прошел к себе, а потом ее величество королева-мать заглянула, а в покоях пусто...

На другой день по столице распространился странный слух: будто видели, как Яти пересек Джамну, ступая прямо по ее вспененным водам!

Где укрылся Яти под покровом мрака, как удалось ему ускользнуть из-под бдительного караула, куда ушел он в дождь и бурю, прошел ли он по водам Джамны или утонул в реке — никто не мог наверняка сказать.

«Ну и слава богу»,— подумала я.

Через несколько дней я отправилась в Ашокаван справиться о здоровье королевы-матери. Я застала ее в глубокой печали, но на мои уговоры возвратиться во дворец она ответила отказом. Она предпочитает Ашокаван, сказала королева-мать.

В Ашокаване я встретилась с Качей, но мимолетно. Кача не бывал у меня во дворце. Зато король что ни день ездил в Ашокаван, а возвращаясь, неизменно сообщал мне:

— Беседовал с Качей и просто не заметил, как пролетело время. Приятно встречаться с друзьями юности.

У Качи находилось время для бесед не только с королем, он был готов выслушивать кого угодно, выполнять поручения и просьбы... Любого. Кроме Деваяни.

Когда я его спросила:

— Не навестишь ли ты нас во дворце?

— Если найдется время,— ответил Кача.

Он ни о ком, кроме себя, не думает! А Деваяни он так и не сумел понять!

Но что-то мне подсказывало, что Кача рано или поздно появится у меня. Сам придет. Каждое утро сердце с надеждой ожидало, что уж сегодня Кача непременно прибудет во дворец. Прибудет без предупреждения, застав врасплох. Я начинала радостно готовиться: кресло, напоминающее трон, блюда с отборнейшими фруктами, гирлянды из любимых его цветов, опахала из павлиньих перьев. Ведь Кача живет по своим правилам, кто знает, когда он вздумает явиться ко мне? Увядали цветы, истекали соком фрукты, солнце скатывалось на запад. Проходил день. Другой. Недели.

О чем Кача часами беседовал с королем? На меня у него не было времени.

Меня охватило негодование. В конце концов, Кача прибыл в Хастинапуру по моему приглашению. Как он смеет пренебрегать правилами вежливости и не являться ко двору!

Конечно же, я ожидала не церемониального визита: хоть раз, один хоть раз мог бы Кача прийти ко мне с открытой душой, чтоб мы с ним свободно болтали, вспоминали бы счастливые дни в отцовской обители. Пусть воспоминания вызовут слезы на моих глазах, пусть потоком слез унесет влюбленную Деваяни. Останется королева.

Но ведь я уже однажды поклялась больше никогда не плакать — когда Кача сказал мне те беспощадные слова. И ушел. Прощаясь с отцом, я низко поклонилась ему, он возложил руку на мою голову. Я чувствовала дрожь его рук, у меня перехватило горло, но я не позволила себе расплакаться.

А теперь я мечтала поплакать у Качи на плече — чтоб слезы смыли с души тяжесть давнишних, нежных воспоминаний?

Говорят, в слезах есть радость. Может быть, для тех, кто слаб духом. Но плачущая королева Деваяни? Плачущая от глупых полудетских воспоминаний? Ну, нет!

Я уже почти не сомневалась, что Кача уедет, так и не повидавшись со мной. Но он пришел во дворец, пришел, когда я перестала ждать.

Я захлопотала вокруг Качи, засуетилась. Слуги бегом внесли троноподобное кресло, но Кача сел на пол, подостлав оленью шкуру.

— Кача,— умоляла я,— посиди в кресле!

Кача смеялся и со шкуры не вставал.

— Красивое кресло,— сказал он.— И в нем наверняка удобно. Но мне не хотелось бы нарушать правило, по которому я положил себе жить.

— Что это за правило?

— Очень простое. Если человеку хорошо спится на оленьей шкуре, зачем ему пуховые подушки? Если человеку приходится питаться ягодами и кореньями, ему лучше избегать приглашений на обеды. Деваяни, язык наш — враг наш, и не только потому, что он болтает глупости, а еще и потому, что, попробовав вкусное, он долго помнит этот вкус. Ему хочется еще и еще.

— По твоим правилам,— поддразнила я Качу,— мне бы не следовало носить эти красивые наряды, хоть я и королева!

— Совсем нет! — рассмеялся Кача.— Королева обязана радовать глаз своих подданных! К тому же, ты замужняя женщина, хозяйка дома. Твой дом— твой храм, твой муж — твой бог. А я аскет, поэтому не должен поддаваться мирским соблазнам. Ты живешь в миру, а я отрекся от него. Что для тебя — долг, для меня непозволительно.

Кача осмотрелся по сторонам и задержался взглядом на золотой цветочной вазе.

— Так ты не забыла, какие я люблю цветы! Приятно, что ты — королева, занятая множеством дел, нашла время подумать и о таких мелочах...

— Я все время думаю о тебе, Кача. Поэтому я послала тебе приглашение.

— Я проклял тебя, Деваяни, покидая обитель твоего отца. Ты же, не помня зла, пригласила меня в Хастинапуру. Ты как сестра мне, Деваяни, и так щедро твое сердце! Мне стыдно тех жестоких слов. Я тебя не стою, Деваяни.

Кача сложил передо мной ладони.

— Ты простила меня, Деваяни?

Я опустила голову. Простила? Уж не лицедействует ли Кача? Если Деваяни так дорога ему, если ее прощение так важно, то почему он раньше не пришел?

Я подняла глаза:

— Ты уже много дней в Хастинапуре, но только сегодня посетил меня. Я было подумала, что брат забыл свою сестру.

— Богатый брат может не помнить о бедной сестре, но чтобы бедный брат забыл богатую? Так не бывает!

— Вот как? Но ты забыл путь во дворец.

— Не этот путь мне нужен был.

— Какой же?

— Я искал путь к сердцу королевы,— сказал он.

Я не поняла, что Кача имеет в виду, но мое сердце затрепетало.

— Я хочу просить ее о милости.

— О какой милости? — пролепетала я.

— Освободи Шармишту!

— Шармишту? Освободить ее? А еще что? — вскричала я, не помня себя от негодования.— Может быть, уступить ей мое место?

— Я могу понять,— продолжал Кача, точно не замечая, как разъярил меня,— ты была разгневана, когда потребовала, чтобы она стала твоей служанкой. Но величие человека в том, чтобы научиться разумом усмирять необузданность страстей.

Я промолчала.

— Деваяни,— тихо проговорил Кача,— вообрази на минуту себя на ее месте. Если б тебе пришлось прожить жизнь в служанках...

— Мне? В служанках? — не выдержала я.— Уж не у Шармишты ли?

— Судьба слепа и непостоянна, Деваяни. Она и побирушку может возвести на трон, и королеву заставить просить подаяние...

— Сто раз я все это слышала! Я не маленькая, Кача!

— Прости, я знаю. Я не хотел обидеть тебя. Но есть один только способ понять страдание другого — поставить себя на его место. Кача никогда не обращался с просьбами к Деваяни. Сейчас я прошу тебя, сестра моя, не откажи в милостыне своему брату!

С ним бесполезно спорить, вдруг поняла я. Во взгляде Качи не было ни осуждения, ни мольбы — отрешенный взгляд святого, которому доступно высшее понимание людей и их деяний. Мне был знаком этот взгляд — я не забыла его.

Не забыла, а потому должна была ему противостоять. Я сделалась слепа, глуха, нема.

Кача. Приведя безумного Яти во дворец, он свел на нет плоды жертвоприношения, которое должно было помочь отцу. Отец был наставником Качи. Трижды возвращал отец Качу к жизни, но Кача не выказал ему ни признательности, ни преданности. Он и меня не поблагодарил за приглашение в Хастинапуру. Напротив, заставил ждать себя, а когда пожаловал, то у него достало наглости лицемерить, просить, чтоб я освободила Шармишту от заслуженной кары! Кача сострадает Шармиште, а мне без колебания нанес рану в самое сердце!

Он не получит милостыни!

Я встала, не глядя в его сторону. Кача тоже поднялся с пола.

— Ваше величество,— спокойно сказал он.— Я завтра отправляюсь в паломничество к горе Бхригу. Там я проведу некоторое время в молитве, сосредоточении и тишине...

Я склонилась перед ним в поклоне, даже не дожидаясь, пока он кончит говорить.

Кача простер надо мной благословляющую руку.

— Богу ведомо, где и когда мы снова встретимся. Я буду молить всевышнего, чтоб он наставил королеву. А Деваяни, пусть Деваяни будет всегда счастливой!

Наутро королева-мать прислала сообщить, что желает сопровождать Качу в паломничестве.

Король расстроился. Видно, опять почувствовал себя беспомощным ребенком без матери, которая решила уйти от дел в святую жизнь. Я тоже уговаривала королеву-мать остаться — зачем мне нужно, чтобы люди говорили, будто она из-за меня покинула Хастинапуру!

Однако ничто не могло поколебать решимость королевы-матери, даже просьба отложить отъезд до рождения внука.

Королева-мать уезжала прямо из Ашокавана, не заглянув во дворец. В последний вечер она призвала меня к себе.

— Дитя мое, мне теперь ничего не нужно. Не знаю, в чем причина, но меня снедает тревога за Яяти. Яяти — большой ребенок. Прими совет женщины, которой пришлось немало пережить: недостаточно быть женой своему мужу. Научись быть ему и другом, и сестрой, и дочерью, а иногда даже матерью.

Много ты сама из этого умеешь, подумала я, вспомнив, что доносила моя доверенная служанка. Меня учить не надо!

Мне было известно от служанки, что, взяв с короля слово беречь себя, старая королева попросила:

— Извести меня, когда родится ребенок. Если будет мальчик, мне было бы приятно, чтобы он носил имя твоего отца. И еще прошу тебя, выйди со мной в сад, Яяти. Я хочу показать тебе одно полезное растение.

— От чего оно лечит? — полюбопытствовал король.

— От болезни, не имеющей названия. Бывает, человек чувствует, что изнемог от жизни. От собственной жизни или оттого, что ему другие мешают жить. Надеюсь, сын, что тебе никогда не понадобится это растение. Хотя, скажу тебе на прощанье, что оставила бы тебя со спокойной душой, если б женой твоей была такая, как Шармишта.

Что Кача, что королева-мать. Ханжи, притворщики, предатели, лживые души!

Кача, отбывая из Хастинапуры, оставил королю письмо.

Я долго не решалась спросить, что в письме, но в конце концов осведомилась:

— О чем же написал тебе Кача?

— Можешь прочитать,— ответил король.— Ничего особенного. Правда, после этого письма я опять стал думать, что мне бы не королем родиться, а жить отшельником, наподобие Качи.

— Бог всеведущ,— возразила я,— и думает о Деваяни тоже. Был бы ты отшельником, что сталось бы со мной?

— Скажи мне правду, Деваяни,— с неожиданной серьезностью спросил король,— ты действительно счастлива оттого, что ты супруга короля?

— Да! — я отвечала не задумываясь.

— Ты не обманываешь меня?

— Нет!

Король просто просиял. Насколько же права королева-мать, подумала я. Большой ребенок.

Кача писал:

«Мы встретились после долгих лет, проведенных вдали друг от друга. Беседуя с королем Хастинапуры, я и узнавал и не узнавал юного принца, с которым познакомился в ашраме Ангираса. Наша встреча стала для меня тем редким мигом, когда плененная в теле душа воспаряет в радости освобождения. В радости, ради которой аскеты подвергают себя тяжким мукам. Когда я общался с другом, душа моя обретала свободу.

Молю тебя и твою августейшую супругу великодушно простить меня. Мне ничего не было известно о существовании Яти. В пути мне встретился умалишенный пустынник, которого из сострадания я взял с собой. Видя, насколько помутнен его несчастный разум, я не намеревался вводить его в дворцовый зал, но главный министр известил меня о воле королевы, и я не мог ослушаться. Я понадеялся на то, что несчастный присмиреет при виде королевского великолепия, при виде множества духовных лиц.

Я один повинен в том, что была нарушена торжественность обряда. Сказано, что прочность дружбы измеряется способностью прощать,— я умоляю о прощении.

От тебя впервые я услышал историю Яти и преисполнился еще большим состраданием к нему. Совсем ребенком ушел он из дворца в поисках бога, а потерял человека в себе. Я стараюсь понять, почему эта участь постигла Яти. Может быть, злосчастные обстоятельства его рождения внушили ему мысль, которая привела к безумию? Мир, доступный пониманию человека, составлен из пар, где каждая половина дополняет другую до целого: тело и душа, день и ночь, мужчина и женщина. Яти же воспротивился этому, поставил своею целью сделать половину — целым. Можно ли ходить, обрубив себе ноги? Или видеть, выколов себе глаза?

Конечно, мир двойственен только в восприятии смертных, и ограниченность нашего восприятия преодолима. Не в том ли смысл суровых испытаний, которым подвергают себя отказывающиеся от земных радостей во имя высшего блаженства — достижения гармонии духа? Действительно, путь к постижению высшей истины тяжел и требует великих жертв от идущего. Но путь ведет к осознанию смысла противоречий и двойственности. Ведь только с помощью тела обнаруживает себя дух — если нет телесной сути, нет и проявлений духа. Как появится на свет человек, если мать не носила его девять месяцев во чреве своем? Все это очень просто! Человек — частица вселенной и приемлет ее законы.

Несчастный Яти! Он воспротивился законам естества, он даже отказался признавать их существование.

В этом источник его безумия. Человек есть порождение природы, а потому телесная его часть подчинена ее многочисленным законам. Только через телесное воплощение способна развиваться и совершенствоваться душа. Дух не может проявить себя вне плоти, живущей по своим законам. Совершенная душа действительно обладает силой подчинять себе плоть, но не отрицая ее, а признавая плоть формой бытия. Равным образом ошибается и считающий, что смысл жизни — в духе, и тот, кто убежден, что только плоть истинна. Любая из двух крайностей мешает человеку познать гармонию единства и приводит его к саморазрушению.

Человек есть высшее звено, соединяющее бога и природу. Бог — высшая истина — разрешает противоречия двойственности, а для природы двойственность не содержит в себе противоречий. Один лишь человек воспринимает двойственность в ее противоречивости. Река, что дает жизнь жаждущему, отнимает ее у того, кто слишком глубоко зашел в воду.

Представления о противоречиях существуют только в человеческом рассудке, но по мере того, как человек совершенствует себя, его представления о противоречиях делаются все шире и глубже. Жажда жизни, присущая живому, унаследована человеком от его природного начала. Но человек есть наивысшее создание природы, поэтому в отличие от животных он не довольствуется простым продолжением жизни. Его стремления идут дальше, а потому и различает он добро и зло. Для природы нет добра, как нет и зла. Если ребенок тонет в реке, река не мучается угрызениями совести. Однако, если был в ту минуту на берегу человек — достаточно себя развивший, чтоб преодолеть животные инстинкты,— он бросится спасать ребенка, даже рискуя жизнью.

Перечитав написанное, вижу, что так и не сумел выразить мои мысли. Я еще недостаточно размышлял над сутью бытия и мало познал. Путник, ищущий истину, я понимаю только, что еще долог мой путь.

Мы с тобой часто беседовали о душе, и ты меня не раз с улыбкой вопрошал: а где она, душа? Кто ее видел? Я не мог найти ответа. Жившие до нас, до нас искавшие того же, что ищем мы, так описали человека: тело — колесница, а душа — седок; сознание — возничий, а рассудок — вожжи; кони, влекущие колесницу,— наши чувства, а до-

роги — наши вожделения; разум направляет бег коней и сдерживает их резвость.

Если нет колесницы, где поместится душа? Как она прискачет на поле жизненной битвы? Как сразится с врагами жизни? Не может седок пренебрегать своей колесницей. Яти допустил эту ошибку — и поплатился за нее.

Наши чувства — кони, и без них не тронется с места колесница. Но если впрячь в колесницу необъезженных коней, то помчатся они, не разбирая дороги, опрокинут колесницу, убьют седока. Возничий должен твердой рукой править ими, однако перестань возничий выполнять приказы седока — и колесница собьется с пути. И что толку, если кони послушны воле возничего, когда не знает он дороги? Пускай душа ведет руку разума, сжимающую поводья желаний, и тогда колесница двинется к цели.

Если же нет в колеснице седока — к чему она, пустая? Душа, крохотная частица единой мировой души, вмещая в себя все — и жизнь и смерть, восседает в колеснице тела.

Излишне многословно излагаю я то, что для меня, избравшего путь отречения, есть смысл моей жизни, но идущему иным путем может казаться скучнейшим умствованием.

Я не кривил душой, не напускал на себя лицемерную скромность, когда уверял, что отречение от мирских желаний кажется мне жизнью более легкой в сравнении с заботами возводящих строение жизни и в нем обитающих. Душа человека пленена в его теле и вечно рвется наружу из темницы, чтобы познать блаженство, которого не могут дать плотские радости, рвется к освобождению... Есть много способов, которыми душа стремится освободить себя, и отречение от мира — только один из них.

Но и любовь между мужчиной и женщиной, если любовь эта не простое утоление желаний плоти, позволяет душе раскрыться. Когда единение тел открывает путь общению душ — прийти к которому еще труднее, чем обречь себя на одиночество,— тогда это путь к высшему бытию, дорога к богу. Возводящий здание семьи возносит чистейшую и благороднейшую из жертв. Поэтому, прежде всего, муж и жена должны жертвовать собой друг ради друга. Благословенны плоды такого супружества.

Деваяни скоро станет матерью — да будут благословенны королева и ее супруг».

Я чуть не умерла со скуки, пока дочитала это нудное письмо. Король же попросил вернуть ему письмо — он желал перечесть его от начала до конца. Я в шутку спросила, находит ли он в этих рассуждениях больше притягательности, чем во мне?

Король серьезно посмотрел на меня:

— Творцу трудно создать красоту, которая бы превзошла твою.

— Как ты умеешь льстить!

Король взял меня за подбородок и заглянул в глаза.

— Деваяни, ты стала еще прекрасней!

— А ты не знаешь отчего?

— Не знаю!

— Мужчины бывают невыносимо непонятливы! — Я спрятала лицо на его плече.— Женщину красит материнство.

Я слышала, как стучало его сердце.

— Деваяни.... Теперь тебе будет хотеться разных вещей!

— Почему это — будет? Уже хочется!

— Скажи — и в тот же миг я выполню любое желание!

— Хорошо же — я не хочу, чтоб ты читал это письмо!

— Но Деваяни...

— Сказала — не хочу! Можешь запереть его в шкатулку, где у тебя хранится локон той девицы! В старости будем вместе читать и перечитывать письмо твоего друга. А сегодня — не хочу! Ученые рас-

суждения о душе — кому они нужны, когда моя душа и тело расцветают от приближения новой жизни, когда мы с тобой молоды, счастливы и весь мир у наших ног!

— Как пожелаешь, Деваяни.

И полетели недели безоблачного счастья. Я пожелала опять посмотреть пьесы, которые были поставлены во время празднеств, последовавших за нашей свадьбой. Я уже тогда сказала королю, что ему пошел бы облик отшельника. А после письма Качи король сам пожалел, что не рожден для праведной жизни.

Мысль о короле-отшельнике не давала мне покоя. И я придумала!

— Знаешь,— сказала я королю,— мне бы хотелось побыть лунной ночью на берегу Джамны наедине с отшельником.

Он рассмеялся:

— На берег Джамны мы можем отправиться в первую же лунную ночь, но вот насчет отшельника...

— А ты не мог бы переодеться отшельником?

— Глупости!

— Не глупости, а просто ты меня не любишь!

Я дулась на него дня два. Надутые губки — как безотказно действует это женское оружие! Его величество, поколебавшись конечно, согласился изобразить отшельника. В ночь полнолуния король проследовал за королевой в Зеленый Зал. Оттуда вышла королева — без короля, но в сопровождении рослого отшельника с посохом и чашей для подаяния.

Я приказала возничему везти меня с отшельником на берег Джамны.

На берегу реки я обратилась к королю:

— Помнишь, я говорила, что это одеяние тебе пойдет? А ты сказал, что дал матери слово не надевать его? Ну, чья взяла?

Мы долго смеялись моей проделке. И тут мне в голову пришла еще одна. Ашокаван недалеко. Шармишта никогда не догадается, что перед ней король... Любопытно, что она будет говорить бродячему аскету?

— В колесницу! — приказала я и шепнула возничему: — В Ашокаван!

Привратнику в Ашокаване я сказала, что перед ним человек большой святости, которого я привезла к Шармиште, а через некоторое время заеду за ним.

Король ничего не мог поделать — ему пришлось подыгрывать мне.

Я уехала смеясь: Шармишта будет угождать святому, ползать на коленях перед ним, изливать душу, а я потом спрошу: с какой стати она так вела себя с королем? Я представила себе, что будет с Шармиштой!

Часа через два я возвратилась в Ашокаван, и мы поехали в Хастинапуру. Король был непривычно весел, и это удивило меня.

— Как ты ее благословил? — спросила я.

— Ну как благословляют молодую девушку? Пожелал ей хорошего мужа!

Я так и прыснула.

Отец уже третий месяц жил в одиночестве в горной пещере. Мне хотелось повидаться с ним, и хотя король опасался, что женщине в моем положении могут оказаться не под силу тяготы путешествия, я настояла на своем.

Поездка оказалась такой тяжелой, что я ее едва перенесла. Отец выглядел лучше, чем я, когда мы встретились. Мне же пришлось долгое время провести в постели вдали от Хастинапуры.

В положенный срок я стала матерью — родился мальчик, и все королевство бурно ликовало. Но какое имя будет носить принц? Его

величество — явно помня просьбу матери — хотел дать сыну имя деда. Или прадеда. Но я не согласилась — хотела, чтобы принца звали так, как никого не звали раньше! Я придумала ему имя — Яду.

Шармишту привезли из Ашокавана в торжественный день наречения принца. Я изумилась, увидев, что она сияет. Я думала, что она, надломленная тоскливой жизнью в Ашокаване, повалится мне в ноги с мольбой освободить ее из почти монастырского заточения — и вдруг! Шармишта так и лучилась счастьем!

Потом мне по ее движениям, стало чудиться, что Шармишта... Я призвала доверенную служанку, которой велено было приглядывать за Шармиштой... Какой позор! Принцесса! А кто может быть отцом? Простой слуга, конечно.

Я повелела Шармиште предстать передо мной.

Она явилась, низко опустив голову.

— Ты ждешь ребенка? — резко спросила я.

Шармишта подтвердила едва заметным наклоном головы.

— Позор!

— О нет, ваше величество. Милость бога, ниспосланная мне, недостойной, через великого святого.

— Какая милость? Какой святой? Кто? Кача?

Шармишта молчала.

Шармишта

— Ты ждешь ребенка? — спросила Деваяни.

Я оцепенела. Оцепенела от неожиданности, от ужаса, от стыда.

Мы с Деваяни выросли вместе, она была моей единственной подругой. Сейчас бы нам обмениваться женскими секретами, сочувствовать друг дружке, радоваться нашей близости. Что же я сделала в одной из прошлых жизней, если судьба меня и этого лишила?

Когда Деваяни мне бросила в лицо: «Позор!» — вся кровь во мне закипела. Деваяни не знает, какие узы нас с ней соединяют, не знает, что позор Шармишты — это и ее позор. Ведь мне достаточно произнести одно слово — и весь дворец перевернется кверху дном! Вся Хастинапура! Весь мир! Если я назвала бы отца моего ребенка!

Я вкусила бы мимолетную, но упоительную сладость мести. И осквернила бы обряд наречения маленького Яду. Одно слово — и погасли бы праздничные огни во дворце. Деваяни никогда бы не простила короля, она бы отравила ему жизнь упреками и укорами. Супружество было бы разрушено — кто знает, что еще могло бы произойти, произнеси я заветное имя.

Стать причиной бед для человека, которого люблю,— ради того, чтобы изведать сладость мести? Нет, никогда. Но и прослыть распутной девкой — сама не знаю, что заставило меня сказать о святом, о благословении... Но, сказав это, я вдруг почувствовала, что верю в истинность моей же выдумки. Но может ли ложь соединяться с чистыми намерениями?

Сколько яда было в голосе Деваяни, когда она спросила, не Кача ли этот святой? Будто не знает, как чист душою Кача, как оскорбительно само предположение, будто Кача мог нарушить обет безбрачия... И это Деваяни, всем сердцем любившая его! Забрасывать грязью белый лотос, как можно, как можно! Я же только сказала: великий святой! Уж если Деваяни хотела уязвить меня, могла бы назвать Яти. Но упоминать о Каче...

Деваяни унизила меня при всех в тот день, когда впервые появился Яти. Бедный Яти действительно безумен, а в чем причина его безумия, я так и не смогла понять...

Когда же Яти жил в Ашокаване, я всячески избегала его — он

так злобно смотрел на меня, что от ужаса подкашивались ноги. Я никому не решалась пожаловаться и менее всего — королеве-матери, которая и так обливалась слезами при виде сыновнего безумия. Будь что будет, думала я.

Как-то ночью я проснулась, почувствовав, как чьи-то ледяные пальцы подбираются к моему горлу. Я хотела крикнуть, но пальцы душили меня. Не знаю, как удалось мне вырваться, распахнуть дверь в соседний покой. В полосе света, упавшей на ложе, я увидела Яти. Он не сделал попытки бежать, сидел на краю моей постели с чудовищной ухмылкой на лице. Не помня себя от страха, я позвала на помощь — Яти сорвался с места и выпрыгнул в окно... Потом пришлось всем говорить, будто мне приснился страшный сон.

И все же — пусть лучше бы Деваяни обвинила меня в связи с сумасшедшим — сказала бы, что он отец моего будущего ребенка! В конце концов, это унижало бы только меня. Но злоба, с которой она готова оговорить Качу...

Неужели любовь может бесследно пройти? Видимо, может, раз Деваяни предполагает в Каче худшее...

Ну и что? Деваяни способна забыть вчерашнюю любовь, а Шармишта — нет. Ни забыть, ни предать.

Что сказал бы Кача, если б услышал ядовитые слова Деваяни? Ах, Кача ничего бы не сказал. Кача просто улыбнулся бы.

Когда он пришел проститься со мной, уезжая из Ашокавана, я спросила:

— Когда же мы теперь увидимся, Кача?

Кача улыбнулся:

— Кто знает? Кто властен над судьбой? Она может завтра же вернуть меня сюда. Или закрыть мне путь в Ашокаван на десять лет, а то и на все двадцать.

Он недолго пробыл в Ашокаване, но укрепил мою душу. Кача дал мне новые силы, и я точно заново родилась.

— Где ты будешь находиться, Кача?

— В Гималаях.

— Ради чего ты обрекаешь себя на испытания?

— Ради чего? Если бы я мог надеяться, что испытания помогут мне воздействовать на Деваяни, я бы всю жизнь провел в гималайской пещере.

Никогда, никогда я не завидовала Деваяни! Даже когда она стала королевой Хастинапуры. Но, услышав эти слова, я подумала: какая она счастливица. Человек чистой души и святой жизни готов вынести любые испытания ради нее — чего больше могла бы Деваяни желать? С чем в мире может сравниться величие такой любви?

Кача улыбался, отвечая на мой вопрос, но я понимала, что он говорит серьезно. Кача не оправдывал многие поступки Деваяни, но он любил ее. Велика боль сердца, раненного любовью, но кто может исцелить ее?

Кача объяснил мне цель своего паломничества в Гималаи:

— Святой Шукра решился на испытания неслыханной суровости, ибо он желает добиться способности творить чудеса не меньшие, чем воскрешение из мертвых. Сумеет он сделать это — и вспыхнет новая война между богами и асурами, начнутся новые беды. Боги, люди, асуры — все обитают в одном мире, другого мира нет и не будет. Из-за чего же рвать на куски эту прекрасную землю и небо над ней? Целыми ночами я не сплю, пытаясь понять, ради чего каждое новое поколение затевает новую войну? Ради чего? Неужели Шиве угодны войны, кровопролитие, вражда и страдания? Я готов принять любое испытание, все стерпеть, все вынести, чтобы, упав к его ногам, взмолиться: даруй мне мантру, способную всех примирить и положить конец войнам!

После отъезда Качи и королевы-матери я почувствовала себя очень одинокой. Что ждет меня в будущем? Деваяни так и будет держать меня в Ашокаване, пока не состарюсь? На помилование нет никакой надежды.

Прибыв в Ашокаван, Кача сразу спросил обо мне и разыскал мою каморку в дальнем углу двора. Увидев его, я встала на ноги и не садилась, сколько он меня ни уговаривал.

— Шармишта больше не принцесса, которой дозволяется сидеть в твоем присутствии. Я самая обыкновенная прислужница.

— Шармишта, разве знает мускусный олень об аромате мускуса? Так и ты. Черная работа не может сделать тебя иной, чем ты есть. Ты можешь жить рабыней, но душу твою нельзя поработить. Разве не к этому устремлены усилия мудрецов, которые подвергают испытаниям плоть, чтоб дать душе свободу?

— Но, Кача,— сказала я, страдая от смущения,— я прислужница Деваяни, которая никак не может угодить ей. Мне ли рассуждать о возвышенном! Я должна все время помнить — мне суждено прожить жизнь рабыней, так и не став ни женой, ни матерью.

— Ты не прислужница, а моя сестра! У меня две сестры — Деваяни и Шармишта.

Кача смотрел прямо в глаза и продолжал:

— Но ты мне больше чем сестра — ты моя наставница. Я ведь считал, что приношу себя в жертву, когда отправился на поиск секрета сандживани, но ты пожертвовала большим. Я недостойный ученик твой, и я тебя молю не думать о себе как о служанке. Пускай весь мир видит в тебе служанку, для меня ты королева. Не ты рабыня, а Деваяни — порабощенная страстями, тщеславием, самовлюбленностью. Раб тот, кто не в силах совладать с собой. А ты — ты отказалась от себя, от собственного счастья и приехала в Хастинапуру. Ты избрала самый прямой и самый трудный путь от человека к богу — самопожертвование. Ты не прислужница, Шармишта, ты святая. Я понимаю. неловко младшей сестре, когда перед нею склоняется старший брат, но ты только по возрасту моложе меня, зрелостью души ты меня превосходишь. А потому...

И Кача, молитвенно сложив руки, склонился передо мной.

В растерянности я бросилась к Каче, сжала его руки и тут же испугалась: ему, отшельнику, должно быть неприятно прикосновение женщины! Я не забыла, как у Шукры в обители он все время держался на расстоянии от Деваяни. Я попыталась было отдернуть руки, но Кача мне не дал.

Он все понял:

— Сестра моя, не всякого прикосновения избегают! Если бы здесь была моя мать, разве, не желая отпускать сына, она бы не удерживала его руками? У любви есть свои права, Шармишта!

Великий боже! Кача действительно зовет меня сестрой! Что мне еще надо?

— Сестра моя! — продолжал Кача.— Благословенная моя сестра! Ты познала материнство прежде, чем стала женой. Ты мать всего королевства асуров. Я могу пожелать тебе только, чтоб не убывала в тебе сила духа, благодаря которой ты сумела пожертвовать собой!

Кача укреплял мой дух, но как только он уехал, меня охватила глубокая тоска.

Я пыталась снова найти прибежище в рисовании и рисовала все, что попадалось на глаза, но моя отяжелевшая душа не откликалась на красоту природы.

Воспоминания опять исподволь завладевали мной. Красный кружок, который пальцем я поставила на лбу его величества, когда он уходил в поход. И пальцы Качи, которыми он придержал мои. О, это было не одно и то же!

Я плохо спала ночами. В тишине я слышала шум реки, катившей свои волны в море. Волнами кровь бежала в моих жилах, горяча тело. Мне снились путаные сны... Однажды ночью я никак не могла уснуть. Я зажгла светильник и села рисовать. Мне пришла на память история короля Пуруравы и его возлюбленной Урваси, и я стала набрасывать сцены из легенды. Ночь была душной, рука моя двигалась вяло, мысли разбегались, и я сама была удивлена, когда увидела, что Пурурава на моем рисунке — вылитый король Яяти. Я обрадовалась, ибо много раз слышала от королевы-матери, что ее Яяти весь в деда. Ну а Урваси? Конечно, это Деваяни, неземная красота которой одна лишь и могла подсказать мне черты небесной танцовщицы. Дело не только во внешнем сходстве — мне, столько раз слышавшей, каким тоном обращается Деваяни к мужу, нетрудно было представить себе, как произносит она слова Урваси:

— Невозможно завладеть навеки женским сердцем, ибо женщина в сердце своем ненасытна, как волчица...

Портрет его величества — в образе короля Пуруравы — явно удался мне, и я решила его закончить. Несколько дней, проведенных за работой над портретом, были счастливыми. Завершив работу, я поместила портрет в угол и, посмотрев с расстояния, осталась им довольна. Я не могу считать себя художницей, но черты его величества я уловила и запечатлела.

Когда я была девочкой, мама очень гордилась моими волосами — черными, как смоль, густыми и блестящими. Она их каждый день сама расчесывала и заплетала в косы.

— Ты у нас счастливая, Шама,— говорила мать,— не у всякой девушки косы до колен. Есть примета — у кого такие косы, та находит свое счастье, где не ждет.

Ах, мама!

Самой мне надоело ухаживать за волосами, и теперь я просто подбирала их на затылке.

Нет на свете девушки, которую не волнует ее внешность. Но девушки не для себя наряжаются и вертятся перед зеркалом...

Бессонными ночами, когда я себе внушала, будто мне просто жарко из-за длинных и густых волос, я вспоминала стихотворение, прочитанное лет в шестнадцать. Женщине не спится яркой лунной ночью, а ее возлюбленный уснул. Желая закрыть наготу любимого от завистливого ока луны, но, опасаясь потревожить его сон, женщина выдергивает шпильки из прически, которой он недавно восторгался, и распущенными волосами укрывает его от лунного света.

Юная Шармишта мечтала, испытывая странное волнение, о том, как это сделает и она — у нее же длинные волосы.

Теперь эти стихи вызывали одну тоску.

Возлюбленный? Супруг, с которым соединена жизнь? О чем я?

Целыми днями я перебирала в памяти слова Качи, каждое слово — опять и опять. Но по ночам...

Ночи я проводила в обществе портрета его величества. Садилась перед ним в позе лотоса и заводила нескончаемый разговор.

Однажды вечером я повесила на портрет гирлянду из свежих цветов и коснулась ее губами.

И устыдилась, так устыдилась... Что бы подумал Кача, если б узнал об этом поцелуе? Его сестра Шармишта, его любимая сестра! Не может совладать с собой... Трудно обуздывать желания, но все-таки возможно, я знала, что возможно, и старалась изо всех сил... Соблазн похож на лунный свет — он пробивается в любую щелочку. И потому я прикоснулась губами к цветам, которыми украсила портрет.

Только теперь я стала понимать, какой неимоверно тяжкий путь избрал для себя Кача. Но Кача же мужчина.

А Шармишта женщина. Мужская телесная оболочка и женская. Разум мужчины и разум женщины. Женская доля и мужская. Как разнятся они! Естество мужчины тянет его к тому, что выше повседневных забот,— к славе ли, к познанию души и бога, к ратным подвигам. Женская душа погружена в земное, простое, повседневное: семья, муж, дети, дом, служение другим. Женщина умеет жертвовать собой, безропотно смиряться с тяготами жизни — во имя обыкновенных, зримых дел. В отличие от мужчины возвышенные понятия для нее должны облекаться в земное, ощутимое, живое. Ей необходимо знать и видеть то, ради чего она безраздельно жертвует собой, чему отдает и счастье свое, и слезы. Мужчину влечет к себе возвышенное, женщина возвышает собой земное.

Моя жизнь была пуста. Сколько я сумею продержаться в этой пустоте? Чем это кончится? Тем, что, не в силах справиться с отчаянием, сама уйду из жизни? Я устрашилась этой мысли, но не смогла прогнать ее совсем.

Однажды лунной ночью я снова погрузилась в пугающие меня думы. Мне показалось, что я слышу скрип колес. Колесница? Какие глупости — уже не за мной ли, прислужницей, шлют колесницы? Должно быть, в Ашокаван пожаловал гость. Ну что же, слуги проводят гостя в его покои...

Но постучали в мою дверь. Вошел слуга и объявил, что меня желает видеть святой паломник. Уж не Кача ли? Нет, не он!

Как же так? Зачем слуга приводит ко мне ночью незнакомца?

— Что делать у меня святому человеку? — спросила я.— Ты должен проводить его с почтением в гостиные покои.

— Ее величество сама привезла святого паломника в Ашокаван и велела отвести его сюда. Ее величество вернется за ним...

Святой молча стоял, сложив ладони в приветствии. Он выглядел величественно и осанкой скорее походил на короля, хотя его манера держаться говорила о застенчивости и робости. Коралловые четки, висевшие на его шее, блестели, точно ожерелье. Мне показалось смутно знакомым его лицо, но я не смела всматриваться, ибо обычай требовал склониться к его ногам.

Я предложила святому человеку сесть на подушки посредине комнаты, но он сказал хриплым голосом:

— Мягкие подушки не для живущих в пещерах. Я сяду здесь в углу.

Я бросилась усаживать его в тот угол, который он себе облюбовал,— и помертвела. Он сядет прямо перед портретом его величества, который я теперь каждый вечер убирала свежими цветами. Он увидит, он может рассказать об этом Деваяни, а если она неправильно истолкует мои чувства...

Подняв глаза, я обомлела — отшельник внимательно разглядывал рисунок. Но ничего не говорил.

Он посидел в сосредоточенном безмолвии, потом спросил — все тем же странным, хриплым голосом, который, однако, звучал ласково:

— Чего желаешь ты, девушка?

— Ничего, гуру.

— Ты сказала неправду.

Я молча опустила глаза Неужели он видит скрытое в моей душе, этот святой?

— В сердце твоем любовь. Предмет твоей любви совсем рядом, но кажется тебе недосягаемо далеким.

Я будто онемела.

— Готова ты пойти на жертву во имя любви?

— О да! — сказала я, не успев подумать.— На любую жертву!

Я прикусила язык, но было поздно — тетива спустила стрелу.

Святой неподвижно сидел, закрыв глаза. После долгого молчания он промолвил:

— Ты мне не веришь. Запри дверь и ты увидишь, какую силу имеют мои заклинания.

Я не могла шевельнуться. Он встал на ноги и, возложив руку на мою голову, повторил:

— Запри дверь. Настал заветный час твоей жизни.

В его прикосновении была магическая сила: вдруг успокоившись, я шагнула к двери и заперла ее.

Указывая на рисунок, он спросил:

— Ты любишь Яяти?

Я не смела поднять глаза.

— Все еще не веришь? Не хочешь поверить, что моему внутреннему глазу открыто все? Хорошо. Я могу убедить тебя. Есть ли здесь дверь, ведущая в подземный ход?

— Нет.

— Есть.

Он дотронулся до еле видного выступа в стене, и стена бесшумно ушла вбок, открывая ступени, уходящие в темноту.

Не только я — наверняка никто в Ашокаване не подозревал о существовании подземного хода. Откуда мог знать о нем этот пришелец из ночи?

С улыбкой наблюдая за моей растерянностью, он второй раз нажал на выступ — стена закрылась.

— Ты любишь Яяти, а мы, отшельники, считаем благословенной истинную любовь. Силой моих заклинаний я сделаю так, что Яяти к тебе придет. Он придет подземным ходом и окликнет так, как звали тебя дома.

— Шама?

— Он так и позовет — Шама. Ты не испугаешься, ты нажмешь вот на этот выступ и откроешь ему. Следи только за тем, чтобы тебя никто не подстерег.

Я едва верила собственным ушам.

Что-то смутно тревожило меня в облике и поведении незнакомого святого, но я не могла понять, что именно. Будто почувствовав мою тревогу, он отвернулся, шагнул к двери и уверенным движением отпер ее.

А вдруг это козни Деваяни, подославшей святого, чтобы выпытать мою сердечную тайну, а потом поднять на смех?

Но незнакомец уже перешагнул через порог, его обступили слуги, и я слышала, как он раздавал благословения хриплым своим голосом. Тут же застучали копыта и заскрипели колеса — приехала Деваяни.

— Сестричка Шама! — крикнула она, как в детстве,— Понравился тебе отшельник?

Как далеко отодвинулись времена, когда мы звали друг друга сестричками!

— Очень понравился. Я готова служить ему всю жизнь, если позволит ваше величество!

Деваяни расхохоталась в ответ. Щелкнул бич возничего, и колесница умчалась.

И эту ночь, и многие ночи потом я провела в страхе, любопытстве и сомнениях. Но теперь я всегда проверяла, заперта ли моя дверь, перед тем, как отойти ко сну. Засыпала я поздно и с неохотой, точно чего-то ожидала. Человеку свойственно жить надеждой, какой бы призрачной она ни была.

Меня сильно взволновало известие, что Деваяни отбывает погостить в обители отца.

В день ее отъезда я места себе не находила от тоски. Деваяни может увидеть моих родителей, а я — нет... К ночи, однако, ожидание

сменило тоску. Я лежала, устремив взгляд на портрет его величества, и не заметила, как задремала. Сквозь дрему мне послышалось, будто меня окликают.

— Шама! Шама! — звал знакомый голос.

Я проснулась. Сомнения не было. Голос глухо доносился из-за стены. Не помню, как я встала, как нащупала выступ в стене и нажала. Легко и бесшумно скользнула вбок стена. Передо мной стоял король. Мое сердце бешено стучало от невероятного счастья. Голова кружилась, я едва держалась на ногах. Король поддержал меня. В следующий миг я была в его объятиях.

И река влилась в океан.

Я открыла глаза. Где я? На седьмом небе? На ложе из белых цветов, принесенных водами Мандакини? На качелях, овеваемая прохладным душистым ветерком с гор Малаягири?

Месяц заглядывал в окно, пряча улыбку в прозрачный облачный рукав.

Король повернул мое лицо к себе и спросил:

— Где это видано, чтобы невеста скрывала лицо от жреца?

— С кем только ни сравнивали месяц поэты, никто еще не видел в нем жреца!

— Напротив,— возразил король,— месяц всегда был жрецом любви и освящал любовные союзы, такие, как наш с тобой!

Моя голова лежала на плече короля, и месяц видел нас вместе. Мне казалось, будто я омыта лунным светом. Нет, это был не лунный свет, а сознание того, что я любима. Я женщина. Женщина, которая любит и знает, что любима.

Можно ли вообразить себе мощь океана, послушав морскую раковину?

Можно ли насладиться прелестью весны, нюхая нарисованный цветок?

А рассказать о том, какое счастье любовь,— можно?

Женщину мало трогает оболочка слов. Она всегда стремится погрузиться в чувство, выражением которого было слово.

Праматерь жизни богиня Парвати из любви к Шиве перенесла испытания и сушью, и ливнями, и жарой, и холодом. Желала ли Парвати возвыситься душою через страдание? О нет. Только получить право быть у ног любимого, служить ему. Да будет Парвати примером для всех женщин, да научит она нас настоящей любви. Я следовала по стопам Парвати...

Я любила короля Яяти, ни на миг не забывая, что он супруг Деваяни, я любила короля Яяти.

Две доверенные служанки были посвящены в нашу тайну и больше никто. В нашу сладкую тайну, в тайну ночи, вечной покровительницы влюбленных. В тайну четырех стен и подземного хода.

На рассвете, когда стена смыкалась за королем, еще не остыв от его ласк, я уже мечтала о том, чтобы поскорей минул день, уже была опьянена нетерпеливым ожиданием ночи. И все же внутренний голос говорил мне: «Остановись, подумай, что ты делаешь! Куда ты мчишься очертя голову? Ты преступила все границы!»

Мое тело раскрывалось навстречу ласкам короля, а душа сжималась от сознания — я преступница!

Напрасно твердила я себе, что настоящая любовь всегда благословенна, что платой за нее всегда бывает самопожертвование, что я готова на жертвы...

И напрасно напоминала я себе, что Деваяни ненавидит меня, а я стараюсь не допускать в душу ненависти к ней...

Но голос все твердил, что поступаю я дурно, дурно, дурно!

Тогда я припадала к статуе Парвати и молила ее:

— Дай мне силу любить короля, как ты сама любишь бога Шиву! Не любит женщина, неспособная всю себя принести в жертву любви!

Тебе все ведомо, о Парвати, дай мне силы сохранить чистоту помыслов, верь мне — я не преступница!

Но как ни терзалась я этими мыслями, все равно я была счастлива! Целый день я легкокрылой бабочкой носилась по Ашокавану, озабоченная лишь одним — как получше принять ночью короля. Ночь приходила, прекрасная и душистая, как танцовщица на любовное свидание. Я боялась только одного — что королю не удастся вырваться из дворца.

В юности я зачитывалась стихами. Даже сама пробовала писать о любви, понятия не имея о том, что это, лишь смутно предчувствуя любовь. Как ребенок, поймав отражение луны в зеркальце, думает, что это и есть луна...

Надо полюбить, чтобы узнать, что такое любовь — прохладный лунный свет и палящая ярость солнца, живая вода и смертоносный яд...

Ах, да о чем я!

Однажды король долго не приходил. Кто-то сказал, что у него важное совещание с главным министром. Было уже далеко за полночь, а я все ждала и ждала... Шармиште отведено место в королевском сердце, но она не смеет приблизиться к особе короля. Даже щедро одаривая меня любовью, моя судьба скупилась...

Не находя себе места от нетерпения, я решилась нажать выступ в стене. Спустилась во мрак и замерла. Нет, я испугалась не темноты — что, если я войду не вовремя в опочивальню короля? Что, если выдам нашу тайну? Судьба и так долго благоволит нам, она непостоянна, кто знает... Вдруг Деваяни возвратилась без предупреждения? Страшно даже подумать, что сделала бы Деваяни, узнав об измене короля!

Я убежала к себе. Не суждено мне любить открыто. Принцесса Шармишта не имеет права на то, что дозволено последней нищенке!

К тому времени, когда пришел король, моя подушка успела намокнуть от слез. Король заснул, но я лежала без сна. Блаженство в его объятиях не могло утишить тревогу в моей душе — и под благословенным пологом любви я думала о смерти. Пусть бы землетрясение разрушило Ашокаван и мы погибли бы в объятиях друг друга... Пройдут века, отроют, может быть, наши кости, и никто не будет знать, что нас настигла кара за золотые мгновения, которые я так бесстыдно воровала...

Стыдно думать только о себе, укорил меня внутренний голос. А король? Как я посмела распорядиться и его счастьем... Я вздрогнула, а он почувствовал сквозь сон мой страх.

— Трусишка! — Он привлек меня к себе, и холодный ужас растаял от тепла его тела.

Наутро страхам было суждено вернуться. Я пробудилась ото сна, чувствуя какую-то странную вялость. Меня тошнило. Служанки, посвященные в секрет, увидев, что со мной, переглянулись со значением. Перехватив их взгляды, я поняла без слов — я буду матерью. Радость, ужас, стыд — я испытала все чувства одновременно.

Обыкновенно молодая женщина спешит рассказать матери о том, что у нее будет ребенок. Я б тоже рассказала матери и представляю, как бы она ликовала! Шармишта, с детства знавшая, что ей предстоит быть королевой, стала служанкой. Но королева и прислужница с одинаковым трепетом вступают в материнство — природа справедливей человека. Прислужница тоже станет матерью, но справедливость природы может обернуться проклятием в глазах людей.

Как распорядится моей судьбой Деваяни, когда увидит, что я жду ребенка? Что скажут мои родители, когда известие достигнет их ушей? Сочтут меня распутницей?.. А как я докажу обратное?

Мне показалось, что мои служанки тоже испугались. Теперь они уже, наверное, раскаивались в том, что пособничали нашей с королем

любви, и трепетали при мысли о гневе Деваяни. Деваяни все еще гостила у отца, но ведь рано или поздно она вернется. И тогда...

В растерянности я подумала о Каче — как мне недоставало его! Кача ободрил бы меня. И если б даже он счел, что его сестра поступила дурно, все равно пришел бы мне на помощь. Но Кача далеко, и я совсем одна. Одинокая, беспомощная Шармишта.

Беспомощная? Может ли возлюбленная короля Хастинапуры считать себя беспомощной? Как может страдать от одиночества любимая жена короля Яяти? Я посмеялась над собственной робостью.

Всякое утро я давала себе слово посвятить наконец короля в мою тайну. И всякое утро меня охватывала немота. Язык переставал повиноваться мне.

И все же однажды...

— Нам дальше не удастся сохранять тайну нашей любви! — сказала я.

— В чем дело? — насторожился король.— Болтают слуги? Или Деваяни подослала соглядатаев?

— Нет, нас никто не выследил. Но... Я буду матерью!

Улыбка исчезла с лица короля. Он снова привлек меня к себе, но это было не объятие влюбленных — напуганные дети искали поддержки друг у друга.

Мне было непонятно молчание короля, а его испуг вызывал недоумение. Король Хастинапуры — и боится?

Он заговорил — речь его была сбивчивой, мне нужно было догадываться, что он имеет в виду. Король говорил о проклятии, о том, что святой Шукра не простит его...

Конечно, король был прав! Я ли не знала ревнивость и мстительность Деваяни, вспыльчивость и своенравность ее отца... Опасения короля были оправданны.

Если обрушится на короля гнев святого Шукры, я никогда не прощу себе того, что стала причиной его бед. Возможно ли предположить, что доброе имя Шармишты окажется важнее счастья ее любимого?

Настоящая любовь всегда готова на жертвы. Пусть Деваяни выставит меня на позор — она не узнает, кто отец ребенка...

Через несколько дней Деваяни возвратилась во дворец. Теперь король не сможет покидать свои чертоги на ночь. И значит, я лишаюсь счастья быть с ним и больше не могу искать утешения в его ласках.

Потянулись бесконечные, бессонные, одинокие ночи. Мои глаза пересохли от жажды видеть короля, как сохнут в жару губы. Любовь сводила меня с ума, и много раз я припадала к портрету короля, осыпая его поцелуями. Время мчалось, как горячий конь. Деваяни была уже на девятом месяце. Она не появлялась в Ашокаване и только раз послала за мной. Я в страхе поспешила во дворец, но с облегчением убедилась, что Деваяни ни о чем не подозревает.

Вечером того дня кончилась моя тоска.

Я стояла у окна, любуясь ночью. Узкий серп луны мне улыбался над верхушкой большого дерева. И вдруг мне стало хорошо и радостно от мысли, что точно так же в моем чреве зреет еще одна луна, прибавляясь с каждым часом. Я люблю ее и буду любить еще сильней, когда она отделится от меня. Король посещал меня в недолгие ночные часы, а эта новая жизнь со мной все время. Она затмит собою все — боль от разлуки с королем, тоску по его ласкам, уколы взглядов и слов придворных.

Кача говорил, что чувствует присутствие бога в себе — может быть, именно так, как я в себе эту искорку жизни? Должно быть так, и потому люди святой жизни всегда покойны и доброжелательны.

Вот почему считается, что материнство — высшее счастье женщины. Как ни прекрасны листья лианы, ее подлинная краса в цветах, ибо цветок есть обещание новой жизни.

Мне нравилось разговаривать с крохотной жизнью внутри меня. Я спрашивала:

— Хорошо ли тебе в моем чреве? Твоя мать — прислужница, но она ею стала ради своей страны. Твой отец — король Хастинапуры. Он всевластен, но его власти не хватило на то, чтобы дать мне счастье. Ты теперь моя единственная надежда, кроме тебя у меня никого нет.

Я целыми часами разговаривала с моим малышом, иногда мне казалось, что он все понимает и отвечает мне. Но даже если то были выдумки — все равно, наши беседы очищали мою душу от тоски и одиночества, как дождь очищает небеса.

У меня начали появляться причуды — если бы я была рядом с мамой, с какой готовностью бросалась бы она выполнять их...

Однако мои желания были не совсем обычными для беременной — мне хотелось бродить по лесам, мерещилось, будто я забираюсь на самые верхушки деревьев, обрываю голубые цветы с лиан, вплетаю их в косы. Или будто я натыкаюсь в лесу на льва, но не пугаюсь, а ласково треплю его гриву.

Деваяни родила сына. Мне было велено присутствовать при обряде наречения. Положение мое уже становилось заметным, но я рассчитывала, что Деваяни будет поглощена хлопотами и вообще не заметит меня. Я ошиблась. Как я ни старалась не попадаться ей на глаза, Деваяни меня увидела и пожелала показать мне первенца.

— Тебе Ашокаван на пользу,— внимательно оглядывая меня с головы до ног, протянула она.— Ты не скучаешь там одна, Шармишта?

И усмехнулась.

— Сперва скучала. Но теперь в Ашокаване две служанки, которые еще в детстве ходили за мной. Мы с ними болтаем, вспоминаем прошлое.

— Вот как? Кто еще у вас бывает?

— Кто туда придет?.. Паломники иногда заходят, ищут приюта и ночлега. Они рассказывают нам, что видели, мы хлопочем вокруг них, и время проходит незаметно.

Когда Деваяни отпустила меня, мне показалось, будто я вырвалась из когтей тигрицы.

Я занялась делами, но куда бы я ни отправилась, рядом оказывалась старуха, служанка Деваяни, о которой ходили слухи, будто она все выведывает по поручению королевы. Я уже совсем было собралась возвращаться в Ашокаван, когда за мной снова прислали от Деваяни. Я дрожала, входя в ее покои. Деваяни выслала прислугу и резко спросила меня:

— Ты ждешь ребенка? Позор!

— Я не распутница... Милостью великого святого...

Всю ночь я не сомкнула глаз. Я не предала мою любовь, но какой ценой?

Почему ж я не сказала в лицо Деваяни: «Кача здесь совершенно ни при чем. Не нужно вмешивать его».

Теперь поздно. Мне остается только молча молить Качу о прощении — Кача, брат мой, прости слабую и глупую сестру твою...

Роды были так трудны, что я думала — не выжить мне. Пусть будет сын, сын, плакала моя душа, и пусть я увижу его, прежде чем расстанусь с жизнью...

Я раскрыла глаза: кромешная тьма, будто от смертного сна пробудилась. Чей-то голос сказал:

— Мальчик! Крепкий и красивый!

Лишь трое присутствовали при обряде наречения моего сына — мои верные служанки и я сама.

Мой мальчик был сыном короля, но рожденным несчастной Шармиштой. Смею ли я назвать его именем прадеда короля — великого воителя Пуруравы? Не наведу ли я этим на мысль об отцовстве малыша? Я долго думала и, наконец, решила — пускай зовется Пуру.

Обряд наречения был совершен в саду — мои руки служили младенцу колыбелью, луна над садом заменила игрушки, которые обычно вешают на колыбель, колеблемые ветром ветки были праздничными гирляндами.

Пуру стал источником нескончаемого счастья в моей жизни. Я не могла налюбоваться им — мягкими волосиками, сияющими глазками, жадным ротиком.

Он рос — учился переворачиваться, ползать, садиться, подружился с птицами, цветами и лунным светом.

Летело время.

Ходили слухи, будто премудрый Шукра, прервав на сутки свои пещерные бдения, вышел к людям. Однако из-за болезни маленького Яду Деваяни не поехала к отцу. Я хорошо понимала, что, пока она находится в Хастинапуре, я не могу даже мечтать о встрече с королем. Ничего, думала я, Пуру со мной, он помогает мне переносить разлуку с любимым.

Моему сыну скоро должен был исполниться год. Святой Шукра снова собирался показаться людям, и Деваяни очень хотелось отвезти к нему внука. В день ее отъезда я сгорала от нетерпения, как юная невеста. Проведя бог знает сколько времени перед зеркалом, я уложила волосы в затейливую прическу. Пуру, разыгравшись, испортил мне ее. Впервые он рассердил меня, да так, что я даже шлепнула его по ручонке, но, увидев изумление в глазах малыша, сама же расплакалась и осыпала его поцелуями.

Пуру давно спал, минула полночь, а я все ждала и ждала. Прошел еще час, прежде чем послышалось легкое постукивание в стену. Через минуту король заключил меня в объятия.

Разлука была долгой, нам столько нужно было друг другу сказать, но слова не шли, и мы лишь молча целовались.

Король долго сидел около спящего Пуру, рассматривая крохотное личико и вздыхая.

— Прости меня, Шама,— сказал он, беря мою руку в свои,— я ничего не в силах сделать для маленького Пуру. Не торопи меня, и настанет день...

Я не хотела, чтобы он продолжал.

Деваяни, уезжая, установила самую настоящую слежку за мной, и наши свидания с королем были нечастыми, но все-таки изредка нам удавалось повидаться.

Один раз Пуру не спал, когда пришел король. Пуру в тот день расшалился, играя в саду, и я с трудом увела его домой. Дома он плакал и никак не хотел засыпать. Я укачивала и убаюкивала его, но Пуру просыпался, едва я отходила от колыбели. Тут и вошел король. Он хотел взять Пуру на руки, но малыш отпрянул и уцепился за меня.

Возвращение Деваяни положило конец и этим встречам.

Пуру начинал говорить, и я взяла в привычку по вечерам усаживаться с ним перед портретом короля. «Скажи: папа!» — учила я его. Мне так хотелось, чтобы Пуру звал короля отцом, хоть я и понимала, что позволяю себе мечтать о недоступном...

Пуру заполнял собою мою жизнь, я все реже вспоминала о том, что запретила себе помнить. И только иногда...

Когда тоска лишала меня покоя, я обращалась мыслями к Каче, к словам, сказанным им на прощанье. А если я и в этом не находила утешения, тогда, старательно вымывшись и расчесав волосы, я облачалась в карминное сари, перешедшее в мое владение после того, как я его надела по ошибке в тот роковой день.

Мягкие складки карминного шелка окутывали меня...

Я была в карминном сари и в то утро, когда за мной прислали — Деваяни немедленно требовала меня с сыном к себе. Ужас охватил

меня — Деваяни выведала тайну, что теперь будет? У меня не было времени переодеться: слуга торопил меня.

Едва переставляя от страха ноги, я переступила порог покоя Деваяни. Она сразу заметила карминное сари, но даже бровью не повела.

Деваяни нужна была не я, ей был нужен Пуру: тот знаменитый предсказатель снова посетил столицу, и Деваяни решила проверить его.

Она не забыла, как в прошлый раз, посмотрев на мою ладонь, он объявил, что у меня родится сын, которому суждено взойти на Львиный трон Хастинапуры.

Деваяни затеяла целое представление, где все было продумано до мелочей. Кормилице было велено нарядить принца Яду и Пуру в одинаковые платья, дать им игрушек, оставить их вдвоем, чтобы они привыкли друг к дружке и играли вместе, будто братья. Когда дети увлеклись игрой, в покои королевы ввели предсказателя. Он долго изучал правые ладошки мальчиков, посмотрел и левые ладошки, вернулся снова к правым...

Погладив Яду по ручонке, он со вздохом произнес:

— Нет счастья в будущем у этого малыша... А этот,— он посмотрел на Пуру,— будет великим королем.

Я замерла, но Деваяни только рассмеялась:

— Твоя наука лжет!

И видно, чтобы сбить предсказателя с толку, добавила:

— Они же братья. Они оба принцы. Как могут так разниться их судьбы?

— Ваше величество,— сдержанно ответил предсказатель,— пути судьбы таинственны и скрыты от нас. Мне открыто только будущее — не причины, влияющие на него!

Как раз в эту минуту отворилась дверь и вошел король. Сердце мое оборвалось — Пуру потянулся к нему и залепетал: па-па-па-па! Какая удача, что никто не обратил внимания на малыша и не понял его лепета!

Предсказатель удалился, и Деваяни, даже не посмотрев в сторону Яяти, приказала мне следовать за ней.

Она прошла в опочивальню короля. Я помедлила у порога, но Деваяни жестом приказала мне войти и сама затворила дверь.

— Ты не забыла, надеюсь, что ты моя прислужница? — спросила Деваяни, когда мы остались наедине.

— Помню, ваше величество.

— Я многое прощаю слугам. И буду прощать. Но я не потерплю распутства при моем дворе.

— Я распутница?

— А разве нет? Незамужняя женщина рожает сына — разве она не распутница?

— Меня благословил святой.

— Как его звали?

— Что людям до имени человека, который отрекся от мира?

— Людям есть дело до имени отца твоего ребенка.

Я молчала.

— Я королева. Если ты ослушаешься, я могу назначить тебе любую кару. Завтра я созову весь двор, и предо всеми ты будешь обвинена в прелюбодеянии. Докажи свою невиновность или...

Не помня себя, я прижала Пуру к груди и бросилась вон.

— Куда ты? — голос Деваяни пригвоздил меня к месту.

Мне еле удалось сдержать крик ужаса. Король, где же король, он один может спасти меня... но тогда все откроется!

Я не позвала на помощь, не двинулась с места.

Деваяни приблизилась к восточной стене, нажала на выступ, открылся ход. Не говоря ни слова, она указала на ступени.

Я повиновалась. Деваяни спускалась за мной. Я не знала, куда меня ведут, какая судьба мне уготована.

Мы остановились перед дверью в какой-то чулан.

— Входи! — приказала Деваяни.

Когда за нами закрылась дверь, Деваяни, продолжала:

— Здесь никто не найдет тебя. Ночь — твоя, а завтра ты либо назовешь имя твоего любовника, либо глашатаи объявят, что ты прелюбодейка! Ты знаешь, как карается прелюбодеяние?

Деваяни улыбалась.

— У тебя есть и другой выход — сейчас же назови мне имя отца ребенка, чтоб я знала, почему ему предсказывают трон.

— Я родила от благословения святого человека,— упрямо отвечала я.

— Ах так? Тогда может быть святой сумеет тебя вытащить из этого чулана своими молитвами?

— Почему же нет? Все может быть!

Мне было нечего терять, но, как я ни храбрилась, мое сердце упало, когда в двери повернулся ключ и послышались затихающие шаги королевы.

Сколько времени я провела во мраке? Пуру плакал, напуганный темнотой, но успокоился, когда я накрыла его краем сари...

Вдруг резкая вспышка света ударила мне в глаза. Глухо прогрохотал гром. Только теперь я разглядела крохотное оконце под самым потолком. Не знаю, почему вспышка молнии заставила меня вспомнить о Каче. Что же, на мне надето его карминное сари, которое либо убережет меня, либо поможет сохранить спокойствие в минуту смерти. Я успокоилась и, крепко прижав Пуру к себе, заснула. Меня разбудил скрип двери. Надежда и страх разом взметнулись во мне — пришли освободить меня? Или Деваяни несет мне чашу с ядом?

В неясном свете я узнала фигуру короля. Он молча потянул меня за руку. Мы быстрым шагом прошли по подземелью — кажется, в южном направлении. Король нашарил выступ к стене — мы оказались в хорошо знакомом мне проходе, который вел в Ашокаван. Я быстро шла, и Пуру, проснувшись от тряски, завел было свое «па-па-па», но я зажала ему рот ладонью.

В моей комнате король впервые заговорил:

— Не медли ни минуты. Колесница ждет, мой друг Мадхав отвезет тебя. Быстрее! Не знаю, удастся ли нам свидеться. Не плачь, спеши.

Король поцеловал меня, коснулся губами Пуру — и за ним закрылась дверь.

Я бросилась к колеснице, и невидимый в темноте возничий сразу щелкнул бичом.

Мы не успели выехать из города, как полил проливной дождь. Занимался промозглый рассвет. Колесница уносила нас по лесной дороге.

Не знаю, сколько прошло времени — неожиданно колесница остановилась у разрушенного храма.

— Ваше высочество!

Я вздрогнула от забытого обращения.

Насквозь промокший Мадхав склонился в низком поклоне.

— Ваше высочество, мы прибыли.

— Король приказал отвезти меня сюда?

— Да, ваше высочество. А мне приказано немедля возвращаться, чтобы не возбуждать подозрений. Вашему высочеству нельзя в столицу — это смертельно опасно.

— Не можете ли вы передать королю несколько слов?

— Приказывайте.

— Скажите: Шармишта вечно будет всем сердцем любить короля, будет благословлять его, даже умирая. Шармишта во всем покорна воле короля и так же воспитает она Пуру.

Деваяни закончила танец.

Восторженный гул толпы, заполнившей зал, был подхвачен первым раскатом грома. Небо затянуло черными грозовыми тучами, хотя, может быть, они были не так черны, как намерения Деваяни.

— Почему ты не позвала Шармишту посмотреть твое выступление? — спросил я.

— Я ее звала, но Шармиште нездоровилось, и она вернулась в Ашокаван.

Ответ Деваяни не рассеял моих подозрений — слишком победоносно сияла ее улыбка.

Я потихоньку отрядил Мадхава в Ашокаван. Он быстро возвратился с известием, что Шармишты там нет. Я был убежден, что Деваяни знает, где Шармишта — более того, что исчезновение Шармишты — дело ее рук. Вдруг страшная мысль пронзила меня: чулан, в котором умерла Алака... По обычаю, каждой королеве, когда она восходит на престол, сообщают о существовании потайной каморки. А что, если Шармишта там? Как мне спасти ее?

Деваяни снова была на сцене — теперь она танцевала весенний танец. В зале собрались ценители, знаменитые танцовщики и музыканты, многие из которых приехали издалека. Слава о таланте королевы Хастинапуры гремела по всей Ариявarte, но Деваяни очень редко соглашалась показать свое искусство. И в этот раз ее пришлось так долго уговаривать!

Как танцевала Деваяни! Она умела передать в движениях все человеческие чувства, все девять состояний души — но умела ли она чувствовать?

Я громко выразил свое восхищение танцем Деваяни — и незаметно покинул зал. Мадхав уже дожидался — мы поскакали в Ашокаван. Старая служанка Шармишты залилась слезами, увидев меня. От слуг не бывает секретов — она уже знала, что Шармишта заперта в чулане. И не одна, а с Пуру. Я содрогнулся, представив себе их судьбу.

Времени на размышления, однако, у меня не было — нужно было действовать, каждый миг промедления мог стоить им жизни.

Сердце мое колотилось, когда сбегал я вниз по темной лестнице. Вот дверь в чулан, где в страшных муках умирала Алака, где сейчас ожидает гибели Шармишта. Я был причиной смерти нежной Алаки, но Шармишту я должен спасти. Перед ней я тоже виноват...

Я вытащил Шармишту за руку. Прижимая к себе Пуру, спотыкаясь, торопилась она за мной.

До смерти не забуду, как мы бежали, как я наспех прощался с Шармиштой в ее комнате, как отсылал ее с сыном неведомо куда!

Маленький Пуру, мой сын, в чем была твоя провинность в прошлой жизни, что ты — плоть и кровь короля — обречен на сиротство? Тебе предсказаны престол и слава, но мать бежит с тобой из Хастинапуры, как нищенка с незаконнорожденным ублюдком...

Мне так хотелось взять Пуру на руки, но после этого я не сумел бы с ним расстаться, а потому я лишь слегка коснулся его губами. Увижу ли я их — Шармишту и моего сына?

Но мне пора было обратно в зал, где продолжала танцевать Деваяни, иначе мое отсутствие будет замечено. Я возвратился подземным ходом во дворец, выбрал старинное ожерелье из ларца в моей опочивальне и вступил в зал. Деваяни как раз готовилась к танцу любви. Деваяни так изображала женщину, сгорающую в любовном огне, что снова я подумал, отчего она так холодна в моих объятиях?

Деваяни покорила своим танцем всех, кроме меня. Впрочем, я почти ее не видел. Я ждал Мадхава и тревожно думал, что могло задержать его? Уж не остановила ли его городская стража? Да нет, я дал ему королевский перстень.

Наконец, ко мне приблизился слуга и незаметно подал перстень — Мадхав возвратился в Хастинапуру, оставив Шармишту с малышом около заброшенного храма. Я взял себя в руки и стал замечать, что происходит в зале. Деваяни танцевала танец сезона дождей, и зал восторженно откликался на каждое ее движение.

После этого танца я подошел к Деваяни, надел ожерелье на ее стройную шею.

— Это не подарок супруга,— объявил я.— Это скромный знак нашего общего преклонения перед великим талантом!

На другой день Деваяни поздно встала. Ко мне она вошла уже тщательно убранная и, стоя у окна, спиной ко мне, сказала:

— Какое прелестное утро... И ночь была прекрасной... Мне было так приятно, когда ты надел на меня это ожерелье.

Что-то в ее голосе заставило меня насторожиться.

— Но мне хотелось другого подарка,— продолжала она.

— Любая драгоценность подземного царства Куберы будет твоей.

— Мужчины совсем не понимают женщин.— Деваяни все глядела в окно.— Мне хочется совсем другого подарка... Столько цветов сейчас в саду — если бы король собственноручно срезал цветы для гирлянды и вплел бы гирлянду в мои волосы. Пускай это детское желание, но это единственный подарок, которого мне хочется.

Я отлично знал, почему меня отсылали в сад за цветами — когда я вернулся, Деваяни уже не было, а моя опочивальня сохранила следы торопливого, но тщательного осмотра.

Позднее Деваяни спросила:

— Отлучался ли король во время моего танца и заходил ли он в свои покои?

— Ну разумеется,— с наигранной небрежностью ответил я.— Ты так танцевала, что я стал думать о награде, вспомнил об ожерелье и сам принес его.

— Вот как. А известно ли уже королю о загадочном исчезновении Шармишты?

В тот же день я убедился, что преждевременно торжествовал победу над кознями Деваяни.

Солнце село, улегся ветер. Ночь вступала в свои права, краснея закатом, нерешительная, как юная жена, зажигающая один за другим светильники звезд. Нежное спокойствие ночи не уняло бурю в моей душе. Прошлой ночью я думал лишь о том, как спасти Шармишту и Пуру от почти неминуемой гибели, и, когда убедился, что она вне Хастинапуры, возликовал. Но этой ночью я не мог отделаться от мучительной мысли — где Шармишта, в объятиях которой я находил покой? Я возлежу на мягком ложе, а где она? Дрожит от холода на каменном полу храма, жестком, как мое сердце? Дрожит от холода, но думает о том, как согреть маленького Пуру? Я ведь не просто говорил Шаме, что люблю ее, я был уверен в своей любви. И что же — не посмел ни защитить свою любовь, ни уберечь ее? Предал собственного сына? Кача на моем месте бежал бы вместе с ними в Гималаи...

Кача. Я уже натянул тетиву, чтобы лишить жизни ни в чем не повинную птицу, но Кача остановил мою руку.

Пуру. Ни в чем не повинный беспомощный птенец, которого я прошлой ночью...

Маленькая девочка в обители потянулась к цветку, чтоб сорвать его для Качи, а он не дал ей.

Шама. Прелестная и покорная, как цветок, а я прошлой ночью...

Я приказал подать мне вина и залпом осушил один за другим два кубка. Мне стало легче, и я заснул.

Однако сон, который мне приснился, был так страшен, что лучше бы я остался бодрствовать.

Во сне я погрузился в густую тень — ничего не видел, но ясно слышал голоса. Один из них был моим собственным, хоть исходил

не из меня. Другой я опознал не сразу, вначале мне показалось, что это говорит Кача. Голос был грозен.

— Ты любишь Шармишту? — спросил голос.— Действительно любил ее?

Мой голос звучал напыщенно и хвастливо:

— Как можно сомневаться в моей любви к Шармиште? Не я ли выпустил ее из темницы?

— В твоей любви нельзя было бы сомневаться, если бы ты сам бежал с Шармиштой. Кто любит, тот готов отдать жизнь ради любимой. Что ж ты лежишь? Еще не поздно. Оставь дворец, найди в лесу Шармишту, привези ее. Предстань пред Деваяни, скажи ей, что вы с Шармиштой любите друг друга и что Шармишта тебе жена. Как и Деваяни. Шармишта одна в лесу, неизвестно, останется ли она жива, а ты боишься ей помочь? Ты совершил предательство. Ты жалкий трус.

Голос гремел, как молот, падающий на наковальню, слова били в меня, как камни из катапульты. Я сел в постели, обливаясь холодным потом.

Вдруг Деваяни утром заметит, что я ночью пил? Она же не простит, она и так зла на меня, а тут еще вино, нарушенная клятва...

Я с трудом взял себя в руки.

Наутро Деваяни не обратила внимания ни на что. Она принесла дурные вести: заболел Мадхав, он в сильной горячке.

— Король не знает, где мог простудиться его друг?

— Откуда? Мадхав был со мной позавчера, когда ты танцевала, потом исчез, и больше я его не видел.

— Как мог король его видеть, если Мадхав возвратился домой только под утро, насквозь промокший?

Я распорядился послать к Мадхаву придворного лекаря, а несколько позднее сам отправился его проведать. Меня томили плохие предчувствия.

Колесница остановилась перед домом Мадхава, откуда навстречу мне вышла тоненькая девушка, в которой я едва узнал Тараку. Тарака выросла и из смешной девчушки превратилась в юную красавицу. Куда девалась ее детская беспечность и прямота? Она встретила меня церемонным поклоном, залившись, правда, яркой краской. Не говоря ни слова и не поднимая глаз, Тарака провела меня к больному.

Мадхав горел в жару. Меня он не узнал. Лекарь прочитал вопрос в моих глазах и незаметно покачал головой. По его знаку вошла женщина с фиалом резко пахнущего снадобья. Ее лицо было закрыто покрывалом, но что-то знакомое сквозило в ее движениях. Она склонилась над больным, смочила его губы снадобьем, сменила мокрую тряпицу на лбу. Мадхав проговорил что-то — быстро и невнятно. Он бредил.

Кто эта женщина? Мать Мадхава — глубокая старуха, его сестра, мать Тараки, умерла несколько лет назад.

Женщина скользнула обратно к двери, от быстрого движения покрывало упало с ее головы, и я узнал Мукулику!

Мукулика! Мать изгнала ее когда-то из дворца, а я ни разу не справился, где она и что с нею. А ведь не одна Мукулика была повинна в прегрешении, навлекшем на нее гнев королевы-матери.

— Все ли благополучно в твоей жизни, Мукулика? — сердечно спросил я.

— Заботами вашего величества,— поклонилась Мукулика.

Мне ясно представилась ночь смерти отца. Оазисом в пустыне была в ту ночь Мукулика для изнемогающего путника. Я припадал к ее губам, как к источнику живой воды, и тень смерти укорачивалась, отступала.

Я устыдился любовных воспоминаний у постели тяжело больного друга.

По знаку придворного лекаря я вышел, чтоб не утомлять Мадхава. Мукулика последовала за мной, расспрашивая о королеве, о нашем сыне...

Я едва слушал ее.

Где сейчас маленький Пуру? Что с ним и что с Шармиштой? Принцесса Шармишта, осыпавшая в детстве кукол на игрушечной свадьбе жемчугом вместо риса, теперь скитается, выпрашивая горстку риса, чтобы накормить плод нашей с ней любви.

Мукулику встревожило мое молчание.

— Я что-то сделала не так, ваше величество? — робко вопросила она.

— Не ты, а я.

И поспешил добавить:

— Я так давно тебя не видел и нежданно встретил у постели моего друга, за которым ты так умело ходишь. Но ты ведь не ответила на мой вопрос. Расскажи мне о своей жизни. Что привело тебя в этот дом?

— Я живу в доме человека великой мудрости и святости. Он путешествовал по святым местам, прибыл в Хастинапуру и решил здесь задержаться. Мы все живем в старом монастыре неподалеку от театра. Когда Мадхав свалился в горячке, его старуха мать перепугалась. Что тут творится, я толком не знаю. Мадхав как будто был влюблен и собирался вскоре привести жену в дом. Он хотел рассказать вам об этом, но ночью вдруг сильно захворал — сначала жар, потом стал бредить. Мать не знала, что ей делать. Она часто приходила в монастырь послушать проповеди гуру, поэтому и бросилась к нему за помощью. Гуру написал заклинания от болезни, и, зная, что в доме некому ходить за больным, кроме старухи и Тараки, прислал меня сюда.

— Я желал бы увидеть мудреца. Может быть, его проповеди и мне помогут найти душевный покой, в котором я так нуждаюсь.

Мукулика загадочно улыбнулась, но ничего не сказала.

Позже, прощаясь с ней, я попросил:

— Ухаживай получше за Мадхавом. Он брат моей души. Прошу, не оставляй его ни на минуту, и я вознагражу тебя.

Ночью я опять не мог заснуть. Сначала я долго раздумывал о судьбе Мукулики. Как переменилась та Мукулика, которую я знавал в Ашокаване,— вместо искусной любовницы передо мной предстала женщина, исполняющая долг милосердия. Что это за гуру, о котором она говорила? Я хочу с ним встретиться. Если он умеет глубоко проникать в тайны человеческого сердца, может быть, он всеведущ? И может быть, откроет мне, что сталось с Шармиштой и с Пуру?

Мысль о них жгла меня, как раскаленные уголья. Что с ними? Может быть, Шармишта вернулась под родительский кров? Осмелится ли она появиться там с ребенком? А что, если, не совладев с отчаянием, Шармишта прижала маленького Пуру к груди и бросилась с утеса в воду?

Стоило мне закрыть глаза, как из мрака всплывали передо мной изувеченные тела Шармишты и Пуру. Стервятники расклевывали их... Я вздрагивал и открывал глаза — тогда мне чудились языки пламени и голос, с насмешкой вопрошавший:

— А где же тот, кто виноват в их гибели? Где пылкий любовник? Где беспечный муж? Где отец, предавший малолетнего сына? Где этот трусливый пьяница?

Языки огня плясали передо мной и днем и ночью. Я искал убежища в вине и пил все больше и больше.

После мучительной ночи я отправлялся утром в дом Мадхава, но эти последние посещения повергали меня в еще большее уныние. Мадхав не приходил в себя, его болезнь противилась всем стараниям придворного лекаря.

Старенькая мать Мадхава не смыкала глаз, сторожа сына от смерти, которая, как кобра, изготовилась к броску. Мукулика ходила за больным, не зная отдыха. Тарака тоже не покидала комнату Мадхава: забившись в угол, она смотрела на всех глазами перепуганного олененка.

На пятые сутки Мадхаву будто стало чуть получше. Он перестал метаться и стонать, его дыхание сделалось ровным. Впервые за эти дни разгладились морщины на лбу лекаря, впервые сложились в улыбку губы Мукулики.

Я сидел у изголовья Мадхава, когда он заговорил во сне, и можно было разобрать слова:

— Принцесса, это воля короля...

Слова ножом резанули мое сердце.

Я знал Мадхава. Знал, что он никогда меня не упрекнет, но как ночная буря в лесу надорвала его телесные силы, так неспособность понять, отчего я предал Шармишту, крушила его ясную душу.

В ту ночь языки огня и насмешливый голос терзали меня без пощады и без передышки. Кувшин с вином пустел и снова наполнялся, но всей влаги мира недостало бы, чтобы залить огонь.

Неделя миновала, а горячка все не отпускала Мадхава.

На восьмой день он покрылся обильным потом и, ненадолго придя в себя, спросил:

— Где она?

Шармишта? — подумал я и промолчал.

Однако мать Мадхава поняла его по-своему и через миг подвела к его ложу юную красавицу. Я догадался, что это нареченная моего друга. Она стояла перед ним, не закрывая лица, поистине ослепительного в своей красоте. Какой счастливчик, подумал я. И ни разу не показал мне свою невесту!

— Подойди поближе,— попросил ее Мадхав и обратился к лекарю: — Я не умру?

— Нет,— поспешно заверил его лекарь,—силы вернутся к вам, но нужно время.

— Ваше величество,— Мадхав впервые обратился так ко мне.— Ваше величество, я должен жить. Кто позаботится о Тараке, если я сейчас умру? И Мадхави, она должна стать моей женой... Обещайте, ваше величество, что вы все сделаете, чтоб спасти меня...

Я понимал, что мысли о семье не оставляют моего друга. Желая успокоить его и полагая, что он опять в бреду, я твердо произнес:

— Клянусь тебе, Мадхав!

Лекарь бросил на меня быстрый взгляд, в котором я прочел отчаяние и упрек. Порывшись в своей сумке, он извлек какие-то шарики и знаком показал Мукулике, чтобы она дала их больному.

Теперь Мадхав обращался только к своей Мадхави:

— Мы ведь решили, если девочка, то имя выбираю я, а если мальчик — ты наречешь его! Зачем же ты теперь со мною споришь? Это наш первый ребенок, потом, когда пойдут другие...

Так вот о чем мечтал мой бедный друг! Как мало знал я о его мечтах, а теперь он на пороге смерти...

Мукулика пыталась напоить его отваром целебных трав, но Мадхав не давался. Видя возбуждение больного, лекарь шепнул Мадхави, чтоб она ушла.

Агония длилась несколько часов. Никто не заметил, когда Мадхав расстался с жизнью. Напрасно клялся я спасти его.

И снова языки огня. Я неподвижно стоял у погребального костра Мадхава. Глаза мои были сухи.

Жизнь и смерть — жестокая игра. Да неужели человек рождается на свет, чтобы смерть с ним играла? Зачем тогда жить?

Смерть. Дети, играя, возводят крепости в прибрежном песке, а ленивая волна одним движением пенной гривы их смахивает в море. Чем отличаются деяния взрослых от детских игр? Зачем мы себе лжем, будто человек есть величайшее создание бога, будто искра вселенского огня делает нетленной его суть? Листья на великом дереве жизни, вот кто мы такие. Мы облетаем под малым дуновеньем ветерка. Я, король Яяти,— повелитель Хастинапуры? Я лист, который любой порыв ветра может сорвать с ветки.

Тело Мадхава обратилось в пепел, а я вернулся во дворец. Опять ночь — не ночь, а кобра, укус которой неминуем и смертоносен.

Мысли о смерти одолевали меня. Я долго стоял у окна, вперившись взглядом во мрак.

Вдруг из темноты показалась колесница и стала быстро приближаться ко мне. Но странно — ее колеса не производили шума и не слышно было стука конских копыт. И непонятно было, как мне удается так явственно видеть черных коней в кромешной тьме. Я всматривался все пристальней, не веря своим глазам — колесница взмыла над древесными кронами и цветниками и остановилась прямо у моего окна.

— Пора, ваше величество,— негромко позвал возничий.

— Но королева почивает и принц Яду тоже,— возразил я.— Не простившись с ними...

Он мне не дал договорить — рука протянулась к окну и через миг я сидел в колеснице.

Колесница бешено мчалась, мелькали знакомые здания: дом Мадхава, театр, арена, где я в юности укротил необъезженного жеребца.

Мы летели быстрее ветра. Мелькнул и остался позади Ашокаван.

— Куда ты везешь меня? — спросил я наконец.

— Не знаю.

— Когда мы вернемся?

— Не знаю.

— А что ты знаешь?

— Два имени. Твое и мое.

— Назови свое!

— Я Смерть.

Неизъяснимый страх объял меня — я никак не мог поверить, что нахожусь в своей опочивальне, стою у окна, и что летучая колесница была всего лишь видением...

Еле добравшись до постели на подгибающихся ногах, я сразу потянулся к кувшину с вином. Я осушал кубок за кубком, но языки огня плясали в моем отуманенном мозгу, и теперь уже мое собственное тело сгорало на погребальном костре... Я снова тянулся к кубку. И все пылал, пылал в огне.

Однако опьянение распалило иной пожар во мне, Мукулика, Алака, Деваяни и Шармишта огненными змейками скользили вокруг моего ложа.

— Алака! — звал я, но мои руки обнимали воздух.— Мукулика!— Но отчего все время ускользают ее губы?

А может, смерть витает над моим ложем? Вдруг эта ночь последняя?

— Шармишта! Шама! Шама!

Я был один. Шатаясь, я поднялся и прошел в покои Деваяни.

Служанка дремала перед дверью. При моем появлении она вскочила, закрывая рукою рот, и ринулась в опочивальню королевы. Приличия требовали подождать, пока служанка не оповестит королеву и та не пришлет сказать, что ждет меня. Однако распаленная страсть не считается с придворным этикетом. Я желал Деваяни, и ноги несли меня к ней. Я столько выпил, что Деваяни сразу все поняла. Она при-

шла в неистовство. Я тоже был несдержан. Мы наговорили друг другу много лишнего, а я в перепалке упомянул Шармишту...

И тогда, угрожая мне карой святого Шукры, Деваяни взяла с меня клятву.

— Согласен,— вынужден был сказать я.— Я больше никогда к тебе не прикоснусь.

Наголову разбитый, покинул я покои королевы.

С чем я остался в жизни? С постыдными воспоминаниями о том, как предал я Шармишту? Ни Деваяни, ни Шармиште я не дал счастья. Одна оттолкнула меня своей холодностью. Вторую я погубил своею любовью.

Не касаться Деваяни? Я ее видеть больше не желаю!

Покинув Хастинапуру, я навеки заточу себя в Ашокаване.

Приказав подать колесницу, я направился было в Ашокаван, но по пути мне вспомнилась Мукулика. Мукулика и ее гуру. Я припомнил старый монастырь недалеко от театра. Обращусь к гуру за помощью, подумал я. Может быть, его слово избавит меня от мук.

Колесница остановилась перед монастырскими вратами.

Мукулика была изумлена моим появлением среди ночи и попросила немного обождать.

Гуру выглядел именно так, как подобает старцу, умудренному и книгами, и размышлениями о сути сущего. Лицо его показалось мне знакомым, но вспомнить, где я мог его видеть, мне не удалось.

Да и нужды в том не было — я спешил рассказать мудрецу о своих душевных муках. Но прежде всего я просил у него прощения за неурочный приход и за то, что явился нетрезвым в обитель мудрости.

Выслушав меня, гуру рассмеялся:

— Ваше величество, вы уже на полпути к познанию душевного покоя. Жизнь человека, земная юдоль, исполнена страданий и страха перед смертью. Бог сотворил лишь два средства для облегчения мук жизни...

— Что это за средства?

— Вино и женщины.

Пораженный, я едва осмелился спросить:

— Но разве пьянство не считается пороком?

— А что такое порок? И что есть добродетель? И добро и зло есть представления, рожденные рассудком человека. Мудрец их понимает на свой лад, глупец — на свой. Истинны только наслаждение и страдание. Все остальное — майя, игра теней. Порок и добродетель есть понятия, а не реальность, игра человеческого ума. Вы спросили о пьянстве, ваше величество? Мои последователи проходят обряд посвящения вином.

Мне казалось, будто все это сон...

— Ваше величество ищет душевного покоя? Любая из небожительниц моей обители готова подарить его вам. Благоволите выбрать...

Гуру поднялся с места. Как завороженный, последовал я за ним. Но странное чувство падения — как во сне, когда падаешь и падаешь с кручи в бездну, с начала творения не освещавшуюся солнцем,— томило мою душу.

Шармишта

Я возвращаюсь в Хастинапуру, возвращаюсь той же дорогой и в той же тревоге, что когда-то. А миновало восемнадцать лет.

Ничто не изменилось — ни дорога, ни придорожные деревни, ни леса. А я? Та ли я Шармишта, какой была восемнадцать лет назад? О нет, совсем другая. Та Шармишта была женой и возлюбленной, хоть и прижимала к себе младенца. Она и тогда была матерью, но теперь она только мать. Столько лет мои мысли занимало только одно — не грозит ли что моему Пуру?

Люди святой жизни и высоких помыслов — Кача, Яти, Ангирас — тревожатся мыслями о том, что будет со страной, если обретет Шукра великое могущество. Меня такие вещи не занимали, мне ведом был один страх — за Пуру. Вот и сейчас — где Пуру? Отправится ли он в Хастинапуру с победоносным принцем Яду? Пуру стал так похож на короля, что сходство просто бросается в глаза. Если заметит Деваяни...

Со мной охрана. И Алака тоже со мною. Эта девочка, чьи волосы отливают золотом, влюблена в Пуру, хотя всячески старается скрыть свое чувство. Но если раскрывшийся цветок и скрыт от глаза, он выдает себя благоуханием. Алаке так хотелось сопровождать меня! Она смелая девочка, но пугается наступления темноты, потихоньку утирает слезы, и это трогает мое сердце. А потом я до утра ворочаюсь без сна: вспоминаю прошедшие восемнадцать лет, год за годом оживают они в моей памяти, начиная с той страшной ночи..

Ночь, исполненная жути. Мадхав оставил меня у храма, совсем одну в гремящей тьме, под струями холодного дождя. Совсем одну? Но ведь со мной был Пуру. Мой сын промок насквозь, не заболел бы...

Я ненавидела природу — а за что? Пронизывающий ветер, черное небо, потоки ливня, грохот грома, вспышки молнии — что им до меня? Если сердце человеческое жестче камня, к чему надеяться, что у камня есть сердце. Деваяни хотела извести меня. Если бы не отвага короля, жизнь Шармишты оборвалась бы в том чулане.

Это правда, правда, король спас мне жизнь, но как он мог бросить на произвол судьбы свою Шармишту? Почему он не сказал мне: Шармишта, мне не нужно королевское величие, мне нужна одна ты! Я бы с легкостью все вынесла после таких слов!

Я все равно не допустила бы, чтобы король из-за меня оставил Хастинапуру, но слова любви укрыли бы меня и от дождя и от холода...

Однако Шармиште не было суждено такое счастье...

Не знаю, сколько прошагала я в ту ночь, не знаю, откуда взялись у меня силы, спотыкаясь, брести через ночной лес, с сыном на руках. Принцесса Шармишта, избалованная с детства, принцесса, которую носили в паланкине, чьи ноги привыкли ступать по мягким коврам, продиралась сквозь колючие заросли, убегая из Хастинапуры, едва не ставшей ее могилой. Больше не дочь короля Вришапарвы. Больше не возлюбленная короля Яяти. Просто мать с младенцем на руках. Крохотной, трепетной жизни суждено было расцвести величием, и во имя этого мне предстояло жить.

Утро застало меня у маленького деревенского храма. Я спасла сына, но что мне было делать дальше? Куда идти? Вернуться в отчий дом? Отец и мать обрадуются, увидев внука, но что с ними будет, когда они узнают, кто отец ребенка и что Деваяни преследует меня? Кто сомневается, что святой Шукра может покарать и меня, и все асурское королевство?

Великий боже, разве может быть так одинок человек? Ведь мир передо мной, но во всем мире у меня есть только мой сын. Мой беспомощный Пуру.

Когда совсем рассвело, к храму пришла женщина. Едва взглянув на меня, она повела меня в свой дом. Под ее гостеприимным кровом я чувствовала себя своей и провела там четыре счастливых дня. Хозяйка дома звала меня сестричкой и обращалась со мной точно с младшей сестрой, вернувшейся домой из многотрудных странствий. Пуру беспечно резвился у хижины. Он был здоров и весел, страшная ночь в лесу не сказалась на нем.

На пятую ночь я сладко заснула на циновке, прижимая к себе Пуру. Может быть, мне снился король, его объятия... Я проснулась. Грубое движение чужой руки убедило меня в том, что я не сплю. В неясном лунном свете я увидела мужа моей спасительницы и, не помня себя, закричала:

— Сестра!

Она вбежала с зажженным светильником.

— Что случилось? Что с тобой, сестричка моя милая?

Я ответила, что мне показалось, будто по циновке проползла змея. Она позвала мужа, и они вместе заглянули во все углы, перевернули все циновки. Но как могли они найти змею, если был у нее человеческий облик?

Та ночь стала мне уроком. Принцессой или прислужницей, но я всю свою жизнь провела в дворцовых покоях, не зная, что такое мужская похоть. Теперь, не огражденная стенами дворца, я легко могла стать ее жертвой. Я поняла, что мне предстоит оберегать и Пуру, и самое себя.

Наутро со слезами благодарности я припала к ногам названой сестры моей, не зная, сведет ли нас снова судьба, и отправилась в путь.

Я шла от деревни к деревне, выбирая полузаросшие тропы, обходя стороной города, нигде не задерживаясь долее, чем на ночлег, спеша удалиться от Хастинапуры. На расспросы я отвечала, что ищу мужа, который бросил меня с грудным ребенком и ушел в Гималаи. Одни относились ко мне с жалостью, другие — с подозрением.

Больше всего я боялась как бы не заболел Пуру, но малыш отлично переносил все тяготы путешествия.

Хуже переносила их я. Я решила, что Хастинапура уже осталась далеко позади, и, падая с ног от усталости, остановилась передохнуть в живописной деревеньке. Меня приютила богатая вдова. Вдова засыпала меня вопросами, а когда я повторила ей историю о муже, бросившем меня, сочувственно вздохнула:

— Оставить такую красавицу и уйти в отшельники? Чего только не бывает в жизни!

Весь день я ловила на себе острые взгляды вдовы. Ночью я долго не могла заснуть — вспоминала счастливые часы нашей с королем любви, ласки, слова, нежность... Наконец, сон смилостивился надо мной.

Меня разбудил свет и приглушенные голоса. Я чуть-чуть приоткрыла глаза: вдова на веранде высоко подняла лампу — светила какому-то мужчине, который пристально всматривался в мое лицо, и перешептывалась с ним. Напрягая слух, я разобрала страшные слова: Хастинапура, глашатаи, вознаграждение.

Потом мужчина с сомнением в голосе произнес:

— Не может быть... Принцесса Шармишта? Не может быть...

Вдова настаивала на своем.

Едва дождавшись их ухода, я выскользнула в темноту. Я бежала, не разбирая дороги, подгоняемая страхом. Теперь я знала, что испытывает зверь, преследуемый охотниками.

С тех пор я осмеливалась просить подаяние лишь в самых глухих и заброшенных деревушках, а на ночлег, превозмогая страх, останавливалась в заброшенных храмах. Я бы не цеплялась за жизнь, но Пуру... Ради него я должна была вытерпеть и лишения, и отчаяние.

Как ни страшилась я людей, но обойтись без них не могла. И снова я решилась заночевать в сарае для паломников, построенном при храме за деревенской околицей. Я выкупала Пуру в храмовом пруду и только собиралась смыть и с себя дорожную пыль, как перед храмом появился глашатай... С первых его слов я поняла, в чем дело и, схватив в охапку Пуру, бросилась прочь. От неожиданности малыш громко расплакался. Пожилой человек, направлявшийся послушать глашатая, сказал с укором:

— Ребенок плачет, успокой его!

Я подняла голову — он стал вглядываться в меня.

Мне посчастливилось и в этот раз — я убежала прежде, чем крестьяне догадались, кто я. Однако теперь я знала — Шармишту

ищут по всему королевству. Мне нельзя приближаться к базарам, храмам, местам отдыха паломников, где меня могут опознать и выдать, прельстившись вознаграждением. Быть может, если бы нашлись люди, которые на время приютили Пуру, одной мне было бы легче скрываться. Но я не могла и помыслить о разлуке с сыном, только его присутствие давало мне силу, его ручонки и улыбка были моим спасением!

Я обходила стороной поселки, страшась ночного леса меньше, чем людских глаз.

После двух-трех дней, проведенных в безлюдье, я немного успокоилась.

Я вспомнила о Качe, о твердости его духа, и мне захотелось снова надеть карминное сари, которое я так и носила в своем узелке. Я выбрала для ночлега полуразвалившийся храм на опушке леса. Уложив Пуру, я стала готовиться ко сну. когда услышала шаги. Я замерла. В лунном свете показалась высокая фигура отшельника. Не замечая нас, он прошел к алтарю, простерся перед ним, поднялся на ноги и покинул храм.

Пуру проснулся и заплакал. Решив, что ему душно в храме, я выждала немного и вынесла его на воздух. Лес стоял облитый лунным светом, исполненный покоя, овеянный ночными ароматами. Я вдохнула полной грудью.

— Что ты здесь делаешь? — раздался голос.

Я даже не испугалась — все вокруг дышало таким спокойствием, что невозможно было и вообразить, будто серебряный лес таит в себе угрозу. Должно быть, давешний отшельник, подумала я, а может быть, здесь где-то неподалеку обитель...

Отшельник вышел из тени на лунную поляну — и сердце мое заколотилось, как в страшном сне. Ко мне приближался Яти.

Безумный Яти, снедаемый ненавистью к женщинам! Я прижала Пуру к себе. Яти изумленно смотрел на меня. Потом перевел взгляд на Пуру.

— Шармишта? Принцесса Шармишта? — злоба не клокотала в его голосе, как тогда, в Ашокаване.— Что ты здесь делаешь? .

Яти нежно коснулся моего плеча, и я разразилась рыданиями.

— Отчего ты плачешь? Как ты попала в этот лес? — участливо спросил он.

— Я... я ушла из Хастинапуры...

— Ушла из Хастинапуры? Сюда?

— Я хочу, чтобы дядя посмотрел на своего племянника! — решилась я.

Яти заглянул в лицо Пуру.

— Не понимаю... Вот это мой племянник? Что же, это сын Яяти? Как зовут его? Пуру? Я бы поцеловал племянника, но его высочество так сладко спит...

Не веря ни глазам своим, ни ушам, смотрела я на Яти. Может быть, я брежу? Как мог он так перемениться, откуда нежность, доброта — точно ласковое озеро разлилось на месте каменистой пустыни...

Яти отвел меня в обитель, которую построил в лесу один из учеников святого Ангираса. Пуру и я — мы были в безопасности.

Из каких невероятных случайностей складывалась моя жизнь! Почему в ней столько удивительных совпадений?

Прислужница по ошибке подала мне карминное сари, подарок Деваяни от Качи. Ошибка — не более, но из-за нее принцесса превратилась в служанку. Потом в жизнь служанки вошел король — и только потому, что королеве Деваяни захотелось нарядить его отшельником. Король подарил бывшей принцессе любовь и блаженство, но кончилось тем, что служанке пришлось бежать и скрываться. Погибая от одиночества и отчаяния, она случайно натолкнулась

в лесу на человека, который спас ее и королевского сына. И кем он оказался? Братом короля, отшельником, которого считали безумным.

Я все рассказала Яти — все, с самого начала. Когда я рассказывала, как укрепил Кача мою душу, назвав меня своей сестрой, как молил он Девааяни освободить меня из рабства, я не сдержала слез, но то были светлые слезы радости, ибо судьба даровала мне чистую и возвышенную любовь Качи.

Моя исповедь побудила и Яти на откровенный рассказ о себе. В отличие от меня Яти говорил о событиях собственной жизни так отрешенно, будто вел речь о другом человеке. Он был безумен, когда бежал из Ашокавана, рассказывал Яти. Лишь позднее узнал он, что Кача оповестил все ашрамы, где обитали ученики святого Ангираса, прося всех, кому станет известно местопребывание Яти, переправить несчастного в горы Бхригу.

Прошло немало времени, прежде чем привезли Яти в уединенную пещеру, в которой поселился Кача. Кача принял его, как родного брата, терпеливо выхаживал его, больного и телом и душой, заблудившегося в своих исканиях, истерзанного сомнениями, отчаявшегося.

Яти боялся жизни. Еще ребенком услышал он о страшном проклятии, которое тяготеет над королем Нахушей, над его детьми и детьми детей. В надежде, что, отрекшись от мира, он избежит проклятия, Яти ушел в отшельники. Король Нахуша был проклят из-за того, что возжелал супругу бога Индры, поэтому Яти возненавидел все соблазны жизни — от сладкого плода до женской плоти. Яти думал, что эта ненависть научит его чистоте помыслов, залогу высшего блаженства. Но ненависть только иссушала его дух, и Яти стал искать спасения в колдовстве, в заклинаниях, которые наделили бы его силой, способной уничтожить все прекрасное, ибо красота таит в себе соблазн. Яти искал чистой любви к богу, а ненависть запутывала его в силки осуждения, предубеждений, суеверий. У Яти не было ни друга, ни ученика. Как сухой лист, уроненный деревом, подхватывает ветер и, поиграв, бросает на землю, так и Яти, отрешившись от всего, что питает собою жизнь, бессильно кружился на ветру.

Я представила себе Яти — сухой лист на ветру... Яти говорил долго: будто начал оттаивать гималайский ледник и ручей бежал вниз по склону, убегая все дальше, все дальше. Сейчас я помню не слова Яти, а чувства — как помнят светлое облако на закате или неожиданно принесенный ветром запах цветов.

Королева-мать врачевала своей любовью тело вновь обретенного сына, а Кача часами вел беседы с Яти, стараясь исцелить его надломленный дух.

Яти объяснял мне, что понял — не враждуют между собою дух и плоть, а подобны они двум колесам: сломается одно, другое принимает на себя всю тяжесть колесницы. А потому ошибается тот, кто думает, будто только умерщвлением плоти можно заставить воспарить дух. И тот ошибается, кто думает, будто плоть может беспечно наслаждаться, только пока безмолвствует дух. О нет, блаженство в гармоничном единении духа и плоти. Всевышний сотворил мир многообразным, и никакое из проявлений жизни не может осквернить душу, стремящуюся к совершенству. Любовь между мужчиной и женщиной подобна единению духа и плоти; не отвергая, а приемля самозабвенную любовь, человек познает небесное блаженство в земной жизни. Оттого и сказано в священных книгах, что сохранение семейного очага равно вознесению жертвы; кто не отрекся от мира, тот служит богу, созидая свой очаг. Отрекшиеся от мира, такие как премудрый Шукра или Кача, пекутся о всеобщем благе; другие — Индра ли, Вришапарва или Яяти — призваны охранять благосостояние своих подданных; простым же людям надлежит заботиться о нуждах своих семей, друзей, и близких. Всякий должен исполнять свой долг — в этом основа всеобщей гармонии. Но никто не должен

ради своего блага ущемлять право другого. Нет разницы между долгом простолюдина, короля или святого; никто не может ни роптать на свою долю, ни пренебрегать своим долгом, ибо на неукоснительном его исполнении зиждется мировой закон. Великое зло творит тот, кто уклоняется от выполнения своего долга, хотя человек сам решает, в чем его долг, памятуя о том лишь, что превыше всего — бескорыстная любовь...

Слушая Яти, я впервые поняла по-настоящему смысл многих поступков Качи. И как злосчастна судьба Деваяни — ее полюбил человек великой души, в котором, поистине, земные добродетели сошлись с небесными, но Деваяни оттолкнула его от себя. Собственными руками под корень срубила древо исполнения желаний.

У Яти было множество друзей в горных деревнях, и он обещал мне, что мы с Пуру будем в безопасности под защитой этих смелых и честных людей. Я обрадовалась и стала мечтать, как мы втроем, вместе с Яти, заживем в горах, где я смогу окружить моего деверя ласковой заботой, не изведанной им в его бесприютной жизни. Не сразу набралась я храбрости сказать об этом Яти, а когда решилась, Яти засмеялся в ответ:

— Милая невестка, это невозможно. Кача вознамерился принять обет великой суровости, укрепить свой дух настолько, чтоб оказаться сильней святого Шукры. Я должен быть при Каче...

— А зачем понадобилось Каче превзойти святого Шукру? — робко осведомилась я.

— Каче неведомо тщеславие, и не о соперничестве с Шукрой помышляет он. Когда Шукра утратил способность возвращать мертвым жизнь, он стал искать иных способов сделать асуров сильней, чем боги.

Я, дочь короля Вришапарвы, обрекла себя на муки рабства в надежде на то, что святой Шукра сделает непобедимым войско моего отца. Неужели была напрасной моя жертва?

— Чего же сейчас добивается святой Шукра? — спросила я.

— Сандживани — сила, позволяющая воскрешать мертвых. Теперь Шукра хочет научиться убивать простым сосредоточением мысли.

— И что же, Кача тоже хочет научиться этому?

— Качу мучают сомнения. Он никогда не забывает, что сила, накопленная испытаниями духа, не должна обращаться на достижение низких целей. Но так безмерно губительна мощь, к которой стремится Шукра, что ради предотвращения новой войны, он должен стать могущественней Шукры. А мой долг — быть рядом с Качей.

Мне нечего было сказать, я только женщина, и для меня важней всего на свете благополучие моего маленького Пуру. Я женщина, поэтому мой дом — мой мир. Кача и Яти устроены не так, как я, их дом — весь мир.

Наутро мы втроем вышли в путь. Через несколько дней мы без приключений добрались по горной деревушки. Пуру понравилось в горах, он радовался всему, что видел. Яти все устроил наилучшим образом, чтобы мы с Пуру ни в чем не нуждались, и поручил нас попечению своих друзей.

На прощание он благословил Пуру:

— Расти высоким, как эти горы, ибо тебя ожидает Львиный трон.

...Пуру рос среди деревенских мальчишек, играл и дрался с ними. Он научился метко стрелять из лука, и я дивилась твердости его руки. Когда он стал немного старше, я отправила его в ближайшую обитель, дабы его там научили письму и чтению, рассказали историю королевства, которым ему суждено править.

Как полноводная река начинает свой бег из крошечного родника, а потом, сбегая с гор в равнины, вбирает в себя множество прито-

ков и, уже неузнаваемо могучая, гонит волны к морю, так и мой маленький Пуру, приобретая знание священных Вед в обители, а навыки жизни в деревне, становился все богаче духом и крепче телом.

И все больше отдалялся Пуру от меня. Теперь он жил, как птица, которая готова целый день кружить высоко в небе и только на ночь возвращается в гнездо. Пуру жил своей жизнью, и так много вмещала она в себя, что порой казалось, будто скоро в ней совсем не останется места для меня.

Неразумно материнское сердце. Матери хочется, чтоб сын поскорее вырос, чтоб стал он отважным воином, чтоб весь мир узнал о его великих делах. В то же время матери хотелось бы, чтоб сын вечно оставался малышом, чтоб она всегда могла защитить его и чтоб ни один волосок не упал с его головы.

Мысли об этом повергали меня в глубокое уныние, но когда Пуру спрашивал, отчего я печальна, мне было нечего ему ответить.

Неужели не дано человеку превозмочь одиночество его души?

Одолеваемая невеселыми размышлениями, я уходила на прогулки, и вид снежных гималайских вершин возвращал мне покой. Горы открыли мне тайну счастья — чтобы жить счастливо, нужно с благодарной веселостью принимать дары жизни, учиться наслаждаться красотой мира и делить свою радость с другими.

Давала мне уроки жизни и горная речушка. Наблюдая, как беснуется она в сезон дождей, я понимала, что не нужно тосковать по ушедшей юности, ибо юность не только благословение, но и проклятие. Разве мы понимаем, что творим в юности, когда вспененные воды нашей жизни ударяются в скалы, когда желания гонят нас все быстрей и быстрей и мы не замечаем, как крушим все вокруг?

В горах я поняла, отчего устремляются к уединенной жизни святые люди. Природа и человек от начала и до конца соединены неразрывной связью. Природа и человек — как близнецы, и оттого жизнь раскрывается во всей полноте, только когда они вместе — человек начинает осознавать истинную силу жизни и истинные пределы бытия. В отдалении от природы человек ограничен, и тогда он заселяет мир порождениями своего рассудка. Что казалось мне бедой, обернулось счастьем моей жизни, ибо, оказавшись вдалеке от суеты, я открыла для себя истинный ее смысл.

Но не всегда мне удавалось сохранять незамутненную ясность души. Мысли об иной жизни будоражили меня, пробуждали воспоминания о том, что не вернется, о голосе, который звал меня — моя Шама.

Я прогоняла воспоминания. Но мысли мои, как необъезженные кони, не знали удержу. Они рвались в Хастинапуру, пробирались подземным ходом в Ашокаван, к его величеству. Мне было с ними не совладать.

Однажды — Пуру шел уже восьмой год — мы с ним отправились на храмовой праздник. На площади перед храмом давали представление, и мы уселись посмотреть. Пуру сел с молодыми послушниками, а я устроилась чуть поодаль. Со мною рядом оказалась женщина с маленькой девочкой удивительной красоты. Особенно волосы — я не могла оторвать от них глаз: они отливали золотыми бликами, точно нити молний в черной туче. Я протянула руки, и девочка охотно пошла ко мне.

— Как тебя зовут, маленькая?

— Алака.

— Какое красивое имя!

И сколько воспоминаний оно пробудило во мне... Алака, названая сестра Яяти... Как мне хотелось бы, чтобы у Пуру была такая прелестная сестренка.

Хоть жизнь моя текла ровно и спокойно, мне все время приходилось держать себя в руках, иначе мои чувства все погубили бы.

Прибыл Яти и сообщил о смерти королевы-матери. Я очень горевала: она всегда была добра ко мне. Мне бы хотелось как-то услужить ей — ведь я была по сути дела ее невесткой,— но даже это было мне не суждено. А тут еще появился бродячий садху, который шел из Хастинапуры и всем рассказывал, что король Яяти забросил государственные дела, что все забрала в свои руки Деваяни, что она стала править именем юного принца Яду — будто Яяти уже нет на свете. Что могло заставить короля забыть свой долг и уйти от дел? Уже давно ходили слухи, будто между королем и королевой нет согласия... Бывают люди, которым любовь и понимание близких необходимы, как цветку роса. Если так плохи отношения между Яяти и Деваяни, если Яяти отстранился от государственных забот, что с ним дальше будет?

Я не находила себе места. Я даже думала, рискуя жизнью, пробраться в Хастинапуру, найти его величество, уговорить его бежать со мною в горы, где он будет окружен любовью, которая может возродить его к жизни. Но Пуру был еще так мал, а воспоминания о наших с ним скитаниях так свежи в моей памяти... Я могла только плакать и молиться.

— Великий боже,— молилась я каждый вечер,— даруй ему покой и счастье!

Пуру, который обыкновенно повторял за мной слова молитвы, едва ли вдумываясь в их смысл, однажды полюбопытствовал:

— Даруй — кому? Как его зовут?

Я собиралась открыть сыну имя отца, когда Пуру исполнится шестнадцать. Но жизнь шла своим предначертанным путем, показывая мне тщету моих стараний: маленький Пуру был похож на меня, но, подрастая, он обнаруживал все больше сходства с отцом. Случалось, что неожиданно подняв глаза на Пуру, я думала, будто передо мною юный принц Яяти. Сердце мое сжималось от тревожных предчувствий.

Дурные вести продолжали доходить из Хастинапуры — король месяцами не показывался людям, часто уезжал из столицы, но и вернувшись, проводил дни и ночи в Ашокаване. Болтали, будто он погряз в разврате, и окрестные жители стороной обходят Ашокаван, не желая осквернить.

Я не верила — и верила. И терзалась, что ничем не могла помочь тому, кто был мне дороже жизни. Как всегда я попыталась утолить душевную муку рисованием. Мне давно хотелось сделать портрет сына — теперь я взялась за него. Только тут я поняла, сколь поразительным было сходство между сыном и отцом — одно лицо, одна и та же стать.

Поняла я и другое — нельзя ждать, пока Пуру исполнится шестнадцать, нельзя допустить, чтоб ему начали говорить, как он похож на короля. От меня должен узнать Пуру, что он принц крови.

Пуру долго не мог поверить — если он принц, то я должна быть королевой, жить не в глуши, а в хастинапурском дворце. Тщетно пыталась рассказать я сыну о давно минувших днях, о своенравии и ревности Деваяни, о нашем бегстве из дворца.

Выслушав мой рассказ, Пуру объявил:

— Мы едем в Хастинапуру. Я предстану перед королем и скажу: ваше величество, я ваш сын. Поручите мне дело, в котором мог бы я проявить ратную доблесть и доказать, что я достоин вас!

Юность честолюбива и уверена в себе — что ей за дело до житейских терниев. Я терпеливо убеждала сына, что нам следует дождаться, пока его величество нас сам не пригласит в Хастинапуру, но Пуру упрямился. Мне пришлось напомнить, что никто из окружающих не знает о его происхождении, что это тайна, которую он обязан хранить.

— Но не от его величества? — заносчиво спросил Пуру.

— Его величество далеко,— уклончиво ответила я.

— Ну и что? Я все равно предстану перед ним! И я не смею признаться, что я принц, и испросить отцовского благословения?

— Сын, рано или поздно твой отец узнает, кто ты. Но поклянись не торопиться и никому — кроме его величества — не раскрывать пока тайну. Теперь, когда тебе известно, кто ты, наши жизни в твоих руках.

Мой Пуру сдержал слово, но как он переменился с тех пор, как узнал о своем королевском происхождении! Конечно, все дети, вырастая, отдаляются от родителей. Жажда жизни и любви уводит их от домашних очагов. Мог ли Пуру быть исключением из вечного правила?

Сначала он увлекся охотой. Пуру с детства хорошо владел луком, теперь же он стал отличным лучником. Что же до страха — Пуру просто не знал, что это такое.

Но он познал иной страх — за любимую. Пуру влюбился, и его любовь была нежна и чиста, как юная заря на летнем небосклоне.

Мне сын ни разу не исповедался в своей любви, но в этом не было нужды. Конечно, Алака, чьи волосы мерцали темным золотом. Я подружилась с ее матерью, и дети играли вместе... Но время игр прошло. Ушли в прошлое и детские ссоры. Пуру и Алака краснели, встретившись глазами, мой сын готов был защищать Алаку от всех врагов, а Алака была готова с утра до ночи заботиться о нем.

Их влюбленность была прекрасна, но иной раз сомнения закрадывались в мою душу: нужно ли выхаживать этот хрупкий росток чувства? Ведь Пуру — принц, сын короля Яяти. Кто знает, может быть, ему суждено взять в жены принцессу и с ней продолжить род правителей Хастинапуры? Но может быть, Алака и есть та единственная любовь, которая суждена моему сыну? Говорят, тетка Алаки была когда-то в услужении в хастинапурском дворце — а Пуру королевский сын. Звезда на небосклоне и скромный светлячок в лесу — пара ли они друг другу?

— Ну и что? — спорила я с собой.— Я родилась принцессой, а стала прислужницей. Пускай Алака не голубых кровей, но она по-настоящему любит моего сына! Разве есть разница между любовью принцессы и любовью служанки?

Но какие бы споры ни вела я с собой, я ничего не говорила Пуру — не только юность застенчива в делах сердечных.

А годы летели — Пуру исполнилось девятнадцать.

...Однажды он вернулся домой с известием, что на севере племена дасью восстали против власти Хастинапуры. На подавление бунта выступила хастинапурская армия под предводительством юного принца Яду. Войско дасью движется навстречу.

Почему же принц Яду? — думала я.— А где король Яяти? Болен? Не может ведь прославленный воитель сидеть в столице в час беды? Или властолюбивая Деваяни держит его в заточении?

Занятая мыслями о том, что могло случиться в Хастинапуре, я не заметила, как взволнован Пуру.

На другое утро он исчез из дома, захватив с собою лук и стрелы. Пуру никогда раньше не уходил, не предупредив меня. Сын не вернулся вечером, и я потеряла голову от тревоги. В деревне я узнала, что никого из друзей моего сына тоже нет и никто не знает, где они. Все открылось лишь когда Алака принесла письмо от Пуру.

Я развернула свиток.

«Враги напали на Хастинапуру,— писал мне Пуру,— есть ли нужда объяснять, куда зовет меня мой долг в час испытания? Впервые в жизни я не испросил позволения покинуть тебя. Мать, прости своего сына и благослови его. Не тревожься за меня, со мною верные, отважные друзья. Твой сын Пуру скоро к тебе вернется, доказав свою доблесть и защитив Хастинапуру».

Слезы так и полились из моих глаз. Кто смеет мешать кшатрию,

сыну кшатрия, проявить себя на поле боя? Но я же мать, в силах ли я перестать бояться за единственного сына?

— Не надо плакать,— утешала меня Алака.

Ее волосы отливали чистейшим золотом в солнечных лучах, и я подумала, что если все будет хорошо, то моей невесткой станет милое создание, каких не так уж много на белом свете. Но и у Алаки глаза были на мокром месте, и через миг пришлось мне утешать ее.

— Пуру вернется живым и невредимым? — спросила она сквозь слезы.

— Пуру из касты воинов,— ответила ей я.— Он должен сражаться, когда идет война...

Новости не скоро доходили до нашей глуши.

Я решила перебраться поближе к Хастинапуре — поселиться в деревне у дороги, по которой все время скачут гонцы с донесениями о войне. Там есть надежда узнать о Пуру или о ком-то из его друзей. Алака умолила меня взять ее с собой. Мать Алаки не хотела отпускать дочь, и мне стоило немалого труда переубедить ее. Со вздохом она, наконец, сказала:

— Что поделаешь! Дочь — всегда чужое богатство. Если уж отдавать богатство в другие руки, так лучше вовремя.

Нас согласились сопровождать двое горцев — из тех, кому Яти когда-то препоручил меня и маленького Пуру, и мы отправились в путь. Какие видения только не посещали меня в пути: то представал передо мною юный герой, увенчанный славой, то мнилось мне, что Пуру ранен...

Итак, я приближалась к Хастинапуре — той же дорогой, по которой я убегала ровно восемнадцать лет назад. И с тем же страхом в сердце, с теми же мыслями о грядущем, которое попеременно мне виделось то золотым, то черным.

Восемнадцать лет назад я охраняла беспомощного Пуру от мстительности Деваяни, и мое сердце терзали страхи. Сегодня Пуру был мужчиной, воином, а мое сердце все так же терзали страхи. Неужели суждено человеку не расставаться никогда со страхом, как он не расстается со своей тенью? Вся разница лишь в том, что сейчас я не могу охранить Пуру от опасности...

Мы, наконец, обосновались в деревеньке, неподалеку от Хастинапуры. И в тот же день мы услышали страшную новость от раненого лучника: принц Яду и его соратники захвачены в плен. Дасью увели пленных, никто не знал, где они и что с ними. Говорили, что у дасью есть обычай, обезглавив врага, насаживать голову на копье и возить по своим владениям...

А Пуру? Что, если он был вместе с принцем Яду? Что, если он тоже попал в плен? Найду ли я сына? Как? Победителем или... увижу его голову на копье?

Великий боже, что я натворила в прошлых жизнях, если шлешь ты мне такие испытания?

Деваяни

Ночь новолуния пугающе темна. Я вижу звезды над верхушками деревьев, но в их мерцании мне чудится насмешка. Позвать слугу, распорядиться, чтобы опустили занавеси на всех окнах. Дворец наполнен челядью, но все так тупы, так коварны, ненадежны. Я одна.

Мне кажется, будто все горит вокруг меня, я просто вижу языки огня и чую запах пожара. Что делать, куда броситься?

Час назад прискакал гонец с черной вестью: войско принца Яду разбито наголову. Принц Яду — мой Яду! — захвачен в плен. Дасью увели его. Да нет же! Не может этого быть! Не могу поверить!

Как может рухнуть гора Меру? Как может попасть в плен сын Деваяни? Внук Шукры, святостью своей прославленного во всех концах земли! Не может быть. Не верю известиям гонца.

Когда выходил Яду в поход, я с такой верой совершила обряд арати, обведя светильником со священным огнем вокруг головы сына, нарисовала алый кружок на его лбу. И стала ожидать вестей о великой победе, как птица-чатак, задрав голову к небу, ждет первых капель дождя. Вместо дождя небеса извергли молнию.

Никогда прежде не склоняла Деваяни голову, никогда не признавала себя побежденной. А сейчас... Что мне делать? К кому броситься? Может быть, скоро отец выйдет из своего гималайского уединения — должен подойти конец его испытаниям. Восемнадцать лет не виделась я с отцом, восемнадцать лет не навещала его, боясь помешать. Если бы я рассказала отцу о своих обидах, о злополучном моем замужестве, он мог бы сгоряча прервать моления... Поэтому я и не открывалась отцу. Ведь это по моему настоянию воскресил отец когда-то Качу и лишился из-за этого тайны сандживани. Что же теперь, когда отец вот-вот обретет новую тайну, не меньшую, чем сандживани, я приду к нему и потребую: вызволи из плена Яду! С каким лицом предстану я перед ним?

Нет, не могу. Даже ради единственного сына — все равно не могу.

Пусть увенчаются успехом долгие труды моего отца. Как вулканическая лава изливаются из моего сердца воспоминания об обидах, которые пришлось мне претерпеть за восемнадцать лет. Наступит, наступит час моей мести, и я никого не забуду. Еще не время, еще не возвратился отец. Шармишта с ее выродком, которому предсказано наследовать престол Хастинапуры! Яяти, супруг мой августейший,— каждого постигнет возмездие. Но нужно подождать.

Подождать. А как же Яду? Дасью могут убить его. Убить моего Яду! Мне нужно, чтобы Яду вернулся ко мне живым и невредимым! Мне больше ничего не нужно: ни королевства, ни возмездия, ни отцовского могущества...

Остановись. Это не речи Деваяни, королевы Хастинапуры, дочери премудрого Шукры. Так может говорить слабая женщина. Мать, обезумевшая и обессилевшая от горя.

А что ж король Яяти? Я и не вспомнила о нем. Великий полководец Яяти, сын и внук прославленных своей отвагой воинов — не сидеть же ему сложа руки, в то время как его сыну грозит смертельная опасность! Где король? Возможно ли, чтобы он еще не знал о поражении хастинапурской армии и о пленении принца Яду? Главный министр прибежал с известием о беде ко мне, но от меня отправился в Ашокаван.

— Ваше величество,— сказал он,— Хастинапура в опасности, и нужно действовать безотлагательно. Я убежден, что его величество, узнав о нашем поражении, сам поведет войско. Он отобьет у дасью принца Яду. Не сомневайтесь, ваше величество.

Почему же все так тихо? И почему нет ни короля, ни главного министра? Почему не входит Яяти в боевом облачении и не говорит мне:

— Я готов к походу, благослови меня, жена! И жди нас с сыном!

Что могло произойти? Или настолько поглощен король своими удовольствиями, что не желает думать об опасности, грозящей сыну? Или он просто пьян до бесчувствия? Пьян и не знает, что случилось?

Будь проклят день, когда я соблазнилась престолом Хастинапуры! Я не замуж вышла, я в жертву себя принесла и уже восемнадцать лет горю на жертвенном огне!

Восемнадцать лет. Так и стоит перед глазами тот ночной ураган.

Я выступала перед тонкими ценителями искусств, знаменитыми музыкантами и танцовщиками, которые со всего света собрались в

этот зал, привлеченные рассказами о том, как я танцую. Я приготовила большую программу — танец любви, танец весны, танец сезона дождей. Все восторгались мной, но никто в зале не подозревал, что сердце Деваяни истекает кровью, что рану в сердце ей нанес король. Король изменил ей с ведьмой в образе служанки, унизил Деваяни. Она танцует, чтобы превозмочь боль и обиду.

Все говорили, что я превзошла себя в тот вечер. Что ж, значит, действительно только страдание рождает великое искусство и самой природой художнику назначено страдать.

Небо затянули страшные черные тучи, под стать обуревавшим меня чувствам, но все-таки я согласилась танцевать. С первых же движений я вошла в мир образов, которые мне предстояло воплотить, а мои переживания словно отодвинулись в сторону. Я забывалась в танце, как забываюсь перед зеркалом, когда вижу, какой силой обладает моя красота. Я больше не играла, я жила в образе влюбленной женщины, готовой всем пожертвовать ради любви.

Шармишта с ее краденой любовью, ублюдок, которому нагадали королевский трон, мое унижение — нет, это не могло произойти со мной!

Я улыбнулась королю, когда он застегивал ожерелье на моей шее. Танец закончен. Я королева, мать принца, права которого сумею отстоять.

Наутро я под каким-то предлогом услала короля из опочивальни и прошла подземным ходом к чулану. Что со мной было, когда я убедилась в исчезновении Шармишты!

Под кнутом у слуг в Ашокаване развязались языки. Я узнала о колеснице, но кто был возничим? Я приказала осведомителям собрать все городские слухи. Узнав о неожиданной болезни Мадхава, я отправилась к нему — пожелать выздоровления другу короля. Меня выбежала встречать Мадхави — его нареченная, и вот от нее-то я узнала, что в вечер моего выступления Мадхав исчез и вернулся только под утро, мокрый и продрогший. Сколько ни расспрашивали домашние, где он был, Мадхав ничего не сказал.

Я сразу догадалась, где промок ночью Мадхав,— это он вывез Шармишту с ребенком из Хастинапуры! Мадхав — ближайший друг короля, думала я, король должен был именно его посвятить в свою тайну. Мадхав знает, где прячется Шармишта...

Мадхав был в бреду, когда меня проводили к нему. Я склонилась над его ложем в надежде разобрать слова.

— Ваше высочество... принцесса...

Только тут я поняла все до конца! Шармишта для него «ваше высочество»,— значит, Мадхав мечтал, что она станет королевой Хастинапуры и, уж наверное, не забудет его услуг! А я? Меня он, видимо, рассчитывал убрать с пути, убить меня вместе с Яду! Не бывать же этому! Надо вырвать с корнем ядовитую лиану, поймать Шармишту и... Они не будут жить — ни Пуру, ни она.

Я приказала разослать глашатаев по всему королевству и объявить, что вознаграждение и королевская милость ждут того, кто доставит в Хастинапуру мою беглую прислужницу и ее незаконнорожденное дитя. На случай же, если коварный Яяти укрыл ее в самом Ашокаване, я послала соглядатаев следить за всем, что происходит там.

Напрасно я надеялась, что весть о пленении Яду заставит Яяти прийти ко мне! Он не переступит порог дворца. Восемнадцать лет каждый из нас живет своей жизнью, семь морей пролегло между нами. В глазах мира мы с ним король и королева, на деле же враги. Я уже давно лишила короля власти, взяв в свои руки все государственные дела. Я отомстила Яяти, но и он не остался в долгу: словно забыв, что есть на свете Деваяни — его жена, что есть на свете Яду — его сын, король открыто ведет разгульную и беспечную жизнь.

Мне иной раз приходит в голову, что всему виной та ночь, когда я прогнала его из своей опочивальни да еще взяла с него клятву больше никогда ко мне не прикасаться.

Но что мне было делать? После смерти Мадхава я думала только о том, как поступлю с Шармиштой, когда ее наконец приведут ко мне. Мне докладывали, что король опять пьет. Однажды ночью он ворвался в мои покои пьяный, страшный и набросился на меня, как животное. Я прежде только слышала о том, как распаляет вино в мужчинах похоть, но никогда не думала, что мне придется это испытать. Еле вырвавшись из его лап, я в ярости крикнула ему:

— Шармишты нет, так ты обо мне вспомнил?

Если бы не был он так пьян, он никогда бы не решился сказать мне то, что сказал:

— Я хочу и Шармишту и Деваяни тоже! Я же сын короля Нахуши, я хочу новую женщину каждую ночь!

— И ты мне смеешь говорить такие вещи?

— Я все смею! Отцу так и не досталась супруга бога Индры — а мне достанется! Любая красавица будет моей, стоит только захотеть! Я понял, в чем секрет жизни — сорвал цветок, понюхал, выбросил! Потом другой и третий. Все остальное — болтовня!

— Ты помнишь, кто я?

— Конечно, помню. Моя жена! — И притянул меня к себе.

— Я дочь великого святого Шукры! — гневно напомнила я ему.— Ты дал мне слово после нашей свадьбы, что во дворце вина не будет! А сейчас ты ворвался ко мне пьяный, ты нарушил слово, ты оскорбил меня. Отец никогда не простит тебе этого, и кара его будет страшной! Пусть я прерву его моления, но я сию минуту отправлюсь к отцу и расскажу ему, на какую жизнь ты меня обрек!

При упоминании об отце король вздрогнул. Как он был жалок в ту минуту. Мой муж, мой августейший супруг. А я — его жена, и нас соединяют нерасторжимые узы. Если даже он нарушил долг по отношению ко мне, разве я как добродетельная жена не обязана помочь ему исправиться? Исполнить супружеский долг по отношению к нему? Не успела я восхититься собственной добродетелью, как вдруг король тихим голосом спросил:

— А где моя Шармишта? Ответь мне, ведьма, где Шармишта? Ты погубила ее?

Король шагнул ко мне — мне казалось, он готов убить меня, задушить своими руками. Я хотела крикнуть, позвать на помощь, но его пальцы уже тянулись к моему горлу.

— Уйди! — еле выговорила я.— Уйди, не то отец тебя проклянет!

Он отступил.

— Прочь из моих покоев! Но прежде клянись, что больше никогда ко мне не прикоснешься! Клянись именем моего отца, всемогущего Шукры!

— Клянусь! — прохрипел король.— Я никогда к тебе не прикоснусь! Клянусь именем премудрого Шукры — никогда!

Так оборвалась тонкая, светлая нить, связывающая супругов. Я не могла повести себя по-другому — я, дочь святого Шукры, я, мать принца Яду, я, королева Хастинапуры.

Но почему какой-то голос все время мне нашептывал: ты неправа, ты не сумела выполнить свой долг, сошла с пути праведности?

— Неправда! — отвечала я.— Король мне изменил, он растоптал святость брака, он преступил свой долг. Разве не он — причина беды? Разве не знала я в ту ночь, что навеки лишаю себя семейного счастья?

Но голос не унимался и даже сейчас, спустя восемнадцать лет, настаивает на своем:

— Нет, это ты не сумела быть настоящей женой. Нет, это ты презрела свой долг. Любовь — прощение, а не арифметический подсчет хороших и дурных поступков. Любовь — единение сердец, когда

два сердца становятся одним. Любовь — это жертвенное служение двоих друг другу. Разве смеет человек корить бога за то, что бог несправедлив? Как к богу нужно относиться к тому, кого любишь. А ты? Кого ты любишь, кроме себя? Ты не познаешь счастья.

Вот и сейчас я слышу этот голос:

— Яду в плену, его жизнь под угрозой. Вот твоя кара за то, что не умеешь любить.

Ложь! Яду расплачивается за пороки своего отца. На короле проклятие, и он приносит несчастье всем, кто его любит. Все они платят за его порочность!

Несчастный Мадхав — он жизнью заплатил за преданность королю. Помог бежать Шармиште и погиб. А эта его невеста, Мадхави, прекрасная, как сама Рати, богиня любви? Недавно я узнала, что ее труп выловили из вод Джамны.

Остались его старуха мать и племянница Тарака. Тарака выросла, пришло время выдавать ее замуж. Мать Мадхава пришла ко мне с просьбой, чтоб я поговорила с королем о женихе для девушки. Знала бы старуха о моих отношениях с королем! Но я ее обнадежила, а через несколько дней мне сказали, что Тарака лишилась рассудка. Я не поверила и сама отправилась в дом Мадхава, чтобы узнать, в чем дело. Тараку я застал на веранде. Она плела цветочную гирлянду и даже не встала при появлении королевы. Когда она подняла голову, я увидела бессмысленный взгляд ее глаз.

— Тарака! — позвала я.

Девушка явно меня не узнавала.

— Поклонись же королеве! — умоляюще зашептала ей старуха, выбежавшая мне навстречу.

— Какой королеве? — недоуменно спросила Тарака.

— Королеве Хастинапуры, глупенькая! Супруге короля Яяти!

— Питон! — неожиданно вскрикнула бедняжка.— Страшный питон! Мне страшно, страшно!

Тарака была племянницей Мадхава, но и ее постигла беда, а виной всему король Яяти.

Мой Яду! Сын проклятого отца. Недаром говорят, что судьбы родителей отбрасывают тень на судьбы их детей. Сколько я ни старалась вырастить Яду непохожим на отца, отцовское проклятие тяготеет и над сыном.

Восемнадцать лет я, королева, прожила монашенкой.

Сколько раз решимость оставляла меня, и я была готова среди ночи броситься в Ашокаван, к королю.

Я даже отправлялась в путь, но, завидев врата Ашокавана, приказывала возничему повернуть обратно.

Король держал свое слово — хотя совсем не так, как я предполагала. Почти не выезжая из Ашокавана, он проводил и дни и ночи в пьяном разгуле. Я была уязвлена, узнав о королевском времяпрепровождении, потом почувствовала отвращение. Зачем только бог создал плотское влечение — мне оно всегда казалось унизительным!

Временами в моем сердце пробуждались иные чувства: мне хотелось нежности, любви.

Безумие, говорила я себе, к чему это упрямство? Спеши к нему, найди его, где бы он ни был. Пусть даже король пьян, пусть окружен женщинами — что тебе до того? Припади к его ногам, скажи: король моей души, очнись! Подумай, что ты делаешь? Вернись ко мне, вспомни о долге, о долге мужа, отца, государя!

Но через миг я уже думала о Каче. Ведь он меня любил. Любил, но пожертвовал любовью во имя долга. Добыв секрет сандживани, он героем вступил в обитель богов, и, конечно же, прекраснейшие из небожительниц были готовы пасть к его ногам. Но Кача устоял перед всеми соблазнами. Он остался верен своему обету.

Можно ли сравнивать святую и чистую жизнь Качи с распутством короля! Нет, я не могу простить короля, и бесполезно уговаривать себя. Кача ведь говорил: зачем возлагать цветы на каменные алтари, разве доступна камню красота цветов?

Если бы я стала женою Качи, я бы познала счастье. Пусть мы бы поселились в нищей обители, но было бы в ней то, чего нет во дворце Хастинапуры. А правда ли, будто я была бы с Качей счастлива? Я любила Качу, но все равно себя любила больше. Не Качу я любила, а собственное отражение в нем.

Как понять, что такое любовь?

Распутство короля — может быть, это и есть любовь? Или он действительно любил Шармишту — но какая же это любовь? Он изменял мне, своей супруге!

Шармишта? Само имя как ожог на моей коже. В злосчастный миг пришло мне в голову сделать ее прислужницей. В ней, в ней одной причина всех моих страданий. Из-за нее я столько лет живу монахиней, а король погряз в разнузданном разврате. Сейчас несчастье обрушилось на принца Яду, а король ничего не делает ради спасения сына.

Король должен был сразу броситься ко мне. Я бы слезами омыла его стопы, а он, поднимая меня на ноги, сказал бы:

— Не тревожься! Через две недели мы с сыном будем во дворце!

Не тревожься! Сладки эти слова для женщины, когда она их слышит из уст мужчины, готового и защитить, и поддержать ее. О нет, мне не услышать этих слов — одиночество безмолвно, а оно — единственный мой друг.

Однако главного министра до сих пор все нет. Уж не означает ли это, что король отказывается идти на выручку Яду?

Едва главный министр появился, я все поняла по его понурому виду.

— Что так долго? — резко спросила я.

— Пришлось ожидать аудиенции его величества.

— Известно ли его величеству, что принц Яду захвачен в плен?

— Я сообщил об этом, ваше величество.

— Король был пьян?

Министр не ответил.

— Но состоялась ли аудиенция?

— Да, ваше величество.

— И что король?

— Его величество смеялись.

— Король смеялся? — Я не верила своим ушам.

Главный министр смотрел в пол.

— Я передал послание вашего величества. Его величество засмеялся и сказал: поблагодари королеву Деваяни за то, что она вспомнила обо мне.

Я до крови прикусила губу.

— Дальше что было? Что еще сказал король?

Главный министр замялся, и мне пришлось прикрикнуть на него.

— Его величество сказал: если бы королеву тоже захватили в плен, я не стал бы выручать ее. Кто она мне? Никто.

Слова вонзались в мое сердце, как отравленные стрелы.

Ну что же, близится час последней битвы в той войне, что началась сразу после свадьбы. Скоро выйдет из пещеры мой отец. Он предупреждал Яяти...

Мы с главным министром начали планировать военный поход против дасью. Прежде всего необходимо отбить у них принца Яду, потом я буду думать о других вещах.

— Королева, королева!

Вбежала моя доверенная служанка:

— Добрые вести, ваше величество! Гонец... Принц Яду на свободе!

— Где гонец?

— Идет ваше величество! Он загнал коня, спеша к вам с доброй вестью...

Мое счастье не знало границ. Яду в безопасности!

— Рассказывай! — торопила я запыленного гонца.— Как освободился принц Яду? Как он бежал? Перебил стражу?

— Нет, ваше величество! Рискуя жизнью, его спас юный воин!

— Кто он?

— Его никто не знает, совсем юноша, не старше принца.

— Но как его зовут?

— Не знаю! Мне приказали скакать во весь опор, чтобы известить ваше величество! Принц Яду возвращается в Хастинапуру, прибудет через две недели. Тот молодой герой сопровождает принца.

Я даже не успела подумать, чем мне наградить гонца, как доложили, что прибыл другой — от короля Вришапарвы. Этот гонец привез долгожданную весть: испытания моего отца закончились. Он достиг цели — бог Шива наделил его могуществом, небывалым для смертного. Королевство асуров ликовало. Через две недели святой Шукра прибудет за мной в Хастинапуру и увезет на празднество в честь его успеха.

Ликующая Деваяни утешала Деваяни исстрадавшуюся.

— Конец и нашим испытаниям. Долготерпение дает сейчас плоды. Святой Шукра узнает все, что восемнадцать лет творилось в Хастинапуре, он примерно накажет коварную Шармишту, принц Яду займет престол, который принадлежит ему по праву, а король — о как он будет покаран!

Я уже видела все это: торжественный обряд коронации Яду. Когда по обычаю молодого короля обрызгивают водой семи рек Ариявarты, он оставляет Львиный трон и простирается у моих ног. Слезами радости орошаю я голову любимого сына, и тогда отец возглашает:

— Свершилось!

Тут неверными и робкими шагами приближается ко мне Яяти и, пав на колени, умоляет:

— Прости! Я причинил тебе столько горя...

Яяти

Кто я? Где я? Рай это или ад?

Яяти. Сын короля Нахуши, властитель Хастинапуры, супруг Деваяни.

Кто такая Деваяни? Я с ней ничем не связан.

Нет, связан. Она мой враг еще по прошлым жизням. Она и в этой жизни ввергла меня в ад.

Но разве я в аду? Какие глупости приходят мне на ум! Здесь рай, и я уж не помню, сколько лет вкушаю райское блаженство.

Сколько лет? Восемнадцать, кажется. А может быть, восемнадцать тысяч лет я наслаждаюсь райской жизнью, принимаю напиток бессмертия из рук небесных танцовщиц и под древом, дарующим исполнение желаний, стоит мое ложе. Я провожу на нем и дни и ночи, почти не замечая, с кем делю его. В один прекрасный день супруга самого Индры раскроет мне объятия.

Сама Индрани. Индрани, из-за которой так страшно проклят был король Нахуша. «И дети короля Нахуши, и дети детей его...»

Я сын короля Нахуши, но я счастлив. Мой брат Яти убежал в леса, скитался в одиночестве, пока не лишился разума. А я купаюсь в море счастья, и все мои печали пошли ко дну.

Нет, не все. Осталась память о Шармиште. Где она, что с ней, с моей Шармиштой? Всего вина на свете не хватит, чтобы смыть воспоминания, всей крови, пролитой на охоте, мало, чтобы залить их... Я помню о Шармиште даже в объятиях умелых чаровниц.

Не знает счастья Яяти. Нет, не знает.

Но что такое счастье? И что — несчастье? Я не могу понять, счастлив ли я или нет. Я — прежний Яяти или стал иным? Кто я такой? Зачем я? Где я?

Солнце светит или яркая луна? А может быть, вокруг темно?

Я больше ничего не понимаю,— может быть, я схожу с ума?

Рядом с ложем — кувшин вина. После того как не стало Мадхава, это — мой единственный друг. Надежный друг, мы никогда не расстаемся. Любимый друг, он ограждает меня от бед.

Но что это? Откуда? Откуда эти ведьмы? Их много, они закружились в танце, кривляясь, дергаясь... О боже, ведьмы ногами топчут трупы юных дев... И распевают песню! Какая ж это песня, она похожа на шипенье разъяренных кобр. Ведьмы дуют в небо, и гаснут, один за другим гаснут светильники звезд, все погружается во тьму.

Что они натворили? Возвестили конец света... Но они приближаются ко мне! Одна, оскалив зубы, страшно хохочет прямо мне в лицо.

— Узнал меня! — визжит она.— Ведь ты нас знаешь, меня и моих сестер! Мы так старались развлечь тебя получше, а ты нас даже узнавать не желаешь?

Из-за ее спины выскочила другая, длинная и тощая, она корчит рожи, тянется ко мне руками и сюсюкает:

— Давай позабавимся, ну давай же... Я тебе за это буду молоденьких приводить, красивеньких, одна другой краше! Выбирай, какую хочешь?

Ведьма разжала кулак — на ее ладони лежат ракушки... Не ракушки — глаза! Глаза Мадхави, глаза Тараки, глаза, глаза, глаза!

— Поиграем в глазки! — хихикала ведьма.

Я, наверное, кричал.

Сейчас все тихо. Никого нет. Опустевший кувшин, пустота в голове и в сердце.

Пустота вокруг меня, пустота внутри. Душа, как подстреленная птица, бьет крыльями, пытается взлететь, но, срываясь, падает, падает в пустоту.

Плещется винное море, в котором я сладостно утопаю, шепча каждой новой волне:

— Глубже, унеси меня глубже... На самое дно, где тихо, совсем тихо...

Тишину нарушил неясный звук. Где-то занималось утро и пели птицы. Я долго вслушивался.

— Пора, ваше величество,— послышался голос.

— Что пора?

— Пришла пора.

— Чей это голос? Чему пришла пора? Бог смерти Яма зовет меня? Не может быть! Посланец бога смерти ошибся. Эй, уходи! Иди за дряхлым старцем, по чью душу тебя послали! Зачем ты явился в Ашокаван? Я король Яяти, властитель Хастинапуры, мне еще не пора, о нет! Разве может так скоро наступить моя пора! Я еще молод, мое тело еще не утолило жажду жизни, уходи!

— Пора, ваше величество, пора вставать!

Я рассмеялся. Это же Мукулика, а я было принял ее за посланца самой смерти!

— Так что, пора? — спросил я.

— Да, ваше величество.

— Какой прекрасный вечер. А роза есть?

— Да, ваше величество.

— Свежа ли?

— Едва раскрывшийся бутон.

— Налей вина и подай мне одеться! — приказал я Мукулике.

Я подошел к окну.

Как описал бы поэт благоухание и прелесть этого вечера? Небо на западе окрасилось в винный цвет, будто солнце, не допив дневную чашу, расплескало остатки по небосклону...

Вино, охота, женщины — все остальное тлен. Пока они существуют, мужчина счастлив.

Вино помогает ему порвать оковы нравоучений и жить свободно, не думая на каждом шагу, не преступает ли он границу между добром и злом.

Охота — в этой жизни есть только один настоящий выбор: быть или охотником, или дичью. Сильный становится охотником, слабый ищет себе оправдание, болтая о добре, невинности, жертвенности. Но жертвенный огонь — это ведь погребальный костер жертвы. Красивая женщина — всего лишь живая игрушка для утоления минутной страсти. Олень — это пища, которую всевышний создал для охотника.

Правда, женщина может дать мужчине и забвение, даруемое вином, и упоение победы, знакомое охотнику.

Я снова поднял глаза к небу, но закатные краски уже померкли, и тьма поглотила мир. Неостановимое время стерло яркость небес, как стирает оно все...

Мне больше не хотелось смотреть в окно. Я отвернулся и снова рухнул на ложе. Мукулика, уже подавшая мне платье, засуетилась, не зная, что ей делать. Да неужели эта пожилая женщина — Мукулика? А ведь это она меня впервые посвятила в тайну влечения, дала изведать мне всю сладость этой тайны. Куда девалась та Мукулика, откуда эта рыхлая старуха?

Завтра и я стану таким...

Вчера, сегодня, завтра. Куда ушел вчерашний день, наступит ли завтрашний — что толку размышлять об этом? Тлен. Единственное, что существует на самом деле — вот этот миг. Я восемнадцать лет прожил в сиюминутности. Я остановил вином и наслаждениями бешеное вращение Колеса времени. Оно не движется, и я знать не желаю ни прошлого, ни будущего.

Мукулика. Прогнать Мукулику, чтобы ее не видеть больше? Нет, это трудно сделать: она и райское блаженство моей жизни связались воедино.

Страшная ночь восемнадцать лет назад! Клятва, которую я принес: я больше никогда к тебе не прикоснусь!

Я вышел из опочивальни Деваяни, пылая огнем неутоленной страсти, унося в сердце отравленные стрелы унижения. Убить себя, думал я, отомстить Деваяни, уйти в отшельники.

Сам не знаю, что привело меня к вратам обители, в которой поселился духовный наставник Мукулики. Мне показалось знакомым его лицо, я был уверен, что видел его раньше, но смятение чувств помешало мне вспомнить. Позднее эта тайна раскрылась — то был не кто иной, как Мандар. Негодяй Мандар, повинный в гибели Алаки — он оклеветал несчастную Алаку, а мать поверила ему...

Я должен был сорвать с Мандара личину гуру, я должен был отплатить ему за мучительную смерть моей названой сестры!

Что же остановило меня?

Как изловчился Мандар подчинить меня себе? Как вышло, что я подпал под его власть?

Слух о великой святости Мандара шел по всему королевству, и народ отовсюду стекался к нему. Мандар приобрел облик настоящего гуру, держался со скромным достоинством, а его красивый голос за-

вораживал слушателей не меньше, чем слова, произносимые им. Покой нисходил на смятенные души. Кто искал здесь прибежища от непонятности мира, кто приходил, сбившись с жизненного пути, кто — напуганный жизнью. Иные, однако, искали в обители Мандара не утешения, а развлечений, которые здесь были куда доступней, чем в других местах, ибо в обитель захаживало много молодых прелестниц, а Мандар давал им те же советы, что и мне.

В ту ночь Мандар спас мне жизнь, направив в заводь ее ладью, стремглав мчавшую к самоубийственным порогам. Одно забвение могло меня спасти, ибо не в силах был я больше помнить о том, как предал Шармишту, о том, как меня унизила Деваяни. Добродетель, порок, нравственность, распущенность — что мне за дело до игры теней, когда так подлинно мое страдание?

Мандар повел меня кратчайшим путем к забвению, и долгие годы он вместе с Мукуликой помогал мне быть счастливым.

Впервые увидев Мандара в его обители, я подумал о Яти. Яти стремился к богу, ненавидя жизнь, истязая даже собственную плоть, и ненависть свела его с ума. Мандар упивался жизнью, его бог был красотой, вином, весельем...

Яти и Мандар — что между ними общего? Каждый из них презирал путь другого; по меньшей мере, так казалось на первый взгляд. Учение Мандара было проще и соблазнительней: жизнь мимолетна, она цветок, который увянет завтра, им нужно насладиться, пока он свеж; во что бы то ни стало насладиться — для этого он создан. Не наслаждение порок, а воздержание, ибо оно противоречит закону жизни.

Следуя заповеди Мандара, я все же испытывал порой сомнения: вспоминал поучения святого Ангираса, беседы с Качей и спрашивал себя: уж не лишился ли я рассудка? Что я делаю? Куда иду?

Но Мандар с улыбкой читал на память предания из древних книг или рассказывал о мудрецах, познавших высшую истину через радости жизни. Всего же больше Мандар любил доказывать мне тленность воспринимаемого нами мира на простых примерах из жизни.

Однажды мы вдвоем поехали на прогулку. Свернув с королевской дороги, наша колесница остановилась перед жилищем горшечника.

Разглядывая горшки, кувшины, блюда, выставленные на продажу, Мандар неожиданно спросил:

— Вам нравится эта посуда, ваше величество?

— Очень! — искренне ответил я.— Горшечник — искусный мастер!

— И другой горшечник, он тоже искусный мастер! — засмеялся Мандар.

Я не понял, о ком он говорит.

— Разве бог не горшечник? — продолжал Мандар.— Он тоже лепит сосуды из праха. Так создал он вас, меня. Сосуд разбивается, и прах возвращается к праху. Если бы были они живыми, эти горшки, я бы посоветовал им: не наполняйтесь одной водой, пусть в вас вольется вино, амрит, напиток богов. Наполняйте себя поскорее, чем только можете, ибо завтра вы обратитесь в черепки, и тогда вам и капли в себе не удержать!

Во время другой прогулки с Мандаром мы увидели погребальный костер. Мандар заставил меня приблизиться, ибо, как он утверждал, история жизни умершего весьма поучительна. На костре горел труп совсем еще молодого человека. Мандар рассказал, что этот юноша, устремясь к познанию высшей истины, принял обет безбрачия. Девушка, с которой он был сосватан с детства, чуть не сошла с ума от горя. Она была готова лишить себя жизни, но ее спасла Мукулика, призвав несчастную в обитель. Юноша умер, и сейчас его тело простерто на огненном ложе, и языки пламени обвивают его,

обращая в пепел то, что было жизнью. Юноша умер, ни разу не изведав наслаждения, теперь же это невозможно, ибо прахом рассыпается плоть, служившая оболочкой его душе.

Глядя на огонь, я представил себе, что сам сгораю на погребальном костре...

Мандар положил руку на мое плечо:

— Ваше величество, жизнь человека мимолетна, и все в ней тленно. Никому не дано остановить время. Не насладившийся цветком сегодня не может надеяться на завтра, ибо завтра станет другим. Жизнь состоит из золотых мгновений, им нет числа, но жизни человека есть предел. Жизнь будет продолжаться, и вечно цветение цветов, но человек конечен.

Мандар повел меня в дом мудреца, который был прославлен своей ученостью. Я вспомнил дом: мы приходили сюда с Мадхавом, когда умирал король Нахуша. Однако ученого пандита я не узнал бы ни за что: дряхлый, выживший из ума, почти слепой, с трудом переставляющий ноги старец. И эту развалину терзали плотские страсти, будто ища отмщения за былое пренебрежение ими. Пандит не знал покоя ни днем ни ночью. Он выбегал на дорогу и жадно разглядывал молодых женщин, пытался заговаривать с ними. Окрестные мальчишки насмехались над стариком, но он не обращал на них внимания. Семья пробовала запирать пандита на ключ, тогда он рисовал непристойные картинки углем на стенах и, не смущаясь присутствием своих внуков и правнуков, ласкал и целовал рисунки...

В обители Мандара я видел много стариков, которые вели себя как молодые, видел молодых женщин, искавших удовольствий под прикрытием святости. Я понял: все люди жаждут одного. Высокие слова о праведности, долге, добродетели нужны только для молитв и для приличия. На самом деле человеку не это нужно: он ищет удовольствия, удовольствия любой ценой.

Жизнь беспощадно коротка, и неизвестно, когда смерть оборвет ее, поэтому так дорого каждое мгновение с его сочностью, ароматом, весельем.

Вот в чем заключался смысл урока, преподанного мне Мандаром.

Меня закружило в водовороте этой новой жизни. Сменялись времена года, сменялись годы, почти не замечаемые мной, как перестал я замечать смену дня и ночи. Никакие перемены не затрагивали меня. Как возлагают поутру цветы перед изображениями богов, чтобы на другой день заменить их свежими, так появлялись каждую ночь все новые красавицы в моей опочивальне. Я не задумывался ни над тем, откуда они, ни куда исчезают наутро — я знал только, что чаша моих удовольствий не должна иссякнуть, а следить, чтобы она постоянно была полна до краев,— забота Мандара и Мукулики.

Однако были, были две ночи, которые мне не забыть, которые снова и снова снятся мне в страшных снах.

...Мукулика привела ко мне девушку необычайной красоты и, оставив ее со мной, с улыбкой затворила за собой дверь. Я был пьян и не всматривался в ее лицо. В моих объятиях красавица пролепетала — Мадхав... Мадхав... Уже потом, когда я отстранился от нее, она сказала горестно и внятно:

— Куда же ты, Мадхав? Не покидай меня!

Я вздрогнул, я снова склонился к ней — и только тут узнал Мадхави. Мукулика, должно быть, опоила ее каким-то зельем, чтобы затащить ко мне, или Мандар своими заклинаниями одурманил... Кто знает, что они творили в угоду мне!

На рассвете Мадхави медленно очнулась, медленно осмотрелась вокруг, пытаясь понять, где она, и с диким криком бросилась вон. На следующий день в Джамне выловили ее труп.

Но чаша должна была оставаться полной, поэтому не могло быть в моей жизни перемен. Настала ночь, когда Мукулика втолкнула в мои покои совсем молоденькую девушку — едва раскрывшийся цветок. Девушка замерла передо мною, опустив голову. Я не стал всматриваться в ее лицо. Только наутро, пробудившись от тяжкого сна, я обнаружил, что рядом со мной лежит Тарака!

Потом я узнал, что Тарака сошла с ума. Она проводила целые дни, плетя цветочные гирлянды, пока однажды не приняла за цветы искры от костра и не сгорела.

Я стал причиной гибели нареченной моего дорогого друга и его любимой племянницы. Ужас от содеянного должен был отрезвить меня, но нет — теперь я искал забвения и от этих воспоминаний, уходил все дальше по пути, который открыл мне Мандар, ибо иного пути у меня не было. Я укрывался от жизни в винном дурмане, в охотничьем азарте, в женских ласках. Страдание, одиночество, беззащитность отступали перед ними. И даже смерть, хоть она и подкарауливала меня, о чем я не забывал, и иной раз ощущал ее близость.

Но Колесо времени вращалось, ничего не меняя в моей жизни.

— Скоро полночь, ваше величество,— послышался голос Мукулики.

Я открыл глаза и улыбнулся ей.

Одевшись, я подошел к большому настенному зеркалу — я выглядел по-прежнему молодым, я мог понравиться любой красавице. Время не разрушило ни мое лицо, ни тело, напротив, мне даже казалось, что я выгляжу еще лучше! Все тот же Яяти, который впервые поцеловал Алаку. Великий боже, сколько их было после Алаки! Мне вдруг почудилось, будто я вижу в зеркале отражения бесчисленного множества женских лиц.

Я отступил на шаг, наваждение исчезло, и в зеркале остался только я. Причесываясь, я всмотрелся — нет, мне не показалось! Седой волосок! Такой заметный, страшный, похожий на обсыпанный пеплом, грозно указующий перст святого, который меня проклинает!

Проклятие старости на голове Яяти!

Старость — последний, тяжкий акт в нелепой драме жизни.

Яяти — старик, скоро ему недостанет сил, чтобы пить из чаши наслаждения. Но моя жажда не утолена! Может быть, мне померещился седой волосок, как перед тем мерещились женские лица в зеркале? Я закрыл глаза, снова открыл их в надежде больше не увидеть седину... Но волосок блестел, как серебро, упрямо предвещая скорое наступление старости.

Я не желал предвещаний, не желал им верить! Обратно, в прошлое, в юность! В те времена, когда я поцеловал Алаку, Алаку, чьи волосы отливали не серебром, а чистым золотом. Среди всех женщин, которых я познал, мне ни одна не встретилась с такими волосами.

Отвернувшись от зеркала, я спросил Мукулику:

— Ну где же твоя роза?

— Она вас ждет.

— Какие у нее волосы? Золотые?

Должно быть, Мукулика подумала, что я пьян. Не отвечая, она с улыбкой поспешила распахнуть дверь: на шелковой подушке сидела юная красавица. Она метнула в меня быстрым взглядом и опустила голову. Я сделал шаг к ней — она была прекрасна, как изваяние богини любви, и было невозможно поверить, что мое прикосновение способно оживить эту застывшую красоту.

Но тут раздался испуганный голос Мукулики:

— Ваше величество!

— Что случилось? — негодующе откликнулся я.

— К вам главный министр!

— Я занят!

— Он говорит, что принца захватили в плен!

Принц в плену? А я старею, серебряный волосок, не золотые волосы...

Главный министр порывался что-то втолковать мне через дверь, но я уже давно утратил интерес к государственным делам. Я не желаю отрываться от юной красавицы, я скоро сам буду в плену у старости!

Выйдя из опочивальни, я хотел сказать, что... Но министр опередил меня — королева Деваяни в отчаянии, принц Яду захвачен в плен, королева в слезах... В слезах! Она не плакала, когда выгнала Яяти ночью из своих покоев, выгнала, как приблудного пса. Слезинки не пролила в ту ночь, зато теперь прислала главного министра напомнить о моем долге короля и отца. А сама Деваяни хоть раз вспомнила о долге супруги? Подумала о том, что добродетельная жена прощает своему мужу ошибки? Попыталась помочь ему или равнодушно наблюдала, как уносит его бурным течением? Может быть, королеве Деваяни не хватило смелости прийти мне на помощь? Но говорят: любовь ничего не страшится. Просто Деваяни никогда не любила меня, не Яяти ей нужен, а королевская власть.

Главный министр продолжал говорить: теперь он убеждал меня немедленно отправиться во дворец.

К чему? Меня гораздо больше волнует мысль о той, что ждет меня на шелковой подушке.

Броситься на выручку Яду? Отбить его с оружием в руках — или быть убитым в схватке? О нет, я еще не устал от жизни, от золотых волос, пусть даже появились серебряные, предвещая старость, но старость еще не наступила, зачем же торопиться к смерти... Я не поеду спасать Яду!

Главный министр наконец умолк. Погруженный в собственные мысли, я не слышал, чем он закончил свою речь. Однако я должен был ответить.

— Передайте королеве,— сказал я,— мою благодарность за то, что она обо мне вспомнила через столько лет.

Главный министр был не из тех, кто соглашается признать свое поражение, поэтому он снова взялся за меня. Не в силах дольше сдерживать раздражение, я оборвал его:

— Я ничего не сделал бы, даже если бы в плену оказался не принц, а сама королева!

С этими словами я возвратился в опочивальню. Прекрасная как изваяние, незнакомка поднялась с подушек мне навстречу. Я отстранил ее — что, если она заметит седину и станет думать обо мне как о старике? О нет, никто не смеет видеть старости Яяти! Король Яяти вечно пребудет юным!

Я снова посмотрелся в зеркало — проклятый волосок!

Красавица устала ждать и положила руку мне на плечо. Я обернулся к ней — ее блестящие кудри были черны, как смоль.

— Убирайся! — велел я.

Она растерянно смотрела на меня, не понимая, в чем ее провинность.

— Мукулика! Забирай свою розу!

— Что случилось? Она не угодила вам, ваше величество?

— Волосы у нее черные! Черные — и золотом не отливают! Чтоб завтра же ты привела ко мне другую, с золотыми волосами!

Мукулика, как всегда, склонилась в поклоне, но стала говорить, что едва ли сумеет быстро выполнить мое желание, что ей требуется помощь Мандара...

— Даю вам с Мандаром две недели,— прервал я ее.— Но если в этот срок вы не найдете девушку, которая мне нужна, я прикажу

обоих вас посадить на грязного осла и возить по всей Хастинапуре! Сейчас ведь новолуние?

— Да, ваше величество.

— Даю тебе время до полнолуния. В ночь полнолуния ты явишься вместе с золотоволосой красавицей, не то...

Мукулика стояла, сложив ладони перед грудью.

— Чего ты ждешь? Сначала меня рассердил этот дурак-министр, теперь ты... Ступай!

Наутро я проснулся довольно поздно и сразу посмотрелся в зеркало. Великий боже! Я разглядел еще один седой волосок.

Я заперся в опочивальне, терзаемый тоской и страхом. Мысли мои снова и снова возвращались к Шармиште. Ей мог бы я открыть свое сердце, рассказать о том, как страшусь приближения старости и смерти, как разочарован в прожитых годах. Она бы залила слезами мучительный огонь, испепеляющий меня, но Шармишты нет. Я одинок, я один во всем мире.

Любовь — всегда притворство, будь то любовь родительская или супружеская. Истинной любовью человек любит только самого себя: свою плоть, свои удовольствия, свою гордыню. А разве хрупкое, мимолетное, непонятное чувство, рождающееся из близости мужчины и женщины, может именоваться любовью? Короткая вспышка страсти — это любовь?

Я лежал с закрытыми глазами и мог показаться спящим, но град невидимых ударов обрушивался на меня. Ненавистные воспоминания на части рвали мое сердце. Мне хотелось закрыться от прошлого, но повернуться к будущему я не смел. Один лишь путь был мне открыт — перестать жить.

Тут я засмеялся. Если бы мне достало отваги лишить себя жизни, разве не сделал бы я это восемнадцать лет назад?

Однако я избрал иной путь, так хорошо знакомый мне. Чаша наслаждений не иссякла, я еще не дождался прелестницы, чьи кудри будут отливать золотом...

— Ваше величество, здоровы ли вы? — раздался голос Мукулики у моего изголовья.

— Почему ты так долго отсутствовала? — сердито спросил я.

— Я была во дворце, ваше величество.

— Зачем?

— Главный министр сильно разгневался, и я боялась, как бы он не нажаловался королеве. Я бедная женщина, живу в тени вашего милосердия и щедрости, но если королева...

— Хватит!

— Во дворце большое ликование, ваше величество!

— По какому поводу? Я ведь еще не умер! Или королева празднует пленение Яду и собирается взойти на трон?

Мукулика со страхом посмотрела на меня.

— Ваше величество, принц Яду на свободе!

— Как на свободе?

— Говорят, какой-то молодой герой отбил принца у врагов! Теперь принц Яду вместе с ним возвращается в Хастинапуру. Я своими глазами видела гонца, который прискакал с этой вестью.

Мое сердце должно было исполниться радости при известии о том, что мой сын избежал опасности... Но я сказал:

— Принц Яду на свободе. Я рад.

И устыдился собственного безразличия. Что со мной? Неужели мои чувства мертвы, мое сердце испепелено? Да жив ли Яяти или живет одно лишь его тело?

Мукулика тем временем продолжала сообщать мне новости:

— И отца королевы тоже ожидают в Хастинапуре...

Святой Шукра? Означает ли это, что он уже достиг желаемого? Как мне быть, уехать подальше от Хастинапуры?

— Королева пригласила в Хастинапуру и святого Качу...

После минутного колебания Мукулика уже шепотом закончила:

— Собираются короновать принца. Королева хотела бы, чтобы принца Яду благословил и святой Шукра, и святой Кача.

Меня лишают престола? Не бывать этому!

— Разве святой Кача уже выполнил обет?

— Так говорят, ваше величество.

— Значит, настало время всем выполнить обеты. Что ж, я желаю исполнить свой.

— Ваше величество?

— Подай вина.

— Но сейчас утро...

— Подай вина. Делай что велю, даже если велю подать мне яду.

Мукулика наполнила чашу.

— Я жду красавицу с золотыми волосами. Пока не приведешь ее, не смей будить меня. Я буду спать.

О эти две недели! Не замечал я, как занимается новый день, как гаснет. Из черной океанской глуби, как рыбы, всплывают на поверхность мысли. Ночами лунная дорожка ложится на воду, становясь все ярче с каждой новой ночью. Очень скоро наступит полнолуние. Пусть лунный свет играет на золоте кудрей. Потом...

— Яяти! Куда ты? Этот путь ведет прямо в ад!

Я отвечал голосу разума:

— И рай и ад сейчас уже недалеки, не правда ли?

— Правда. И расположены они близко друг от друга.

— Тогда чего же мне страшиться? Вдруг вместо ада я окажусь в раю?

— О нет! Только перед ребенком распахнуты врата и в рай и в ад. Вырастая, он сам закрывает райские врата, а снова открыть их уже не может. Не закрывай врата, несчастный, одумайся!

Я осушал новую чашу, и голос постепенно затихал. Я погружался в сон. Во сне я видел колесницу, запряженную шестеркой горячих коней. Кони мчались в густом тумане, я плохо различал их, кони почему-то обращались в людей, я, всматриваясь, убеждался, что каждый — Яяти! И возничий тоже Яяти! Но не в силах был он направить движение колесницы, и она с грохотом неслась в неведомое, вздымая клубы пыли...

На четырнадцатую ночь мой сон обрел конец: взмыленные кони-люди примчали колесницу в тесное ущелье, по одну сторону громоздился крутой утес, по другую — зияла бездна. Один из коней, закусив удила, повлек колесницу к бездне и с оглушительным грохотом...

— Шама! — закричал я, пробуждаясь.

Отчего к Шармиште воззвал я из бездны? Мой сон был предзнаменованием беды. Но почему Шармишта? Могло ли быть, что в этот миг ее душа покидала наш жестокий мир?

Я схватил чашу и пил до тех пор, пока не заснул, как мертвый.

Луна сияла в небе золотой чашей, изливавшей на мир чистый лунный свет.

Сменилась третья стража, когда в опочивальню вошла Мукулика с приятной вестью: после долгих поисков Мандар нашел красотку с золотыми волосами, и этой ночью она будет у меня. Я сгорал от нетерпения. Вернется ли юность и времена Алаки, когда моя рука коснется этих кудрей?

— Где этот золотой цветок? — спросил я.

— В обители Мандара.

— Смотри у меня, Мукулика! Если вы с Мандаром попытаетесь надуть меня, если цветок окажется с изъяном — я прикажу вас обезглавить. А тебя велю перед казнью обрить наголо и провезти по го-

роду. Пусть я провел годы в стороне от государственных дел, я пока что король Хастинапуры.

С трудом сдержав себя, я задал вопрос Мукулике

— Где вы нашли цветок?

— В Хастинапуре, ваше величество.

— Так почему цветок еще не здесь? Опять вы с Мандаром хитрите!

— Помилуйте, ваше величество! Эта девушка только сегодня утром издалека пришла в Хастинапуру.

— Зачем она пришла?

— Говорят, будто ищет своего возлюбленного.

— Возлюбленного? — Мне стало смешно.— Надо было ей сказать, что возлюбленный уже ждет ее в Ашокаване!

— Завтра утром она поймет это, ваше величество, но пока...

— Кто ее возлюбленный?

— Молодой воин. Ей сказали, что он должен вернуться в Хастинапуру вместе с принцем Яду. Девушке не терпелось встретиться со своим героем, она оставила старуху, с которой путешествовала, и прибежала на рассвете в город. А тут узнала, что принц Яду с войском прибудет только вечером, и огорчилась. Ее увидел ученик Мандара и привел в обитель.

— И что она?

— С ней трудно сладить, ваше величество! Не желает слушать даже самого гуру. Он велел запереть ее в чулане, но она не смирилась, пока Мандар не успокоил ее своими снадобьями. К полуночи она придет в себя, и мы...

— К полуночи? Я не желаю ждать так долго! Зачем Мандар дал ей такое сильное снадобье?

— Ваше величество, она подняла крик, в ашраме полно народу, все съехались, чтобы увидеть святого Шукру, да и принц Яду сегодня возвращается, что, если б ее услышали? Гонец привез известие, что нынче вечером святой Шукра прибудет во дворец, почти в одно время с принцем. Гуру Мандар подумал: раз ваше величество будет встречать их, то лучше доставить девушку попозже...

— Мандар болван! А ты еще глупей, чем он! Мне дела нет, вернулся принц или еще в пути! Сию минуту пошли за девушкой! Доставь ее в Ашокаван в паланкине, чтобы никто не видел!

Глядя на девушку, в беспамятстве простертую на моем ложе, я спрашивал себя, не во сне ли это — Алака, ожившая Алака, юная и прелестная, лежала в моей опочивальне. Чистым золотом отливали ее волосы, ровно вздымалась грудь, будто Алака, ничуть не изменившись за все эти годы, снова была со мной.

Скоро ли она очнется? Зачем проклятый Мандар так опоил ее своим снотворным зельем?

Я не знал, сколько прошло времени, не знал и сколько мне осталось. Чаша с вином стояла нетронутой, я жаждал иного забвения, мне не терпелось коснуться наконец золотых волос. Юность возвратилась ко мне. Этой ночью Алака будет со мной, а обо всем другом я не желаю помнить. Кто знает, что будет завтра? Святой Шукра, Деваяни... Но пока — я счастлив, и никто не лишит меня счастья!

— Ваше величество! — позвали из-за двери.— Ваше величество! Скорее!

В чем дело? Я был в ярости.

— Сюда идет королева! С ней сам святой Шукра! Он гневается, спрашивает: где король?

У меня подкосились ноги. Я почувствовал слабость, как после долгой тяжелой болезни. Медленно отворив дверь, закрыл ее за собой.

Деваяни окинула меня быстрым взглядом и пренебрежительно

отвернулась. Ее отец, раздраженно меривший шагами ковер, остановился, грозно вперясь в меня.

— Яяти, перед тобою не великий святой. Я твой тесть, и только потому переступил я твой порог. Ты узнаешь меня?

Я едва нашел в себе силу, чтоб поклониться ему.

— Твой разум помрачен вином, поэтому я повторяю, кто я. Я Шукрачария. Тот самый Шукра, кто обрел силу воскрешать мертвых и поставил на колени богов. Сегодня я перед тобой. Сегодня перед тобой отец Деваяни, человек, обретший силу, превышающую сандживани. Я вошел в этот дом, чтобы узнать, как живет моя единственная дочь, и нашел ее в глубокой горести. Грязная обезьяна! Редчайшую жемчужину вручил я твоему попечению, а ты отбросил ее, как стекляшку?

Гнев святого Шукры был страшен. С большим трудом я вымолвил:

— Я виноват, премудрый и пресветлый Шукра, я виноват! Но не я один был причиной наших семейных бед...

— Отец! — разъяренная Деваяни вскочила на ноги.— Ты для того меня сюда привел, чтобы твою дочь осыпали оскорблениями? Прошу тебя, уйдем. Ты утомлен путешествием. Мой муж распутник, он погряз в пороке, он хуже демона!

— Но лучше женщины, которая способна любить только себя! — не сдержался я.

Деваяни бросила на меня взгляд, полный ненависти, и повернулась к отцу:

— Отец, принц Яду уже въезжает в Хастинапуру, а ты здесь тратишь время на пьяного развратника!

Шукра отвел руку Деваяни.

— Дочь, я люблю тебя больше всего на свете, но ты глупа. Из-за твоей глупости я воскресил из мертвых Качу, а он выведал тайну сандживани. Я столько лет тебя не видел, но не успел приехать, как ты со слезами стала жаловаться на мужа, теперь же... Я не прощу тебя, Яяти. Ты будешь покаран страшной карой!

Деваяни нежно прильнула к отцу:

— Забудь о нем! Он поймет, что натворил, когда принц Яду воссядет на престол Хастинапуры. Я долее не жду счастья в семейной жизни. Только одного хочу я: увидеть Яду на Львином троне, и после этого я готова уйти с тобой и жить в пещере!

Вот она, месть Деваяни! Пусть я давно ушел от государственных дел, пусть я давно не думаю о благе подданных, но Яду не займет престол Хастинапуры без моего согласия! Деваяни не столько заботится о сыне, сколько желает насладиться моим унижением!

— Я король. Как может Яду короноваться на престол, если я сам того не пожелаю?

— Справедливо, ваше величество,— спокойным голосом ответил Шукра,— никто не смеет посягнуть на вашу власть. Но Деваяни — королева. Вступая в брачный союз с ней, вы дали слово чтить его святость.

— Да, премудрый.

— Сдержали вы слово?

— Нарушил, но, премудрый Шукра, молю вас о прощении! Я был молод, я стал жертвой соблазна...

— Ты был молод. А Деваяни была старухой?

— Я умоляю о прощении!

— Можно простить проступок, но не целую жизнь.

Святой Шукра смолк и погрузился в раздумье. Мне показалось, что я прикован цепью к скале на склоне огнедышащей горы, которая вот-вот извергнет лаву.

— Король,— заговорил вновь Шукра,— ты бросил Деваяни ради Шармишты. Так или не так?

— Я не любил Деваяни! — вырвалось у меня.

Голос святого Шукры загремел, как гром:

— Ты осквернил святость брака, ты нарушил слово, данное мне, самому Шукрачарии! Ты будешь покаран!

— Но, великий Шукра, молодость слепа!

— Я исцелю тебя от слепоты. Вот мое проклятие — да обратишься ты немедля в дряхлого старца!

Я рухнул к его ногам, сраженный.

Собравшись с духом, я приподнялся и глянул в зеркало.

Мое лицо было изрезано глубокими морщинами, волосы белы как снег. Изможденный, плачущий старик смотрел на меня. Но в этой оболочке скрывался прежний Яяти, и его жажда по-прежнему была неутолима. Он помнил, что в опочивальне осталась юная красавица с кудрями, отливающими золотом. Полночь миновала, красавица, должно быть, давно очнулась. Я даже не успел коснуться ее волос, теперь же девушка с лицом Алаки мне недоступна... Я дряхлый старец, но мои страсти сохранили пыл. Какая мука!

Я посмотрел на Шукру. Он сидел на золоченом табурете, низко опустив голову. Деваяни тихо плакала у его ног.

— Отец, что ты наделал, отец...

Надежда затрепетала в моем сердце. Я с мольбой сложил ладони перед грудью:

— Будь милосерд, великий Шукра! Я только телом одряхлел, но не душою. Я хочу жить, я готов быть верным супругом Деваяни, но разве сможет Деваяни разделить ложе с бессильным стариком? Сними с меня проклятие, о всемогущий Шукра!

— Отец, прошу тебя, сними проклятие! — рыдала Деваяни.— Я не могу его видеть в этом обличье! Отец, пускай он станет прежним!

Шукра медленно поднял голову.

— Король,— печально сказал он,— невозможно вернуть выпущенную стрелу и произнесенное проклятие. Ты супруг моей дочери. Хотя и поздно, но пробудилось в тебе желание жить с Деваяни в праведном брачном союзе. Снять проклятие я не могу. Могу лишь изменить его. Если отыщется юноша твоей же крови, кто согласится променять свою юность на твою дряхлость — да будет так! Но только помни, король: ты сможешь возвратить ему юность единственно ценою твоей жизни. Если с мыслью обо мне ты трижды возгласишь: «Возвращаю тебе юность!» — он снова станет юным, но ты, ты умрешь!

— Что ты говоришь, отец? — вскрикнула Деваяни.— Это проклятие страшнее прежнего!

Вспыхнув гневом, Шукра поднялся на ноги.

— Неблагодарная дочь! Моя вина, это я с детства избаловал тебя своей любовью. Я сделал все что мог ради твоего счастья, ты же ответила мне оскорблениями! Я больше не желаю видеть ни тебя, ни твоего супруга!

С этими словами святой Шукра покинул покой.

Мы остались наедине: дряхлый старец и красавица. Деваяни избегала меня взглядом, я же старался спрятать от нее седину и морщины. Супруги, связанные священными узами, мужчина и женщина, ставшие чужими за восемнадцать лет.

Мне послышался шорох и шаги за дверью опочивальни: девушка с золотом в волосах, наверное, встала с ложа. О, это золото в волосах...

Из зеркала на меня смотрел отвратительный, сморщенный старикашка. Неужели он действительно может помолодеть? Шукра вновь разжег во мне огонь надежды, но где юноша, который согласится пожертвовать собой ради меня? Юноша моей же крови...

В дверях появилась приближенная служанка Деваяни и доложила ей:

— Ваше величество, принц Яду желал бы испросить позволения видеть королеву!

Я поспешно отвернулся, пряча свое уродство от двух молодых стройных воинов, входивших в покой. Яду столько лет не видел отца!

Но Яду — мой сын. Плоть от плоти и кровь от крови. Тот, кто мог бы возвратить мне молодость, даровать мне блаженство жизни...

Эта мысль молнией расколола мрак, в который я с отчаянием погружался.

Принц Яду простерся у ног Деваяни. Узнав, что королева в Ашокаване, говорил он, спеша увидеть мать, он решил отправиться к ней. Он был встревожен, он надеялся, что мать будет встречать его у городских ворот. Он привел к королеве смельчака, которому обязан жизнью...

Я слушал голос Яду и вместе с тем ловил каждый звук из-за дверей опочивальни, сжигаемый желанием и надеждой.

Обратив лицо к сыну, я окликнул его. Он вздрогнул.

— Ты не узнал меня? — Я старался говорить спокойно.— Я король Яяти, твой отец. Сыновний долг велит тебе любить меня.

— Разумеется, ваше величество.

— Сыновний долг — жертвовать собой ради отца.

— Я готов на любую жертву, ваше величество!

— Яду! — вскрикнула Деваяни.

Деваяни отомстила мне — теперь наступал сладостный миг моего возмездия. Звериная ярость охватила меня: желание жить, желание мстить, желание вновь ощутить свою силу! Я больше не боялся Шукру. Он покарал меня внезапной дряхлостью, а дряхлый старец думает только о себе. Я заставлю Яду отдать мне молодость, я на глазах у Деваяни выведу из опочивальни золотоволосую юную красавицу!

— Отныне,— сказал я Яду,— ты король Хастинапуры. Я отказываюсь от престола в твою пользу.

— Как прикажет мой отец.

— Но я вручаю тебе бразды правления с одним условием...

— Ты демон,— стонала Деваяни.— Остановись...

— С одним условием. Ты видишь, я дряхл и слаб. На мне лежит проклятие, но юноша моей крови может освободить меня от него. Сними проклятие — в обмен на королевство. Отдай мне юность, король Яду, она к тебе вернется после моей смерти. Так обещал святой Шукра. Твоя мать может подтвердить его слова...

Принц Яду побелел и отступил на шаг. Деваяни бросилась к сыну, с рыданиями сжала его в объятиях:

— Сын, твой отец безумен! Его свело с ума желание вновь стать молодым! Не слушай его, сын, он не в своем уме! Поедем во дворец, сын, скорее во дворец! А он пусть остается здесь и разглядывает в зеркале свои седины!

Яду с мольбой устремил на меня взгляд. Я понял, что потерпел поражение. Надежды больше нет.

— Скорее, Яду! — торопила сына Деваяни.— И скажи, как зовут твоего отважного спасителя. Я стыжусь того, что он стал свидетелем позора в нашем доме!

— Но я принадлежу к вашему дому, матушка! — впервые заговорил незнакомец.— Я не чужой вам.

— Сын мой, как может быть чужим нам тот, кто спас жизнь принца Яду! Но то, чему ты был свидетелем...

— Матушка, я готов исполнить долг, которого страшится принц.

Огонь надежды запылал во мне.

— Ты готов отдать мне свою юность?

— Почту за честь, ваше величество.

— Но разве ты не слышал — нужен юноша моей крови!

— Я ваш сын, ваше величество!

— Что? — Деваяни всмотрелась в юношу.— У короля один сын — наследный принц Яду!

— Я не думаю о престоле, матушка. Я только хочу исполнить сы-

новний долг. Я сын его величества, и никто не может лишить меня права пожертвовать собою ради него.

— Ты сын Шармишты? — гневно спросила Деваяни.

— Да. Я Пуру.

Вот он, миг торжествующего возмездия! Я должен не упустить его. Ко мне вернется молодость. Деваяни понесет заслуженную кару.

Я посмотрел на Пуру. Он стоял передо мной в ожидании моего решения без тени страха на лице.

Я видел его малышом. Теперь он стал красивым, сильным юношей. Пуру еще совсем не знает жизни и готов пожертвовать ею ради меня. Мне нужно произнести одно слово — и цветение его молодости оборвется, согнутся плечи, пепел покроет волосы, заслезятся ясные глаза... Я колебался, я не решался сделать этот шаг...

Деваяни решительно шагнула к Пуру.

— Ты действительно Пуру? Сын Шармишты, Пуру? Что же ты молчишь! Я слышала, что Шармишта так любила короля! Будь же достоин своей матери и выполняй свой долг. Чего ты медлишь? Не раздумывай — обменяй свою молодость на его дряхлость!

Меня закружило в водовороте мыслей:

— Красавица, чьи волосы отливают золотом, в моей опочивальне... Как я ждал ее, а теперь, когда свершение так близко, отставить чашу, не изведав влаги? Тогда мне следовало восемнадцать лет назад уйти в отшельники, отречься от желаний... Одно-единственное слово — и я буду свободен от проклятия... Ведь Пуру не умрет, я не гублю его, он проживет несколько лет стариком, я отдам ему за это престол Хастинапуры... Потом... Великий Боже, придет же час, когда я пресыщусь наслаждениями... и тогда я верну Пуру его молодость!

Пуру не ответил Деваяни. Он склонился к моим ногам и твердо сказал:

— Отец, ради блага других пожертвовала собой принцесса, став рабыней. Я сын ее. Позволь мне взять на себя бремя твоей старости!

— Да будет так! — вырвалось у меня.

И в ужасе я закрыл глаза...

Я открыл их, желая благословить своего добродетельного сына — и отпрянул: передо мной был полуслепой старик с трясущимися руками.

Деваяни, хладнокровно наблюдавшая за нами, быстро вышла из моих покоев, уводя с собой принца Яду.

Пуру неверными шагами приблизился к зеркалу. При виде своего отражения он закрыл руками лицо. Может быть, он раскаивался в принесенной жертве? Он не промолвил ни слова. Отвернувшись от зеркала, Пуру прошел в угол и с трудом опустился на подушки.

Расставаясь со мной, Шармишта молила: пусть всегда осеняет Пуру благословляющая рука короля! А я — какой удар обрушил я сегодня на него! Мне захотелось обнять Пуру, утешить его... Но я уже знал, что не посмею. Порок всегда труслив.

Сколько событий способны вместить в себе краткие часы. Вино рождает призраков, и я бы мог подумать, что содеянное просто привиделось мне, если бы не жалкий старик на подушках. А вдруг это призрак? Голова моя шла кругом.

Старик Пуру повернул голову в мою сторону. Избегая его взгляда, я подошел к зеркалу — мне показалось, я стал моложе прежнего. Смятенный разум требовал покоя, а в возрожденном теле с новой силой пылало желание. Я отворил дверь в опочивальню.

Девушка, сидевшая на ложе, встретила меня недоуменным взглядом, явно не понимая, где она очутилась и кто я. Я улыбнулся ей, благодаря судьбу за возвращенную мне юность. Девушка ответила было улыбкой, но, увидев, что я приближаюсь к ней, испуганно отпрянула, вскочила, метнулась в дальний угол. Я страстно желал ее, желал по-

скорее обо всем забыть в ее объятиях! Но в тот миг, когда я протянул к ней руку, за стеной раздался плач. Рука моя бессильно опустилась.

Вначале я подумал, что Пуру оплакивает необдуманную жертву, но тут же понял свою ошибку — рыдала женщина. Служанка, обнаружившая незнакомого старика? Не следовало торопиться в опочивальню, даже не распорядившись, чтобы Пуру устроили на ночлег!

Рыдания звучали все громче. Я не мог их дольше выносить! Оставив испуганную красавицу, я вышел из опочивальни. Пуру недвижно сидел на подушках, а у его ног заходилась в плаче женщина. Как она смеет, прислужница, тревожить покой короля?!

— Пуру! — сердито позвал я.— Пуру, ты теперь король! Король не должен делать ничего в ущерб своему достоинству. Почему ты позволяешь ничтожной прислужнице касаться твоих ног?..

Слова застыли на моих губах. Женщина оглянулась на мой голос— то была Шармишта!

О, пусть разверзнется земля и примет Яяти в свое чрево!..

Шармишта! Я ей сказал, прощаясь восемнадцать лет назад: «Одному богу ведомо, когда и как мы теперь встретимся». Вот как мы встретились.

Шармишта, моя возлюбленная Шама! Обнять ее, утешить, осушить ее слезы... Мне? Что может сделать для оленихи охотник, сразивший ее олененка?

Сколько раз, целуя Шармишту, я ее уверял, что Яяти и Шама — одно целое, а сегодня стал ее убийцей.

Шармишта рыдала, обхватив ноги сына, каждая ее слеза прожигала мне сердце, а я не смел сказать ей ни слова.

— Ваше величество! — услышал я голос Шармишты.— Как это случилось?

Великий боже, как это случилось? Не случилось, это содеяно мной! Я вымогал у Пуру его чистую юность в обмен на мою мерзкую старость! Я понимал, все понимал, но был не в силах превозмочь свои страсти, свою постыдную ненасытность!

Я презрел отцовский долг. Я преступил закон обыкновенной человечности. Я предал плоть свою и кровь свою ради минутной прихоти. Я заплатил юностью сына за собственное распутство. Восемнадцать лет я с превеликим тщанием возводил храм своих удовольствий, и каким чудовищным шпилем я увенчал его сегодня!

Шармишта отдала мне себя. Она одарила меня беспредельной, бескорыстной любовью. Я должен был бы жизнью заплатить за каждую слезинку Шармишты. Не в долге дело, смерть за нее была бы моим счастьем. Сейчас я только своей смертью могу вернуть ей счастье ее жизни, вернуть Пуру юность. Но только... Но ведь для этого я должен умереть!

Смерть. Мой самый страшный враг, незримо преследовавший меня с детских лет. Смерть. От страха перед ней я искал спасения в удовольствиях. Смерть — неведомая, непонятная, неизбежная. Что же — самому шагнуть к ней? Без колебаний радостно заключить ее в объятия?

Шармишта с надеждой и ожиданием смотрела на меня — или мне казалось? Восемнадцать лет назад, уходя в неизвестность, Шармишта не укорила меня ни взглядом, ни вздохом. Она шла на муки, чтобы охранить меня от мести Деваяни.

Шармишта умеет любить... И Мадхав умел... И Кача умеет...

Неужели мне не под силу такая любовь?

Только сейчас стал мне открываться свет, и сиял он все ярче и ярче. В этом свете прозревал я простую истину: отдавая себя другим, получаешь больше, чем беря от других для себя!

Как ни проста эта истина, она впервые в жизни открылась мне только сейчас.

Шукра обратил меня в старика, изменив при этом лишь облик, Шармишта преображала мою душу. Рождался новый, незнакомый Яяти, дружески взывая к Смерти: приходи! Я жду, я понял, что только смерть и любовь истинны. Я готов следовать за тобой во мрак. Я не боюсь, ничего не боюсь, ибо в руке моей светильник — любовь Шармишты.

Больше я не боялся приближения к Шармиште. Нежно протянув к ней руки, я помог ей подняться и, коснувшись губами лба, сказал:

— Не тревожься, Шама. Божьей милостью, все уладится.

— Пуру станет прежним? — с робкой надеждой вопросила она.

Я засмеялся:

— Через миг он будет прежним!

— Не смейтесь надо мною, ваше величество! Что можно сделать? На Пуру напустили порчу.

— Ты права.

— Кто? Кто погубил моего мальчика? Премудрый Шукра? Мой сын спас принца Яду, но Деваяни все равно его не пощадила! Что делать, ваше величество, что мне делать?

— Успокойся, Шама, успокойся! Не плачь, вернется к Пуру молодость. Не Шукра виноват...

— Но кто же? Какой враг...

— Врага зовут Яяти.

Шармишта вздрогнула и отстранилась.

— Яяти зовут его. Я растоптал и отцовский долг, и человеческий. Шукра наслал старость на меня, а я — на Пуру. Я — гнусное чудовище. Я твой враг, я враг Пуру.

Шармишта смотрела на меня непонимающим взглядом, не веря моим словам. И оттого, что, и теряя последнюю надежду, Шармишта отказывалась верить в мою порочность, мне захотелось плакать. Каким величием исполнена душа человека, как сильна в ней вера в добро! Она живет добром, любовью, служением людям, дающим ей силу без страха встретить смерть. Лишь плотью человек слаб, душа его сильна.

За эти годы я растратил душу. Шармишта не только сберегла свою, ее душа окрепла в испытаниях. Мне же открыт один путь: я должен, не жалея ни о чем, пожертвовать собой во имя молодости Пуру и принять смерть в свои объятия с тем же предвкушением блаженства, с каким я принимал страсть, истощавшую мою душу.

Но Шармишта, осознавшая, что лишь ценой собственной жизни могу я возвратить Пуру молодость, обливаясь слезами, пала передо мной на колени:

— Я мать, король, я мать, но я ведь и жена! Мне нужны оба глаза, оба, не один!

Мое сердце согрелось от ее слов. Но прошло мое время принимать любовь, и пришло время возвращать полной мерой любовь.

— Уже очень поздно, Шама,— ответил я ей.— Мы поговорим утром. Обещаю тебе — Пуру станет прежним. До утра же я оставлю тебя с сыном. Ты вырастила великого мужа, способного на великие жертвы. Сейчас он нуждается в твоем утешении.

Я закрыл глаза и вызвал в памяти образ святого Шукры, повторяя про себя:

— Желаю возвратить моему сыну похищенную у него юность. Я готов принять смерть, премудрый Шукра.

Дважды произнеся эти слова, я почувствовал, как все вокруг пришло в движение, завертелось волчком. Мне хотелось бы в последний раз взглянуть на Шармишту, но нужно было договорить... Сквозь странный гул услышал я:

— Кача приехал...

Больше я ничего не помню.

Не знаю, долго ли я был в беспамятстве.

Когда я пришел в себя, как будто вечерело. Я услышал песнопение. Потом все смолкло. Кто-то приблизился ко мне. Я почувствовал на лбу сандаловую пасту. Я вгляделся — то был Кача.

Кача улыбнулся мне, но я не мог ответить, губы не слушались меня.

— Отдыхайте, король,— шепнул Кача, и снова все исчезло.

Я проснулся ранним утром. На востоке разливалась заря. Негромко звучал гимн Солнцу. У восточного окна Кача молился огненному шару, восходившему над землей.

— Лучами возносимый бог, склоняюсь пред тобой. Победоносный свет, разгоняющий мрак, склоняюсь пред тобой. Сила духа, побеждающая тьму желаний, склоняюсь пред тобой. Душа Вселенной, живущая и в человеке, и во всем живом, склоняюсь пред тобой. Огнетелый и огневласый, да движется вечно твоя колесница, да озарит твое сиянье глубины наших душ, как озаряет темные глубины ущелий и пещер, где рыщут хищные звери. Бог тысячи лучей, славлю тебя!

Кача приходил в мою опочивальню петь гимны каждое утро и каждый вечер. Для собственного удовольствия или для моего наставления — не знаю, но знаю, что мог слушать эти песнопения без конца. Они переносили меня в иной мир, где росли розы без шипов, где даже камни источали благоухание. Кача жил в этом мире и без устали повествовал о нем.

— Благоухание незримо, но человек обоняет его. Неизъяснимое благоухание исходит и от человеческой души,— говорил Кача.

— Желание смертоносно, но не плоть оно убивает, а душу,— говорил Кача.

— Орел, парящий в высоте, видит, как глубоки пропасти в горах, но подстерегающий его человек, разгоряченный погоней за удовольствиями, опасности не видит,— говорил Кача.

— Хочешь понять страх оленя, убегающего от охотника и падающего замертво? Отдай оленю лук и стрелы, а сам стань преследуемым животным.

— Научиться любить? Пусть станет твоим гуру океан, дерево, мать.

— Невозможно удовлетворить желание. Оно подобно жертвенному огню — чем больше жертвуешь, тем жарче пылает.

Я слушал поучения и песнопения Качи, и новая жизнь вливалась в меня. Придворный лекарь позволил мне вставать, беседовать с навещавшими меня. Среди них была Деваяни, которая, как и я, словно родилась заново. Деваяни выказывала добросердечие, какого я не знал за ней, и всячески старалась услужить мне. Было непонятно: Кача ли совершил это чудо преображения или события той ночи, последовательность которых я понемногу восстанавливал со слов Деваяни, Шармишты, Пуру, Яду.

...Я успел дважды повторить слова, предписанные святым Шукрой, но в третий раз не договорил их, лишившись чувств. Что было дальше?

Кача, много лет проведший в уединенной гималайской пещере, сосредоточением и отречением от земного достиг духовного совершенства, давшего ему могущество не меньшее, чем у Шукры. Кача сумел возвратить Пуру его молодость.

Я заметил, однако, что Кача неохотно говорит о тех обетах, которые дают люди святой жизни, дабы взрастить в себе особые способности. О своем могуществе Кача вообще не упоминал, поэтому я не решался расспрашивать его.

Однажды в беседе Кача сказал:

— Ваше величество, человек отличается от животного тем, что оценивает свои мысли и поступки, животному же это не дано. Одна-

ко, родившись людьми, мы не порвали цепь перерождений, связующую нас с животными, в нас живы слепые, звериные желания. Непозволительно осуждать гуру, но еще менее позволительно скрывать истину. Шукрачария достиг великой мудрости, но не постиг умения владеть собой. Шукра подвержен вспышкам гнева. Можно ли надеяться, что человек, не победивший в себе несдержанность, но получивший обетами могущество, всегда употребит его во благо? Познавший тайну сандживани Шукрачария вооружил ею асуров, и те пошли войной против богов. Асуры были готовы торжествовать победу, но я выведал их тайну и между враждующими сторонами установилось равновесие сил. Однако долго ли оно продолжится? Едва одна из сторон получит перевес — начнется новая война! Жизнь в постоянном ожидании войны отягчает дух, понуждая человека искать опоры в животной страсти выжить. Нет, для счастья всех людей необходимо, чтобы каждый умел управлять своими желаниями.

Беседы снова сблизили нас с Качей. Я понимал всю правоту его слов, я разделял его тревогу, но сомневался в том, что люди могут идти его крутым путем. И скорбел, что не в силах помочь другу.

Спустившись с гор, Кача услышал разговоры о том, как я живу в Ашокаване, и поспешил ко мне. В дороге его перехватил гонец от Деваяни с приглашением пожаловать на коронацию принца Яду. Это известие настолько встревожило Качу, что он решил отправиться прямо в Ашокаван.

Как вовремя он появился! Благодаря Каче я жив, а Пуру снова молод. Но это не все: приезд Качи спас меня от поступка, который был бы страшнее смерти.

Девушка, чьи волосы отливали чистым золотом...

Услышал бог последнюю мольбу погибающей Алаки, мольбу, исполненную любви к Яяти, несбывшегося желания служить Яяти. Ибо Алака снова родилась на свет в глухой деревне и возвратилась в Хастинапуру нареченной моего сына!

И Шармишта возвратилась в Хастинапуру. Шармишта с Алакой остановились в деревне близ столицы, надеясь получить известия о судьбе Пуру. Они боялись, что и Пуру взят в плен вместе с соратниками принца Яду; когда же пришли вести о счастливом спасении принца и его возвращении в Хастинапуру, набрались духу войти в столицу. Проснувшись в назначенное утро, Шармишта обнаружила, что Алака исчезла! От крестьян она узнала, что девушку видели на хастинапурской дороге, и бросилась вдогонку. Целый день Шармишта искала Алаку по всему городу, но так и не нашла. С тяжелым сердцем побрела Шармишта к городским воротам, где уже собралась ликующая толпа встречать принца Яду,— вдруг рядом с принцем увидела она Пуру! Шармишта едва поверила своим глазам.

— Слава принцу! — кричали в толпе.

— Слава спасителю принца!

— Слава герою!

Принц Яду ехал, положив руку на плечо Пуру. Толпа неистовствовала. Шармишту оттеснили в сторону. Она вначале надеялась дать сыну знак, но поняла, что он ее не увидит. Вокруг говорили, что принца и неизвестного героя ожидает королева, и Шармишту охватил страх: она не знала, открыл ли Пуру принцу свое происхождение? Как поступит королева, оберегая будущее сына: наградит его спасителя или расправится с претендентом на престол?

Шармишта бросилась ко дворцу и увидела, что принц со свитой скачут по дороге в Ашокаван.

Я вообразил, как моя бедная Шама, снедаемая страхом за сына, бежит ночью, одна, в Ашокаван... Счастливая звезда Яяти вовремя привела в мои покои и Шармишту и Качу!

Но лишь увидев Яяти, я понял, что на свете бывают не просто чудеса, но чудеса из чудес.

Яти приехал в Хастинапуру, как только до него дошли слухи о моей болезни. При виде старшего брата я попытался коснуться его ног, но Яти не дал мне подняться с постели, а, нагнувшись ко мне, крепко обнял. Я не мог надивиться: одичавший в лесах безумец и полный любви и сострадания аскет — неужели это один человек? О, если бы нас видела мать — своих сыновей, обнявших друг друга.

— Ты больше не покинешь Хастинапуру, Яти!

— Почему?

— Потому что, как старший в семье, ты должен по праву занять престол.

— На шкуре антилопы сидится лучше, чем на троне, Яяти. Попробуй — и ты убедишься.

Яти, разумеется, сказал это в шутку, но его слова заронили в мою душу семя, и семя начало прорастать.

Всю жизнь я был рабом моих страстей, и обезумевшие кони примчали на самый край пропасти мою колесницу. Настало время укротить их бег, отринуть страсти. Я принял решение уйти от мира, и Кача поддержал меня, а Шармишта пожелала быть со мной. От Шармишты я не ожидал иного, но когда и Деваяни сказала, что не расстанется с нами, я был потрясен.

Я думал, что Деваяни преобразилась от общения с Качей, который часто и подолгу беседовал с ней. Однако, полушутя спросив Качу, как удалось ему совершить это чудо, я услышал ответ, изумивший меня:

— Вы ошибаетесь, ваше величество. Я много лет пытался убедить Деваяни, что она идет губительным путем, но тщетно. Чудо случилось все в ту же ночь, но совершил его не я, а Пуру.

— Пуру?

— Вы предложили Пуру королевство в обмен на его молодость. Но едва молодость вернулась к Пуру, он простерся у ног Деваяни и сказал: принц Яду — старший из двух братьев, и трон принадлежит ему по праву первородства. Пуру заявил, что хочет быть не королем Хастинапуры, а преданным сыном и братом. Он поклялся в этом жизнью Шармишты.

Я узнал, что Деваяни была сражена великодушием Пуру. Обняв его, как сына, она сказала:

— Пусть король и подданные Хастинапуры изберут достойнейшего. Пуру, ты наградил меня сыновней преданностью, которая дороже всех королевств мира. Я должна коснуться ног Шармишты, вырастившей сына, способного так отважно любить и жертвовать собой. Если бы с детства я была научена любить и ставить долг превыше всего, жизнь моя была бы иной. Я хочу учиться у тебя, Пуру. Ты отдал молодость отцу, уступил престол брату. Я желала бы лишь одного — уметь быть такой, как ты!

Что было дальше? Мое повествование близится к концу.

Хотя и отказался Пуру от престола, но народ Хастинапуры потребовал, чтоб он стал королем. Поражение, понесенное принцем Яду в битве против дасью, не было забыто, ходили слухи о новом вторжении, и Хастинапура нуждалась в сильном правителе. Народ желал Пуру, и Деваяни не перечила народной воле.

В день коронации Пуру мы собрались в дорогу. Когда обряд был завершен, Кача спросил нас, готовы ли мы уйти от мирских дел.

Деваяни и Шармишта в один голос ответили, что готовы.

— Ваше величество? — обратился Кача ко мне.

— Я больше не король. Просто Яяти. Но я хотел бы закончить еще два дела.

— Какие же, Яяти?

— Мать Мадхава стара и одинока. Я хотел бы забрать ее с собой и позаботиться о ней. И еще... И еще я хотел бы без утайки поведать людям обо всем, что с нами было.

Пришел Пуру проститься с нами и испросить последнее благословение.

— Да прославишь ты наш род в веках и доблестью своей, и праведностью,— сказал я сыну.

— Что сделать для вас, ваше величество?

— Я больше не король.

— Что сделать для тебя, отец?

— Я больше не глава семьи. Не отец, не муж, не брат. Отрекшийся от мира не знает семейных уз. Запомни, Пуру, в благоденствии или в беде — всегда следуй своему долгу. Жизнь прекрасна и в ней много радостей. Не отвергай их, ибо они — жизнь, но помни, что рука долга должна крепко держать поводья желаний.

О человек, несбыточны твои желанья.
Они как жертвенный огонь — чем больше
отдаешь огню,
тем жарче он пылает.

■

Антирубрика

СЬЮ ТАУНСЕНД

ТЯЖКОЕ ОТРОЧЕСТВО АДРИАНА МОУЛА

Фрагменты романа

Перевод с английского ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

Воскресенье, 4 апреля.

Папа решил принять участие в войне с Аргентиной. Послал в министерство обороны телеграмму следующего содержания: «Квалифицированный специалист по отопительным системам точка отменное морально-физическое состояние точка предлагает себя служения родине точка готов немедленной мобилизации».

Мама говорит, папа готов на что угодно, лишь бы увильнуть от Управления трудовых ресурсов и расчистки берега канала.

За чаем искал на карте мира Фолклендские острова, но все впустую. Потом острова нашла мама: их закрыла крошка фруктового кекса.

Неловко писать о личных горестях в момент национального кризиса, но с тех пор, как вчера к носу приклеилась модель самолета, невыносимо страдаю. Нос раздулся так, что я весь испереживался, как бы он не лопнул и через него не вытекли мозги.

Позвонил в травматологию, там почему-то долго хохотали, потом трубку взяла сестра, которая отклеивала меня от модели. Сказала: «Аллергия, должно быть, на клей», опухоль, мол, через пару дней спадет. И добавила: «Надеюсь, это отучит вас впредь его нюхать».

Я пытался объясниться, но она уже положила трубку.

Заходила Пандора, но я уклонился от встречи. Стоит ей увидеть мой кошмарный нос — и между нами все кончено.

Понедельник, 5 апреля.

Везет как утопленнику! Первый день каникул, а носа из дому показать не могу, до того он распух. Даже мама и та забеспокоилась. Хотела проколоть нос стерильной иглой, да я не позволил. Ей ровной стежки на заплатку не положить, куда уж там доверять иглу для тонких хирур-

© 1984, Sue Townsend

гических операций! Умолял отвести меня к платному специалисту, но мама ни в какую. Говорит, самой деньги нужны на осмотр у гинеколога. Тьфу, одно слово!

Наш пес влюбился в Митци. Она — кокер-спаниель. Шансов у пса никаких: а) не породистый, б) не следит за собой, как все нормальные псы. Пытался втолковать ему это, но он лишь грустно и тоскливо посмотрел на меня и снова улегся под калиткой Митци. Любовь — это вам не фунт изюму. Ведь у меня с Пандорой те же проблемы, что и у пса с Митци: оба занимаем более низкое социальное положение, чем наши возлюбленные.

Вторник, 6 апреля.

Стране объявлено, что Британия с Аргентиной не воюет, но находится в состоянии конфликта.

Читаю «Сенсацию» какой-то тетки по имени Ивлин Во.

Среда, 7 апреля.

Написал и послал Пандоре любовное письмо и стихотворение. Письмо гласит:

Пандора, любовь моя! Из-за злосчастного недомогания не могу увидеться с тобой лично, но всеми фибрами души жажду немедленной встречи. Преисполнись терпения, любовь моя, и вскоре мы снова засмеемся вместе.

Твой вечно любящий Адриан.

P. S. Как ты оцениваешь конфликт с Аргентиной, особенно в свете отставки лорда Каррингтона?

Стихотворение:

Мятущийся тунец

Я — тунец,
Сквозь океан недовольства плывущий.
О, когда же, о когда
Достигну я нерестовых вод?

Надеюсь, стихотворение проймет Пандору и она ощутит весь символизм строки о «нерестовых водах». Осточертело ведь оставаться единственным девственником в классе. Все, кроме меня, уже набрались опыта. Барри Кент только и знает, что заливать, сколько он перетрахал домохозяек, развозя с отцом молоко. Поэтому, говорит, и в школу вечно опаздывает.

Четверг, 8 апреля.

Великий четверг[1]. *Полнолуние.*

Опухоль на носу малость спала.

Мама вернулась от гинеколога в скверном расположении духа.

Пятница, 9 апреля.

Великая пятница[2].

Барри Кент распространяет злостные слухи, будто я пристрастился к нюханью клея настолько, что уже не могу остановиться. Его тетка — уборщица в больнице — раззвонила про приклеевшийся самолет на всю округу. Это же черт-те что! Позволять уборщицам раскрывать тайны пациентов! Да их надо заставлять приносить клятву Гиппократа, как врачей и сестер.

[1] Четверг на страстной неделе. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Пятница на страстной неделе, выходной день.

Маме все обрыдло. Только и знает, что сидеть в четырех стенах, вздыхать и курить. По второй программе Би-би-си показывали, как во Франции принимают роды в бассейне, жуть до чего интересно (а эротично!), но мама тут же переключила телик на другую программу, а в ответ на мои протесты завопила:

— Катился бы ты к себе и сидел, надувшись, взаперти, как нормальный подросток!

Папа обескуражен маминым поведением не меньше меня. У нее это началось после визита к гинекологу. Уж не заболела ли чем?

Суббота, 10 апреля.

Берта выставили из клуба Британского легиона — он сказал, что Фолкленды принадлежат Аргентине. Берту наплевать, он и ходил-то туда только из-за скидки на пиво.

Заявилась бабушка — проверить, нет ли у нас в доме аргентинской солонины. Мы выдержали проверку — нашу солонину обеспечили бразильские коровы.

У бабушки странный блеск в глазах. Мама говорит, это называется джингоизм, но, по-моему, больше похоже на начинающиеся катаракты. Мы проходили их по биологии в прошлом полугодии, поэтому я знаю, что говорю.

Понедельник, 12 апреля.
Второй день Пасхи.

Мама, похоже, сходит с салазок. Ведет себя еще странней обычного. Пришла менять мне простыни, а когда я попросил не стряхивать пепел на мою карту Фолклендской кампании, взорвалась:

— Господи, Адриан, да у тебя не комната, а просто храм какой-то, черт его побери! Хоть бы раз бросил шмотки на пол, как *нормальный* подросток!

Я ответил, что люблю аккуратность.

— Сдвинулся ты совсем на своей трехклятой аккуратности! — рявкнула мама и ушла.

Они с папой вечно ссорятся из-за их комнаты. На папиной половине все вылизано, зато мамина захламлена до омерзения: переполненные пепельницы, пожелтевшие журналы, книги, груды белья на полу. Ее полки вечно забиты всякой лажей из комиссионок: однорукие статуэтки, выщербленные вазы, вонючие старые брошюрки — черт ногу сломит. Прямо жаль папу — каково ему в одной комнате с ней! У него-то на полках лишь справочник Автомобильной ассоциации да фотография мамы в подвенечном платье. Другой такой невесты, у которой из ноздрей валит табачный дым, в жизни не видал.

Не понимаю, как папу угораздило на ней жениться!

Вторник, 13 апреля.

После «Перекрестка»[1] спросил папу, почему он женился на маме. Тут-то и разверзлись шлюзы! Вылились наружу все пятнадцать лет неприязни и огорчений.

— Никогда не повторяй моей ошибки, Адриан,— сказал папа.— Не позволяй телу женщины застить тебе ее склонности и характер.

[1] Многосерийный телефильм о жизни постояльцев и персонала мотеля в одном из графств Англии.

Он объяснил, что познакомился с мамой, когда в моду вошли мини-юбки. А у мамы были тогда великолепные ноги.

— Пойми,— объяснял папа,— по большей части женщины в мини-юбках просто казались уродинами, а твоя мать выделялась на их фоне как нечто диковинное.

Такой сексизм меня шокировал. Я заявил, что люблю Пандору за ее ум и сострадание к менее одаренным смертным. Папа гнусно рассмеялся:

— Ну конечно! Будь Пандора страшна как смертный грех, ты и внимания бы не обратил ни на ее ум, ни на сострадательное сердце!

Он завершил наш первый мужской разговор следующими словами:

— Послушай, малыш, даже и не думай жениться, пока не проживешь со своей цыпочкой под одной крышей хотя бы пару месяцев. Как только заметишь, что у нее больше трех дней кряду валяется на полу грязное белье — тут же делай ноги.

Среда, 14 апреля.

Приходила хозяйка Митци попросить маму не подпускать к ее собачке нашего пса. Мама ответила: пес живет в либеральной семье, и ему позволено шляться где угодно.

Хозяйка Митци, некая миссис Кармайкл, пригрозила: если наш пес «не перестанет приставать к Митци», она будет вынуждена заявить на него в полицию. Мама расхохоталась и предложила ей сразу обратиться за соответствующим постановлением в Верховный суд.

Полчаса спустя явился мистер Кармайкл. Объяснил, что готовит Митци на выставку «Крафтс»[1], поэтому ей противопоказаны стрессы. Мама ответила:

— У меня и так дел по горло, буду я еще тратить время на треп о романе кокера с дворняжкой.

Я-то надеялся, она примется готовить ужин, да какое там! Засела на кухне читать от корки до корки «Гардиан», и пришлось мне снова открывать банку с консервами из тунца.

Четверг, 15 апреля.

Проснулся в 4 утра от зверской зубной боли. Принял шесть таблеток детского аспирина. В 5 утра разбудил родителей, поведал о своих муках.

— Сам черт тебя подери, виноват! — ответил папа.— Три раза пропустил осмотр у зубного.

В 5.30 попросил папу отвезти меня в больницу. Он отказался и перевернулся на другой бок. Ему-то хорошо, у него своих зубов ни одного не осталось. Я сидел, весь в агонии, и наблюдал рассвет. Счастливые беззубые птицы завели свои гнусные трели, а я поклялся, что отныне хожу к зубному четыре раза в год независимо от того, болят зубы или нет.

В 9.00 мама разбудила меня и сказала, что записала на прием в зубной неотложке. Я ответил, что боль прошла, и велел отменить запись.

Пятница, 16 апреля.
Последняя четверть Луны.

Проснулся в три утра от жуткого приступа зубной боли. Пытался молчаливо терпеть, но мои преисполненные мук рыдания достигли, видимо, родительской спальни, потому что ко мне ворвался папа и попросил заткнуться. Никакого сочувствия не проявил, только ныл и стонал, как, мол, утром пойдет на канал работать, если не выспится. Ложась в постель, он поскользнулся на журнале, брошенный мамой на пол с ее стороны кровати. Папина ругань разбудила пса. Затем проснулась мама. Затем завелись вонючки-птицы. Итак, мне снова довелось наблюдать, как серые пальцы рассвета постепенно свертывают ночь.

Суббота, 17 апреля.

Все еще в постели и с приступом зубной боли.

От родителей — никакого сочувствия. Знай, твердят: «К врачу надо было ходить». Позвонил Пандоре. Завтра навестит. Спросила, не нужно ли чего. Шоколадку, говорю, неплохо бы. Она ответила (как мне показалось, весьма раздраженно):

— О господи, Адриан, у тебя же и так все зубы сгнили!

Пес весь день воет у калитки Митци. И ничего не жрет.

Понедельник, 19 апреля.

Сегодня на обществоведении был клевый диспут. Про Фолкленды. Пандора внесла резолюцию: «Наш класс осуждает применение силы для удержания Фолклендских островов». Для разнообразия диспут прошел вполне на уровне. Я произнес блестящую речь в поддержку резолюции. Цитировал «Скотный двор»[1] и «Гроздья гнева». Сорвал вполне приличные аплодисменты.

Барри Кент выступил против нашего проекта резолюции. Сказал:

— Я... это... сдается мне... нам, значит... это... пора, значит, садануть бомбой прямо по этой... по Аргентине, вот!

Он процитировал своего отца и сел на место под гром овации — класс аплодировал стоя!

В 14.30 к зубному. Вот ведь невезуха!

16.00. Лишился переднего зуба! Этот кретин-австралиец выдернул его вместо того, чтобы запломбировать! Еще хватило наглости завернуть зуб в обрывок салфетки и вручить мне на память! Я спросил, вырастет ли у меня новый зуб. «Чертовы олухи-англичашки»,— буркнул врач, но на вопрос не ответил.

Когда я, шатаясь и сжав рукой замороженную челюсть, покидал кабинет, он сказал, что часто видит, как, возвращаясь домой из школы, я жую шоколад. Так что, если к тридцати останусь беззубым, сам, мол, виноват.

Впредь буду возвращаться из школы другой дорогой.

Вторник, 20 апреля.

Рожа у меня теперь — хоть на плакат «Их разыскивает полиция». Ни дать ни взять — закоренелый убийца. Мама до чертиков разозлилась на врача, написала ему письмо, требуя бесплатно поставить мне протез.

В школе чистый кошмар: Барри Кент прозвал меня «крот беззубый»[2], и все вслед

[1] Крупнейшая ежегодная выставка собак в зале «Олимпия» в Лондоне.

[1] Роман английского писателя Д. Оруэлла, написанный в 1945 году.

[2] Mole — крот *(англ.)*.

за ним попугайничают. Пандора и та держится с прохладцей. Послал ей на физике записку с вопросом, любит ли она еще меня. Получил ответ: «Люблю и буду любить, пока Гибралтар остается английским».

Среда, 21 апреля.

Только что сообщили по радио: Испания требует возвращения Гибралтара.

Четверг, 22 апреля.

Утром никак не мог решиться идти в школу из-за дырки во рту. Встал только в 12.45. Попросил маму написать в школу оправдательную записку. Отдал ее миссис Фоссингтон-Гор. Та прочла ее и гневно сказала:

— По крайней мере, твоя мать честна. Не лжет, как обычно почти все родители.— И протянула записку мне:

Уважаемая миссис Фоссингтон-Гор!

Адриан не явился утром в школу, потому что валялся в постели до 12.45.

С уважением
миссис Полина Моул.

В будущем попрошу писать записки папу. Он прирожденный лжец.

Понедельник, 26 апреля.

Таинственный разговор! Мама: «Джордж, результат положительный». Папа: «Господи, Полина, в моем возрасте больше не выдержать этих ночных бдений!»

Не иначе как мама предъявляет папе чрезмерные сексуальные притязания.

Среда, 28 апреля.

К нам сегодня заявилась Глиста Сушеная (она же Дорин Слейтер). Я не видел ее с тех пор, как папа с ней завязал. Она часто дышала, и глаза ее странно блестели. Когда папа подошел к двери, она ничего не сказала, лишь распахнула пальто (она несколько округлилась), крикнула: «Думаю, ты должен знать, Джордж», повернулась и убежала по садовой дорожке.

Папа ничего не ответил. Только прислонился к перилам, будто сразу ослаб.

— Хорошо выглядит, правда? — сказал я.

— Просто цветет,— буркнул папа, потом натянул пальто и ринулся вслед за ней.

Минут пять спустя вернулась мама с занятий по системе Джейн Фонды, на которые ходит в общественный центр. Мама была очень собой довольна — ей удалось преодолеть болевой барьер.

— Джордж! — позвала она, обошла все комнаты и спросила:— Когда ты в последний раз видел отца?

Я промолчал. Мама приходит в ярость, если при ней помянуть Глисту Сушеную.

Пятница, 30 апреля.

Первая четверть Луны.

Родители выдувают целую бутылку водки в неделю! То и дело лезут в холодильник за льдом, режут лимон и бегают в лавку за тоником. Плохой признак. Что-то будет.

Воскресенье, 2 мая.

Заходил к Нигелу, услышал ошеломляющую новость: его родители хотят эмигрировать в Австралию! Да как может англичанин пожелать жить за границей? Иностранцы вынуждены жить за границей, потому что там родились, но англичанину-то уезжать за границу просто смешно, особенно теперь, когда купить кварцевую лампу для искусственного загара — пара пустяков.

Нигел со мной согласен. Просится к нам. Предупредил его о нашем низком жизненном уровне, но он намерен захватить с собой все необходимое для нормального существования.

Среда, 5 мая.

Странный телефонный звонок! Забренчал телефон, я снял трубку и не успел рта раскрыть, как красивый женский голос произнес:

— С вами говорят из частной клиники. Вы записаны на прием на 14.00 в пятницу. Вас устраивает это время, миссис Моул?

— Да,— фальцетом ответил я.

— Вам придется провести у нас два часа. За это время вас примут два врача и консультант, обладающий большим опытом в области вашей конкретной проблемы,— говорила она как автомат.

— Спасибо,— пискнул я в ответ.

Женщина продолжала:

— Прошу вас принести мочу на анализ, совсем немного, пожалуйста, а не целую трехлитровую банку.

— Хорошо,— проскрипел я.

— И пожалуйста, не огорчайтесь, миссис Моул,— слащаво вещала женщина,— мы здесь для того, чтобы помочь вам.— Затем добавила:— Не забудьте, пожалуйста, об оплате. Первая консультация — сорок два фунта.

— Нет! — прошептал я.

— Итак, пятница, 14.00. Прошу не опаздывать.— И она повесила трубку.

Что за дела? Мама вроде на здоровье не жаловалась. Так что же у нее за конкретная проблема такая? И что это за частная клиника?

Четверг, 6 мая.

Сегодня какая-то клюшка бубнила по четвертой программе, как нажила миллионы на романтической литературе. Женщины, говорит, больше всего любят книги о врачах, мастаках по части электроники и всяких подобных типах. Я тоже решил попробовать. А чего — миллион фунтов на дороге не валяется. Автор романтической литературы, говорит, должен обладать значимым именем, посему после долгих размышлений решил взять себе псевдоним — Адриена Шторм. Уже накатал первые полстраницы романа:

Адриена Шторм

Тоска по Уолверхэмптону

Джейсон Уэстморленд обвел террасу циничным взглядом своих глаз, в которых плясали искорки меди. Ему осточертел Капри. Душа рвалась в Уолверхэмптон.

Хрустнув оставшимися пальцами, он тщательно их осмотрел. Несчастный случай с цепной пилой положил конец его блестящей карьере в электронике. Микрочипы навсегда ушли из его жизни, и нечем было заполнить зияющую пустоту. Он пытался забыться в путешествиях и поисках удовольствий, но ничто не могло вычеркнуть из его памяти Гардению Фезертон, девственную пластическую хирургиню из больницы св. Бупа в Уолверхэмптоне.

Джейсон грустил, глотая громадные градины слез...

Пятница, 7 мая.

Сегодня вечером в машине по пути в универсам «Сейнсбери» родители заспорили о феминизме. Папа заметил, что с тех пор, как мама начала работать над развитием самосознания, у нее на два дюйма уменьшился объем груди.

— При чем здесь моя грудь? — вспылила мама. Затем после паузы добавила:— Ты не находишь, что я выросла как личность, Джордж?

— Напротив, Полина,— ответил папа, ты стала намного короче, перестав носить высокие каблуки.

Мы с папой бурно расхохотались, но тут же прикусили языки, потому что мама окинула нас взглядом, от которого мурашки поползли. Это она умеет. Потом уставилась в окно. В глазах ее блеснули слезы. Снова посмотрев на меня, мама вздохнула:

— Жаль, у меня нет дочери, хоть было бы с кем поговорить.

— Слишком рискованно заводить второго ребенка — вдруг выйдет еще один такой, как Адриан,— возразил папа.

И тут они пошли вспоминать меня в младенчестве.

— Это все чертов доктор Спок виноват, что Адриан вырос таким,— сказала мама.

— Каким — «таким»? — поинтересовался я.

— Который только задницей и берет,— буркнула мама, а папа добавил:— Прижимистым, вечно причесанным и вечно носом в книжку.

От пережитого потрясения у меня отнялся было язык, но, всеми силами пытаясь говорить звучно и непринужденно (а это нелегко, когда стрелы укоров бьют прямо в сердце), я спросил:

— А какого сына вы бы хотели?

Они отвечали мне всю дорогу до «Сейнсбери», все время, что мы стояли в кассу и шли обратно на многоярусную автостоянку.

Папе идеальный сын представлялся прирожденным спортсменом, общительным и жизнерадостным. Он был способным лингвистом, рослым малым с румянцем во всю щеку и чистой, здоровой кожей. Перед дамами он снимал шляпу. Ездил с отцом на рыбалку и любил с ним перешучиваться. Был на все руки мастер и обожал возиться с дедовыми часами. Мог претендовать на офицерский чин, голосовал бы за консерваторов и женился бы на девушке из хорошей семьи. Основал бы собственное компьютерное дело в Гилдфорде.

Маме же идеальный сын представлялся пылким, чувствительным, но глубоко сдержанным. Он учился бы в школе для вундеркиндов. С младых ногтей привлекал бы внимание женщин и восхищал гостей остроумным разговором. Был бы изыскан в одежде и абсолютно лишен расовых, половых и возрастных предрассудков. (Его лучшим другом была бы престарелая африканка.) Получив стипендию в Оксфорде, взял бы его бурей и натиском, о чем писали бы в его будущих биографиях. Отказавшись от гарантированного места в британском парламенте, уехал бы в Южную Африку, где возглавил бы успешную негритянскую революцию. Затем, вернувшись в Англию, стал бы первым мужчиной, удостоенным чести редактировать женский журнал. Вращался бы в самых изысканных светских кругах и всюду брал бы с собой мамочку.

Когда оба выговорились, я сказал:

— Что ж, сожалею, если вас разочаровал.

— Это не ты виноват, Адриан,— пояснила мама.— Это мы сами виноваты. Надо было назвать тебя «Брет»!!!

Суббота, 8 мая.

Испытывая острую необходимость исповедаться кому-нибудь в терзающем меня чувстве неполноценности (которое еще больше истерзало меня ночью, когда я мучился бессонницей и думал о Брете Моуле, несостоявшемся сыне моих родителей), отправился к бабушке. Бабушка показала мне мои младенческие фотографии. Должен признать, в младенчестве я действительно выглядел чуток гротескно: до двух лет оставался лыс, как коленка, и все строил свирепые рожи. Теперь понимаю, почему мама не держит на телевизоре мое цветное фото в золоченой рамке, как другие мамы.

Но я все равно рад, что зашел к бабушке,— она меня считает кругом безупречным. Рассказал ей о Брете Моуле, несостоявшемся сыне моих родителей.

— По-моему, просто отвратительный малый,— фыркнула бабушка.— Слава богу, ты не таким вырос.

У бабушки вступило в плечо. Приступ артрита. Она сняла платье, я побрызгал ее болеутоляющим спреем. Бабкин корсет похож на парашютные лямки. Спросил, как она ухитряется влезать и вылезать из него. Говорит — все дело в самодисциплине. По ее мнению, Англия начала страдать бесхребетностью с тех пор, как корсеты вышли из моды.

Вторник, 11 мая.

Сегодня по биологии проходили диабет. Мистер Дугер учил определять сахар в крови по анализу мочи. Это напомнило мне, что я забыл сказать маме о приеме назначенном ей в клинике. Ну, да бог с ним, вряд ли это так уж важно.

Вторник, 18 мая.

Сегодня в библиотеке наткнулся на Глисту Сушеную. С ней был ее сын, Максвелл Хауз. Для такой тощей швабры она что-то показалась толстоватой.

Максвелл сбрасывал с полок книги, пока мы с Глистой вспоминали былое, когда она состояла у отца в подругах. Я сказал, что ей повезло от него отделаться, но Глиста защищала папу. Говорит:

— Когда он со мной, он совсем другой. Такой милый и ласковый.

Ну-ну, точь-в-точь как доктор Джекиль[1]. Взял в библиотеке «Положение рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса.

23.30. До меня только что дошло, что, говоря о своих отношениях с моим отцом, Глиста Сушеная употребляла настоящее время. Какой позор! Тридцатилетняя женщина, а не знает элементарных правил грамматики!

[1] Персонаж философско-психологического романа Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда».

Пятница, 21 мая.

Слушал «Арчеров»[1], а мама вдруг спросила, не грустно ли мне быть единственным ребенком в семье. Совсем, говорю, наоборот. Мне так больше нравится.

Суббота, 22 мая.

Папа только что спросил, не хотел бы я братика или сестричку. Ни брата, говорю, не хочу, ни сестры. Какого фига родители привязались ко мне с этой чухней насчет детей? Надеюсь, им не взбрело в голову кого-нибудь усыновить. Родители они никудышные. Взять хоть меня — я ж у них полный неврастеник.

Среда, 26 мая.

Мама беременна! Моя мама!!!

Как она могла подложить мне такую свинью?! Меня же засмеют в школе! Она уже на третьем месяце, значит, к ноябрю в доме появится младенец. Надеюсь, от меня не потребуют делить с ним комнату. Нет уж, фиг меня заставишь вставать кормить его по ночам.

Родители даже и не вздумали меня подготовить. Мы ели спагетти с гренками, и вдруг папа сказал как ни в чем ни бывало:

— Да, кстати, Адриан, можешь поздравить мамочку, она на третьем месяце.

Поздравить! А мне через два года в колледж поступать! Как, интересно, прикажете готовиться, когда из-за малыша все в доме будет вверх дном?

22.00. Поцеловал бедную маму, пожелал ей спокойной ночи. Она спросила:

— Ты рад, что у нас будет маленький, Адриан?

Соврал, что рад.

Четверг, 10 июня.

Глиста Сушеная беременна!

Я ее видел сегодня в кооперативном магазине. Максвелл Хауз устроил жуткий тарарам у кассы, поэтому я был избавлен от необходимости общаться с ней. Бедняжка очень жалко выглядит. Однако так ей и надо, пусть не заводит случайных связей. Интересно, кто отец?

Пятница, 11 июня.

Папе осточертело надзирать за работами по расчистке берега канала. Говорит, не успеют его ребята — Боз, Баз, Маз, Даз и Газ — расчистить клочок, как тут же припрется ночью какой-нибудь жлоб и загадит его накопившимся за месяц мусором.

Папина бригада начинает утрачивать моральный дух. Я предложил ввести ночные дежурства, но папа ответил, что шайке прыщавых школьников нипочем не заставить человека тащить обратно старый матрац, если он волок его за триста ярдов, чтобы выбросить на берегу канала.

Суббота, 12 июня.

Снова написал в Би-би-си мистеру Тайдеману, послал ему еще одно стихотворение. Выбрал темой Норвегию, поскольку я большой знаток норвежской кожевенной промышленности.

Уважаемый мистер Тайдеман!
Сумел выкроить минутку, черкнуть Вам письмо, а заодно послать новое стихотворение «Норвегия». Оно (стихотворение) написано в русле модернистской школы, иными словами, в нем нет цветов, всего такого прочего и рифмы. Если не поймете, то найдите, пожалуйста, кого-нибудь, чтоб вам растолковал. Сойдет любой поэт-модернист.

С уважением
Адриан Моул (15,5 лет).

Норвегия.

Норвегия! Страна труднейшей орфографии.
Ты прячешь свою красу за страннозвучными гласными.
Земля долгих ночей, коротких дней и точечек над буквой «о».
Задумчиво жующие ягель величественные олени
Осторожно ступают по льду замерзших рек —
Им памятна судьба «Титаника».
Настанет день, и я ринусь к твоим берегам.
Я живу в сердце Англии.
Но!
Норвегия! Душа моя покоится в твоих Полноводных фуордах-фьердах фиордах Заливах.

Воскресенье, 13 июня.

Провел день у бабушки, читал «Ньюс оф уорлд» и для разнообразия поел по-человечески: жареная баранина с мятным соусом, бабушка делает его из мяты, которая растет в горшке на окне. Бабушка хочет внучку. Говорит, девочек можно красиво одевать. Уже связала оранжевую кофточку и вяжет носочки.

Сказала, что выбрала нейтральный цвет «на всякий случай». А я с отчаянием жду дня, когда в этих носочках появятся ножки.

Понедельник, 14 июня.

Последняя четверть Луны.

У нас новый почтальон — Кортни Эллиот. Мы знаем его имя, потому что он зашел представиться. Совсем необычный почтальон — с серым форменным костюмом носит кружевную рубашку и галстук бабочкой в красный горошек. Он напросился на кухню и пожелал представиться псу. Когда пса втащили через черный ход, Кортни взглянул ему в глаза и сказал: «Приветствую тебя, дружище, рад познакомиться». Пес тут же подставил ему чесать брюхо. Кортни отказался от растворимого кофе, объяснил, что пьет только свежемолотый бразильский.

Четверг, 17 июня.

Только что обнаружил следующую записку на дне маминой хозяйственной сумки:

За	Против
Может, будет девочка	Утрата независимости
Прибавят пособия на семью	Джордж не хочет Месяцами выглядеть бочкой
	Схватки (боль)
	Адриан — безусловно ревность
	Пес начнет взбрыкивать
	В мои 37 — не поздновато ли?
	Расширение вен
	А вдруг опять мальчишка?

[1] Популярная ежедневная радиопередача Би-би-си о жизни вымышленной деревенской семьи. Имеет свыше трех миллионов слушателей.

Пятница, 18 июня.

За завтраком изображал восторги по поводу предстоящего появления малыша. Спросил маму, выбрала ли она уже имя. Мама ответила:

— Да. Я назову ее Кристабель.

Кристабель! Ну и имечко! Прямо как из «Питера Пена». Где это слыхано, чтоб кого-нибудь теперь так называли! Вот бедолага.

Суббота, 19 июня.

Ездили с Нигелом кататься на великах, горя желанием найти где-нибудь в окрестностях уголок первозданной природы, слиться с ней и все такое. Черт-те сколько жали на педали, но все окрестные поля и леса огорожены колючей проволокой, а вокруг сплошные надписи: «Посторонним вход воспрещен». Так что природу мы только издалека и видели.

На обратном пути вели философскую дискуссию насчет войны. Нигел на ней прямо сдвинулся. Жаждет идти в армию. Жизнь там, говорит, первый сорт, а на гражданку вернется со специальностью.

«Наемного убийцы»,— подумал я, но вслух ничего не сказал. Большинство курсантов военных училищ, которых я знаю, забывают, что настоящим солдатам приходится убивать.

Воскресенье, 27 июня.

Не могу больше ломать эту комедию с воскресными посещениями церкви. Придется объявить бабушке, что я стал агностическим атеистом. Если Бог есть, то Он (или Она) должен знать, что я — лицемер. А если Бога нет, то какая разница?

Понедельник, 28 июня.
Первая четверть Луны.

Когда пришел из школы, позвонил Берт, прокашлял, что служба социального обеспечения установила ему телефон. Он уже звонил одной из своих дочек в Мельбурн (Австралия), а Квини звонила своему старшему сыну в Онтарио (Канада). Потом они набирали номера «пластинки по телефону» [1], кулинарной, справочной, бюро погоды и предвкушали теперь вечернюю сказку по телефону, на которую тоже есть номер.

Я напомнил Берту, что за каждый звонок придется платить, но он только расхохотался своим хрипучим смехом:

— Да я откину копыта раньше, чем мне успеют прислать счет (Берту под девяносто).

Вторник, 29 июня.

Как всегда, перед самым отдыхом разгорелся спор, куда ехать. Папа заявил:

— Едем, пожалуй, в последний раз. Следующим-то летом будем с малышом.

Мама жутко взбеленилась — ребенок, мол, ее свободе не помеха. Захочет, говорит, так следующим летом привяжет ребенка за спину и полезет хоть на Гиндукуш.

Какой там Гиндукуш! Заставь ее пройтись пехом до автобусной остановки и то разноется.

Я предложил поехать в Озерный край [2]. Хочу посмотреть, может быть, жизнь на озерах повлияет на мое поэтическое творчество.

Папа предложил Скегнесс. Мама предложила Грецию. Поскольку прийти к согласию оказалось невозможным, мы написали каждый свои предложения на обрывках старых магазинных чеков и побросали их в соусник. Но друг другу доверять мы не могли, и мама позвала тянуть жребий миссис Сингх.

Пришли миссис Сингх и все маленькие сингхята и потопали на кухню. Миссис Сингх спросила:

— Зачем такие сложности, миссис Моул? Неужели ваш муж не может решить, куда ехать?

Мама объяснила, что в нашем доме мистер Моул не занимает руководящего положения. На лице миссис Сингх отразился ужас, но жребий она вытащила. «Скегнесс». Вот невезуха!

Миссис Сингх извинилась и ушла — ей пора было готовить мужу обед. Я заметил, как папа с мечтательной грустью глядел на ее удаляющееся красивое сари и украшенные каменьями сандалии. Потом он тоскливо перевел взгляд на маму в комбинезоне и высоких сапогах.

— Несчастная забитая баба,— сказала мама.

— Да,— со вздохом ответил папа.

Среда, 30 июня.

Мама хочет переезжать. Хочет продать дом, в котором я прожил всю свою жизнь. Говорит, нам теперь понадобится больше места «для новорожденной». Что за чушь! Разве новорожденным много нужно? Они всего-то двадцать один дюйм длиной.

Понедельник, 5 июля.

Квини в больнице. Говорить не может. Вроде в сознании, но не владеет мышцами рта. Мама весь день у Берта — убирает и стряпает. Папа будет ежедневно заходить к нему по дороге с канала. Я обещал по утрам и вечерам выводить его страшилу Саблю.

Вторник, 6 июля.
Полнолуние.

Приходила проведать Берта Кейти Бел, его куратор из социального обеспечения. Хочет временно поместить его в дом для престарелых.

— Лучше прямо в могилу, чем в этот морг,— заявил Берт.

Завтра Кейти Бел придет к нам. Берт ей соврал, что мы с родителями обеспечиваем ему круглосуточный уход. Она хочет проверить. Квини по-прежнему плоха.

Среда, 7 июля.

Странная тетка Кейти Бел. Манерой говорить (да и внешностью) чем-то смахивает на Рика Лемона из молодежного клуба. Ходит в джинсах и куртке, волосы сальные и длинные, расчесаны на пробор. Нос у нее длинный и острый (оттого, что все время лезет в чужие дела, как сказал папа). Сидела у нас в гостиной, одной рукой мяла сигарету, другой — делала записи в блокноте. Говорит, Берт упрям и страдает легкой формой старческого слабоумия, ему, мол, нужен психиатр. Мама как взбеленится и как заорет:

— Сиделка круглосуточная ему нужна и больше никто, ясно?

---

[1] При наборе номера включается запись поп-музыки.

[2] Живописный район гор и озер на северо-западе Англии, давший имя литературному содружеству поэтов-романтиков начала XIX века, живших там. В число поэтов «Озерной школы» входили У. Вордсворт, С. Колридж, Р. Саути.

Покраснев, Кейти Бел ответила:

— На круглосуточный уход у нас нет денег.

— Сколько стоит пребывание в доме для престарелых? — поинтересовался папа.

— Двести фунтов в неделю,— ответила Кейти Бел.

— Дайте мне две сотни в неделю,— завопил папа,— и я сам перееду к старому хрычу ухаживать за ним!

— Я же не могу перераспределять фонды, мистер Моул,— ответила Кейти Бел. И, уходя, добавила: — Мне ведь система нравится не больше вашего. Я знаю, что она прогнила до вони, но я-то что могу?

— Можете вымыть голову, милочка,— посоветовала мама.— Вам же лучше, если грязные волосы перестанут лезть в лицо.

Суббота, 10 июля.

Папа повез Берта навестить Квини, так что мне пришлось ехать в универсам на автобусе. Мама дала тридцать фунтов, велела купить еды на пять дней. Вспомнив последний урок по домоводству, где миссис Эплъярд учила готовить дешевые и максимально калорийные блюда, купил следующее: 2 фунта чечевицы, 1 фунт сушеного гороха, 3 фунта непросеянной муки, 1 пакет дрожжей, 1 фунт сахара, 2 пинты йогурта, 20 фунтов картофеля «Кинг Эдвард», 2 фунта риса, 1 фунт сушеных абрикосов, 1 коробку сливочного сыра, 0,5 фунта маргарина «Крона», большой кочан капусты, 2 фунта бараньей грудинки, большую брюкву, 4 фунта пастернака, 2 фунта моркови, 2 фунта лука.

Как дотащил все это до автобуса — сам не знаю. А от кондуктора помощи, что с козла молока. Даже ни единой картофелины с пола собрать не помог.

Напишу в универсам жалобу на их гадские сумки для покупок. Неужели нельзя их сделать так, чтобы выдерживали хотя бы полмили? Мама даже не сказала «спасибо», когда я вручил ей пятнадцать фунтов сдачи! Только и знает, что ныть: забыл, мол, купить зеленый горошек. А выяснив, что я не купил белого хлеба, мама взъярилась вконец. Да у тебя же, говорю, есть теперь все необходимые ингредиенты, чтобы выпечь хлеб самой.

— Поправочка,— ответила мама.— Это у *тебя* они есть.

Весь вечер как проклятый месил тесто, потом распихивал по кастрюлям. В чем ошибся — ума не приложу. Ведь каждые пять минут открывал духовку проверить, а тесто так и не подошло.

Воскресенье, 11 июля.

Пандора говорит, не надо было открывать духовку.

Папа от своей порции жаркого из бараньей грудинки отказался. Пошел в паб, налупился там картошкой и пирогом с мясом и луком, размороженным в микроволновой печи. Сам напрашивается на закупорку вен.

Пятница, 16 июля.

17.30. Только что звонила Глиста Сушеная осведомиться, вернулся ли папа с работы. Папа, говорю, ежедневно по пути домой заскакивает к Берту Бакстеру.

— Спасибо, я позвоню позже,— грустно ответила Глиста Сушеная.

Не иначе как грядущее рождение ребенка заставило ее осознать всю легкомысленность своего поведения и раскаяться в нем.

Сказал маме, что это кто-то ошибся номером: не волновать же беременную женщину.

Суббота, 17 июля.

Только что видел Глисту Сушеную под ручку с папой на дорожке у канала. Сознавая всю ухабистость этой дорожки, не могу все же не отметить, что Глиста, безусловно, обошлась бы и без посторонней помощи. С папиной стороны очень мило поддержать ее в трудную минуту, но ему следовало бы более осмотрительно относиться к общественному мнению. Увидь люди пожилого мужчину рука об руку с беременной женщиной, они наверняка заподозрят в нем будущего отца. Я прятался под старым мостом, пока они не скрылись из виду, а потом пошел к Пандоре.

Понедельник, 26 июля.

Утром Кортни Эллиот принес дурные вести: письмо папе из Управления трудовых ресурсов, в котором указывалось, что очистка берега канала «серьезно отстает от графика». Папа вспылил и все орал:

— Какого черта они хотят, если платят, как рабам?

— Ты-то вряд ли работал, как раб,— заметила довольно спокойно (для нее) мама.— В полпятого ты обычно уже дома.

Папа пулей вылетел из кухни, хлопнув дверью. Я побежал за ним, предложил свою помощь в работах на канале. Но папа ответил:

— Не нужно. Сиди дома, помоги лучше маме сложить вещи для поездки в Скегнесс.

Мама с Кортни Эллиотом корпели над газетным кроссвордом, вещи для поездки лежали в корзине для стирки, так что я взял пса и пошел с ним к Берту смотреть по телику поминальную службу в честь павших в Фолклендской кампании.

Собор св. Павла был битком набит вдовами и скорбящими. Придя домой, снял со стены карту, на которой отмечал ход кампании, и выбросил ее на помойку.

Среда, 28 июля.

Сегодня уже видно, как у мамы торчит живот. А она и не думает его прятать. Наоборот, даже вроде гордится. Кто ни приди, всем показывает.

Я вынужден уходить из комнаты.

Четверг, 29 июля.

Последние три дня папа вовсю вкалывает на канале. Раньше десяти вечера дома не появляется. Даже психует при мысли, что придется оставить канал из-за поездки в Скегнесс.

Навещал в больнице Квини. Лежит в палате, где полно старух с иссохшими, бледными лицами. Хорошо, Квини накрасилась, без румян я бы ее и не узнал.

Говорить Квини еще не может, так что понять ее ужасно трудно. Я посидел минут двадцать и ушел, наулыбавшись до того, что скулы свело. Уходя, пытался не смотреть на старух, но они все равно меня звали и махали мне. Одна попросила при-

нести на ужин ее старику кусочек трески получше. Усталая до смерти сестра сказала, что почти все они живут в прошлом. Могу их понять — настоящее у них такое, что хуже некуда.

Пятница, 30 июля.

Ходили всей семьей к Брейтуэйтам потолковать насчет ухода за Бертом во время нашего отсутствия. Берт все знай себе ворчал. Он ведь никогда и «спасибо» не скажет, как для него ни старайся. Иногда я, право, жалею, что он отказывается переезжать в дом для престарелых.

Моя мама составила Пандориной маме целый список инструкций:

1. Пить соглашается только из сувенирной чашки с датой коронации Георга Пятого.

2. Сахару класть три полные ложки.

3. Не давать смотреть передачу «Самые популярные» [1] *— он от нее перевозбуждается.*

4. По вторникам приходит медсестра мерить давление.

5. Ест только: бутерброды со свеклой, яичницу-болтушку, кэрри. Больше ничего предлагать и не пытайтесь — я пробовала, но все безуспешно.

6. Испражняется исключительно точно в 9.05. Поэтому необходимо прийти заблаговременно, подготовить туалет.

7. Саблю выгуливать каждый день не менее четырех миль. Стоит пройти чуть меньше, и она становится абсолютно невыносимой.

8. Во время передачи «Перекресток» с Бертом не заговаривать.

9. В случае чего вас подменит миссис Сингх, но обязательно в сопровождении респектабельной компаньонки.

10. Берта вполне безопасно оставлять одного на ночь, при условии, что он принял свою норму темного эля (три бутылки).

11. Будет утверждать, что вы прикарманиваете его пенсию. Не обращайте внимания.

12. Желаю вам крепкой английской удачи!

Суббота, 31 июля.
Пансионат «Рио Гранде», Скегнесс.

Рано утром зашла попрощаться Пандора. При нормальных обстоятельствах я бы весь извелся от горя, представив, что предстоит прожить две недели без нее, но сегодня оказался так занят укладкой чемоданов и поисками своих плавок, что даже некогда было как следует расстроиться. Пандора помогла собраться, упаковав за меня мою аптечку. В 18.00 мы наконец уехали.

В Грэнтеме сломалась машина, поэтому до «Рио Гранде» добрались лишь в 0.30. Пансионат был заперт и неосвещен. Черт знает как долго трезвонили в дверь, пока ее не отворил какой-то занюханный хмырь.

— Моулы? — спросил он.— Поздненько. Двери закрываются в одиннадцать, а с опоздавших пятьдесят пенсов штрафа.

— С кем имеем честь? — осведомилась мама.

— С Бернардом Порком, вот с кем,— ответил хмырь.— С хозяином, значит, «Рио Гранде».

— В таком случае,— фыркнула мама,— позвольте поблагодарить вас за теплый прием, мистер Порк.

Пока я помогал папе стаскивать чемоданы с крыши автомобиля, мама расписалась в книге для постояльцев.

Брезент с багажника на крыше слетел еще где-то по дороге, поэтому чемоданы насквозь промокли. Пишу эти строки в подвале с видом на помойку. Слышно, как за стенкой на кухне бранятся мистер и миссис Порк.

Сидели бы мы лучше дома.

Воскресенье, 1 августа.

Проснулся от воплей мистера Порка:

— Ты что, Берил, разорить меня хочешь? Говорят же тебе: не больше ломтика ветчины на порцию!

Быстро оделся и махнул к родителям в их чердак над шестым этажом. Разбудил, сообщил, что завтрак уже почти готов. Папа велел дуть в столовую, забить приличный столик. (Он-то в таком пансионате не в первый раз, порядки знает.)

Я занял столик у огромного окна с красивым видом и смотрел, как рассаживаются другие отдыхающие. Все почему-то общались исключительно шепотом. Мамы шептали детям сидеть смирно, не горбиться и все такое. Папы не сводили глаз со столовых приборов.

Появление моих родителей не могло не привлечь внимания.

Мама тихо говорить не умеет, поэтому ее жалобы на нейлоновые простыни слышали все, в том числе и мистер Порк. Я уверен, что именно по этой причине нам досталось только по два гренка вместо трех.

Вторник, 3 августа.

Впереди еще одиннадцать дней, а я уже просадил все карманные деньги на игральные автоматы.

Среда, 4 августа.
Полнолуние.

Сегодня выглянуло солнце!

А также крестили принца Уильяма. По поводу сего праздника в «Рио Гранде» дали к чаю по дополнительному вареному яйцу.

Четверг, 5 августа.

К нам за стол подсадили некоего Рэя Пибоди. Родом из г. Корби, разведен. В «Рио Гранде» проводил медовый месяц. (Неудивительно, что развелся.) В Скегнесс приезжает принимать участие в конкурсе местных талантов. Он певец и жонглер. Для убедительности жонглировал графином, пока мистер Порк не потребовал «прекратить безобразничать с посудой».

Пятница, 6 августа.

Послал Пандоре открытку: «Дорогая Пан, в среду вышло солнце, но и оно не сумело разогнать черную тоску, навеянную нашей разлукой. В культурном смысле — здесь пустыня. Слава богу, взял с собой романы Невила Шюта. Твой навеки Адриан Х.»

[1] Еженедельная музыкальная программа с участием исполнителей, пластинки которых пользовались наибольшей популярностью в течение предыдущей недели.

Суббота, 7 августа.

Ездили в заповедник диких животных. Заповедник видел, животных — нет. Попрятались от ветра, наверное.

Читаю «Суровое море» какого-то Николаса [1], как его бишь.

Воскресенье, 8 августа.

Папа отправился на морскую рыбалку с членами Общества безработных торговцев электронагревателями.

Мы с мамой провели весь день на пляже за чтением воскресных газет. Когда остаешься с мамой один, она ведет себя очень мило. Жутко пекло, но у меня на плечах восемнадцать прыщей, так что рубашку снять не мог.

Понедельник, 9 августа.

Купили билеты и поехали в парк отдыха.

При виде всей этой колючей проволоки и бесцельно шатающихся за ней бледных, ко всему безразличных людей мне стало просто не по себе.

Папа начал насвистывать мелодию из фильма «Мост через реку Квай», и я действительно ощутил себя в лагере военнопленных. Здесь, конечно, никого не морили голодом и не подвергали пыткам, но, ей-богу, казалось, что персонал вот-вот сорвется с цепи. Родители направились прямо в бар, а мне пришлось кататься на дурацких бесплатных каруселях, смотреть, как перетягивают канат, а потом стоять и ждать под дверью бара.

Они, эгоисты, пошли в бар, куда до восемнадцати вход воспрещен.

В 13.30 папа вынес мне бутылку воды и пакетик картошки.

В 14.30 я сунул голову в дверь и спросил, скоро ли они выйдут.

— Перестань ныть,— рявкнул папа.— Пойди займись чем-нибудь.

Я чуток поглазел на ослиное дерби, потом мне надоело и я пошел сидеть в машину.

В 16.00 заскрипел громкоговоритель:

— Адриана Моула, пятнадцати лет, просят пройти в комнату для потерявшихся детей, где его ждут мамочка и папочка.

Боже, какое унижение! Как мучительно было принять конфетку от кретина-дежурного! А родители пришли в восторг и всю обратную дорогу хохотали до упаду.

Вторник, 10 августа.

За ужином мистер Порк передал папе записку: папиного близкого друга поместили в больницу, папу просят немедленно позвонить.

Мы пришли в полнейшее недоумение — откуда вдруг у папы близкие друзья?

Папа в панике выскочил из-за стола. Мама поднялась было за ним, но он сказал:

— Нет, Полина, ты здесь ни при чем.

Вернувшись минут через пятнадцать, папа объявил:

— Я должен кое-что сообщить вам обоим, давайте уйдем куда-нибудь в укромное местечко.

Мы укрылись от ветра в беседке на набережной, и папа сообщил нам с мамой, что является отцом ребенка, родившегося вчера у Глисты Сушеной.

Прошло здак часиков с шестьдесят, прежде чем мама, наконец, спросила:

— Как его зовут?

— Прости,— ответил папа.— Его зовут Брет.

Я не знал, что сказать, поэтому так ничего и не сказал. Я и сейчас не знаю, что сказать, поэтому ложусь спать.

Среда, 11 августа.

10.30. Папа уехал к Глисте и Брету. На этом настояла мама.

Как разговаривать с мамой — ума не приложу. Я всегда знал: светские разговоры о пустяках мне не удаются. Теперь я знаю, что разговоры о серьезных проблемах мне не удаются тоже.

20.00. Мама все сидит в своей мансарде, обхватив руками живот. Даже не заплакала ни разу. Я вне себя от беспокойства.

21.00. Позвонил маме Пандоры, рассказал обо всем ей. Она отнеслась очень сочувственно. Сказала, что, как только устроит Берта на ночь, поедет за нами в Скегнесс.

Уложил чемоданы, заставил маму умыться и причесаться. Затем мы сидели и ждали миссис Брейтуэйт.

Четверг, 12 августа.

Последняя четверть Луны.

Мы дома.

23.00. Увидев миссис Брейтуэйт, мама разрыдалась.

— Все они сволочи, Полина,— сказала миссис Брейтуэйт и гневно посмотрела на МЕНЯ! Но это же несправедливо! Я намерен всегда и во всем сохранять неизменную верность Пандоре. Все остальное — хаос. Домой добрались в 4.30. Миссис Брейтуэйт терпеть не может вести машину быстрее 30 миль в час. Как приехали, сразу лег спать. Даже не осмелился посмотреть, дома ли папа.

Пятница, 13 августа.

День начался скверно. Папина бритва из ванной исчезла, пришлось взять розовую мамину, которой она бреет подмышки. Изрезал ею все лицо (зато приятно было видеть на краю умывальника довольно заметный венчик сбритой щетины).

Бриться пришлось из-за прихода бабушки, явившейся получить ужасное сообщение о том, что у ее сына родился незаконный ребенок в то время как его жена, с коей он четырнадцать лет состоит в браке, ожидает законного прибавления семейства.

Бабушка отреагировала вполне хладнокровно Спросила только:

— В какой больнице эта женщина?

Мама дала бабушке адрес, и та отбыла на такси, поправив прическу.

По словам Пандоры, ее мать на грани нервного срыва — Берт Бакстер изводил ее всю неделю

Сдается мне, весь мир чокнулся. Барри Кент стал победителем поэтического конкурса «Дети улиц», устроенного молодежным клубом. Его кретински улыбающаяся рожа красуется в вечернем выпуске газеты. Нет, ей-богу, я всем этим сыт по горло.

Суббота, 14 августа.

Измена! Бабушка переметнулась в лагерь противника!

И подарила часть *наших* младенческих одежек Брету Слейтеру, сыну Глисты Су-

[1] Имеется в виду роман Николаса Монсеррата.

шеной. Я понимаю, бабушка не любит маму, но мама-то хоть законная папина жена!

До чего же я устал от взрослых! У них хватает наглости учить детей, что и как делать, а потом разом нарушать все ими же установленные правила.

Утром заходил отец Пандоры спросить у мамы, не нужно ли чем помочь.

— Валите домой.— ответила мама.— Помогите лучше своей жене.

Эдак у нее друзей-мужчин и вовсе не останется

Воскресенье, 15 августа.

Заходил папа, просил разрешения вернуться домой. Я надеялся, мама согласится, но она сказала «нет». Папе пришлось перебираться к бабушке.

Он, гад такой, уволок с собой стереопроигрыватель. Мама говорит, ей на это начхать. Говорит, как родится ребенок, она найдет хорошую работу и купит нам лучшую стереосистему в мире.

Понедельник, 16 августа.

Пандора привела меня в полный шок, спросив сегодня, испытываю ли я интерес к своему «брату Брету». Как-то странно сознавать, что у меня — брат. Надеюсь, бедному малому больше повезет с кожей, чем мне.

Вторник, 17 августа.

Папа прислал чек на пятьдесят фунтов. Изорвав чек в клочья, мама отправила его обратно. Ну не глупо?

Потом даже сама об этом пожалела.

Глиста, Максвелл Хауз и Ерет переехали к бабушке.

Среда, 18 августа.

Вывел погулять пса, невзначай забрел к бабушке, невзначай взглянул в кроватку Брета. Кожица у него вся в каком-то белом пушку. И масса морщинок.

Ни Глисты, ни папы не застал. Бабушка учила Максвелла правилам поведения за столом. Рассиживаться там я не стал. Да и маме не сказал, что был у бабушки. Я ведь так зашел, невзначай.

Четверг, 19 августа.

Новолуние.

Берт Бакстер уже довел миссис Брейтуэйт до того, что та принимает транквилизаторы. Миссис Сингх пришлось сменить ее. Берта я сто лет не видел. Не хочу его навещать — он тут же начнет грубо прохаживаться насчет папиной плодовитости.

Я потерял интерес к сексу. От него, похоже, одни неприятности. Особенно у женщин.

Пятница, 20 августа.

Мама слишком удручена, чтобы готовить, поэтому готовлю я. Пока что перебивались салатами с консервами из тунца и солонины. Завтра попробую состряпать что-нибудь пооригинальнее — салат с ветчиной, например.

Папа все звонит, интересуется, как мама. Сегодня спросил, говорит ли мама о разводе. Нет, ответил я, не говорит, но, похоже, думает.

Суббота, 21 августа.

Снова невзначай забрел к бабушке. У Брета папины глаза. Бабушка меняла ему обгаженный подгузник.

Глиста Сушеная *кормит Брета грудью!* (Бедняга, должно быть, все время голоден: когда я имел возможность близко посмотреть последний раз, грудей что-то особенно не наблюдалось.)

Ни Глисты, ни папы дома не было: в промежутках между кормлениями бегают покупать детские вещички.

Вторник, 24 августа.

Миссис Сингх пристроила Берта в туристическую поездку с группой престарелых индусов. Я поинтересовался, давно ли Берт обратился в индуизм. Миссис Сингх ответила:

— По мне, будь он хоть индус, хоть член секты Муна, хоть секты божественного озарения. Все едино, лишь бы сплавить его куда подальше.

Саблю поместили на псарню Общества защиты животных. Надеюсь, ее держат отдельно, а то жаль остальных собак.

Пятница, 27 августа.

Банк сократил выплату процентов по вкладам на 10,5%. Мама записалась на прием к управляющему мистеру Ниггарду просить ссуду. У нее совсем не осталось денег.

Надеюсь, ссуду ей дадут. Я уже две недели не получал ни пенса на карманные расходы.

Вторник, 31 августа.

Мама была у управляющего банком сегодня утром. Я убедил ее надеть просторное платье, чтобы тот не заметил ее беременности. Оказалось, однако, что папа уже ходил в банк клянчить деньги и выболтал все наши семейные тайны. Поскольку мистер Ниггард знает, что иных источников существования, кроме социального обеспечения и семейного пособия, у мамы нет, он ей в дальнейших ссудах отказал.

Рискованно, говорит, ссужать ей деньги. Делать нечего, придется мне где-то работать по субботам. Деньги нужны позарез — надо платить пенни за два месяца просрочки в библиотеку.

Четверг, 2 сентября.

Скрывать мамину беременность больше невозможно. Жутко выпирает живот, и походка у нее очень странная. Ей трудно нагибаться, поэтому у меня уходит полдня на то, чтобы все за ней подбирать. Комбинезон стал ей совсем тесен. Надеюсь, она купит красивое платье в цветочек для беременных женщин. Принцесса Диана во время беременности выглядела просто обворожительно. Отложной белый воротничок очень пошел бы маме. И отвлекал бы внимание от морщинистой шеи.

Пятница 3 сентября.

Пандора уезжает с родителями кататься на байдарках. Я предложил присматривать за Марли, их огромной рыжей кошкой. Предложение было с благодарностью принято, и мне доверили ключи от дома, возложив на меня немалую ответственность —

дом у них битком набит всякими дорогими электроприборами и антикварным барахлом.

Суббота, 4 сентября.

Помахал на прощанье моей любимой. Она послала мне поцелуй сквозь заднее окно ихнего «вольво» и исчезла за углом.

Я подождал с полчасика (на случай если они что-нибудь забыли и вернутся), потом зашел в их дом, сварил себе кофе и уселся смотреть их большой цветной телевизор. На обед сделал бутерброд с тунцом (не забыть бы принести новую банку до их возвращения) и съел его за письменным столом мистера Брейтуэйта.

На столе обнаружил письмо:

Уважаемый господин председатель!

Артур, с глубочайшим прискорбием сообщаю, что я вынужден подать в отставку с поста вице-председателя окружной организации лейбористской партии.

За последнее время члены нашего комитета настолько уклонились вправо, что мои собственные умеренные взгляды ныне рассматриваются ими как «экстремистские».

Вы помните, что я возражал против направления приветственной телеграммы миссис Тэтчер во время Фолклендского кризиса и из-за этих возражений был заклеймен «сталинистом» и «предателем». Миссис Бенсон рекомендовала мне убраться в Россию, где мне и место.

Я знаю миссис Бенсон как верного члена партии и незаменимого человека в сборах средств на проведение чаепитий, но ее постоянные разглагольствования о королевской семье вряд ли уместны на партийных собраниях лейбористов, особенно при нынешнем уровне безработицы.

И, наконец, что особенно печально, я нахожу абсолютно отвратительными Ваши, Артур, высказывания о Тони Бене. Называть члена вашей собственной партии «пучеглазым громилой» просто непристойно. Тони Бен достойно служил своей стране, а когда-нибудь, может, и возглавит ее.

Я уезжаю на неделю в отпуск. Переговорю с Вами по возвращении.

С уважением,
И. Брейтуэйт.

Рядом лежал надписанный конверт с наклеенной маркой. Видимо, мистер Брейтуэйт забыл отправить письмо, так что по дороге домой я отправил его сам.

Среда, 8 сентября.

С ужасом осознал, что в следующий понедельник начинается учебный год, а я за все лето только один день и занимался подготовкой к предэкзаменационным контрольным работам. Взял тетрадь по истории, пошел в Пандорин дом, покормил кошку и расположился в кабинете. Думал, строгая, деловая атмосфера поможет, но никакой разницы не ощутил. Так и не запомнил ни среднего имени эрцгерцога Фердинанда, ни даты битвы при Монсе [1].

[1] У города Монс (Бельгия) 23 августа 1914 года состоялось первое в мировой войне сражение между английской и немецкой армиями, закончившееся поражением англичан.

Четверг, 9 сентября.

Ходил к Берту прибраться. В субботу выписывают из больницы Квини. Надеюсь, индусы вовремя доставят Берта домой.

До трех утра готовился к контрольным.

Воскресенье, 12 сентября.

Сегодня все вернулись по домам, кроме папы.

Погладил школьную форму. Я из нее вырос, но у мамы нет денег на новую.

Понедельник, 13 сентября.

Теперь я пятиклассник и имею право заходить в школу через боковой подъезд. Жду не дождусь будущего года, когда смогу заходить через парадный (только для учителей и шестиклассников).

Может, мой характер не лишен известной извращенности, но, право, я с удовольствием наблюдал, как толпятся в своем непрестижном заднем подъезде младшеклашки.

Сообщил секретарю директора миссис Клэрикоутс, что мне снова полагаются бесплатные школьные завтраки. Как всегда, она отнеслась ко мне с пылким сочувствием и сказала:

— Ничего, перемелется, мука будет.

Дали контрольную по английскому по программе предстоящего экзамена. Закончил первым. Фигня фигней.

Вторник, 14 сентября.

У нас новый классный руководитель. Зовут мистер Лэмберт. Из тех учителей, что стремятся проявлять дружелюбие. Считайте, говорит, меня своим другом, а у кого есть проблемы, будь то в школе или дома, можете со мною поделиться.

Больше смахивает на самаритянина, чем на учителя. Записался к нему на прием на после уроков завтра.

Сегодня маме 38. Купил ей открытку, на которой написано: «Поздравляю с 18-летием», но я мастерски заменил единицу на тройку. Получилось: «Поздравляю с 38-летием». Вот только стишок на открытке, к сожалению, не больно-то про мамину жизнь:

Все предстоит тебе познать,
Ты будешь и жена, и мать.
Сейчас же лишь веселья шум
Один твой занимает ум.

А на картинке — девочка-подросток балдеет под пластинку. По зрелом размышлении решил, что открытку выбрал неудачно. Зря я так с ходу все покупаю. А в подарок маме купил жидкость для удаления волос из под мышек. Заметил, что у нее флакон кончился.

Папа прислал открытку с изображением грустного кота. А внутри написал: «Неизменно твой Джордж». Гад ползучий Люкас прислал открытку из своего Шеффилда. Она была в коробке, а на ней картонная крыса ест сыр («эдамский», помоему). На открытке Люкас написал: «Полина, я никогда не забуду ту ночь в сосновом бору. Навеки любящий тебя, твой Бимбо».

Мама получила еще десяток открыток, все от женщин, и все с цветами. И чего это женщины зациклились на цветах? Мне

так они вообще до фонаря. Деревья куда кайфонней.

Среда, 15 сентября.

Утром перед школой звонил папа. Хотел поговорить с мамой, та отказалась. Брет плакал. Из доносящихся в трубку звуков складывалось впечатление, что бабушка ссорится с Глистой Сушеной. Кто-то (не иначе как Максвелл, а то кто же еще) лупил по игрушечному ксилофону. Голос у папы был грустнее некуда. Он сказал:

— Знаю, что виноват, Адриан, но наказание явно не по преступлению.

После школы долго беседовал с мистером Лэмбертом. Он пригласил меня в кафе, угостил чаем с ванильным пирожным. На прощанье посоветовал:

— Постарайся не погрязнуть в проблемах, созданных твоими родителями. Ты *одаренный мальчик* и не должен позволить им сталкивать себя на их уровень.

«Одаренный мальчик»! Наконец-то кто-то еще, помимо Пандоры, осознал мои интеллектуальные способности!

Сегодня писали контрольную по биологии по экзаменационной программе. Закончил последним.

Четверг, 16 сентября.

Барри Кент договорился встретиться с мистером Лэмбертом после уроков, обсудить *свои* домашние проблемы.

Надеюсь, мистер Лэмберт сумеет выкроить свободные сутки. Ха! Ха! Ха!

Писали контрольную по географии. Вот ведь невезуха — ни одного вопроса про кожевенную промышленность Норвегии.

Пятница, 17 сентября.

Чуть ли не весь класс записался на встречу с мистером Лэмбертом обсуждать свои домашние проблемы. Даже Пандора, у которой мать — консультант по вопросам семьи и брака!

Мистер Лэмберт ходит по школе с встревоженным видом и кусает ногти. В кафе приглашать перестал.

Понедельник, 20 сентября.

Сегодня Кортни Эллиот не принес маме перевода из Управления социального обеспечения. Пошел в школу весьма обеспокоенный, но в надежде, что его принесут днем. В школе с изумлением узнал, что за все контрольные по экзаменационным программам получил лишь посредственные оценки. Не иначе как имела место серьезная ошибка со стороны администрации.

Вторник, 21 сентября.

Мама поругалась с Кортни Эллиотом из-за пропавшего перевода. Кортни сказал:

— Не казните гонца за плохие вести, а за отсутствие новостей — тем паче, миссис Моул.

Мама весь день пыталась дозвониться в Управление социального обеспечения, но телефон там занят наглухо.

Среда, 22 сентября.

Школа сегодня по боку, ходил с мамой в Управление социального обеспечения. Одной ей идти духу не хватило. Правильно сделал, что с ней пошел. Неподходящее место для беременной женщины.

Там в приемной жалобщиков — вагон и маленькая тележка. Мама встала в очередь, а я сел на привинченный к полу стул.

Дежурная укрывалась за застекленным окошком, поэтому каждому посетителю приходилось выкладывать самые интимные финансовые подробности во всеуслышание.

Маме тоже пришлось орать на весь зал, потом она вернулась с талоном под номером восемьдесят девять и сказала, что придется ждать, пока нас не вызовут по электронному табло.

Мы ждали целую вечность среди людей, которых мама назвала «жертвами общества». (Папа назвал бы их «подонками»). Вокруг шатались какие-то бродяги, ругаясь и ссорясь друг с другом. Под ногами путались обезумевшие дети. Вопили и дрались несовершеннолетние матери-одиночки. По лестнице ковылял на костылях подросток, опираясь на пожилого бритоголового оборванца. Все дружно игнорировали надпись «Не курить» и тушили окурки прямо о линолеум. Люди поприличней не поднимали глаз, сидели уставившись на носы ботинок. Примерно каждые десять минут на табло вспыхивал очередной номер. Тогда кто-нибудь из посетителей вставал и входил в дверь, на которой было написано: «Приватное собеседование». Но обратно из этой двери никто не выходил, что производило весьма зловещее впечатление.

— Газовые камеры там, наверное,— буркнула мама.

Собеседование вовсе не носило приватного характера, поэтому объявление на двери можно считать нарушением закона об описании товаров [1]. Инспектор сидел за застекленным окошком, и маме пришлось кричать во весь голос, что она не получила перевода и осталась без каких-либо средств к существованию.

— Перевод был вам выслан в пятницу, миссис Моулдс,— ответил инспектор.

— Моулдс? — взвилась мама.— Моя фамилия Моул!

— Извините,— ответил инспектор.— Не ту ведомость взял.

Мы прождали еще четверть часа. Инспектор вернулся и заявил:

— Перевод будет выслан сегодня.

— Но деньги нужны мне немедленно,— взмолилась мама.— Дома ни крошки еды, а сыну нужны новые школьные брюки.

— Ничего не могу поделать,— устало вымолвил инспектор.— Займите у кого-нибудь.

Мама посмотрела ему прямо в глаза.

— Хорошо. Будьте любезны, одолжите мне пять фунтов, пожалуйста.

— Не положено,— последовал ответ.

Тогда-то я и понял, почему у них все стулья привинчены к полу — так и чесались руки запустить в него стулом.

Четверг, 23 сентября.

Перевода нет. Кортни Эллиот одолжил маме пятерку.

Пятница, 24 сентября.

8.30. Перевода нет. Но мы спасены — пришел чек от папы!

---

[1] Согласно этому закону, принятому в 1968 году, содержание предлагаемых товаров и услуг должно соответствовать характеру рекламы и их описанию.

Впервые за много дней мама дала мне пятнадцать пенсов на шоколадку.

16.30. Утром мама пошла с чеком в банк, но ей отказались выдать деньги — им нужно четыре дня, чтобы проверить его. Управляющий мистер Ниггард отсутствовал. Мама долго ждала. Затем он вернулся, и мама долго упрашивала его разрешить временный перерасход. Он выдал ей двадцать пять фунтов.

От всех этих треволнений у мамы опухли лодыжки. Кто-то за это за все заплатит!

Вторник, 28 сентября.

Перевода до сих пор нет!

После школы пошли с Пандорой гулять в лес и обнаружили, что какая-то строительная компания валит деревья, а на вырубках возводит дома для всяких шишек. Английские леса, как отметила Пандора, приносятся в жертву саунам, двойным гаражам и открытым дворикам.

Потом у Пандоры смотрели по телевизору голосование конференции лейбористской партии за одностороннее разоружение. Это означает, объяснил мистер Брейтуэйт, что в случае прихода к власти лейбористы ликвидируют все ядерные вооружения.

— И оставят нас на произвол судьбы перед лицом советской угрозы,— добавила миссис Ерейтуэйт.

Тут они заспорили насчет всеобщего и одностороннего разоружения. Потом их спор принял довольно скверный оборот, и мистер Брейтуэйт обвинил жену в том, что она отправила в окружной комитет лейбористской партии его письмо с заявлением об отставке.

— Последний раз тебе говорю,— завопила миссис Брейтуэйт,— не отправляла я твоего письма, чтоб оно сгнило!

Пандора проводила меня домой. По дороге объяснила, что с тех пор, как ее мать перешла к социал-демократам, родители работают в отдельных кабинетах. Говорит, у них интеллектуальная несовместимость.

Спросил Пандору, почему такой сыр-бор из-за письма. Говорит, ее отец написал заявление об отставке, но посылать его не хотел. Поэтому очень расстроился, когда отставку приняли.

— Бедный папа на политическом распутье,— пояснила Пандора.

Среда, 29 сентября.

Перевода все нет и нет!

Мама получила извещение из банка — папин чек не приняли к оплате, на его счету нет денег. Мне было велено зайти по дороге в школу к бабушке, поставить в известность.

Глиста кормила Брета, я не знал, куда глаза девать. Игнорировать сосущего грудь младенца — это плохой тон или хороший? На всякий случай старался смотреть на ее шею.

Бабушка собирала Максвелла в детский сад. На бедного малого понадевали столько одежек — ни дать ни взять шотландец на Северном полюсе.

— Сегодня холодно, а у него и так простуда,— заявила бабушка.

Отец с раннего утра ушел на канал, так что я попросил бабушку передать ему насчет чека. Поджав губы, бабушка буркнула:

— Снова, значит, неоплаченный чек? По ниточке твой папа ходит. Допрыгается.

Спросил бабушку, не осторчетели ли ей Брет, Максвелл и Глиста. Нет, говорит, от напряженной работы она только оживает. И правда — выглядит бабушка куда лучше, чем прежде, когда только и знала, что слушать радио. Теперь даже «Мир в час дня» [1] не включает. Брету почему-то не нравится голос ее ведущего. Он от него вопит и срыгивает молочком.

Четверг, 30 сентября.

Нет перевода!

Написал сегодня стихотворение:

В ожидании перевода

Голодная скрипит на кухне дверь,
Пустые обнажая полки.
И холодильник отвечает ей,
Морозом хладным кухню обдавая.
В оборванных штанах шагает в школу мальчик.
А женщина сидит и почтальона ждет.
В коробке под часами копятся счета.
И пес рычит сквозь сон голодным рыком.
От кредиторов письма злей и злей...
А дом наш ждет и ждет.
Ждет не дождется, ждет он перевода.

Пятница, 1 октября.

Мама позвонила в бюро консультации населения, узнать, кто представляет в парламенте наш округ. Потом позвонила депутату домой, но дома его не оказалось. Жена ответила, что он в командировке — знакомится с положением дел на Канарских островах. Говорила она очень раздраженно.

Вторник, 5 октября.

Нет перевода!

Сегодня мама не выдержала и съехала с тормозов. Позвонила на местное радио и заявила, что намерена бросить своего ребенка в Управлении социального обеспечения, если не получит наконец перевод.

Будильник разбудил меня как раз вовремя — по радио звучал мамин голос, описывающий наши финансовые проблемы. Это мама говорила по телефону из холла с Митчелом Мэлоуном, полоумным диск-жокеем. Подтвердила, что бросит меня в Управлении социального обеспечения, если до полудня представитель Управления не свяжется с ней.

Митчел аж завелся:

— Дорогие слушатели, у нас тут ситуация как в кино. Бросит ли Полина Моул — одинокая беременная мать — своего сына в здании Управления социального обеспечения? Или начальник Управления, мистер Гаджон, выступавший в нашей программе на прошлой неделе, выплатит наконец Полине давно причитающиеся ей деньги? Слушайте дальнейшую информацию о развитии событий на нашей волне!

Мы все сидели и ждали, не зазвонит ли телефон. В 12.30 мама приказала:

— Надевай пальто, Адриан. Иду тебя бросать.

В 12.35, когда мы выходили из дома, телефон зазвонил. Оказалось, это папа: умолял, чтобы о нем по радио не упоминали.

Толпа репортеров радио и газет чуть не спровоцировала в Управлении маленький

[1] Дневная программа последних известий и обзор событий. Передается Би-би-си.

бунт. Все посетители ринулись к ним со своими жалобами. Бродяги завелись и передрались между собой. Персонал начал покидать рабочие места. Вызвали полицию.

Митчел Мэлоун вел репортаж под аккомпанемент пластинки «Психи захватывают сумасшедший дом».

Я оставался брошенным всего сорок пять минут, после чего мистер Гаджон выдал маме «срочное пособие на случай крайней нужды» в размере двадцати пяти фунтов. До понедельника, говорит, хватит. Предложил маме зайти к нему в понедельник утром, на что сержант-полицейский сказал ему:

— Нет, мистер Гаджон, это вы придете к миссис Моул домой.

Закусив лохматый ус, мистер Гаджон ответил:

— Но в понедельник утром у меня назначена встреча.

Полицейский крутнул в воздухе дубинкой:

— Вот именно, у вас в понедельник встреча. С миссис Моул.

Затем отвалил и пошел шпынять бродяг.

Среда, 6 октября.

На первой странице сегодняшней газеты тиснули наше с мамой фото. (Моих прыщей почти не видно.) Заголовок гласил: «Отчаявшаяся мать». Под заголовком следовал текст:

«Привлекательная будущая мать Полина Воул (58) пошла на отчаянный шаг, решив бросить своего единственного сына Адриана (5 лет) в здании Управления социального обеспечения на Кэри-стрит.

По словам миссис Воул, она уже три недели ждет перевода из Управления. «Мной руководило отчаяние,— заявила она.— Адриан мне дороже жизни, но я была вынуждена пойти на такой крайний шаг, чтобы привлечь внимание к нашим бедам».

Мистер Гаджон (42), начальник Управления, пояснил в этой связи: «К сожалению, миссис Воул стала жертвой недоукомплектованности штатного расписания. Ведающий компьютером сотрудник сломал палец ноги, наливая фруктовый сок».

Четверг, 7 октября.

Сегодня в газете появилась следующая поправка:

«Миссис Полина Воул настаивает на опровержении заявления, якобы сделанного ею, по утверждению автора статьи, во вчерашнем номере газеты. Она не произносила слов «Адриан мне дороже жизни». В той же статье вместо «наливая фруктовый сок» следует читать «надевая носок».

Редакция приносит извинения миссис Воул и мистеру Гаджону и благодарит их за указание на непреднамеренные ошибки».

Пятница, 8 октября.

Мама позвонила в редакцию, потребовала опубликовать следующее заявление: «Миссис Полине Моул 38 лет, а не 58, как сообщалось в выпуске газеты за среду».

А то маму соседи совсем достали. Вчера мистер О'Лири крикнул ей:

— Для своих лет вы прекрасно сохранились, миссис Моул!

Суббота, 9 октября.

Последняя четверть Луны.

Звонили из редакции книги рекордов Гиннесса. Какой-то настырный тип просил разрешения упомянуть маму в разделе «Самые пожилые роженицы». Попросили ее выслать свидетельство о рождении. Мама ответила, что еще не родила и что ей только тридцать восемь.

— В таком случае извините за беспокойство,— сказал тип и повесил трубку.

Прочитал сегодняшнюю газету от первой строки до последней, но о мамином возрасте так ни слова и не напечатали.

Среда, 13 октября.

Мама получила из Управления социального обеспечения талон на школьные брюки ценой 10 фунтов. Но приобрести по этому талону брюки можно лишь в одном из трех специальных магазинов. Все они пользуются печальной известностью — продают гнусное тряпье за бешеные деньги. Я не опущусь до того, чтобы являться туда со своим талоном. Положу лучше в бумажник. Когда обрету богатство и славу, буду разглядывать его, а может, и друзьям покажу; пусть знают, что и мне была ведома горечь нищеты.

Вторник, 26 октября.

Барри Кент совершил акт образовательного самоубийства, заявившись на урок в наряде «ангела ада». Мистер Лэмберт притворился, будто ничего не заметил (Барри Кент выше его на четыре дюйма), но мистер Скратон засек Барри в столовке и приказал валить переодеваться, чтобы шипы на куртке «не выкололи кому-нибудь глаза».

Кент заскочил в раздевалку четвертого класса и сбросил куртку. А под ней оказалась шипастая рубаха с изображением мертвой головы. Скратон приказал снять и ее, но под ней оказалась шипастая кожаная безрукавка. И как только Кент все это на себе носит? Мистер Скратон отправил его домой с запиской к родителям.

Среда, 27 октября.

Некоторые из наиболее впечатлительных четвероклассников явились в школу с шипами на спинах блейзеров.

Четверг, 28 октября.

Мистер Скратон издал очередной (миллионный по счету) приказ по школе. Шипы разрешается носить лишь на подошвах спортивной обуви. После уроков Пандора и некоторые девицы из ее компашки понеслись покупать шипы и нашивать их на подолы нижних юбок.

Пятница, 29 октября.

Маме через две недели рожать! Ей сегодня делали анализ в больнице. Мама пришла в панику — наша запасная комната так и осталась запасной, не превратившись в детскую. Денег-то ни черта нет. Пособия роженице хватает только на половину бывшей в употреблении детской коляски!

Четверг, 4 ноября.

Звонил папа, спрашивал, как поживает мама. Хорошо, говорю, поживает, насколько это возможно для женщины на восьмом с половиной месяце.

Спрашивал еще, не показалась ли головка ребенка. Объяснил ему холодно, что с техническими подробностями деторождения не ознакомлен. Потом поинтересовался его ребенком.

— Вот-вот, Адриан, сыпь мне соль на раны,— буркнул папа и бросил трубку.

Суббота, 6 ноября.

Написал политическое стихотворение! Пошлю в «Нью стейтсмен». Мистер Брейтуэйт говорит, там чуть ли не каждую неделю публикуют бунтарские стихи.

К миссис Тэтчер.
А. Моул

Как Вам спится, миссис Тэтчер, как Вам спится?
Безработица кошмаром Вам не снится?
Вы не мечетесь в бреду, Вам хватает на еду?
Вы не льете слез холодных, думая о всех голодных,
В длинной очереди ждущих милости от власть имущих?
Вам не снятся их заботы? Вы вернете им работу?
Одеваясь на банкет, Вы их видите иль нет?
Как Вам спится, миссис Тэтчер, как Вам спится?

По-моему, я написал исключительно блестящее стихотворение. Только такая поэзия и способна поставить правительство на колени!

Понедельник, 8 ноября.

В три утра меня разбудили мамины рыдания. Добиться от нее ответа, в чем дело, не смог, поэтому потрепал по плечу и пошел досыпать. Зря мама не разрешает папе вернуться. Извинился же он в конце-то концов.

Вторник, 9 ноября.

В школе никак не мог сосредоточиться, до того волновался о маме. Мистер Лэмберт сделал мне втык, чтобы не глазел в окно, когда нужно писать сочинение о будущем британской металлургической промышленности.

— У тебя осталось всего три минуты, Адриан,— сказал он.

Тогда я взял и написал: «По-моему, у британской сталелитейной промышленности вообще нет никакого будущего, пока нынешнее правительство остается у власти». Знаю, что нагорит мне по первое число, но все равно сочинение сдал.

Четверг, 11 ноября.

Когда вернулся из школы, в холле не было маминого чемоданчика. Не оказалось дома и мамы, но на коробке с печеньем лежала записка: «Воды отошли в 15.35. Я в предродовом отделении. Возьми такси. В банке из-под спагетти 5 фунтов. Не волнуйся. Целую, мама. P. S. Пес у миссис Сингх». Почерк выглядел жутко неряшливым.

Поездка на такси была сущим кошмаром. Всю дорогу пытался высвободить руку из макаронной банки. Водитель только повторял:

— Банку же надо было перевернуть и потрясти, дурачок!

Он затормозил у ворот больницы и со скукой наблюдал, как я борюсь с банкой. Потом сказал:

— Придется взять с тебя за простой.— И целую вечность спустя добавил: — А сдачи с пяти фунтов у меня все равно нет.

К тому времени, как удалось вытащить руку, я уже чуть не плакал. Все казалось, что мама меня зовет. Поэтому я сунул таксисту пятерку и понесся в больницу. Нашел лифт, нажал кнопку «Предродовое».

Выйдя из лифта, очутился в ином измерении. Ну будто в Хьюстон попал, в центр управления космическими полетами.

— Кто вы? — спросила дежурная.

— Адриан Моул.

— Вам разрешено посещение предродового отделения?

— Да. (Почему я сказал «да»?)

— Тринадцатая палата. Она у вас малость упрямится.

— Она у нас вообще упрямая,— согласился я и пошел по коридору. Двери то открывались, то закрывались, сквозь них были видны женщины, подключенные к довольно зловещим на вид аппаратам. Стоны и вопли отражались эхом от сверкающих стен и полов. Отворив дверь под номером тринадцать, я увидел маму. Она лежала на высокой кровати и читала. Заметив меня, мама обрадовалась и тут же спросила, почему я принес в больницу банку из-под спагетти. Когда я дошел до эпизода с таксистом, она даже рассмеялась. Потом зашла сестра-негритянка и спросила:

— У вас все в порядке, душечка?

— Да,— ответила мама.— Познакомьтесь, это Адриан.

— Надень маску, Адриан, и сядь в уголок. У нас тут скоро будет команда «все по местам».

Полчаса спустя мама больше вопила, чем говорила. И с такой силой вцепилась в мою руку, что чуть не раздавила ее. Вернулась сестра и, к моему облегчению, велела мне уйти. Но мама не выпускала мою руку. Тогда сестра велела мне заняться делом и считать схватки. Когда она снова ушла, я спросил маму, что такое схватки.

— Боли, вот что это такое,— буркнула мама сквозь сжатые зубы.

Что же ты, говорю, не попросила хотя бы спину заморозить, чтобы не болело.

— Терпеть не могу, когда у меня что-нибудь делают за спиной,— ответила мама.

Схватки пошли каждую минуту, мама совсем от них обезумела, а в палату понабежала целая толпа. И все приказывали маме тужиться и совершать толкательные движения. Я сидел в головах у мамы и пытался не смотреть на другой конец койки, где врачи и сестры гремели какими-то металлическими штуковинами. Мама пыхтела и отдувалась — так она обычно надувала к Рождеству воздушные шарики. Вскоре все только и вопили: «Тужьтесь, миссис Моул, напрягитесь же, миссис Моул!» У мамы от натуги чуть глаза на лоб не вылезли. «Еще, еще сильнее, сильнее!» — вопили они. Маму вроде как снова охватил приступ безумия, и доктор крикнул:

— Показалась головка!

Я хотел смыться, но мама спросила:

— Где Адриан? Мне нужен Адриан.

Жалко было бросать ее совсем одну среди чужих, и я пообещал не уходить. В 17.19 мама снова психанула, но тут врач и все сестры вроде как издали громкий вздох. Я поднял глаза и увидел маленькое розовое тельце, висящее вниз головой, все покрытое какой-то белой пакостью.

— Очень милая девочка, миссис Моул,— сказал доктор с такой гордостью, будто сам был ее отец.

— С ней все в порядке? — спросила мама.

— Руки-ноги на месте,— ответил врач.

Малышка весьма капризно завопила и ее положили на опавший мамин живот. Ма-

ма смотрела на нее, будто на какое-то сокровище. Я поздравил маму, и она сказала:

— Поздоровайся с сестренкой.

Врач окинул взглядом мою маску, халат и спросил:

— Разве вы не мистер Моул, отец ребенка?

— Нет,— ответил я.— Я Моул-младший, брат ребенка.

— В таком случае вы нарушили все установленные в больнице правила,— заявил врач,— и я вынужден попросить вас удалиться. Вы можете оказаться носителем инфекционных детских болезней.

Так что пока они там стояли и ждали появления какой-то плаценты, я удалился в коридор. Нашел зал ожидания, битком набитый нервничающими мужчинами. Все курили и говорили об автомобилях.

(Продолжу, когда проснусь.)

В 18.15. позвонил Пандоре, сообщил ей новости. Она вопила в трубку во весь голос. Потом звонил бабушке. Та во весь голос в трубку рыдала.

Затем позвонил Берту и Квини. Они грозились отправиться навестить маму. Еле отговорил. Потом кончились монеты для автомата, и я вернулся к маме и сестре. Потом отправился домой. Обошел пустой дом, пытался представить, как буду делить его с малышкой.

Все свое бьющееся имущество переставил на верхнюю полку стеллажа. Лег спать. Было всего 19.30, но почему-то страшно устал. В 20.15 меня разбудил телефон. Звонил папа, чуть не писал кипятком, что родилась девочка, требовал описать ее во всех подробностях. Я объяснил, что девочка вся в него: сердитая и наполовину лысая.

Суббота, 13 ноября.

Пошли с Пандорой навестить маму и малышку. Пришлось продираться к кровати сквозь толпу посетителей. При всем мамином упрямстве человек она очень популярный. Малышку передавали из рук в руки, будто вещественное доказательство в зале суда, и все кудахтали: «Какая хорошенькая!»

— Прямо ворковать хочется! — восклицали женщины.

— А ноготки-то крошечные! — восклицали мужчины.

Потом заявились Берт и Квини, так что пришлось расступиться, чтобы дать проехать коляске Берта, а Квини уселась маме на ноги, чуть не раздавив ее. В общем, начался сплошной бардак, сестры спохватились и принялись наводить порядок.

— Разрешается только два посетителя на койку,— напомнила старшая сестра, а тут как раз пришли бабушка с папой. Все остальные с радостью смылись, оставив у койки этих двух посетителей.

Воскресенье, 14 ноября.

Поминальное воскресенье[1]

Звонила мама, сообщила, что выписывается и будет дома завтра в 10.30. Просила не забыть включить отопление. В ответ на вопрос, заказать ли такси, ответила:

— Не надо. Папа любезно предложил привезти нас.

Нас! Я больше не единственный ребенок!

Понедельник, 15 ноября.

Школу по боку. С утра зашли миссис Сингх и миссис О'Лири помочь прибраться по дому. Сказал, сам справлюсь, но миссис О'Лири ответила:

— Не свисти, малый. Тебе и не снилось прибраться так, чтобы даже орлиному женскому глазу не к чему было придраться.

В 11.15 наблюдал небывалое зрелище: папа нес дочку к парадному, а за ним шла похудевшая рыжеволосая мама. Нет, у меня просто не хватит эмоций справиться со всеми треволнениями своей сложной жизни!

Покудахтав над малышкой, миссис Сингх и миссис О'Лири куда-то рассосались, оставив моих близких глазеть друг на друга. Чтобы снять напряжение, приготовил чай.

Мама взяла чашку и пошла прилечь. Я свой чай поставил остыть. Папа поболтался у нас немного и пошел домой к бабушке. В 2.30 пришла патронажная сестра. Уединившись с мамой в кабинете, подвергла ее таинственным процедурам. В 3.15 спустилась вниз, сказала, что у мамы послеродовая депрессия, вызванная гормональным сдвигом. Спросила, кто за ней ухаживает. Я, говорю, ухаживаю.

— Понятно,— поджала губы сестра.

— Я вполне способен управиться с пылесосом,— заявил я.

— Твоей матери нужна более надежная опора,— сказала сестра.

Тогда я взял свои подушки и подложил их маме под спину. Этот акт милосердия заставил ее расплакаться.

Вторник, 16 ноября.

Позвонил в школу, спросил миссис Клэрикоутс, как бы мне оформить послеродовой отпуск. Трубку взял Скратон и проблеял:

— Если не увижу тебя завтра в школе, Моул, пеняй на себя!

Малышка пять раз просыпалась ночью. Я знаю, потому что сидел подле колыбельки и каждые десять минут проверял, как она дышит.

Мама перестала плакать и снова начала подводить глаза тушью.

Среда, 17 ноября.

Миссис Сингх и миссис О'Лири по очереди ухаживают за мамой и сестричкой. Пандора говорит, что из-за сестрички я становлюсь занудой. Режим питания ребенка ее, видите ли, не волнует. Какая черствость!

Четверг, 18 ноября.

Когда пришел из школы, папа гладил сестричкины шмотки. Сказал:

— Засмеешься — убью.

Мама кормила малышку, поставив ноги на спину псу. Эта семейная идиллия распалась, когда папа убрал гладильную доску, а сам убрался восвояси к своей второй семье.

Суббота, 20 ноября.

Сестричку назвали Рози Джермейн Моул.

Воскресенье, 21 ноября.

Пришел папа, принес двадцать пять фунтов. Стоял у мамы над душой, пока та от-

[1] Воскресенье, ближайшее ко дню перемирия (11 ноября), когда служат панихиды по павшим в мировых войнах.

мораживала баранью лопатку. Потом у них начался серьезный разговор насчет их дальнейших отношений. Поэтому я повел пса во двор дрессировать, да все впустую. Он и специалиста до слез доведет.

Понедельник, 22 ноября.

По английскому задали написать сочинение про кого-нибудь. Написал про Рози: «Ее рост — восемнадцать дюймов, у нее большая голова и волнистые черные волосы, как у братца Тука. В отличие от других членов нашей семьи, у нее карие глаза. Рот очень маленький, пока она молчит. Когда вопит, рот становится похож на зияющую пещеру. Шейка морщинистая, как у индюшки. Одета в комбинезончик, так что не поймешь, девочка это или мальчик, и всегда с бумажным подгузником. Весь день лежит в постельке, ее вынимают лишь покормить или переодеть. У нее раздвоение личности: то спокойна, то верещит как резаная. Ей всего одиннадцать дней, но она правит домом».

Вторник, 23 ноября.

Звонил сегодня гад Люкас. Мама говорила с ним минут десять, все бубнила себе под нос, чтоб я не слышал. Но я все равно услышал последнее, что она сказала, прежде чем запустить телефоном в противоположную стенку. Потому что она сказала это на уровне нескольких децибел:

— НУ ТАК СДЕЛАЙ АНАЛИЗ КРОВИ!

Не иначе Люкас подозревает, что страдает заболеванием крови. От души надеюсь, что его подозрения оправдаются.

Пятница, 26 ноября.

Сегодня, выйдя за ворота школы, пережил страшный шок — меня ждала Глиста Сушеная. Стояла там, качая старую громоздкую коляску, в которой были Брет и Максвелл. Видик у нее — что твоя беженка из кинохроники времен второй мировой.

— Здорово, братан! — завопил Максвелл.

Я думал, это он Брету, ан нет — хмырь обращался ко мне! Заткнув ему пасть куском шоколадки, чтоб больше не мог меня позорить, я представил Глисте Пандору.

— Моя подруга Пандора,— сказал я Глисте.— Миссис Дорин Слейтер,— сказал я Пандоре.

В мгновение ока обе смерили друг дружку взглядом с головы до пят и лживо друг дружке улыбнулись.

— Какие очаровашки! — воскликнула Пандора, сунув нос в коляску.

— Паршивцы несчастные оба! — заныла Глиста Сушеная.— В жизни бы их не завела, знай я заранее!

— «Знай заранее» что? — поинтересовалась Пандора, изображая святую простоту.

— Что из-за них никакой своей жизни не будет. И не вздумайте иметь детей,— предостерегла она Пандору.

— Хочу шестерых! — заявила та в ответ.

— И при этом стать редактором «Таймс»,— с сарказмом вставил я.

— Вот именно! И самой вести художественное оформление!

— Поживете — увидите! — Глиста Сушеная выплюнула эти слова, как цыганка выплевывает проклятие.

Я спросил Г. С., зачем она ждала меня. Та ответила, что жить с моим отцом ужасно, но с бабушкой — еще ужаснее.

— А я-то здесь при чем? — изумился я.

— Просто хотелось сбросить с сердца камень. (И с плоской груди тоже.)

И она покатила коляску обратно к бабушке.

Я не знаю ни одного нормального взрослого. Все как есть психи. Если не дерутся на Ближнем Востоке, то одевают пуделей в синтетические макинтоши или ложатся в анабиоз. Или читают «Сан» и думают, что это газета!

Суббота, 27 ноября.

Сегодня впервые сменил подгузник.

Завтра попробую сделать это с открытыми глазами.

Воскресенье, 28 ноября.

И как только мама ухитряется менять обгаженные подгузники да еще улыбаться при этом или даже смеяться. Я чуть не грохнулся в обморок, попробовав переодеть Рози без защитного приспособления (прищепка для белья). Видимо, у женщин слабее развиты носовые пазухи.

Интересно, исследовал ли кто-нибудь этот вопрос? Если сдам биологию, могу даже провести исследования сам.

Понедельник, 29 ноября.

После рождения Рози мама совсем обо мне забыла. Она и раньше-то особо обо мне не заботилась — всегда самому приходилось ботинки чистить. Но в последнее время я просто чувствую себя обделенным любовью и лаской. Если вырасту умственно ущербным — ее вина.

Среда, 1 декабря.

Звонила бабушка, захлебывалась от эмоций: Глиста Сушеная, забрав Брета и Максвелла, ушла к отцу Максвелла, вернувшемуся с Ближнего Востока с карманами, битком набитыми необлагаемыми налогом деньгами и игрушечными верблюдами.

По всей видимости, моему отцу начхать, что его лишат отцовства, а отцу Максвелла начхать, что Глиста в его отсутствие прижила ребенка. Я глубоко потрясен. Ужели мне одному суждено оставаться хранителем тех немногих моральных устоев, которые еще не успело утратить наше общество?

Четверг, 2 декабря.

Отец Максвелла, Тревор Роупер, не винит Глисту за Брета, поскольку считает его появление на свет следствием запоздало прерванного полового акта! Глиста выходит за мистера Роупера, как только тот оформит развод. Неудивительно, что страна не способна подняться с колен. Всерьез подумываю о возвращении в лоно церкви. (И отнюдь не для того, чтобы прийти к Глисте на свадьбу.) Назначил встречу с викарием, преподобным Силвером. Нашел его телефон в справочнике.

Пятница, 3 декабря.

Когда я пришел, викарий чинил велосипед. Человек на вид совсем нормальный, разве что одет во все черное.

Разогнувшись, пожал мне руку так, что затрещали кости. Затем пригласил в кабинет, спросил, почему я хотел его видеть. Обеспокоен, говорю, распадом морали в со-

временном обществе. Он закурил (руки у него тряслись) и осведомился, обращался ли я к Богу с просьбой наставить на путь истинный. В Бога, говорю, верить перестал.

— О Господи, еще один! — вздохнул викарий.

Потом завелся на битый час. Все свелось к тому, что надо иметь веру. Нету, говорю, у меня веры. А как сделать, чтоб была?

— Должна быть, и все,— ответил викарий.

С ним разговаривать — что заевшую пластинку слушать. Я спросил:

— Если Бог есть, как же он допускает войны, голод и авиакатастрофы?

— Не знаю,— ответил преп. Силвер.— Сам ночи не сплю, все об этом думаю.

Тут вошла миссис Силвер с двумя чашками растворимого кофе и сказала:

— Дерек, через десять минут начинается открытый университет[1].

Я спросил преподобного Силвера, что он изучает.

— Микробиологию, — объяснил викарий.— С микробами-то все ясно.

Я попрощался, пожелав ему успехов на новом поприще. Он посоветовал мне не поддаваться отчаянию и выпихнул меня в этот безумный и скверный мир. Было темно и холодно. Я пошел домой, чувствуя себя разбитым, как никогда.

Суббота, 4 декабря.

Переживаю нервный срыв. Но никто, кроме меня, этого еще не заметил.

Воскресенье, 5 декабря.

Пошел повидаться с Бертом. Он — последняя моя надежда. (У Пандоры поддержки не нашел. Все мои страдания она относит за счет того, что я ем мясо.)

— Берт,— сказал ему я,— у меня нервный срыв.

Берт ответил, что пережил нервный срыв в первую мировую, когда видел кругом горы трупов и постоянно дрожал за собственную жизнь. Спросил, чем вызван нервный срыв у меня.

— Аморальностью общества, — объяснил я.

— Вкалывать тебе, сопляку, нужно больше,— фыркнул Берт.— Можешь начать с мытья посуды.

Помыл посуду. Квини сделала чай с бутербродами. Ел и смотрел телевизор. Транслировали службу. Церковь полным-полна счастливых на вид людей, вкладывающих в пение всю душу.

Почему это у них вера есть, а у меня — нет? Вот ведь незадача!

Понедельник, 6 декабря.

Вопли Рози будили меня в 1 час, 2.30 и 4.00.

В 6.00 встал и слушал по четвертой программе передачу для фермеров. Какой-то старый деревенский пердун нес хреновень о разведении гусей в Эссексе. В 8.30 пошел к маме просить денег на школьные завтраки и увидел, что Рози крепко спит в маминой постели. А книгами о воспитании это строго-настрого запрещено.

Проверил, может ли Рози нормально дышать, взял из маминой сумки три фунта и пошел в школу, изо всех сил стараясь вести себя нормально.

Вторник, 7 декабря.

В 3 утра умерла Квини. Во сне. Берт говорит, хорошо умирать так. Склонен с ним согласиться. Странно заходить к Берту в дом, видеть разбросанные повсюду вещи Квини. До сих пор не верится, что она мертва и ее тело в морге.

Я не расплакался, когда мама сообщила мне о смерти Квини, даже наоборот, меня чуть не разобрал смех. И только когда увидел баночку ее румян на туалетном столике, слезы хлынули сами собой. Я не хотел плакать на глазах у Берта, а Берт не хотел плакать на глазах у меня. Но он плакал, я знаю. В комоде не осталось ни одного чистого носового платка.

Берт понятия не имеет, как оформлять свидетельство о смерти, хоронить и все такое, поэтому заниматься всем этим приехал отец Пандоры.

Пятница, 10 декабря.

Отец Пандоры очень озабочен. Самые дешевые похороны обойдутся в 350 фунтов. (Простой гроб, один катафалк, одна машина для провожающих в последний путь.) Но похоронная страховка Квини тянет лишь на 30 фунтов. Она застраховалась в 1931 году, когда 30 фунтов хватало на красиво украшенный гроб, две упряжки черных лошадей с султанами, поминки с чаем и группу служителей похоронного бюро в цилиндрах. Государственного же пособия на похороны не хватит и на один медный гвоздь для гробовой доски.

Суббота, 11 декабря.

Банк отказал Берту в займе, сославшись на его преклонный возраст. Придется, видимо, хоронить Квини за счет социального обеспечения (серый фургон, фанерный гроб и пепел в жестянке из-под варенья вместо урны).

Берт расстроен до глубины души. Говорит:

— Так хотелось пристойно похоронить мою старушку.

Я ночь напролет обзванивал всех, кто знал Квини, собирал пожертвования. Несколько раз меня назвали святым.

Понедельник, 13 декабря.

Похоронили Квини.

Берт опять остался один. Придется ухаживать за ним еще больше, чем раньше. Как же я справлюсь? Ведь в июне экзамены.

Вторник, 14 декабря.

По четвертой программе радио сообщили, что правительство выделило миллиард фунтов на закупку военной техники. А у нас в школе с Рождества закрывают одну из учебных лабораторий — нет денег нанять нового преподавателя. Бедный старый мистер Хилл уходит на пенсию, прокорпев тридцать лет над бунзеновскими горелками. Нам будет не хватать его. Он был строг, но справедлив. Никогда не издевался над нами и вроде всегда внимательно нас выслушивал. А еще награждал за хорошую работу маленькими шоколадками.

[1] Курс лекций по радио и ТВ.

Суббота, 18 декабря.

Разнося почту, Кортни набрал сто пятьдесят фунтов чаевых. Собирается провести на них выходные в Венеции. Каждый, говорит, должен хоть раз в жизни побывать в Венеции на Рождество. Я бы тоже не прочь. По словам Кортни, английские каналы венецианским и в подметки не годятся.

Воскресенье, 19 декабря.

Сегодня Рози Джермейн Моул впервые в жизни улыбнулась. Улыбка была адресована псу.

Позвонил папа спросить, что мы делаем на Рождество.

— Все как обычно,— ответила мама.— Будем есть индейку, пить шампанское, купим новые елочные лампочки.

— А мы с мамой собираемся *тихо* посидеть. *Одни. Без гостей. И вдали от наших родных и близких.*

— Звучит божественно, — сказала мама. — Извини, должна бежать. В дом ввалилась толпа кутил с шампанским.

Абсолютная и неприкрытая ложь. Это в комнату вошел я с чашкой какао.

Пятница, 24 декабря.

Канун Рождества.

Поскольку из-за Рози мама прикована к дому, вся подготовка к Рождеству легла на мои плечи. С 7.30 стоял в очереди за парной индейкой, свиными ножками и фаршем.

К 9.00 уже стоял в очереди к бакалейщику: 3 фунта брюссельской капусты, две дюжины мандаринов, 2 фунта орехов, 2 пучка остролиста (и чтоб обязательно с ягодками), салат (не забыть бы зеленых перчиков), 2 коробки фиников (только обязательно с верблюдом на крышке), 3 фунта яблок, 6 фунтов картошки (и каждую проверить, чтоб не проросшая).

К 11.15 перекочевал в прачечную-химчистку, приводил в порядок костюм.

В 14.00 снова в лавке, оставив за дверью коляску Рози, которую взял везти покупки: на 2.5 фунта сыра стильтон (и чтоб обязательно был голубой и твердый), 2 коробки того... банка сего... Списку, казалось, не было конца.

В 16.10. прорывался в двери универмага «Вулвортс», пытаясь проложить дорогу в отдел елочных украшений. В 16.20 пробился туда, но не нашел ничего, кроме пустых полок и толпы озабоченных покупателей, обменивающихся слухами, где еще можно купить лампочки и какие.

Обойдя все упомянутые в толпе магазины, к 17.00 признал поражение и встал в длиннющую очередь на автобус.

Вокруг, распевая рождественские гимны, шлялись поддавшие парни и фабричные девчонки, украшенные гирляндами из мишуры и блесток. Христос, должно быть, переворачивался в гробу.

В 17.25, поддавшись приступу паники, покинул очередь и ринулся в универмаг «Макс энд Спенсер» купить хоть что-нибудь.

Он был битком набит взмокшими мужчинами, лихорадочно скупающими женское белье. В 17.29. я очухался и рванул обратно на остановку, откуда как раз отвалил автобус. Домой добрался в 18.15, купив гирлянду разноцветных лампочек в лавке мистера Черри, что прямо за углом у нашего дома.

Мама очень красиво убрала гостиную (даже пыль стерла), и когда мы включили лампочки, разложили фрукты, расставили букеты остролиста и все такое прочее, гостиная стала похожа на комнату с рождественской открытки. Мы с мамой успели пропустить по рюмашке, пока какая-то сердобольная душа из организации помощи престарелым не привезла в своей машине Берта.

Усадив Берта перед теликом с бутылкой эля и бутербродом со свеклой, отправились с мамой на кухню лепить пирожки и все такое.

1 час. Только-только вернулся из церкви. Служба была очень трогательная (даже для атеиста). Однако с живым осликом в церкви они, по-моему, переборщили.

2 часа. Только что вспомнил — забыл купить щипцы для орехов.

Суббота, 25 декабря.
Рождество.

Встал в 7.30.

Умылся, побрился, почистил зубы, выдавил прыщи, спустился вниз, поставил чайник. Не знаю, право, что в последние годы с Рождеством стало не так, но что-то стало. Оно ну абсолютно не такое, как было раньше, в детстве. Мама умыла и покормила Рози, а я — Берта. Потом пошли в гостиную открывать подарки. Увидев форму моего подарка, я жутко расстроился. Сразу видно — ничего такого компьютерного. Да, конечно, дубленка — вещь теплая, но что с ней можно делать, кроме как носить?

По правде, носить мне ее надоело уже часа дерез два, так что я ее снял. Зато мама пришла в восторг от таймера для варки яиц, даже воскликнула:

— Вот здорово, еще один мне в коллекцию!

А Рози даже не среагировала на шоколадного Санта-Клауса, которого я ей купил. Семьдесят девять пенсов впустую! Но вот что получил я:

Короткая дубленка (фирма «Литлвудз», торговля по почте).

Альманах «Бино» (весьма прискорбно, но в этом году он совсем уж какой-то детский)[1].

Тапочки (точно такие, как носит Майкл Кейн[2], только мало кто это знает).

Швейцарский армейский нож (папа все надеется, что я буду бывать на природе, и нож мне пригодится).

Коробка мятных леденцов (от пса, что ли?).

Вязаная шапочка-шлем (от бабушки Моул. Ну и фигня!).

«Руководство по спорту для мальчиков» (от бабушки Сагден).

После рождественского обеда ходил вечером навестить бабушку и папу. Бабушка заставила съесть четыре пирожка, спросила, почему не надел ее шлем. Папа ни о чем не спрашивал, просто лежал в кресле, упившись в стельку.

Воскресенье, 26 декабря.

Мы с Пандорой торжественно обменялись рождественскими подарками в моей ком-

[1] Еженедельный комикс для мальчиков.
[2] Известный британский актер.

нате при зажженных свечах. Я надел ей на шею массивную золотую цепь, она повязала мне на шею 70% шерст. 10% кашемир. 20% акрил. шарф.

Кашемировый шарф в пятнадцать лет! Буду его повязывать ярлычком наружу, чтобы все видели.

Массивная золотая цепь привела Пандору в исступление. Все вертелась перед зеркалом и приговаривала:

— Спасибо, милый, но как же ты смог позволить себе такой подарок? Это ведь фунтов сто, не меньше!

Я не стал объяснять, что у «Вулвортса» их продают дешевле, всего по 2 фунта штука.

Понедельник, 27 декабря.

Только что какой-то мальчонка, гоняющий на новеньком мотоцикле, вручил мне записку:

Милый!

Мне очень жаль, но поход в кино на «Инопланетянина» придется отменить. Проснулась утром с жуткой безобразной сыпью на шее.

Твоя Пандора.

P. S. У меня аллергия на нецветные металлы.

Пятница, 31 декабря.

Берт спросил, нельзя ли ему остаться у нас на Новый год. Говорит, до смерти тошно встречать Новый год в обществе какой-нибудь сиделки из добровольцев. Мама согласилась, но отвела меня на кухню и зашептала:

— Учти, Адриан, насовсем я его к нам не возьму. Мне не по силам одновременно ухаживать и за младенцем, и за престарелым.

В 23.00 позвонил папа поздравить нас с Новым годом. Лицо у мамы пошло пятнами, потом смягчилось, и она пригласила папу зайти выпить.

В 23.15. позвонил из Шеффилда гад Люкас, все стонал, что сидит один с бутылкой «Джони Уокера».

— Какой кошмар! — сказала мама. — Мог бы купить виски и получше, Новый год все-таки.

Мама снова очень хорошо выглядит, фигура почти пришла в норму. Сказать по правде, после этих звонков она снова обрела прежнюю самоуверенность. Ровно без одной минуты двенадцать пришел папа. Потом мы все встали вокруг коляски Берта, держась за руки, и пели «Доброе старое время»[1]. А потом говорили о Квини, Глисте Сушеной и о том, что сулит нам 1983 год.

Лично меня уже ничто не удивит. Окажись завтра папа русским разведчиком или убеги мама из дома с цирковым метателем ножей, я и глазом не поведу.

В 1 час позвонила Пандора, поздравила с Новый годом. Слышно было, что у них гуляют вовсю. Я пожалел, что не пошел, а из вежливости остался дома. Спать лег чуть живой от страха — в 1983 году мне предстоит сдавать экзамены.

[1] Песня на слова Роберта Бернса, которую по традиции поют в дни торжеств.

Суббота 1 января 1983 года.

Первый день Нового года.

Я твердо решил в Новом году:

1. Готовиться к экзаменам не менее двух часов в день.
2. Не чистить больше маминой пуховкой ванну.
3. Купить замшевую щетку для дубленки.
4. Не предаваться эротическим фантазиям на уроках.
5. Раз в неделю смазывать велосипед.
6. Попробовать снова полюбить Берта Бакстера.
7. Заплатить пени (88 п.) и снова ходить в библиотеку.
8. Воссоединить родителей.
9. Отменить подписку на «Бино».

Воскресенье, 2 января.

Тщательно проинспектировал собственную внешность. За последний год вырос всего лишь дюйма на два, так что придется смириться с печальным фактом — мне суждено быть одним из тех, кому всегда плохо виден экран в кино.

Кожа запаршивела окончательно, уши торчат, а волосы сами собой раскладываются на три пробора. Как ни зачесывай, а модно не причешешь.

Понедельник, 3 января.

Родители ведут переговоры о восстановлении супружества.

— Дохлый номер, Адриан,— сказала мама.— Слишком многое надо забыть, а как? Посоветовал гипноз.

Вторник, 4 января.

Снова переговоры за закрытыми дверьми. Когда папа уходил, спросил его, как прошел последний раунд.

— Нет слов,— ответил папа, сел в машину и укатил.

Среда, 5 января.

Переговоры прерваны.

В кухне грохнулась об пол сахарница, затем раздались крики, затем хлопнула дверь.

Четверг, 6 января.

Обмен посланиями через посредника. (Через меня то есть.) Стороны приветствовали возобновление переговоров. Посему мне поручено обозначить место, время и обеспечить уход за младенцем.

Пятница, 7 января.

Стороны встретились в 20.00 в китайском ресторанчике. Переговоры велись весь вечер и были отложены, поскольку одна из сторон вернулась домой кормить ребенка.

Суббота, 8 января.

Стороны подготовили следующий документ:

Полина Моника Моул и Джордж Альфред Моул приняли решение осуществить попытку совместной жизни в условиях полной гармонии испытательным сроком в один месяц. Буде на протяжении сего срока Полина Моника Моул, нижеименованная П. М. М., и Джордж Альфред Моул, нижеименованный Д. А. М., нарушат нижеизложенное соглашение, то данное

соглашение аннулируется с немедленным возбуждением бракоразводного процесса.

СОГЛАШЕНИЕ

1. Д. А. М. с энтузиазмом, без нытья и напоминаний будет выполнять свою законную долю домашних работ.
2. П. М. М. приведет в безупречный порядок свою половину спальни и будет содержать ее в полном соответствии с санитарными нормами.
3. По воскресеньям стороны обедают в пабе.
4. Детям сторон, Адриану и Рози Моул, должны уделяться внимание и забота обоими родителями в равной степени.
5. Семейный бюджет обсуждается каждую пятницу в 19.00.
6. На имя П. М. М. открывается отдельный счет в банке.
7. Стороны отказываются от флиртов, романов и прелюбодеяний с представителями противоположных полов без подробного уведомления другой стороны и получения ее согласия.
8. П. М. М. обязуется закрывать тюбики зубной пасты после использования.
9. Д. А. М. обязуется стирать собственные носовые платки.
10. Сторонам предоставляется неограниченная свобода в поисках увлечений, политических интересов, участия в демонстрациях и общественной деятельности за пределами дома.
11. Д. А. М. обязуется выбросить обе пары саржевых брюк «под галифе».
12. П. М. М. не будет постоянно проедать Д. А. М. плешь из-за эпизода с Дорин Слейтер. Д. А. М. не будет постоянно проедать плешь П. М. М. из-за эпизода с Люкасом.

Подписано 8 января 1983 года.
Полина Моул.
Джордж Моул.
А. Моул — 1-й свидетель.
Р. Моул — 2-й свидетель (за нее—Х).

Воскресенье, 9 января.

Папа сжег в саду свои брюки «под галифе». Вороша кочергой спекшиеся клочья, буркнул:

— Теперь-то мне фасон один — только узко и прямо.

Я так и не понял, это он о жизни или о штанах.

Воскресенье, 23 января.

Позвонил гад Люкас. Сказал ему, что родители обедают в пабе. Он спросил, в каком именно, я объяснил, но он, вместо того чтобы повесить трубку, начал подробно расспрашивать о Рози и даже попросил поднести ее к телефону, послушать, как она гукает. Я сказал, что у нее замедленное развитие и она все еще на стадии крика. И тут Люкас выдал совсем уж странный текст:

— Вся,— говорит,— в меня!

Мама вернулась домой в скверном настроении, а папа — еще в худшем. Насколько я понял, маме пришлось прервать игру в дротики в самый ответственный момент, потому что ее позвали к телефону.

Понедельник, 24 января.

Водопроводчики бастуют, поэтому папа велел всем принять сегодня ванну. Включая собаку. Затем начал собирать всю пустую посуду, наполнять водой. При этом выглядел весело и посвистывал. Обожает кризисы!

Вторник, 25 января.

Ура! Здорово! Потрясно! Полный блеск! В школе запретили пользоваться душем! Я избавлен от этой муки — два раза в неделю выставлять на всеобщее обозрение свои хилые мускулы. Надеюсь, водопроводчики не сдадутся, пока я не кончу школу. Пусть требуют пятьсот в неделю, и ни на шиш меньше!

Среда, 26 января.

Кортни Эллиот предложил натаскивать меня к экзаменам частным образом. Он, оказывается, доктор философии и покинул ученый мир, поссорившись с коллегами-профессорами из-за распределения новых кресел, которые привезли им в университет. Насколько я понял, ему вроде обещали кресло заведующего кафедрой, а потом не дали в нем посидеть. И из-за такой чухни уйти с клевой работы? Будто одно кресло много чем отличается от другого! Хотя я-то экзистенциалист, для меня вообще мало что имеет значение. И в каком сидеть кресле — мне ровным счетом начхать.

Читаю «В пути» Джека Керуака.

Вторник, 1 февраля.

Новый брачный союз начинает давать трещины: имел место спор из-за денег. Государство навязало нам угодный ему образ жизни, то есть держит нас в нищете. А родители ну просто никак не могут свыкнуться с бедностью. Мне-то что, я-то давно привык. У меня за душой больше трешки в неделю отродясь не бывало.

Среда, 2 февраля.

Мы смотрели телик, как вдруг в дверь застучал Люкас, требуя показать ему Рози. Папа ответил, что Рози занята и ее нельзя беспокоить, но Люкас развопился во всю свою трескучую глотку, и папе пришлось его впустить во избежание соседских пересудов.

Даже сквозь слой косметики было видно, как побледнела мама.

— Я требую доступа к своему ребенку, Полина! — заявил Люкас.

У папы подкосились ноги, он сел на ручку дивана, чтобы прийти в себя, и прошептал:

— Полина, скажи мне, что Рози — моя.

— Конечно твоя, Джордж,— ответила мама.

Достав дневник-календарь за 1982 год в черной обложке, Люкас объявил:

— Мы с Полиной возобновили сердечные отношения 16 февраля 1982 года. Однако возобновить близкие отношения смогли лишь в воскресенье 13 марта 1982 года, когда Полина приезжала в Шеффилд на митинг протеста.

— Но я не могла забеременеть! — завопила мама. — Мне только-только поставили новый колпачок!

— Прелюбодейка! — прохрипел папа.

— Никакая я не прелюбодейка! — воскликнула мама.

— Поставили колпачок по мерке — так не снимай! — вопил папа.

— Но я же и не снимала! — в отчаянье воскликнула мама.

Люкас пытался обнять ее, но она врезала ему по шее каратистским ударом.

О моем присутствии никто и не вспомнил, пока я не выбежал из комнаты, бросив:

— Вечно как на вулкане. Не могу так больше жить!

И рванул к себе, пробежав мимо кроватки Рози. Она лежала, играя пальчиками ног, не подозревая даже, что внизу идет спор об ее отцах.

Четверг, 3 февраля.

Похоже, в марте 1982 года у обоих моих родителей были тайные романы, приведшие к рождению двух детей. Однако странички моего дневника за тот период отражают лишь инфантильные мысли и заботы четырнадцатилетнего подростка.

Неужто жена Джека Потрошителя в слепоте своей безмятежности записывала в дневник:

22.30. Джек сегодня запаздывает. Наверное, на службе много дел.

0.10. Джек пришел весь в крови — попал под телегу.

Пандора не покидает меня в трудную минуту. Воистину — соляной столп [1].

Пятница, 5 февраля.

Весь день пролежал в кабинете заведующей школьным хозяйством — на первом уроке (физ-ра) мне стало плохо.

Заведующая спросила, не стряслось ли чего дома. Я разревелся, что дома вообще все ходуном ходит.

— У взрослых сложная жизнь, Адриан,— объяснила она. — Быть взрослым — это не только поздно приходить и иметь собственный ключ.

Но *родители-то, родители,* говорю! Хоть у них-то должны сохраняться порядочность, последовательность и принципы!

— Ты слишком многого от них хочешь, Адриан, — вздохнула она.

Взял с нее слово никому не рассказывать, что я распустил нюни. Она любезно разрешила мне пересидеть у нее, пока не высохнут слезы.

Суббота, 5 февраля.

Люкас продолжает нас терроризировать.

Сегодня пришло письмо от его стряпчего. Люкас грозит судом, если не получит доступа к Рози.

Кортни Эллиот советует и нам найти хорошего стряпчего. Пусть, мол, напишет Люкасу в ответ, что мы его сами через суд отлучим.

Что это такое, я толком не понял, но звучит жутко.

Вторник, 8 февраля.

И не спрашивайте, как у меня хватает сил выдержать нескончаемо длинный день в школе. Просто не спрашивайте. Хожу будто на автопилоте, ну прямо улыбающийся робот какой-то. Но душа моя скорбит, рыдает и плачет. Знали бы только учителя, что достаточно одного их неласкового слова — и на глаза у меня тут же наворачиваются слезы.

Удается скрывать их, ссылаясь на конъюнктивит, но временами, кажется, и эта уловка не помогает.

Сегодня кончается испытательный срок.

1 час ночи. Стороны согласились продлить срок действия договора.

Среда, 9 февраля.

Ирландские республиканцы похитили рысака по кличке Шергар. Пандору, похоже, больше волнуют его проблемы, чем мои.

— Тебе не кажется это странным? — спросил я.

— Ничуть, — ответила Пандора. — Шергар — исключительно породист и чрезвычайно чувствителен. Как он, бедняжка, должен страдать!

У кого искать поддержки — ума не приложу. Сбегу в Лондон.

Четверг, 10 февраля.

В Лондон бежать передумал.

Как сообщает «Гардиан», лондонские кокни сходят с ума от загрязненности окружающей среды свинцом.

Пятница, 11 февраля.

Наняли стряпчего по имени Сайрил Хил. Он написал гаду Люкасу грозное письмо, требуя отвязаться от нашей семьи.

Письмо обошлось нам в двадцать фунтов.

Суббота, 12 февраля.

Дома сгущаются грозовые тучи, так что я пошел проведать Берта. Еле пробился в дом — там в дверях ожидала приказов и инструкций целая очередь добровольцев из социального обеспечения. Однако никто из них не решился заняться Саблей, поэтому я вычистил конуру, вычесал Саблю и повел ее не ежедневную прогулку в парк отдыха.

Там ошивалась шайка Барри Кента — завязывала узлами канаты качелей. Но с Саблей я чувствовал себя вполне уверенно и даже покатался с горки.

На обратном пути повстречались еще несколько человек с овчарками. Может, просто совпадение, но *все* овчарочники как один оказались коротышками. Каждому овчарка аж по пояс. Как это понять — не знаю, но ведь как-то понять надо.

Воскресенье, 13 февраля.

Завтра день святого Валентина. Не пойду, пожалуй, в школу. Просто не хочу оказаться единственным, кто не сможет войти в класс с охапкой цветастых открыток и самодовольной улыбкой. Да, конечно, я получу открытку от Пандоры, но Пандора не в счет — с ней-то у нас любовь уже больше года.

Понедельник, 14 февраля.

День святого Валентина.

Получил четыре открытки: от Пандоры, от бабушки, от мамы и от Рози. Подумаешь!

Послал Пандоре открытку с купидоном и пакетик мятной помадки в шоколаде. Люкас прислал открытку Рози. Родители в этом году насчет открыток друг другу и не почесались — копят деньги заплатить за письмо стряпчему.

[1] Адриан Моул, по-видимому, путает символ силы: «Я поставил тебя ныне... железным столбом... против царей Иуды» (Библия, «Книга пророка Иеремии», I, 18) с символом любопытства: «Жена же *Лотова*... стала... соляным столпом» (Библия, «Книга Бытия», 19, 26).

Вторник, 15 февраля.

Последний день масленицы.

Пандора со мной не разговаривает: я машинально написал ей на открытке: «С наилучшими пожеланиями».

— Это симптоматично для наших угасающих отношений, Адриан,— заявила она.

Наверное, Пандора права. Чувствую, что охладеваю к ней. Больно уж умная. Мама была занята с Рози и не могла печь блинчики. Решил испечь сам. И с чего папа так психанул — все равно давно пора белить потолок на кухне.

Четверг, 17 февраля.

Написал стихотворение на стене в школьном сортире.

Решил, что это недурной способ хоть как-то пробудить политическое самосознание моих кретинов-однокашников:

Б у д у щ е е
Что за будущее перед нами?
Что за песни мы сложим сами?
Не осталось нам горных вершин.
Ничего мы не совершим.
Рифмы новой нам не найти.
Некуда нам работать идти.
Обещают занять нас, невежд,
А мы жаждем мечты и надежд.

А. Моул.

Пятница, 18 февраля.

Вызвали к директору. Он пронюхал про стихотворение в сортире. Я его спросил, откуда он знает, что это сделал я.

— Ты же подписался, болван!

На неделю исключили из школы.

Суббота, 19 февраля.

За мной зарулил Барри Кент со своей компашкой.

— Хотим прошвырнуться по центру. Айда с нами,— пригласил Кент.

Я как раз был нигилистически настроен и пошел.

Воскресенье, 20 февраля.

Шлялись вокруг безлюдного торгового центра. Я ощутил вдруг странную тягу к единению с преступным элементом. Начинаю понимать, почему лорд Лонгфорд[1] (тоже выдающийся интеллектуал) вечно ошивается по тюрьмам.

Барри любезно позволил, чтобы я называл его «Баз».

Вторник, 22 февраля.

Записка от Пандоры:

Адриан,

Поскольку ты явно отдаешь предпочтение обществу подонков и антисоциальных элементов, мне думается, нашим отношениям лучше положить конец. Ты избрал путь, отличный от того, коим намерена идти по жизни я.

С благодарностью за все хорошее,
Пандора Брейтуэйт.

Четверг, 24 февраля.

Первую половину вечера торчал с компашкой у винно-водочного. Очень остроумно выступал насчет проходящих мимо девиц, компашка просто каталась со смеху. Дали мне кличку «Умник». Баз намекнул, что я не лишен способности к руководству.

Пятница, 25 февраля.

Миссис Кент решила обзавестись новой мебелью, поэтому поперлись всей шарагой на свалку посмотреть, чего там можно надыбать. Принесли два почти целых стула, плетеную корзинку для белья и каминный коврик. Завтра возьмем коляску Рози и попремся туда опять за стиральной машиной с центрифугой для отжима белья.

Наш улов от души порадовал миссис Кент.

— Надо же, какое добро народ на помойку выбрасывает! Позор, да и только,— сказала она.

Мистер Кент уже два месяца безработный, с тех пор как закрыли молочный завод. Когда мы притопали с новой мебелью, вид у него был чуток пристыженный.

Суббота, 26 февраля.

Взял коляску, только, увы, в ней оказалась Рози. Пришлось обратно от помойки тащить ее на руках. Но она молодец — даже не заревела ни разу. Миссис Кент пришла в восторг от своей новой стиральной машины. Машину отчистили, и она стала смотреться на все сто. Мистер Кент снял неисправный мотор и начал разбирать его прямо на коврике у камина. А миссис Кент и не пикнула! Моя бы мама тут же вышла из себя. Она папе в гостиной и зажигалку заправить не позволит.

Четверг, 3 марта.

К родителям заходил констебль Гордон предупредить, что я связался с дурной компанией. Завтра зайдет снова — пудрить мне мозги насчет осознания гражданином ответственности перед обществом.

Пятница, 4 марта.

Констебль Гордон не может не вызвать симпатии. Тощий, веселый, каждого называет «братец». Но наговорил такого... «Ты ведь толковый малый, Адриан». И: «Кент и его дружки — шпана шпаной, от них проку не жди».

Потом спросил, с чего это я вдруг с рельсов съехал. С того, говорю, что я — экзистенциальный нигилист.

— А обычно все на скуку ссылаются,— сказал Гордон.

На что я с циничной улыбкой ответил:

— Экзистенциальный нигилизм — это следующий после скуки этап.

Видно было, что мой словарный запас его впечатлил.

Потом пришли родители, и посыпался стандартный набор: «Дома-то он хорошо себя ведет» (это папа) и: «Попал под влияние Кента» (это мама).

Когда полицейский ушел, я почистил ботинки и лег спать. Взял к себе собаку.

Воскресенье, 6 марта.

Состоять в уличной шайке вовсе не так интересно, как мне казалось. Только и знаем, что шляемся вокруг магазинов да в парке на ветру. Иногда просто мечтаю очутиться у себя в комнате с книгой в руках и с собакой под боком.

Понедельник, 7 марта.

Только что вернулся. Весь вечер шатались по холодным пустынным улицам и драли глотки. Барри Кент перевернул смеха ради урну, но на самом деле вышло вов-

[1] Известный государственный деятель и писатель, автор книги «Корни преступности».

се не смешно. Я просто заставил себя хихикать вместе со всеми.

— Если б не я,— заявил Барри Кент,— дядя Педро остался бы без работы.

Его дядя Педро — дворник.

Когда Барри отвалил, я подобрал осколки битых бутылок и ссыпал их обратно в урну, а то еще упадет какой-нибудь малыш и поранится.

Вторник, 8 марта.

Сегодня вечером имел место очень неприятный инцидент.

Барри Кент грязно обругал двух сингхят. Я ему говорю:

— Отвяжись от них, Баз, они — ребята в порядке.

А он в ответ:

— Ненавижу всех, которые не англичане.

Я напомнил ему про дядю Педро, и он буркнул:

— Окромя спаниелей.

Я больше не могу вести эту двойную жизнь.

Среда, 9 марта.

Решил экзаменов не сдавать. Все равно завалю, чего ж из-за них невроз наживать впустую? Еще успею, когда начну зарабатывать на жизнь писательским пером.

Вторник, 15 марта.

Стоит жить дальше или нет?

За	Против
Может, станет лучше	Все равно помирать
	В жизни нет ничего, кроме горя
	В жизни слишком много жестокости
	В июне экзамены
	Родители меня терпеть не могут
	Пандору я потерял
	Из шайки Барри Кента живым не уйти

Пятница, 18 марта.

Наконец-то! Родители заметили, что я отбился от рук, и запретили выходить по вечерам из дому.

Провел вечер, в пятый раз перечитывая «Черную красавицу»[1].

Суббота, 19 марта.

Написал Барри Кенту письмо с уведомлением о выходе из его шайки:

Дорогой Баз!

Предки на неделю засадили меня дома. Поэтому некоторое время не смогу шляться с тобой и парнями. Опять же, заставляют сдавать эти гадские экзамены в июне, поэтому мне придется освободить место в шайке и предоставить его кому-нибудь нуждающемуся. Надеюсь, не обидишься, а?

Братски обнимаю,
Умник.

Вторник, 22 марта.

Решил бежать из дому.

Никто и не почешется. Родители, пожалуй, и не заметят, что я исчез. Уведомил строительное общество, что снимаю со счета пятьдесят фунтов.

[1] Книга для детей (1877) английской писательницы Анны Сьюэлл.

Среда, 23 марта.

Готовлюсь к побегу. Уже написал прощальные письма:

Пандора!

Я, вероятно, на время исчезну.

Адриан.

Дорогие мама и папа!

К тому времени, как вы прочтете это письмо, я буду уже далеко. Знаю, что, совершая побег из дому до наступления шестнадцати лет, я нарушил закон, но, по правде говоря, лучше стать бездомным скитальцем, чем жить так скверно.

Ваш сын,
А. Моул.

Дорогая бабушка!

Извини, что огорчаю тебя, но я на некоторое время уезжаю. Пожалуйста, помирись с мамой и папой. «Они не ведают, что творят». Рози стала очень миленькая, ей очень тебя не хватает.

С любовью,
Адриан.

Уважаемый мистер Скратон!

К тому времени, как Вы получите это письмо, я уже буду далеко от Вашей паршивой школы. Так что не дергайтесь и не шлите за мной погоню. Я намерен продолжить образование в великой школе жизни и никогда не вернусь.

А. Моул.

P. S. Вы хоть знаете, что вас дразнят «Пучеглазый» из-за вашей жуткой привычки таращится, как псих? Все смеются над вами исподтишка, особенно м-р Джоунс и учитель физкультуры.

P. P. S. На вашем месте я б от стыда сгорел оттого, что Барри Кент до сих пор не умеет ни читать, ни писать; проучившись у вас пять лет.

Баз!

Я слинял из города. Легавые повисли на хвосте, постарайся сбить их со следа.

Умник.

Четверг, 24 марта.

Пять дней до побега. Отращиваю бороду.

Пятница, 25 марта.

Начал собираться. Придется как следует обдумать укладку чистых носков и белья. Вынужден буду опуститься до того, чтобы менять белье только через день. Бороды пока не заметно.

Суббота, 26 марта.

Папа велел Кортни Эллиоту не доставлять нам письма из Шеффилда. Но Кортни все-таки принес сегодня письмо, объяснив:

— Королевской почте, как и железнодорожному транспорту, нельзя чинить препятствий, мистер Моул.

Папа порвал письмо в клочья и бросил в мусорный бак.

Позже я их выудил и склеил. Вот что вышло:

...оул.

...ручено... клиентом... ...юкасом, судебный иск, в слу... Ро... оул... ...является его доч... Он требует... ышеозначенного... енка... Роз... Люкас.

Мой клиент... ...нализ крови... под присягой, что... имели место с ... ... Полиной Моу... ... ... замедлительный ответ.

...важением
Ковни, Тинкер и Шульман,
стряпчие.

Среда, 30 марта.

15.00. Станция техобслуживания Уотфорд Гэп, автострада Лондон—Йоркшир.

Первой моей ошибкой было ловить попутку на южной стороне подъездной дороги. Второй ошибкой было брать с собой собаку.

19.31. Шеффилд.

Поймал попутку — свиновоз. Вот ведь везет!

По дороге состоялся продолжительный разговор с водителем. Состоялся, в общем-то, чудом, потому что из-за шума мотора я не слышал ни единого слова. Следует вести себя осторожно и не высовываться — здесь в Шеффилде пасется гад Люкас.

Какого черта у меня никак не растет борода?

21.30. Лидс.

Поймал по четвертой программе выпуск новостей. О моем таинственном исчезновении — ни слова. Пишу на берегу канала. Подвалил какой-то тип, предложил купить собаку. Соблазн был велик, но я устоял.

23.00. Позвонил домой, но никто и не подумал лихорадочно броситься к телефону, как в фильмах про сбежавших детей.

Что ж, вот вам еще одно проявление их безразличия к моей судьбе.

Четверг, 31 марта.

1 час ночи. Снова подвалил тот тип, пристававший насчет собаки. Спросил, не соглашусь ли я продаться сам. Я отказался и добавил, что мой отец — главный констебль Уэльса.

— Какого ж ты хрена дрыхнешь в Лидсе под открытым небом? — спросил тип.

— Папа велел пройти тест на инициативность, — снова соврал я.— Если выживу, пошлет меня в полицейскую школу.

И с чего это я так разоврался? Зачем? Пришлось выслушивать все его жалобы на полицию и обещать передать их папе. Зовут бродягу Стенли Гиббонс.

Пятница, 1 апреля.

10.00 Лидс (прачечная-автомат).

Слава богу, что существуют прачечные-автоматы. Не будь они изобретены, я бы давно уже помер от водобоязни. Больше ведь никуда не сунешься — везде закрыто.

Высушить спальный мешок стоило целый фунт! Но я так промок и замерз, что в ту минуту на деньги мне было плевать.

Жду, когда проснется пес. Он всю ночь нес караульную службу — оберегал нас обоих от Стенли Гиббонса. Завтра мне шестнадцать. А бороды и не видно.

Суббота, 2 апреля.

Манчестер, железнодорожный вокзал.

Добрался сюда на рыбовозе. По дороге притворялся спящим, чтобы избежать разговора с водителем.

10.31. Интересно, что родители мне купили на день рождения? Надеюсь они не очень переживают. Надо бы им звякнуть, сообщить, что я здоров и счастлив.

12.15. Сердитая официантка выставила нас из вокзального буфета. Пес-идиот виноват. Все лез за прилавок, клянчил кусочек ветчины. Будто я ему утром не покупал целый бутерброд с ветчиной.

15.00. А с днем рождения никто меня и не поздравил

15.05. Я не здоров (простудился) и не счастлив,— наоборот, я очень и очень несчастлив.

17.30. Купил себе поздравительную открытку. Написал:

Нашему дорогому первенцу в день его шестнадцатилетия.

Со всей любовью, на которую только способны. Любящие родители.

P. S. Сынок, вернись! Без тебя наш дом пуст и мрачен!

18.15. В шестичасовом выпуске новостей обо мне опять ни слова.

19.30. Об еще одной ночи на улице и подумать страшно.

21.00. Скамейка в парке.

Спрашивал время у троих полицейских подряд, но ни один не признал во мне беглеца. Ясно, что никто и не думал сообщать в полицию мои приметы.

21.30. Только что, изменив голос, позвонил в полицию сам. Сказал:

— У центра переливания крови болтается Адриан Моул, шестнадцати лет, сбежавший из дому. Приметы: недостаточно рослый для своих лет, тощий, волосы редкие, запаршивевшая кожа. Одет в зеленый форменный школьный блейзер, оранжевые непромокаемые брюки, голубую рубашку, вязаную шапочку-шлем и коричневые башмаки. При нем пес-дворняга. Приметы пса: среднего роста, волосатая морда, косит левым глазом, на нем ошейник из плетеной ткани и такой же поводок.

Дежурный ответил:

— Первое апреля уже прошло, сынок.

22.00. Ждал у центра переливания крови, но ни один полицейский так и не появился. Их ведь вечно нет, когда нужно.

23.39. Двадцать четыре раза обходил вокруг полицейского участка, но никто из этих кретинов в синих мундирах на меня и не взглянул.

23.45. Только что не впустили в индийский ресторанчик: без галстука и собака нечесана.

Воскресенье, 3 апреля.

Пасхальное воскресенье.

Манчестер. (Паперть церкви св. Игнатия.)

1 час ночи. Коль скоро для бездомных стало традицией ночевать на паперти, почему бы викариям не почесаться создать на папертях хоть какой-то уют? Не умрут же, если набросают матрацев, а?

Понедельник, 4 апреля.

Паперть церкви св. Игнатия. (Манчестер)

6.00. Вот уже два дня я имею законное право покупать табачные изделия, вступать в половые сношения, ездить на мопеде и жить отдельно от родителей. Но как ни странно, получив эти права, я вовсе не горю желанием ими пользоваться. Прекращаю запись. Мимо могил идет, направляясь ко мне, женщина с добрым лицом.

10.00. Миссис Меррифилд, жена викария, позвонила моим родителям и попросила их приехать забрать меня. Я спросил миссис Меррифилд, как они среагировали. Задумавшись, миссис Меррифилд сморщила доброе лицо, затем ответила:

— С гневным облегчением, милый. Иначе и не скажешь.

Вторник, 5 апреля.

Дом. Моя комната.

Что ж, на улице не было ни флагов, ни толп любопытных, жаждавших поглазеть, как я вылезаю из папиной машины. Лишь мамино хмурое лицо в окне, да за ним — еще более хмурое бабушкино.

Папа всегда ведет машину молча, поэтому мы с ним почти и словом не обмолвились. Зато у мамы и бабушки нашлось много чего сказать. В конце концов я запросил пощады, лег в постель и с головой укрылся накрахмаленными белыми простынями.

Среда, 6 апреля.

Только что ушел доктор Грей. Поставил диагноз: депрессия от постоянных переживаний. Прописал постельный режим и мир в семье.

Родители убиты чувством вины.

Жутко переживаю из-за своего письма пучеглазому Скратону.

Воскресенье, 10 апреля.

Весь день пролежал, уткнувшись носом в стену. Принесли Рози развеселить меня, но ее детский лепет лишь вызывает у меня раздражение, так что ее унесли обратно.

Понедельник, 11 апреля.

Ко мне привозили Берта Бакстера, но его грубые понукания «вставать и бросить сачковать» не отвлекли меня от нигилистских дум.

Среда, 13 апреля.

Заходила на десять минут Пандора.

Похоже, родители и впрямь обо мне забеспокоились — пустили в дом Барри Кента.

Его бессвязный треп о похождениях шайки не смог ни развлечь, ни ободрить меня, поэтому Барри вывели из зашторенной спальни.

Четверг, 14 апреля.

Ко мне приглашают консультанта-психиатра

Д-р Грей признал поражение.

Пятница, 15 апреля.

Только что, выслушав самым серьезным образом мои печали, ушел д-р Дональдсон.

Когда я снова откинулся на подушки, он сказал:

— Разберем все по порядку:

1. Мысль о ядерной войне *действительно* вызывает тревогу, но ты можешь преодолеть страх путем активных действий: вступи в организацию «Граждане за ядерное разоружение».

2. Если завалишь экзамены, можешь пересдать в будущем году или вовсе не сдавать — как королева.

3. Конечно, родители тебя любят. Пока ты был в бегах, они места себе не находили.

4. И вовсе никакой ты не урод. Не красавец, но мальчик как мальчик — вполне симпатичный.

5. Вопрос об отце твоей сестры тебя не касается, да и сделать здесь ты ничего не можешь.

6. Никогда еще не слышал, чтобы по четвертой программе передавали подборки стихов шестнадцатилетних авторов. Надо ставить перед собой реально выполнимые задачи.

7. Я напишу мистеру Скратону («Пучеглазому»), объясню, что ты послал ему письмо в состоянии сильного нервного стресса.

8. Что до Пандоры, то это уже из области неразрешимых проблем.

Четверг, 21 апреля.

Заходила на десять минут Пандора. Завтра придет еще.

Пятница, 22 апреля.

Пандора пришла в 17.00. К концу программы новостей мы уже слились в пылком поцелуе.

Вторник, 3 мая.

Снова в школе.

С тех пор как я был в школе последний раз, здесь многое изменилось. Мистера Джоунса уволили и учителя физкультуры тоже. А мистер Лэмберт женился на миссис Фоссингтон-Гор и стал мистер Лэмберт-Фоссингтон-Гор. Миссис же Фоссингтон-Гор стала миссис Фоссингтон-Гор-Лэмберт.

Мистер Скратон болеет — сдали нервы при составлении расписания. Его обязанности исполняет заместитель — Поджи Пикл. При нем режим помягче.

Весь день учились повторять материал к этим проклятым экзаменам.

18.00. Начал повторять материал по английскому, биологии и географии.

19.00. Решил брать по одному предмету и сосредоточиваться на нем. Начал с английского.

20.00. Прекратил повторять — позвонил Берт Бакстер, просил помочь. У него опять засорился сортир.

Понедельник, 9 мая.

Миссис Тэтчер назначила выборы на 9 июня! Какой эгоизм!

Она что, не знает, как важно не нарушать покой в мае и начале июня, когда школьники готовятся к экзаменам? Поди поучись под рев лживых обещаний громкоговорителей! Поди позанимайся, когда в дверь день и ночь напролет стучат агитаторы, напоминая колеблющимся, что «настало время решать!». Ей-то хорошо — заявила, что поедет за город, — но некоторые из нас себе такого позволить не могут.

Суббота, 14 мая.

10.00. Только что к нам постучался тип в синем костюме в белую полоску и голубой рубашке с голубым галстуком. Сунул мне руку и представился:

— Джулиан Прайс-Пинфолд, ваш кандидат от консерваторов. Надеюсь, вы отдадите мне ваш голос.

Очень было приятно сойти за восемнадцатилетнего, но я ответил:

— Нет, не отдам. Вы стремитесь задушить рабочий класс.

Он заржал как лошадь:

— Ну, не надо преувеличивать, старина. Мы всего лишь стремимся поставить его на место!

Сунул мне плакат со своим портретом. Я пририсовал рога, вывел на лбу «666» и вывесил портрет в окне гостиной.

Воскресенье, 15 мая.

Только что мои занятия по биологии прервал тип в сером костюме и белой рубашке с красным галстуком. Постучался в дом и представился кандидатом от лейбористов. Сказал:

— Мое имя — Дэйв Блейкли, и я верну Британии работу.

Папа спросил, не найдется ли какой работы в штаб-квартире лейбористской партии (это папа совсем дошел до ручки).

Дэйв Блейкли сказал, что не знает, поскольку в штаб-квартире отродясь не бывал.

— Расхожусь, — объяснил, — с официальной платформой лейбористской партии.

Мама налетела на него насчет ядерного разоружения, а потом врезала лейбористам и за жилищное строительство, и за образование, и за отношение к профсоюзам.

— Вы, наверное, тори, мадам? — спросил Дэйв Блейкли.

— Вот еще! — фыркнула мама.— Всю жизнь голосую за лейбористов.

Понедельник, 16 мая.

Блондин в блейзере с полковым значком стоял сегодня у школьных ворот и раздавал листовки. Прочитал по дороге домой. Звать блондина Дункан Макинтош, а партия его именуется «Гнать их взашей, откуда прикатили». Программа партии: насильственная репатриация черных, желтых, коричневых, серо-буро-малиновых в крапинку, а также евреев, ирландцев, шотландцев, кельтов, валлийцев и потомков норманнов.

В общем, всех, кто не сможет доказать чисто саксонское происхождение от льноволосых предков.

Победи этот тип на выборах, прикинула мама, и население Великобритании сократится ровно до одного человека.

Вторник, 17 мая.

Барри Кент пообещал вздуть Дункана Макинтоша, появись тот еще раз возле нашей школы.

Он вступил в группу «Рок против расизма». (Барри Кент то есть, а не Дункан Макинтош).

Среда, 18 мая.

Только что от нас, чуть не разревевшись, отвалила кандидатка социал-демократической партии (зеленый костюм, оранжевая блузка, нейтральных тонов галстук). Мама не позволила ей поцеловать Рози.

Пятница, 20 мая.

Скратон ушел на пенсию по состоянию здоровья (психическое расстройство). На дверь директорского кабинета привинтили табличку с именем Поджи Пикза.

У меня в классе он не преподавал, но, судя по всему, тип ничего: любит порассказывать о семье и обсуждает с учениками планы покупки нового автомобиля.

Собирал сегодня всю школу. Галстук у него снизу доверху заляпан засохшим желтком. Я видел — стоял рядом. Вызвал меня на трибуну, попросил выступить на тему: «Почему следует отменить ношение школьной формы».

Я говорил с пылом, аргументируя позицию нищетой нашей семьи, и заставил миссис Фоссингтон-Гор-Лэмберт прослезиться.

Вторник, 24 мая.

Повесил на дверь табличку: «ВНИМАНИЕ! ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!»

Все время мешают. Надоело.

Среда, 25 мая.

Никто не зашел разбудить меня, поэтому опоздал в школу, а когда вернулся домой, на полу так и валялось грязное белье, а шторы были опущены.

Четверг, 26 мая.

Прямо со двора сперли мой гоночный велик. В первую очередь подозреваю мусорщиков — до сих пор не могут простить, что прошлым летом у нас в мусорном баке черви завелись.

Суббота, 28 мая.

Нигел вернул велик.

Хотел сбежать на нем от экзаменов, но передумал, когда отец купил ему комплект учебных видеокассет.

Мы — единственные на нашей улице, у кого нет видео, так что мне подобного технического содействия от родителей не видать. Остается полагаться лишь на собственные мозги.

Среда, 1 июня.

Больше дневник вести не буду, пока не сдам экзамены.

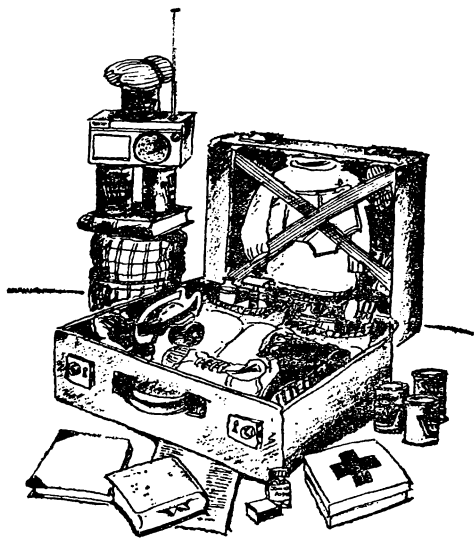
Сейчас приедет Кортни Эллиот позаниматься со мной напоследок. Пора кончать— его такси уже остановилось у дома.

Четверг, 2 июня.

Вчера вечером родители ушли к консультанту по вопросам семьи и брака. В их отсутствие мы с Пандорой предавались жгучим ласкам. Настолько жгучим, что я испытал небывалое облегчение.

Плевать, если не сдам экзамены!

Зато знаю теперь, что такое любовь хорошей женщины!



◆

Публицистика

ЛАСЛО ДЮРКО

1956

Предварительное исследование и прагматическое изложение событий

Главы из книги

Перевод с венгерского и комментарий П. БОНДАРОВСКОГО

Посвящается Дёрдю Кардошу

1. «Улица — наша!»

История, говорили мыслители древности, лучший учитель жизни. Но у кого учиться историографам?

23 октября 1956 года был вторник. Стоял типичный для ранней осени ясный солнечный день. После полудня многотысячные толпы будапештских студентов двинулись к памятнику Шандору Петефи. Взявшись под руки, они шагали широким строем по мостовым, возглавляемые преподавателями и руководителями университетов и институтов. В старом центре столицы, Белвароше, остановилось движение транспорта. Маленькая площадь на берегу Дуная едва смогла вместить молодых демонстрантов, в неимоверной толкучке трудно было пошевельнуть рукой. Какой-то актер, взобравшись на гранитный пьедестал, принялся декламировать «Национальную песню»[1]. Стоявшие поблизости подхватывали рефрен, им запоздало вторили остальные, за гулом голосов не слышавшие актера, а лишь видевшие его энергичные жесты: «Богом венгров поклянемся навсегда — никогда не быть рабами, никогда!»

К тому времени, когда студенты собрались у памятника Петефи, переданное по радио распоряжение министерства внутренних дел, запрещавшее какие-либо митинги и демонстрации на улицах, еще оставалось в силе. Оно было отменено лишь полтора часа спустя.

Следуя выработанному утром плану, с площади Петефи студенты направились к памятнику Йозефу Бему[2], чтобы провести там митинг польско-венгерской дружбы — такова была объявленная цель демонстрации. В то же самое время, в соответствии с другим планом, менее внушительная колонна построилась на улице Байза, перед польским посольством, расположившимся прямо напротив здания Союза венгерских писателей, и тоже тронулась в путь. Шествие возглавляла многочисленная группа литераторов, в центре первой шеренги, как всегда в сапогах, шагал председатель Союза писателей Петер Вереш. Вся страна знала его в лицо: после Освобождения он возглавлял Национально-крестьянскую партию.

На углу улицы Ракоци и Музейного кольца колонны встретились и, объединившись, двинулись по улице Байчи-Жилински, чтобы затем свернуть на Большое кольцо. Демонстрантов теперь насчитывалось несколько десятков тысяч. Трамваи и автобусы останавливались на их пути, частные автомашины, которые, правда, в те годы были наперечет, сбавляли скорость и при первой возможности сворачивали в какой-нибудь переулок. Прохожие выстроились на тротуарах живой стеной, многие присоединялись к

© Gyurkó László, 1987

[1] «Национальная песня» — стихотворение Шандора Петефи (1823—1849), ставшее гимном национально-освободительного движения в Венгрии 1848—1849 годов.

[2] Йозеф Бем (1794—1850) — польский офицер, участник революционных битв во многих странах Европы, с ноября 1848 года — генерал венгерской национально-освободительной армии.

шествующим. Из распахнутых окон жилых домов и учреждений махали руками, выкрикивали приветствия. Магазины закрывались; побросав работу, в колонну вливались продавцы и официанты, парикмахеры и кондукторы опустевших трамваев. Назначенные или добровольные начальники подколонн бегали взад-вперед, поторапливая отстающих и подравнивая шеренги. Масштабы шествия поражали не только наблюдавших его со стороны, но и самих участников: столь массовые выступления, не организованные ни правительством, ни церковью, ни какой-либо партией, Будапешт видел, пожалуй, лишь в 1848 да в 1918 годах.

Колонны пели — то марши бойцов революции 1848 года, то дорогие сотням тысяч венгров песни первых лет после Освобождения, то французскую «Марсельезу», то русскую «Дубинушку», то марш испанских интернациональных бригад, то народные песни... Звучали и лозунги, призывы — частью сочиненные заблаговременно в институтских аудиториях, распечатанные и распространенные среди студентов, частью родившиеся уже на улицах — кто-нибудь выкрикивал фразу-экспромт, и ее подхватывали, передавая по колонне; одни лозунги не приживались, а другие приходились по душе многим и то звучали, то затихали, то слышались вновь, подчас измененные или дополненные: «Польша нам пример дает, наступает наш черед!», «С Югославией и Польшей наша сила втрое больше!», «Независимость, свобода, с Польшей Венгрия до гроба!», «Долой памятник Сталину!», «Советские танки, езжайте домой, статую Сталина возьмите с собой!», «Всегда войска любой страны в своих краях стоять должны!», «Дети пахарей, рабочих, ваша власть, долой всех прочих!», «Пусть Венгрией венгры правят, в правительство — Имре Надя!», «Плачут по Ракоши воды Дуная, даешь правительство Имре Надя!», «Пустим Ракоши в расход, за Имре Надя весь народ!», «К новой жизни новым путем с новым правительством только придем!», «Ложью мы по горло сыты, Фаркаша судить открыто!», «Школу ошибок прошли мы суровую, даешь в экономике политику новую!», «Чтоб дух свободы в народе окреп, вернуть на знамя Кошута герб!..»

Поначалу знамен в колоннах было немного, лишь те, что принесли с собой студенты, но потом кто-то сообразил: ведь флаги, предназначенные для украшения улиц в дни праздников, есть в каждой дворницкой. Группами и поодиночке демонстранты устремлялись в подворотни и подъезды и возвращались, размахивая полотнищами всевозможных размеров или неся под мышкой целые связки флагов, которые тотчас расходились по рукам. Вскоре над гигантской колонной реяли тысячи трехцветных и — в значительно меньшем количестве — красных стягов. Затем в руках замелькали ножи и ножницы, и еще некоторое время спустя с красно-бело-зеленых знамен исчез государственный герб ВНР, на месте которого зияли теперь бесформенные прорезы.

Памятник Йозефу Бему установлен на будайском берегу Дуная, в центре площади, носящей его имя; решительным жестом бронзовый генерал поднимает гонведов в атаку. Позади памятника разместилась казарма, из ее распахнутых окон солдаты в недоумении наблюдали за приближающейся огромной массой людей. По боковым улочкам к площади направлялись и новые участники демонстрации — студенты Политехнического института, слушатели Военно-политической академии имени Шандора Петефи; последние двигались строевым шагом во главе со своими командирами, однако, выйдя на площадь, в считанные минуты нарушили строй, потеряли друг друга, растворившись в едва ли не стотысячной толпе. «Знамена — вывесить!» — прокричал кто-то, обращаясь к обитателям казармы. Его поддержали, и вскоре в окнах заколыхались национальные флаги. Их появление опьяненные радостью демонстранты встретили ликующими возгласами. Поднявшись на крышу бог весть откуда взявшегося автомобиля, Петер Вереш огласил требования Союза писателей, затем какой-то юноша зачитал требования Союза университетских и институтских организаций (МЕФЕС). И опять, как на площади Петефи, слово взял декламатор, но его мало слушали: то тут, то там возникали все новые и новые ораторы, их поднимали на плечи, и они что-то провозглашали, о чем-то высказывались, однако разобрать удавалось немногое.

Устроители митинга планировали его иначе. Сохранились экземпляры совместного решения студенческого комитета Политехнического института и первичной организации МЕФЕС Строительного института. В тексте, размноженном и заранее распространенном среди участников демонстрации, говорилось: «Сегодня в 2 часа пополудни студенты обоих институтов строятся в колонны во дворе Политехнического института. Относительно порядка шествия решено следующее: 1) идти сомкнутым строем в шеренгу по десять, взявшись под руки; 2) лозунгов не выкрикивать, так как считаем достойной лишь молчаливую демонстрацию...» Далее в решении указывались маршрут и точное время соответствующих акций: во сколько начало митинга у памятника Бему, во сколько пение государственного гимна, во сколько завершение демонстрации. Решение заканчивалось словами: «Просим, точно придерживаясь указанного времени, обеспечить организованность нашей демонстрации».

У толпы, однако, никакого предварительного плана не было, и устроители митинга, даже если бы захотели, все равно не сумели бы справиться с возникшим хаосом. Прогремел новый клич: «К Парламенту!» — и толпа хлынула обратно через мост Маргит из Буды в Пешт. К тому моменту закончился трудовой день, улицы были полны рабочих и служащих, возвращавшихся домой, многие из них пополнили ряды демонстран-

тов. Были и такие, кто специально поспешил в центр с окраины,— весть о невиданном шествии проникла уже в самые отдаленные районы. Об общем числе манифестантов очевидцы, журналисты, историографы и сами участники высказывают разные мнения: одни называют цифру в сто тысяч, другие — в несколько сотен тысяч, а третьи — и того больше.

Так или иначе, просторная площадь перед Парламентом — Государственным собранием страны — показалась демонстрантам такой же тесной, как несколько часов назад крохотная площадь Петефи. Трудно сказать, что привело их сюда. Быть может, сыграло роль то, что здание Парламента — символ венгерского государства? И тогда выстраивается хоть и непрочная, но все же вероятная логическая цепочка к стихийно возникшему первому конкретному требованию уже не отдельных групп, а всех собравшихся: пусть Имре Надь обратится к народу с речью. Кто в те минуты помнил, что Надь давным-давно не премьер-министр и что его нет в Парламенте! Смеркалось, с Дуная на площадь рвался промозглый осенний ветер. Имре Надь не появлялся, а толпа ждала, пела, скандировала.

Вскоре от нее отделилось несколько тысяч человек, которые устремились по направлению к площади Героев. Но не желание поклониться предводителю древних венгерских племен, «завоевателю родины» князю Арпаду влекло их туда — его изваяние они в сумерках едва ли заметили,— а памятник Сталину. Звучали все те же песни и те же лозунги, однако и здесь была теперь конкретная цель: сбросить статую с пьедестала. Шею ей обмотали стальными тросами, концы которых тянулись к лебедкам, крюкам автокранов, грузовикам. Взревели моторы, десятки тел навалились на лебедочные рукояти, но бронзовый колосс, ростом во много раз выше человеческого, даже не шелохнулся.

Откуда-то, по всей вероятности из расположенного неподалеку автобусного парка, прибежали сварщики. Шипя и рассыпая искры, голубое пламя врезалось статуе в колени. Дюйм за дюймом отступала бронза под натиском огня, и вот снова дернулись с места грузовики, заскрипели от напряжения тросы. Заскрежетав, статуя накренилась и рухнула с мраморного пьедестала. Грохот, произведенный ее падением, потонул во взметнувшемся над площадью Сталина исступленном вопле тысяч людей. Грузовики протащили поваленного колосса на тросах по улицам к центру города — до площади Луизы Блаха. Там статую обезглавили, и затем в течение нескольких дней вокруг нее копошились десятки и сотни горожан, орудуя молотками, кирками, пилами — разбирая «на сувениры». На пьедестале же так и осталась стоять пара бронзовых сапог. Долгие месяцы во всей стране не было человека или организации, у которых дошли бы руки и выдалось время заняться ими.

А между тем совсем стемнело. Толпа на площади перед Парламентом по-прежнему ждала Имре Надя. На балкон вышел министр Ференц Эрдеи, в прошлом один из руководителей Национально-крестьянской партии, и хотел что-то сказать, однако за протестующими возгласами невозможно было разобрать ни слова: демонстранты желали слушать только Имре Надя. Бывший глава правительства все не появлялся, и атмосфера на площади накалялась от минуты к минуте. Внезапно погасли все фонари. Толпа зловеще загудела, но уже через несколько мгновений то тут, то там засветились факелы из свернутых газет, и скоро вся площадь расцвела десятками тысяч неярких, как пламя лампадки, огней. Фонари, однако, вспыхнули вновь.

Было около восьми часов вечера, когда на балконе показался Имре Надь. Под руки его поддерживали двое сотрудников: балкон здания Парламента построен исключительно как украшение — маленький, с низкой балюстрадой, он не рассчитан на то, чтобы с него выступали. В ногах у Имре Надя, согнувшись в три погибели и держа на вытянутой руке микрофон, примостился корреспондент радио.

Трудно сказать, многие ли узнали его, многие ли услышали. Усилитель был очень слаб даже для уровня радиотехники того времени.

— Товарищи! — начал Имре Надь.

В группах, стоявших ближе к балкону, засвистели, кто-то крикнул: «Мы не товарищи!» — слова подхватили как лозунг, и через несколько секунд его скандировала вся площадь. Имре Надь растерялся и стал говорить что-то невразумительное о необходимости поддержания порядка, о том, что надо быть бдительными, о развитии социалистической демократии и обновлении партии. Затем зазвучали слова государственного гимна: то ли сам Имре Надь первым запел его, то ли кто-то в толпе: «Боже, благослови венгра...» Все находившиеся на площади встали навытяжку. «...Отстрадал уже этот народ и за прошлое и за грядущее». Когда стихла последняя строка гимна, Имре Надь повернулся и, покинув балкон, вновь скрылся под высокими, узорчатыми, купающимися в электрическом свете сводами залов Парламента.

Так что же произошло 23 октября 1956 года в столице страны, где политические баталии годами, столетиями разгорались отнюдь не на улицах? Факелы, что горели в тот вечер на площади Кошута, демонстранты сворачивали из специального вечернего выпуска ежедневной газеты Союза трудящейся молодежи «Сабад ифьюшаг». Передовая статья в ней была озаглавлена так: «Улица — наша!» Имелась в виду молодежь, требовавшая лучшего, более свободного и гуманного социализма.

Все сколько-нибудь заслуживающие доверия очевидцы, участники событий, историографы в основном изображают

демонстрацию одинаково. Разве что несколько частных вопросов не получили ответа. До какого времени в руках демонстрантов, наряду с национальными флагами, оставались и красные? Когда именно с национальных флагов стали убирать государственный герб? Какие лозунги выдвигали демонстранты?

По поводу последнего вопроса кое-что известно, поскольку многие лозунги по сути представляли собой сжатое изложение тех требований, которые содержались в решении, принятом на состоявшемся накануне и длившемся до глубокой ночи собрании двух тысяч студентов Политехнического института — членов Союза университетских и институтских организаций. В последующие дни текст этого решения неоднократно перерабатывался, так что одновременно существовало сразу несколько его вариантов, среди которых выявить первоначальный было практически невозможно.

Ниже я привожу требования студентов в том виде, в каком они были опубликованы 23 октября в газете «Сабад ифьюшаг» и вкратце изложены в центральном органе Венгерской партии трудящихся — газете «Сабад неп». Большинству участников событий, таким образом, был известен именно этот вариант.

«1. Немедленный созыв Центрального комитета ВПТ и переформирование его состава вновь избранными местными партийными комитетами.

2. Образование нового правительства во главе с Имре Надем.

3. Установление дружественных венгеро-советских и венгеро-югославских отношений на принципах полного экономического и политического равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга.

4. Проведение всеобщего, равного и тайного голосований по выборам в Национальное собрание с участием партий, входящих в состав Народного фронта.

5. Реорганизация с помощью специалистов венгерской экономики и в рамках этого обеспечение подлинно хозяйского использования венгерской урановой руды. Обнародование внешнеторговых договоров и пересмотр экономической политики, основанной на принципах планового ведения хозяйства.

6. Упорядочение нормирования труда в промышленности и введение на предприятиях рабочего самоуправления.

7. Пересмотр системы обязательных поставок продукции государству и поддержка индивидуальных крестьянских хозяйств.

8. Пересмотр всех политических и хозяйственных судебных дел, амнистирование политических заключенных, реабилитация безвинно осужденных и подвергнутых другим репрессиям. Открытое слушание судебного дела Михая Фаркаша.

9. Восстановление герба Кошута в качестве герба страны, объявление 15 марта и 6 октября национальными праздниками и нерабочими днями [3].

10. Осуществление принципа полной свободы мнений и печати (включая радио!) и в рамках этого основание независимой ежедневной газеты как органа нового МЕФЕС, а также предание гласности и уничтожение личных дел на граждан.

Студенческая молодежь выражает единодушную солидарность с рабочими и молодежью Варшавы, с польским движением за национальную независимость».

Приведенные требования можно подразделить на три достаточно самостоятельных, но в то же время тесно связанных между собой группы.

Экономическое положение и жизненный уровень Венгрии в 1956 году были если и не катастрофическими, то уж во всяком случае близкими к тому.

Вторая мировая война нанесла стране огромный ущерб. Насильственной смертью погибло около полумиллиона человек. Будапешт лежал в руинах, были взорваны все до единого мосты через Дунай и Тису, уничтожено или угнано на Запад 70 процентов всего поголовья скота, страна потеряла почти половину национального богатства. Венгрия установила «мировой рекорд» по темпам роста инфляции: в июле 1946 года на ее территории в обращении находилось 47 349 492 триллиона пенгё [4], то есть в 62 миллиарда раз больше, чем за полгода до этого; в ходу были банкноты достоинством в один миллиард, в один триллион. Подобные суммы трудно представить. Рабочие носили домой зарплату набитыми до отказа сумками, а покупательная способность денег час от часу снижалась. Люди рассчитывались между собой не только банкнотами или золотом, но и жиром, салом, яйцами. Многие в стране и за рубежом полагали, что Венгрии потребуются долгие десятилетия, чтобы оправиться после такого удара.

Но случилось иначе. Обретшая новую жизнь страна трудилась с невиданным воодушевлением. На территории Венгрии еще шли бои, а крестьяне в освобожденных районах уже приступали к разделу помещичьих земель; 650 тысяч семей получили в среднем по пять хольдов [5]. 1 августа 1946 года родилась новая, полноценная денежная единица — форинт. В 1947 году были национализированы банки, шахты, крупные предприятия, а в 1948-м — по сути дела вся промышленность и торговля. Объем производства продукции в сельском хозяйстве достиг в 1948 году 80 процентов довоенного уровня, а в промышленности даже превысил его на 28 процентов. С голодом, нищетой в Венгрии было покончено.

Однако уже вскоре стали давать о себе знать серьезные ошибки. Были утверждены неосуществимые темпы развития народного хозяйства, в котором, к

[3] Лайош Кошут (1802—1894) — руководитель национально-освободительной борьбы венгерского народа в 1848—1849 годах, временный правитель страны; 15 марта и 6 октября 1848 года — ключевые даты этой борьбы: 15 марта — восстание в Пеште, начало революции, 6 октября — восстание в Вене.

[4] Денежная единица Венгрии с 1927 по 1946 год.

[5] Хольд — приблизительно 0,4316 га.

тому же, все подчинялось интересам тяжелой индустрии. В 1951 году вновь пришлось ввести карточки на основные продукты питания и товары первой необходимости. Постоянные пересмотры норм выработки вели к снижению реальной заработной платы, а ежегодное проведение подписки на заем мира превратилось в сбор своего рода налога. Система обязательной сдачи государству продуктов производства разоряла крестьян, часть которых вступили в сельхозкооперативы по принуждению. И в результате случилось невероятное: крестьянин, столетиями вынашивавший мечту о собственном участке земли, бросил ее; миллион хольдов плодородных земель оставались под паром — их некому было возделывать. В 1952 году реальная заработная плата рабочих и служащих была на 20 процентов, а доходы крестьян — на одну треть ниже, чем в 1949-м. В 1953 году предпринятые правительством меры принесли заметное облегчение, но лишь на короткое время. Соотношения между планами, реальными объемами производства, ценами и заработной платой постоянно менялись, запутывались, усиливая в людях ощущение непрочности существования.

Другая группа требований касалась национальных особенностей и традиций, а также пересмотра принципов советско-венгерских связей.

Слова «коммунист», «большевик», «советский человек» являлись в Венгрии после разгрома Венгерской советской республики синонимами слова «дьявол», а «коммунизм» — синонимом «ада». В школе детей воспитывали в страхе перед «красной опасностью», в церкви с кафедры предавались анафеме «безбожные коммунистические доктрины», в прессе «коммунистические наймиты» объявлялись «предателями родины», на плакатах с рук у большевиков непременно капала кровь, война же провозглашалась «крестовым походом против коммунизма». Не много было в Венгрии людей, на которых в той или иной степени не повлияла такая вот длившаяся четверть века ежедневная пропаганда.

Во второй мировой войне венгерские солдаты сражались против советских. Человек же в гибели своих отца, сына, брата, как правило, более склонен винить не тех, кто заставил их нападать на другую страну, а тех, от чьего оружия они пали, даже если это оружие служило самому святому — защите Родины. Советские войска выбили с территории Венгрии и немецкую и венгерскую армии, а война, обернувшаяся для страны опустошительными разрушениями, у мирного населения радости никогда не вызывает. Около ста тысяч венгерских солдат попали в советский плен, в плену же вообще сладко не бывает, тем более — в стране, которая сама голодает, испытывает недостаток в самом необходимом.

От ошибок в осуществлении советско-венгерских связей настороженность, недоверчивость, антипатия, а порой и прямая ненависть, еще сохранявшиеся в душах миллионов людей, могли только усилиться.

Наибольшей ошибкой, очевидно, было то, что во всех странах народной демократии стали насаждаться совершенно одинаковые, функционирующие по одной и той же схеме экономические, социальные и политические системы. Но ведь в Польше против фашистских захватчиков плечом к плечу с коммунистами сражались и представители буржуазии, националисты, католики, антикоммунисты. Промышленно развитая Чехословакия к моменту расчленения и аннексирования ее Германией была государством с либеральным буржуазно-демократическим строем. Болгария и Румыния являлись монархиями с полуфашистскими правительствами, в экономическом отношении — отсталыми аграрными странами, которые, однако, в конце войны выступили против Германии. ГДР образовалась на территории бывшей Германской империи как самостоятельная часть разделенной надвое Германии. В своеобразном государственном строе довоенной Венгрии правая — во многом даже крайне правая — политика сочеталась с элементами феодализма и либерализма, что в итоге вылилось в фашистскую диктатуру. Как же могли всего за несколько лет подняться до одного уровня, прийти к общему знаменателю столь разные страны? Страны, каждую из которых еще отличали собственные традиции — глубокие, уходящие корнями в столетия.

Стремление к унификации проявлялось и в чисто внешних формах, причем, как показал октябрь 1956 года, именно такие каждодневно наблюдаемые внешние проявления и вызывали у населения наибольший протест. Сразу же после Освобождения королевский герб с короной и двумя ангелами был заменен гербом Кошута, символизировавшим национально-освободительную борьбу, однако уже вскоре его место занял герб, созданный в подражание советскому. В советского типа форму оделись армия, милиция, почтальоны, железнодорожники.

Символика страны формируется постепенно, традиции не рождаются и не отмирают всего за несколько лет, и происходит то и другое не только на основе рациональности. День 4 апреля каждый венгр, если только он не был ярым приверженцем старого режима, воспринял как день Освобождения. Но далеко не сразу его стали ощущать подлинным праздником. 7 ноября — тем более. В то же время богатый традициями, накапливавшимися в течение многих десятилетий, праздник Первомая трудящиеся без колебаний приняли как свой, народный и отмечали его торжественно и радостно.

Внедрению в национальное сознание новой символики во многом мешали и обильная политическая трескотня, и унылая витиеватость звучавших в те годы речей, а особенно — политика неискренности и скрытности. В вооруженных си-

лах, крупных учреждениях и на больших заводах работали советники из Москвы, о чем открыто не говорилось, но знали об этом все. Рождались и распространялись всевозможные слухи о каких-то невероятных суммах репарации. Пренебрежительное отношение руководства страны к информированию общественности оборачивалось против него же: передававшиеся доверительным шепотом из уст в уста якобы достоверные сведения, проверить которые было негде, до неузнаваемости искажали действительное положение дел, сеяли панику. Наиболее ярко это проявилось в вопросе о венгерской урановой руде, который присутствовал в дни октябрьских событий практически во всех вариантах требований, обращенных к правительству. И напрасными были попытки компетентнейшего венгерского ученого разъяснить, что урановые залежи в Венгрии толком еще не разрабатывались,— порожденная политикой скрытности и недоговоренностей легенда о разграблении национального богатства страны оказалась сильнее любых аргументов. В сознании многих сформировалось убеждение, переросшее затем в массовую истерию, что Советский Союз обирает Венгрию. Как следствие этого понимали и катастрофическое положение, сложившееся в экономике страны. А отсюда был уже один шаг до того, чтобы все ошибки, все то негативное, что имело место до 1956 года, приписать влиянию Советского Союза, в «колониальной зависимости» от которого Венгрия якобы оказалась.

Ощущение уязвленности национального самолюбия только усиливалось бесцеремонной, недальновидной политикой в области идеологии, которая практически вычеркнула из венгерской истории королей Иштвана [6], Белу IV [7], Матяша [8], Сечени [9] и Деак [10] стали реакционерами и ретроградами. Из духовной жизни страны исчезли Мадач [11], Чонтвари [12], Барток [13], на грани запрета находились произведения Верешмарти [14], Бабича [15], Костолани [16]. Во врагов превратились участвовавшие в подготовке венгерской революции радикалы, Михай Каройи [17], активисты социал-демократического движения. Фальсифицировалась история Венгерской советской республики, коммунистической партии. От искусства были отлучены Деркович [18], Деши-Хубер [19], подвергались разносной критике Дёрдь Лукач [20], Тибор Дери [21], запрещено творчество десятков выдающихся деятелей литературы и искусства, даже Аттила Йожеф [22] остался в истории литературы лишь в основательно «выправленном» виде. А между тем на головы авторов откровенной халтуры сыпались премии имени Кошута и Сталина; слабые советские романы и кинофильмы подчас возводились в разряд классики, настоящие же шедевры оставались в тени. Народ терял духовные ориентиры.

Третья группа требований касалась политической структуры и в первую очередь — партии. После Освобождения в Венгрии образовалась многопартийная система, руководство страной осуществляло коалиционное правительство. Достаточно точную картину расстановки политических сил дали итоги первых выборов в Национальное собрание, состоявшихся в ноябре 1945 года. Обе рабочих партии — коммунистическая и социал-демократическая — набрали по 17 процентов голосов, национально-крестьянская партия получила 7 процентов.

За Партию мелких сельских хозяев (ПМСХ) голосовали, видимо, все те, кто выступали против левой или радикальной политики — крестьяне, банкиры, чиновники, убежденные антикоммунисты, буржуазная интеллигенция, правые консерваторы, либеральные демократы, служащие государственного аппарата хортистского режима, офицеры хортистской армии, антисемиты, торговцы и буржуазия еврейского происхождения, монархисты, националисты, ремесленники, верующие, атеисты. Партия мелких сельских хозяев в 1945 году представляла собой скорее коалицию нескольких партий, объединившихся на почве неприятия социализма. Число ее членов летом 1945 года составляло почти миллион.

[6] Иштван I (975—1038) — первый венгерский король, основатель венгерского государства.

[7] Бела IV (правил с 1235 по 1270 год) — венгерский король, «второй основатель» венгерского государства после опустошительного монголо-татарского нашествия.

[8] Матяш Корвин (правил с 1458 по 1490 год) — венгерский король, годы правления которого явились эпохой расцвета венгерского государства, наук и искусств в стране.

[9] Иштван Сечени (1791—1860) — граф, один из руководителей движения за реформы, развернувшегося в Венгрии в 1825 — 1848 годах; его деятельность послужила толчком для культурного и экономического развития Венгрии.

[10] Ференц Деак (1803—1876) — либеральный политический деятель, юрист, представитель умеренной оппозиции династии Габсбургов до 1848 года.

[11] Имре Мадач (1823—1864) — выдающийся венгерский драматург, автор знаменитой «Трагедии человека».

[12] Тивадар Чонтвари Костка (1853—1919) — выдающийся венгерский художник.

[13] Бела Барток (1881—1945) — один из крупнейших венгерских композиторов, исследователь и пропагандист народной музыки, автор многих сценических произведений и фольклорных переработок.

[14] Михай Верешмарти (1800—1855) — выдающийся поэт-романтик.

[15] Михай Бабич (1883—1941) — венгерский поэт, новеллист, эссеист и переводчик.

[16] Дежё Костолани (1885—1936) — писатель, переводчик, один из самых выдающихся стилистов в современной венгерской литературе.

[17] Михай Каройи (1875—1955) — граф, политический деятель, после победы в 1918 году буржуазно-демократической революции — премьер-министр, а затем президент республики; 21 марта 1919 года добровольно передал власть правительству Венгерской советской республики.

[18] Дюла Деркович (1894—1934) — венгерский художник, основная тема работ — жизнь и борьба пролетариата.

[19] Иштван Деши-Хубер (1895—1944) — художник, активист подпольной компартии; как и Деркович, посвящал свои работы жизни и борьбе рабочего класса; посмертно — лауреат премии им. Кошута.

[20] Дёрдь Лукач (1885—1971) — венгерский философ-марксист; в период Венгерской советской республики — нарком по делам культуры; автор трудов по марксистской эстетике, истории философии, литературоведению.

[21] Тибор Дери (1894—1977) — выдающийся современный венгерский писатель, член коммунистической партии с 1919 года.

[22] Аттила Йожеф (1905—1937) — выдающийся венгерский поэт.

За социал-демократов голосовали в первую очередь старые кадровые рабочие, а также некоторые ремесленники, торговцы, служащие, представители интеллигенции; за Национально-крестьянскую партию — бывшие батраки, крестьянская беднота, интеллигенты, воспитанные на произведениях писателей из народа.

17 процентов избирателей отдали свои голоса Венгерской коммунистической партии. Для страны, где в течение четверти века только и слышалось, что коммунисты — предатели родины, подлые мошенники, убийцы, где партии приходилось работать в условиях глубокого подполья, в обстановке жесточайшего полицейского террора,— это был невероятно крупный успех. Насчитывавшая в лучшем случае несколько тысяч членов коммунистическая партия уже через полгода после Освобождения получила 800 тысяч голосов, принадлежавших в первую очередь рабочим, реже — крестьянам, интеллигенции и в значительном количестве — молодежи. Это был кредит доверия партии, ее программе, ее дееспособности...

Однако лидеры коммунистической партии расценили итоги выборов иначе. Они все еще жили иллюзиями, сохранившимися со времен Венгерской советской республики и глубоко укоренившимися за десятилетия, проведенные в эмиграции; им не было известно, каковы массовые настроения теперь, какое влияние на людей оказали продолжавшиеся четверть века контрреволюционная пропаганда, разжигание националистических страстей, религиозного фанатизма. Они были убеждены, что венгерский народ по-прежнему жаждет власти рабочих, и рассчитывали на уверенную победу коммунистов и социал-демократов. Реальность вернула их с заоблачных высей на землю, но вместо того, чтобы покончить с иллюзиями, они объявили ошибочной действительность.

Здесь, очевидно, кроется одна из причин, по которым в открытой политической борьбе коммунисты стали применять не свойственные ей методы: они добивались устранения лидеров других партий от руководства, мешали их деятельности, вынуждали покинуть страну. И без того разрозненная, непрочная Партия мелких сельских хозяев распалась, была уничтожена и буржуазная оппозиция. В скором времени от всей коалиции остались лишь коммунисты и социал-демократы.

Однопартийная система не являлась изначально намеченной целью, программой, ведь и Ленин не считал, что политическая структура социалистического строя подразумевает существование непременно одной партии. В Советском Союзе оппозиционные партии сами подписали себе приговор тем, что в период гражданской войны выступили против Советской власти с оружием в руках. В Венгрии ситуация была иной. Ведущий идеолог коммунистической партии Йожеф Реваи писал в газете «Сабад неп» от 26 сентября 1948 года: «У нас существует народная демократия, существует коалиция, существуют классы, не стерлись различия между рабочим классом и крестьянством; в этих условиях формальная ликвидация партий ни на шаг не приблизила бы нас к ликвидации классов». Однако уже в ноябре 1948 года на заседании Центрального комитета ВПТ генеральный секретарь Матяш Ракоши подчеркнул важность отказа от «старых форм и институтов», а в своем отчетном докладе на мартовском заседании 1949 года высказался еще более однозначно, заявив, что даже сам факт существования разных партий означает резерв для классового врага.

Во всем этом, очевидно, сказывалось и отсутствие у коммунистической партии опыта ведения открытой политической борьбы. В 1919 году она пришла к власти на гребне мощного, все сметавшего на своем пути массового движения, но после разгрома Венгерской советской республики практически исчезла с политической арены: сотни коммунистов были казнены, тысячи оказались в тюрьмах и концентрационных лагерях, десятки тысяч уехали в эмиграцию, где многие из лидеров стали жертвами противозаконных судебных процессов. В период между двумя мировыми войнами в партии едва ли можно было найти человека, которого бы не арестовывали, не судили, не подвергали пыткам. Это была партия, располагавшая опытом нелегальной работы в своей стране и опытом «кулуарной» борьбы, накопленным в эмиграции. То, что к моменту Освобождения она сохранила сплоченность рядов, была в состоянии одерживать победы в открытой политической борьбе, в парламентских дебатах, в борьбе за привлечение на свою сторону трудящихся масс,— все это свидетельствовало о ее немалой духовной силе, гибкости, дееспособности.

Что же заставило партию усомниться в правильности первоначально избранного пути и соответствовавших ему методов деятельности, почему разуверилась она в собственных силах? До конца это не ясно и по сей день, однако тридцать лет ее недавней истории наверняка сыграли здесь роль.

После того как экстремистски настроенные лидеры оппозиции вышли из борьбы или были устранены, еще сохранялась возможность следовать предложенной Реваи тактике, то есть строить социализм в союзе с остальными партиями, со всеми прогрессивными силами. Но коммунисты приняли другое решение: они захватили власть полностью...

Лишь позднее выяснилось, что и в самой партии власть была узурпирована — она оказалась в руках трех или четырех человек; они обсуждали между собой все существенные вопросы, принимали все решения и благодаря своему авторитету, сплоченности и положению могли проводить через руководство партии нужную им линию.

Из большого числа достоверных источников известно, что Ракоши еще до освобождения Венгрии всеми силами старал-

ся принизить заслуги партийных вожаков, работавших в подполье на территории страны; слабость партии он объяснял не сложностью обстановки, не направленными против нее полицейским террором и антикоммунистической пропагандой, а исключительно слабостью ее руководителей. Готовьтесь к тому, предупреждал он наиболее близких товарищей по эмиграции, что нам все придется делать за них, сами они ни на что не годятся.

Матяш Ракоши, которому в 1945-м исполнилось пятьдесят три года, в дни Венгерской советской республики занимал пост народного комиссара; после победы реакции шестнадцать лет провел в заключении и лишь благодаря помощи Советского Союза избежал смертной казни. К моменту освобождения страны от фашизма он был признанным лидером венгерских коммунистов. Хорошо образованный, обладавший дипломатическим чутьем, умный, изобретательный и гибкий политик, он не знал непреодолимых препятствий, недозволенных средств борьбы и был одержим идеей личной власти, которую отождествлял с властью народной.

Эрнё Герё и Михай Фаркаш, которым в 1945-м исполнилось соответственно сорок семь и сорок один год, вместе с Ракоши прибрали к рукам всю власть в партии и стране. Что касается сорокасемилетнего Йожефа Реваи, то к обсуждению конфиденциальных вопросов его в каких-то случаях допускали, а в каких-то нет.

Герё вступил в коммунистическую партию в дни Венгерской советской республики, впоследствии эмигрировал, воевал в Испании; жесткий и тяжелый в общении, он, однако, проявил себя блестящим организатором.

Фаркаш до войны жил в Чехословакии, там же включился в коммунистическое движение, был осужден и провел пять лет в тюрьме; как и Герё — участник гражданской войны в Испании; таланты руководителя и политика — не выше средних, зато любые приказы умел в равной мере и отдавать и выполнять без малейших колебаний.

Реваи примкнул к рабочему движению в одно время с Герё, после разгрома республики тоже бежал за границу; несколько раз нелегально возвращался в страну для подпольной работы; начинал как поэт-анархист; человек в общении грубый, но блестящий оратор, талантливый публицист.

За свои убеждения и Ракоши, и Герё, и Фаркаш, и Реваи не раз рисковали жизнью. Как политический деятель Ракоши был на голову выше любого из лидеров коалиционных партий. Герё, не зная ни сна, ни отдыха, руководил восстановлением лежавшей в руинах страны. Ни один из идеологов и лучших ораторов других партий не шел ни в какое сравнение с Реваи. В иной ситуации, при иных обстоятельствах лидеры эти, пожалуй, могли бы стать путеводными, а не падающими звездами.

Это не избавляет никого из них от личной ответственности. Тот, кто руководит государством, всегда решает и действует в определенной среде; принимая ее, он становится к ней причастным. Не Ракоши и его сподвижники виноваты в том, что конец 40-х годов ознаменовался началом «холодной войны». Не они сочинили теорию о том, что классовая борьба непрерывно обостряется и, следовательно, требуется постоянное ужесточение карательных мер. Однако их виновности в разразившейся катастрофе все это ничуть не умаляет.

20 мая 1949 года арестовали Ласло Райка[23]. В период режима Хорти он являлся одним из руководителей коммунистического подполья; в 1945-м ему исполнилось тридцать шесть лет. Райк еще в студенческие годы узнал, что такое тюрьма. Сражался в Испании, был ранен и угнан в Германию, бежал, но на родине снова попал в руки полиции; снова суд, тюрьма, затем — концлагерь «Маутхаузен». С 1945 года по день ареста занимал посты члена Политбюро ЦК ВКП, заместителя генерального секретаря, министра внутренних дел, министра иностранных дел. Яркая, пламенная, цельная личность.

Одновременно с Райком и позднее в тюрьму были брошены многие видные деятели рабочего движения, такие как заместитель министра обороны генерал-лейтенант Дёрдь Палффи; заместитель заведующего отделом кадров ВПТ Андраш Салаи, при Хорти искалеченный пытками в подвалах полиции, но не выдавший товарищей; президент республики, бывший руководитель Социал-демократической партии Арпад Сакашич; заместитель генерального секретаря ВПТ, сделавший больше, чем кто бы то ни было, для объединения социал-демократов с коммунистами, Дёрдь Марошан; член Политбюро ЦК ВПТ, преемник Райка на посту министра внутренних дел Янош Кадар. Ставший после него министром внутренних дел Шандор Зёльд, который в годы режима Хорти[24], работая врачом, являлся одним из руководителей подпольной компартии.— не дожидаясь ареста, покончил с собой, застрелив перед этим мать, жену и детей.

[23] Ласло Райк (1909—1949) — по профессии учитель, с сентября 1944 года секретарь ЦК Компартии Венгрии. В декабре 1944 года арестован нилашистами и вывезен из страны. После возвращения в мае 1945 года — член ЦК Венгерской компартии, заместитель генерального секретаря; с июня 1948 года — член ЦК Венгерской партии трудящихся. Занимал посты министра внутренних дел, министра иностранных дел. С февраля 1949 года — секретарь Венгерского национального фронта независимости. В мае 1949 года на основе вымышленных обвинений арестован и приговорен к смертной казни; 15 октября 1949 года приговор был приведен в исполнение. В 1955 году посмертно реабилитирован.

[24] Миклош Хорти (1868—1957) — морской офицер, в годы первой мировой войны — контр-адмирал, командующий австро-венгерским флотом; с 1 марта 1920 по 15 октября 1944 года — регент. 15 октября 1944 года отказался от власти в пользу Ференца Салаши. После второй мировой войны одно время находился в американском плену в Германии. На Нюрнбергском процессе проходил в качестве свидетеля. Умер в Португалии.

Страну охватил ужас. В течение последних десятилетий на долю народа в избытке выпало кровопролитий и насилия, предательств и беззаконий, но подобного потрясения он еще не испытывал. Целый ряд ведущих политических деятелей вдруг оказались предателями идеи, партии, государственными изменниками. На единственном открытом суде это прозвучало со всей убедительностью: Ласло Райк и его «сообщники» в ходе процесса, проходившего в присутствии западных журналистов и транслировавшегося по радио, сами во всеуслышание признали себя шпионами, осведомителями хортистской полиции, платными агентами империализма, заговорщиками, готовившими свержение существующего строя и убийство руководителей партии и государства...

Какую пользу рассчитывали извлечь из этого судебного спектакля Матяш Ракоши и его сподвижники — в точности не известно. Во всяком случае, едва ли он был разыгран с единственной целью запугать предполагаемых противников внутри партии. Страхом скорее были охвачены они сами; страхом, вызванным куриной слепотой, которой страдали, как и все международное коммунистическое движение, в течение более чем десяти лет. Они твердо верили, будто в правильности их тезиса о том, что мировой империализм угрожает социалистическим странам (что так и было) и что за каждым углом прячется явный или тайный агент империализма (что было далеко не так), народ можно убедить лишь с помощью подобных примитивно-наглядных средств. Трагедия, когда пекутся о благе народа, взирая на него как на массу неразумных младенцев... Результатом этого и многих других чудовищных судилищ, о которых страна до поры до времени ничего не знала, явилось не только уничтожение или заключение в тюрьму талантливых и честных общественных деятелей, но и то, что народ окончательно потерял способность ориентироваться в происходящем. Ведь если даже такие люди на поверку оказывались шпионами, изменниками, вражескими агентами, значит, в мире возможно все. Действительность стала настолько непостижимой, бессмысленной, что в сравнении с ней кошмарные видения Франца Кафки казались невинными детскими снами...

Незаконные суды представляли собой лишь часть процесса нагнетания в стране атмосферы всеобщего страха. Десятки тысяч людей без какого-либо судебного разбирательства были интернированы; представителей буржуазии, бывших государственных чиновников и старших офицеров хортистского режима вместе с семьями выселяли из столицы, нередко это сопровождалось конфискацией квартиры и движимого имущества. По деревням составляли списки кулаков, причем кого считать таковым, зачастую решали на основе интриг, личной неприязни или — вообще наобум. Главнейшим политическим требованием стала «бдительность», и если где-нибудь сталкивались с ошибками или недостатками, то искали не их истинные причины, а «руку врага». Тяжко приходилось чиновнику, цеховому мастеру, который, уходя домой, забывал запереть свой письменный стол или оставлял на нем бумагу, маломальски похожую на документ: в лучшем случае имя его заносили на «черную доску». Страна захлебывалась в потоках лжи; образцами для подражания провозглашались рабочие-ударники, в искусственно созданных условиях выполнявшие норму на 1000 процентов, а всех остальных трудящихся уверяли, будто подобные результаты под силу каждому, было бы желание.

В 60-е годы уполномоченные Венгерской социалистической рабочей партии дважды встречались с Матяшем Ракоши. Незаконные аресты и превышение власти «Ракоши считал «естественным» для революции делом,— писал Шандор Ногради [25].— Пусть, черт побери, почувствуют, что у нас пролетарская диктатура. Он и по сей день полагает, что «революционной законности» не существует; «это квадратура круга»,— заявил он мне и товарищу Дёрдю Ацелу [26] во время последней беседы... Революция, по его мнению, «не знает законов».

В марте 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, самый загадочный политический лидер XX века, чья деятельность и по сей день еще должным образом не проанализирована. Его смерть потрясла все мировое коммунистическое движение.

В результате переговоров с новым советским руководством Центральный комитет Венгерской партии трудящихся в июне 1953 года специальным постановлением осудил культ личности, «левацкую авантюристическую политику Матяша Ракоши, Эрнё Герё, Михая Фаркаша и Йожефа Реваи, поставившую страну на грань катастрофы», отсутствие коллективности руководства, ослабление союза рабочего класса и крестьянства, ошибки в экономической политике. В постановлении подчеркивалась необходимость радикального снижения темпов индустриализации, коренного изменения пропорций в развитии тяжелой и легкой промышленности, предоставления значительной помощи и льгот крестьянам-единоличникам, существенного подъема жизненного уровня населения, восстановления законности.

Это было поистине эпохальное постановление. Будь оно выполнено, Венгрия наверняка избежала бы трагедии 1956 года.

В июне 1953 года вместо Матяша Ракоши, оставленного, однако, на посту первого секретаря партии, премьер-ми-

[25] Шандор Ногради (1894—1971) — деятель рабочего и коммунистического движения с 1918 года. В 1959—1967 годах — председатель Центральной контрольной комиссии ВСРП.

[26] Дёрдь Ацел (род. в 1917 г.) — член коммунистической партии с 1935 года. В 1967—1974 годах секретарь ЦК ВСРП, с 1970 года — член Политбюро ЦК.

нистром страны был назначен Имре Надь. Невысокого роста, коренастый, в пенсне, 57-летний Имре Надь внешне походил скорее на профессора какого-нибудь университета, чем на главу правительства. Тем не менее он был из крестьянской семьи, трудовой путь начинал рабочим. В годы первой мировой войны попал в плен; оказавшись таким образом в России, вскоре вступил в большевистскую партию. По возвращении на родину был арестован, а в 1928 году эмигрировал в Советский Союз. Вернувшись в Венгрию уже после освобождения страны от фашизма, вошел в состав Политбюро партии, занимал различные министерские посты, однако по-настоящему известной личностью стал лишь в 1953 году.

Первое время и тот и другой руководители старались не афишировать существовавших между ними разногласий... Однако в какой мере эти разногласия были принципиальными, а в какой определялись интересами борьбы за власть, насколько откровенно обнаруживались в публичных выступлениях, а насколько скрывались и проявлялись лишь в закулисных интригах — не вполне ясно и по сей день. Зато ясно другое: в 1953 году между Ракоши и Имре Надем завязалось затяжное противоборство, в течение трех лет державшее страну в постоянном волнении.

В конце концов Матяш Ракоши, использовав привычные средства закулисной борьбы, сумел одержать победу над соперником, которого немалая часть трудящихся уже считала символом новой политики, гарантом лучшей жизни. В 1955 году Имре Надь был освобожден от обязанностей премьер-министра, исключен из состава Политбюро, а затем и из партии.

Однако устранить Имре Надя оказалось для Ракоши значительно проще, чем решить проблему невинных жертв периода культа личности.

В июне 1953 года в соответствии с партийным постановлением прекратили существование лагеря для интернированных, люди вернулись домой. В 1954-м и позднее были освобождены многие незаконно осужденные политические деятели, хотя некоторые из них вследствие волокиты и политического застоя вышли на свободу лишь в конце 1956-го.

Ракоши хорошо понимал, что ошибки и перегибы ему наверняка простят, но если выяснится, что товарищей по партии казнили, бросали в тюрьмы, пытками заставляли давать ложные показания с его ведома, по его указаниям, тогда он едва ли удержится на посту первого секретаря.

Поначалу никаких объяснений по поводу незаконных процессов в печати вообще не давалось, не признавались публично невиновными и их жертвы. Впоследствии во всем обвинили прежних руководителей Управления госбезопасности, которые-де ввели в заблуждение партию.

Ракоши всеми силами цеплялся за власть. Когда летом 1955 года уже невозможно было обойти вопрос о его личной ответственности за незаконный процесс по делу Ласло Райка, он, как и прежде, принялся доказывать, будто Райк втайне от партии вынашивал преступные планы; это же самое Ракоши повторил и на ноябрьском заседании Центрального комитета ВПТ. Как ни странно, ему поверили. Впрочем, гораздо труднее было поверить в то, что случилось на самом деле.

После 1953 года у Венгрии еще раз возникла возможность предотвратить катастрофу. В феврале 1956 года на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза со всей решительностью прозвучали слова о возможности мирного сосуществования различных социальных систем, о важности учета национальных особенностей и конкретных исторических условий в строительстве социализма. В речи на закрытом заседании первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев впервые подробно остановился на тяжких последствиях нарушений законности в период культа личности Сталина.

Ракоши, однако, и не думал сдавать позиции. На мартовском заседании Центрального комитета он сказал, что XX съезд КПСС якобы подтвердил правильность нынешней внутренней политики Венгрии; заявил он и о том, что ошибки, которые вскрыл съезд в Москве, венгерскими коммунистами уже изжиты. «На мой взгляд,— подчеркнул он,— авторитет партии возрастает».

В действительности же никакого авторитета у партийного руководства давно не было. Беспомощное и нерешительное перед лицом жгучих социальных проблем, оно растеряло его в пустопорожних и лживых речах. В 1955 году в редакцию газеты «Сабад неп» ежемесячно поступало 3500 писем читателей, а к лету 1956 года их количество удвоилось, причем в половине политика партии резко осуждалась.

Тем временем вокруг отстраненного от государственной власти Имре Надя собиралась и крепла оппозиция. И пожалуй, не столько он собирал людей, сколько они сами остановили на нем свой выбор как на противнике Ракоши. Ведь известно, что Имре Надь отнюдь не был талантливым организатором...

Ядро сложившейся группы составлял ряд политиков — Геза Лошонци, Шандор Харасти, Ференц Донат, Миклош Вашархейи, Силард Уйхейи. Все они до Освобождения вели работу в коммунистическом подполье, почти все провели не один год в тюрьмах — как при Хорти, так и при Ракоши. Среди них особенно выделялся 38-летний Геза Лошонци. Специалист по венгерской и французской филологии, он несколько лет учился в Сорбонне, затем участвовал в антивоенном движении в Венгрии, был арестован. После Освобождения, в конце 40-х годов, занимал пост заместителя министра народного образования, но в 1951 году был осужден и вышел на свободу лишь в 1954-м, тяжело больной. Стал журналистом, корреспондентом газеты «Мадьяр немзет».

В группу также входили зять Имре Надя — Ференц Яноши, полковник милиции Йожеф Силади, впоследствии ставший начальником канцелярии Имре Надя. Дружеские узы связывали их с известными журналистами Миклошем Гимешем, Дёрдем Фазекашем, Петером Кенде, Тибором Мераи, лауреатом Сталинской премии Тамашем Ацелом, Палом Лёчеи; с писателями Тибором Дери, Золтаном Зелком, Ласло Беньямином, Дюлой Хаи; молодежными вожаками Ласло Кардошем, Габором Танцошем, Балажем Надем.

Группа была типично интеллигентской... Насколько известно, какой-либо определенной программы она не имела; собираясь, ее участники в основном лишь выступали с нападками на руководство партии и требовали реабилитации Имре Надя...

Однако, несмотря на почти нулевую дееспособность группы, влияние ее быстро росло. В прессе, Союзе писателей, кружке имени Петефи, образованном в марте 1955 года при Союзе трудящейся молодежи, все резче звучали слова осуждения в адрес партийного руководства. Многие члены группы были исключены из партии, но численность ее росла по мере того, как правительство продолжало откладывать решение наболевших вопросов, демонстрировало полную неспособность найти выход из трудного положения. В июне одна за другой прошли дискуссии, организованные кружком имени Петефи: 1-го — дискуссия по вопросам истории, 14-го — по философии, 18-го — встреча ветеранов партии с творческой молодежью, 27-го — дискуссия о печати; в последней приняли участие несколько тысяч человек. Таким образом, важнейшие для страны вопросы обсуждались в те дни не на заседаниях партийного руководства, а здесь, в клубе молодой интеллигенции.

Существует довольно распространенное предположение, что Ракоши вновь намеревался прибегнуть к насилию, чтобы стать хозяином ситуации: готовились аресты 400 видных политических и культурных деятелей. В июне 1956 года Ракоши созвал Центральный комитет в надежде добиться одобрения этой акции. Но случилось иначе: Матяша Ракоши освободили от обязанностей первого секретаря и члена Политбюро, а на его место избрали Эрнё Герё. В состав Политбюро ввели Яноша Кадара и Дёрдя Марошана, частично обновили Центральный комитет. Был исключен из партии Михай Фаркаш...

Все эти меры, однако, не предотвратили, а лишь отсрочили кризис. Начался период половинчатых мер, таких же, какие чуть ли не ежечасно принимались и в дни после 23 октября.

Да, Ракоши сместили с поста первого секретаря, но не за совершенные им преступления, а «по состоянию здоровья», причем в составе Центрального комитета он остался. Самой же роковой ошибкой было избрание первым секретарем Герё. От ближайшего сподвижника Ракоши нечего было и ожидать радикального изменения политического курса; страна понимала, что власть осталась в прежних руках, в руках группы Ракоши. И тщетно Герё призывал коммунистов подвести черту прошлому и начать все заново: словам его не было и не могло быть веры.

Следующие три месяца показали, что Герё не в состоянии изменить политику партии, порвать со старыми методами. Яноша Кадара старались изолировать, для этого даже послали за границу; на заседании Политбюро он вынужден был выступить с протестом против того, что его телефонные разговоры подслушивают, почту вскрывают. Напряженность в стране день ото дня росла, а первый секретарь считал важнейшей своей задачей уверить лидеров союзных государств в самых лучших намерениях нового венгерского руководства. Сентябрь и почти весь октябрь 1956 года он провел в зарубежных поездках.

6 октября 1956 года состоялось торжественное перезахоронение останков Ласло Райка и его соратников. Десятки тысяч будапештцев, несмотря на моросивший целый день дождь, пришли отдать последнюю дань памяти тем, кто в годы уродливых искажений принципов народовластия лишился не только жизни, но и чести, доброго имени. Похороны Ласло Райка явились прологом великой трагедии, но ни руководство страны, ни народ еще не ощущали надвигавшейся опасности. Арест Михая Фаркаша, восстановление в партии Имре Надя уже не смогли повлиять на развитие событий...

За неделю до 23 октября Эрнё Герё, премьер-министр Андраш Хегедюш, секретарь Центрального комитета Янош Кадар, заместитель премьер-министра Антал Апро и первый секретарь Будапештского комитета партии Иштван Ковач отправились с официальным визитом в Югославию. Со стороны Герё решение об этой поездке было явно ошибочным и свидетельствовало о его полном незнании обстановки в собственной стране. Как ни важно было упрочить связи с южным соседом Венгрии, оставлять ее без руководства в сложившейся ситуации никак не следовало.

Партийно-правительственная делегация возвратилась на родину утром 23 октября. Встречавшие ее на вокзале руководители предложили немедленно созвать заседание Политбюро. Вышедшая в тот день газета «Сабад неп» в своей передовой статье, озаглавленной «Новый весенний смотр рядов» открыто приветствовала решение столичных студентов о демонстрации. В 10 часов по радио прозвучало следующее сообщение: «Как уже говорилось, вчера в ряде будапештских вузов прошли собрания студентов. На этих собраниях было решено провести сегодня во второй половине для безмолвную демонстрацию солидарности перед зданием посольства Польской Народной Республики. Цель демонстрации — выразить поддержку и одобрение польских событий. Студенты решительно заявили, что всякого рода экстремистские, провокационные и антикоммунистиче-

ские проявления будут немедленно пресекаться. Они заверяют, что демонстрация солидарности пройдет под знаком социалистической демократии, при строгом соблюдении дисциплины и порядка. Сбор студентов назначен на 2 часа 30 минут перед зданием Союза писателей».

(В июне 1956 года в польском городе Познань произошли вооруженные столкновения. В обстановке политической напряженности и серьезных экономических трудностей на улицы города вышло около 30 000 человек; раздобыв оружие, они атаковали воеводский комитет партии, здания местного отдела внутренних дел и городского радио. Силами внутренних войск восстание было подавлено. Однако обстановка в стране продолжала оставаться напряженной, не прекращалась борьба в руководстве партии. Дислоцированные в Польше советские войска были приведены в боевую готовность. 19 октября состоялось заседание Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии. В Варшаву прибыла делегация советского руководства во главе с Н. С. Хрущевым. В результате 22 октября ЦК ПОРП в своем постановлении признал причиной волнений в Познани политические ошибки руководства страны. Центральный комитет избрал на пост первого секретаря Владислава Гомулку, в 1954 году освобожденного из тюремного заключения. Было также сообщено, что находящиеся на территории Польши советские войска возвращаются в места постоянной дислокации.)

Прибыв в здание ЦК, Герё прежде всего решил обсудить итоги визита в Югославию; он все еще не понимал, что обстановка в стране близка к взрыву. Затем Политбюро приняло решение запретить демонстрацию. В 12 часов 53 минуты радио прервало концерт цыганской музыки: «Чрезвычайное сообщение... В интересах поддержания общественного порядка Министерство внутренних дел запрещает до особого распоряжения массовые уличные собрания и шествия. Министр внутренних дел Ласло Пирош».

В 14 часов 23 минуты радио прервало передачу музыкальных новинок для молодежи: «Заявление Министерства внутренних дел. Министр внутренних дел Ласло Пирош отменяет объявленный ранее запрет на уличные собрания и шествия».

Характерный штрих к картине событий октября 1956 года: правительство не только ежедневно, но порой и ежечасно меняло свои решения. Впрочем, не по дням, а по часам менялась и обстановка в стране...

Те, кто в непосредственной близости наблюдал за развитием событий, не могли не обратить внимание на почти истерическую атмосферу, царившую на студенческих собраниях вечером 22 октября. Руководители Союза писателей сочли опасным в такой обстановке выводить на улицы десятки тысяч людей. 23 октября они выступили в газетах с заявлением: «К нам обращаются с вопросами о том, что Союз писателей якобы организует демонстрацию в поддержку польских событий. В связи с этим сообщаем, что мы всей душой приветствуем перемены, происходящие в Польше и Польской объединенной рабочей партии. Никакой демонстрации, однако, мы не организуем и проведения ее не одобряем. Секретариат и парторганизация Союза венгерских писателей».

Серьезные сомнения в целесообразности демонстрации выразили и члены кружка имени Петефи, заседавшего в ночь на 23 октября. К утру, однако, они пришли к выводу, что демонстрацию уже не остановить. В результате как члены кружка имени Петефи, так и руководство Союза писателей, МЕФЕС, Союза трудящейся молодежи сошлись во мнении, что следует встать во главе колонн и по мере возможности удержать демонстрантов от крайностей...

Однако самое страшное все же произошло. Ни речь Имре Надя на площади Лайоша Кошута, ни заявление по радио Эрнё Герё не охладили пыл разбушевавшейся толпы. Бессильными оказались и молодежные организации, принявшие решение о демонстрации и пытавшиеся ее направлять. На улицы вышла политика, событиями уже вершили иные силы.

2. Ночь

...Около 6 часов вечера 23 октября от общей массы демонстрантов отделилась группа в несколько сотен или даже тысяч человек и направилась к зданию радиокомитета... Когда они повернули с Музейного кольца на улицу Шандора Броди, у ворот здания, как всегда, стоял один-единственный часовой. Услышав гул приближающейся толпы, служащие радио крикнули ему, чтобы запер ворота. Не без колебаний, поскольку официального приказа не было, солдат закрыл тяжелые чугунные створки под аркой.

Председателем радиокомитета была тогда 36-летняя Валерия Бенке; по профессии учительница начальных классов, она до 1945 года состояла членом подпольной коммунистической партии. В руководство радиокомитета входил также Петер Эрдёш, активист кружка имени Петефи, тоже коммунист; в годы культа личности он дважды оказывался за тюремной решеткой... Выйдя на балкон второго этажа, сперва Бенке, а затем Эрдёш пытались заговорить с демонстрантами. Их не услышали, да и не захотели слушать. Толпа скандировала: «Даешь правдивое радио!», «Ворота — открыть!», «Передачи — прервать», «Микрофоны — на улицу!», «Вывесить национальные флаги!» Последнее требование было тотчас выполнено. Затем на улицу выехала машина передвижной радиостудии. Передачи, однако, не прерывались. Для переговоров впустили группу демонстрантов. Из кого она состояла, неизвестно и по сей день; скорее всего это были случайные люди, оказавшиеся ближе других к воротам,— они ничего не могли добавить к гремевшим над улицей лозунгам и требованиям.

Около 7 часов вечера на здание обрушился град камней. Несколько десятков человек, разогнав машину передвижной радиостудии, протаранили ею ворота; заскрежетав, они не выдержали и распахнулись. Лишь с помощью гранат со слезоточивым газом и пожарных насосов толпу удалось кое-как оттеснить обратно на улицу...

23 октября, как обычно, в здании радиокомитета несли дежурство 16 солдат внутренней службы и караульный взвод. Когда улицу Шандора Броди заполнили демонстранты, начальник охраны запросил подкрепления, и вскоре прибыл отряд во главе с майором Йожефом Фехером; позднее, отдельными группами, подошли еще 300 солдат. В помощь защитникам радиокомитета были направлены и армейские офицеры, главным образом — из числа слушателей Военно-политической академии имени Шандора Петефи, но далеко не все они сумели проникнуть в здание...

Законный вопрос: почему в помощь оборонявшим здание радиокомитета не послали милицию, армейские подразделения? В первую очередь потому, что кроме батальона почетного караула в Будапеште находились лишь зенитчики и курсанты офицерских училищ. Правда, 20 октября, отчасти из-за растущей в стране напряженности, отчасти из-за польских событий, решено было укрепить гарнизон столицы и ввести повышенную готовность; но затем эти меры безопасности отменили, чтобы не разжигать страсти. Таким образом, в Будапеште не оказалось ни готового к действиям гарнизона, ни плана охраны общественного порядка на случай массовых волнений...

Как впоследствии выяснилось, многие высшие офицеры, занимавшие в армии ключевые посты, сами были в растерянности. Утверждают, что начальник генерального штаба уже около полудня 23 октября призывал привести войска в боевую готовность, однако министр обороны Иштван Бата ответил, что не следует понапрасну поднимать панику. Тревогу объявили лишь после 8 часов вечера, и только тогда к Будапешту двинулись части из Татабани и Пилишчабы...

Пятьсот вооруженных солдат и офицеров — немало для охраны одного дома; примерно столько их и было в здании радиокомитета, когда начался его штурм. Надо, однако, заметить, что радиокомитет представлял собой не одно здание, а целый квартал между улицами Шандора Броди, Музейной, Сенткирайской и площадью Михая Поллака. Кроме старой радиостудии в комплекс входили административное здание, перестроенное из бывшего жилого дома, старинный особняк, являвшийся некогда резиденцией президента, гаражи, мастерские, склады, к которым примыкал сад, отгороженный от улицы чугунной решеткой. С трех сторон радиокомитет окружен многоэтажными жилыми домами, из окон которых, с расстояния всего в десятки метров, легко держать под обстрелом всю территорию. С четвертой стороны — музейный сад, тоже идеальное место для нападения. Второпях направленные сюда солдаты и офицеры в растерянности блуждали по лабиринтам коридоров, подвалам и чердакам, не зная даже расположения выходящих на улицы дверей. Командование поручили армейскому полковнику, не знавшему в лицо ни одного из подчиненных ему офицеров, не говоря уже о солдатах. Ближе к рассвету, убедившись в полной беспомощности полковника, его отстранили от командования и назначили вместо него другого офицера, но было поздно; да и не это в конечном итоге решило судьбу здания радиокомитета: к утру у оборонявшихся кончились патроны.

Но не будем забегать вперед. Вечером 23 октября главной заботой работников комитета было обеспечить передачу назначенной на 8 часов речи Эрнё Герё. Планировалось, что Герё заблаговременно приедет в студию, где его выступление запишут на пленку; но он не приехал. Тогда звукооператоры отправились сами в ЦК партии, чтобы записать речь там, однако текст все еще не был готов. В итоге пришлось транслировать выступление прямо в эфир, причем вместо 45 минут, как рассчитывал Герё, его речь не длилась и четверти часа... Собственно происходящему на данный момент в городе он посвятил всего одну фразу: «Мы осуждаем тех, кто вознамерился сеять в среде молодежи шовинистическую отраву и, пользуясь демократическими свободами, которые наше государство гарантирует трудовому народу, организовал демонстрацию националистического характера».

В остальном невразумительная и бессвязная речь первого секретаря состояла из напыщенных фраз и давно набивших оскомину штампов, не имевших ни малейшего отношения к событиям дня, не дававших ответа ни на один из волновавших людей вопросов, она только усилила в душах чувство протеста против политики Герё...

Около 8 часов толпа, собравшаяся перед радиокомитетом со стороны площади Михая Поллака, выдавила огромные кованые ворота и ворвалась на территорию. Солдаты, угрожая штыками, вынудили нападавших отступить и дали несколько залпов в воздух... Это подействовало, и вскоре площадь опустела. Затем солдаты вернулись в здание, а из переулков к радиокомитету вновь устремились люди. Многие ли из них знали, что прозвучавшие выстрелы были предупредительными?

Офицеры, руководившие обороной радиокомитета, к тому времени уже неоднократно запрашивали разрешение применить оружие. Непосредственное начальство не могло решить этот вопрос своей властью, а дежурные в министерствах внутренних дел и обороны каждый раз повторяли: сдерживать нападающих приемами рукопашного боя, штыками, предупредительными выстрелами в воздух, гранатами со слезоточивым газом.

И все же стрельба началась. Стреля-

ли из Музейного сада, с Сенткирайской улицы, чуть позднее — и с улицы Шандора Броди. Вполне возможно, что и солдаты, несмотря на запрет, открыли ответный огонь: в огромном комплексе зданий они находились у окон порознь, так что всякое могло быть. Правил в те дни не соблюдала ни одна из сторон...

Часов в восемь в толпе, бурлившей перед Парламентом, на улице Ракоци и Музейном кольце, распространился слух, что у здания радиокомитета офицеры госбезопасности стреляют в людей. Передавали из уст в уста: убивают ни в чем не повинных студентов! Кричали с проезжавших грузовиков: стреляют в наших детей! Город еще полагал, что в демонстрации участвует только молодежь; в людях закипала ярость, кто-то крикнул: «Все «госбезы» — убийцы!»

Здесь следует вкратце познакомить читателя с Управлением государственной безопасности, активно фигурирующим в событиях 1956 года; жизни многих его сотрудников трагически оборвались в те дни.

Управление госбезопасности (УГБ), возглавлявшееся генерал-лейтенантом Габором Петером и действовавшее некогда под непосредственным руководством Михая Фаркаша, было создано на базе отдела Министерства внутренних дел. Получив статус самостоятельного органа, оно быстро превратилось в своего рода «государство в государстве», всесильное и вселявшее страх. Уже самый первый его шаг выглядел зловеще: управление разместилось в здании бывшей штаб-квартиры нилашистов[27] — доме № 60 по улице Андраши (ныне проспект Народной Республики).

В 1956 году УГБ состояло из трех отделов: политического сыска, охраны внутреннего порядка (голубые петлицы) и пограничных войск (зеленые петлицы). К этому времени в отделе политического сыска практически не осталось офицеров, имевших какое-либо отношение к осуществлению противозаконных акций. И здесь, и в других отделах проходили службу молодые солдаты во главе с молодыми же кадровыми офицерами. Они не могли нести ответственность за преступления своих предшественников, однако сложили головы на улице Шандора Броди, погибли от пуль, ножей и камней на площади Республики...

...Часов в 11 вечера защитники радиокомитета облегченно вздохнули: к воротам подъехала колонна грузовиков с солдатами и несколько танков. Солдаты — с автоматами и карабинами, у танков, кроме пушек, пулеметы на башнях. Вот только боеприпасов у них не было — ни снаряда, ни патрона. Прибывшее подразделение имело тот же приказ: оборонять здание, не применяя оружия.

Толпа тотчас окружила колонну. Послышались крики: «Госбезы» стреляют в народ!», «Да здравствует армия — наша защита!» То тут, то там солдат поднимали на руки, качали, и они, не понимая, что происходит, лишь растерянно улыбались. Им приказали защищать радиокомитет, но те, кто должен был нападать, вместо этого обнимали их и скандировали здравицы в адрес армии. У кого-то из солдат вырвали из рук оружие, другой сам отдал, многие и вовсе присоединились к толпе. Откуда-то появились патроны...

В западной литературе о 1956 годе активно фигурирует версия, что мятеж был сознательно спровоцирован Эрнё Герё и его сподвижниками, чтобы получить повод просить военного вмешательства Советского Союза и тем упрочить свое положение на вершине власти. Это, конечно, не более чем легенда, однако определенные основания у нее есть. Ведь что увидели, в чем на опыте убедились венгры 23 октября? Демонстрацию запрещают, потом снова разрешают; на улицах — ни единого милиционера, ни единого солдата; когда же появляется целая боевая колонна, оказывается, что у нее нет патронов; милиционеры и армейские офицеры без малейшего сопротивления, по первому требованию сдают оружие и сами переходят на сторону мятежников; командование вооруженными силами в полной растерянности; прежде считавшееся всемогущим руководство Управления госбезопасности не позволяет открывать огонь; командиры ждут указаний сверху, а там не смеют и слова сказать без указаний руководства партии; руководство партии, в свою очередь, молчит или повторяет одно и то же: не применять насилия.

До сих пор народ представлял себе механизм государственной власти совершенно иначе. Он еще не забыл тех времен, когда не то что забросать камнями здание радиокомитета, а просто вполголоса выразить недовольство было достаточно, чтобы тотчас, будто из-под земли, вырос наряд милиции. Даже вообразить было трудно, что такое уверенное в себе, такое всесильное прежде правительство вдруг заколеблется, станет тянуть время, что его приказы не будут выполнять. Трудно было поверить, что события, которые назревали так давно, застанут руководство страны врасплох, что в столь ответственный момент государственная власть окажется неспособной обеспечить себе защиту. Многие в тот вечер и в ту ночь полагали, что бездействие правительства — часть какого-то коварного маневра.

Есть и другая версия событий 23 октября 1956 года. Дескать, все было спланировано до мелочей неким подпольным центром, который, как шахматными фигурами, манипулировал десятками тысяч людей. Эту версию стоит рассмотреть подробнее.

Такой центр и в самом деле существовал, однако его влияние на события, развернувшиеся 23 октября, не так велико, как утверждают некоторые.

В 1956 году у Венгерской Народной Республики было немало врагов как внутри, так и вне страны. Еще десять с небольшим лет назад Венгрией правили

[27] Венгерских фашистов, членов партии «Скрещенных стрел».

Хорти. Салаши[28], опиравшиеся на вымуштрованную гвардию чиновников и офицеров, полицию, на сотни тысяч обывателей, в которых десятилетиями воспитывали ненависть к левым. В 1945 году часть из них уехала на Запад, другие остались на родине, кое-как приспособились к новым порядкам, но многих и осудили, интернировали, выселили из столицы в провинцию. На Западе после войны обосновалось около ста тысяч венгров; конечно, немало их лелеяло надежду когда-нибудь вернуться в свои особняки, получить обратно имущество, власть. Одни просто мечтали, другие занялись активной политической деятельностью. Как первые, так и вторые могли рассчитывать на исполнение желаний в одном только случае: если новый строй в Венгрии рухнет сам или будет низвергнут.

...Политически активные эмигранты объединились в двух крупных организациях. В 1948 году в США был образован так называемый «Венгерский национальный комитет», провозгласивший своей целью «освобождение Венгрии» и «возвращение венгерского народа... в политическую систему свободных народов Европы». Членами комитета были эмигрировавшие на Запад лидеры партий, входивших некогда в коалиционное венгерское правительство, однако впоследствии к ним присоединились и несколько политиков, занимавших высокие посты в правительстве Хорти: бывший премьер-министр страны Миклош Каллаи, тайный поверенный в делах Хорти в Америке Тибор Экхардт, кое-кто из бывших депутатов парламента.

В том же году в Западной Германии начала действовать организация «Венгерское освободительное движение». Как говорилось в ее программе, «венгерская кровь во второй мировой войне пролилась не в чужих интересах и не во имя чужих идей, а в боях с Советами, ради спасения от них нашей тысячелетней родины и одновременно всей западной цивилизации». Позднее эта организация слилась с другой — «Обществом венгерских товарищей по оружию»; возглавил это эмигрантское «объединение» бывший хортистский генерал-майор Андраш Зако.

Излишне излагать здесь историю этих двух организаций, описывать тактические и политические споры, стычки в борьбе за лидерство. «Венгерский национальный комитет» содержало правительство США, руководители комитета получали жалованье из американского государственного бюджета; это было как бы теневое правительство. «Общество венгерских товарищей по оружию» финансировалось западными спецслужбами; это было военное крыло.

Большая часть подпольных организаций на территории Венгрии образовалась после ликвидации многопартийной системы. Когда следственные органы раскрывали одну группу, вместо нее возникала другая, что свидетельствовало о немалой ловкости и упорстве. Весьма важен, на мой взгляд, и такой фактор: Управление госбезопасности в те годы было занято главным образом выискиванием врагов среди коммунистов, левых деятелей. Потому и могло случиться так, что лишь после 1956 года были арестованы и преданы суду один из самых кровавых террористов-контрреволюционеров 20-х годов Михай Франция Киш, агент политической полиции Андраш Юхас, участвовавший в расправах над более чем тысячью коммунистов, виновный в убийстве руководителей компартии Белы Йожи и Ференца Рожи, активисты нилашистской партии, на совести каждого из которых десятки человеческих жизней.

Немало подпольных организаций носили религиозный характер. Католическая церковь в Венгрии располагала огромными богатствами и имела широкое влияние. Владея 900 тысячами хольдов, она являлась крупнейшим землевладельцем, во многих школах преподавателями являлись священнослужители; число прихожан-католиков составляло несколько миллионов. После Освобождения венгерскую католическую церковь возглавлял эстергомский архиепископ кардинал Йожеф Миндсенти...[29] В 1949 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Судебный процесс по делу Миндсенти, как и процесс Ласло Райка, проходил открыто, однако обвинили тогда кардинала не в деятельности, направленной против социалистического строя в Венгрии, а в вымышленных, мнимых преступлениях; нет ничего удивительного, что в глазах сотен тысяч венгров он стал мучеником. Многие из существовавших в стране подпольных католических организаций, несмотря на опасность, поддерживали с Миндсенти постоянную связь и пользовались в своей деятельности его указаниями.

Другую сеть подпольных организаций составляли всякого рода военизированные группы — «Союз меча и креста», «Белая гвардия», «Союз кадетов», «Независимые белые партизаны», «Кровное братство», «Венгерское движение сопротивления», «Национальное движение сопротивления» и другие с подобными названиями; многие из групп поддерживали контакты с «Обществом венгерских товарищей по оружию». Военизированные группы не занимались политикой, идеологией, не печатали листовок. Их главной задачей был сбор информации о расположении военных заводов, складов оружия, казарм, аэродромов, вокзалов,

[28] Ференц Салаши (1897—1946) — армейский офицер, руководитель венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы» и унгаристского движения. 15 октября 1944 года в результате вооруженного путча, организованного с помощью гитлеровской Германии, пришел к власти и установил в стране кровавый террор. 12 марта 1946 года был казнен как главный военный преступник.

[29] Йожеф Миндсенти (Пем) (1892—1975) — римско-католический священник; с 1944 года — епископ Веспремский, с 1945 года — архиепископ Эстергомский, с 1946 года — кардинал. В феврале 1949 года приговорен к пожизненному заключению. С 4 ноября 1956 года в течение 15 лет жил в посольстве США в Будапеште. По соглашению между венгерским правительством и Ватиканом осенью 1971 года покинул Венгрию. Умер в Австрии.

тюрем, почтовых отделений, радиостудий. Эти сведения они передавали западным спецслужбам, а также хранили у себя на случай войны или вооруженного восстания. Численность групп была мизерной — впоследствии удалось выявить поименно не более ста человек,— но организованы они были по всем правилам конспирации и состояли из хорошо подготовленных специалистов, в первую очередь — кадровых офицеров.

Регулярно отправляли по своим каналам информацию, аналитические отчеты, сообщения о настроениях в стране и работники посольств западных государств; нередко они исполняли роль связных между спецслужбами и их агентами в Венгрии. В 1955 году были выявлены 162 таких агента.

Однако подлинным центром подрывной работы явилась оснащенная современнейшей аппаратурой, располагавшая многочисленным штатом и огромными финансовыми средствами радиостанция «Свободная Европа».

Масштабы деятельности этой организации как следует не изучены и по сей день, хотя уже многие годы ее работу пытаются анализировать как на Западе, так и на Востоке. Радиостанцию основал в 1949 году одноименный комитет, являющийся частной организацией, а потому не обязанный предавать гласности свои архивы, отчитываться об источниках финансирования. Правда, в 1973 году бывший директор ЦРУ Ричард Хелмс признался на заседании комиссии по иностранным делам сената США, что деятельность радиостанции «Свободная Европа» направляет и финансирует правительство Соединенных Штатов через посредство Центрального разведывательного управления.

В правление этой «частной компании» входили генерал Эйзенхауэр, директор ЦРУ Аллен Даллес, командующий американскими оккупационными войсками в Западной Германии генерал Люсиус Клэй, Генри Форд-второй. В то время комитет «Свободная Европа» ежегодно получал в свое полное распоряжение в среднем по 150 миллионов долларов, хотя источники финансирования ни тогда, ни позднее установить не удалось...

Первая передача «Свободной Европы» вышла в эфир в 1950 году, а на венгерском языке — 6 октября 1951 года: «Говорит радиостанция «Свободная Европа», голос свободной Венгрии!..» Президент радиостанции К. Д. Джексон, впоследствии ставший личным советником президента Эйзенхауэра, так сформулировал ее задачу: «Радиостанция «Свободная Европа» является орудием психологической войны. Она основана для того, чтобы вызывать волнения и восстания в странах, населению которых адресованы передачи. Военное вмешательство имеет смысл лишь тогда, когда народы угнетенных стран сами начинают у себя на родине вооруженную борьбу».

...Откровенно говоря, задача перед «Свободной Европой» в те годы стояла несложная: достаточно было умело использовать просчеты венгерской политики. Когда из программ венгерского радио исчезли как «буржуазные явления» цыганская музыка, оперетта, джаз, «Свободная Европа» в избытке передавала и то, и другое, и третье. Пользуясь медлительностью и серостью венгерской прессы и радио, она стремилась привлечь слушателей оперативностью и разнообразием информации, сообщая новости из области политики, культуры, спорта, моды, особенно подробно останавливаясь на том, о чем в Венгрии не сообщалось вообще. Венгерские средства массовой пропаганды изо дня в день повторяли одно и то же о бедственном положении рабочих на Западе, а «Свободная Европа» расписывала роскошную, счастливую, манящую жизнь в тех же странах, особенно в Америке, чем привлекала внимание даже далеких от политики людей.

Главной целью «Свободной Европы» была, естественно, политическая пропаганда. Тут я тоже должен сказать, что добиваться эффекта ей было нетрудно. Легко критиковать власть, которая допускает много ошибок. А венгерские методы пропаганды были, пожалуй, даже хуже политики: унылым разжевыванием догм, набившими оскомину шаблонами она отпугивала людей и от действительно положительного. Критиковать — особенно благодатное дело там, где открытая критика звучать не может. Легко и хвалить себя, если нельзя проверить: в те времена практически ни один гражданин Венгрии не имел возможности ездить на Запад, запретный же плод, как известно, всегда сладок.

В 1953 году, когда в Венгрии подули свежие ветры, когда обычными стали споры, критические выступления, началось исправление ошибок, «Свободная Европа» сменила тон. Теперь она не только угрожала, осуждала и подстрекала, но тоже требовала исправления ошибок. У неподготовленного слушателя — а таких было большинство — создавалось впечатление, будто в Мюнхене, где расположена радиостанция, хотят того же, чего хочет он: чтобы жизнь в Венгрии стала лучше, свободнее, счастливее, чтобы рабочий зарабатывал больше, чтобы больше продукции выпускали заводы, чтобы крестьянин был уверен в завтрашнем дне, чтобы интеллигенция могла свободно творить, чтобы предприятиями руководили специалисты и народ имел возможность влиять на государственные дела. Как все простые венгры, «Свободная Европа» выражала возмущение тем, что новое претворяется в жизнь слишком медленно, прекрасные принципы не осуществляются, прекрасные планы не выполняются, а подменяются говорильней...

Но вернемся к первоначальному вопросу: действительно ли восстание 23 октября было спланировано, организовано контрреволюционным центром, тайными агентами западных держав, подпольными военизированными группами? Убедительных доказательств этого нет. Известны транслировавшиеся «Свободной Европой» на Венгрию передачи некоей

нелегальной русской организации, известны ее листовки, печатавшиеся в Австрии, в которых эта организация приветствует освободительную борьбу, дает мятежникам советы, как привлечь на свою сторону советских солдат. Известно, что многие руководители вооруженных групп после октябрьских событий стали иностранными агентами: одних вовлекли на Западе в организации по подготовке нового мятежа, других, оставшихся в Венгрии, разыскали связные. Бывший губернатор комитата Фейер граф Дёрдь Сечени пишет в воспоминаниях, что после освобождения из лагеря для интернированных лиц он вместе с тремя друзьями планировал свержение существующего строя, а в 1956 году сражался в Старой Буде... Известно, что после 23 октября в страну проникло немало вооруженных людей, воевавших в рядах мятежников: их вербовали в первую очередь из солдат-наемников. 4 ноября и позднее тайные агенты, руководители подпольных организаций без труда покинули страну: граница была открыта, и ничто не мешало им это сделать. Они наверняка были в городе, здесь, среди нас, выкрикивали лозунги, которые подхватывала улица; люди передавали из уст в уста распространяемые ими страшные слухи; им принадлежала немалая роль в создании атмосферы массовой истерии; они раздавали или, наоборот, добывали оружие, стреляли, подстрекали, оказывая непосредственное влияние на ход событий.

Что толпы людей в тот вечер устремились именно к Парламенту, именно к площади Сталина, зданиям радиокомитета и редакции газеты «Сабад неп», можно объяснить их желанием услышать речь Имре Надя, свергнуть с пьедестала статую Сталина, зачитать по радио и опубликовать в газете свои требования. Правда, как выяснилось, и в тайных планах подпольных военизированных групп фигурировали радиокомитет, склады оружия, гаражи, которые следовало атаковать в первую очередь, однако это еще не значит, что данные группы и руководили толпой. Как свидетельствует история, везде и всегда участники любого восстания стремились прежде всего занять именно эти здания. Так, кстати, было и в Познани.

Действительно, в заранее составленных планах на случай восстания подпольные военизированные группы намеревались штурмовать радиокомитет, но для его штурма военные специалисты не требовались: достаточно было вести обстрел из соседних домов. К тому же, десятки тысяч жителей Будапешта воевали на фронтах второй мировой войны, тысячи прошли военную подготовку после Освобождения, так что умели обращаться и с карабинами, и с автоматами, и с ручными гранатами. Откуда они узнали, где можно раздобыть оружие, патроны? Ответить несложно: когда на улицах сотни тысяч людей, это кому-нибудь да известно.

Действия толпы в ту ночь отличали полное безрассудство и вандализм. Ворвавшиеся в здание радиокомитета убивали служащих, крушили аппаратуру, но даже и не пытались передать что-либо в эфир... Так же действовали и те, кто захватил редакцию газеты «Сабад неп»: там ломали мебель, канцелярское оборудование; от надписи «Сабад неп» («Свободный народ») на фасаде оставили только «...неп» («народ»); из разместившегося на первом этаже книжного магазина выбрасывали книги, топтали их, жгли; однако расположенную здесь же типографию не тронули... Толпа врывалась в здания, потом оставляла их.

На мой взгляд, вооруженный мятеж, разразившийся к ночи 23 октября, явился критической фазой давно начавшегося процесса. Истоки его — поражение в первой мировой войне, разгром Венгерской советской республики, Трианонский договор, четвертьвековая реакция в стране. После нового поражения — во второй мировой войне — революция национализировала помещичьи землевладения, заводы, банки, шахты, в корне изменила государственный механизм, заново создала вооруженные силы, лишила массу людей имущества, постов и званий, средств к существованию; коммунисты отстранили от власти, от участия в общественной жизни все прочие силы, в тюрьмы и лагеря для интернированных бросили тысячи невинных, восстановив против себя десятки и сотни тысяч, подорвав в них доверие к партии, заставив усомниться в ее успехах; остатки этого доверия развеялись окончательно в результате многолетней волокиты, бездеятельности и беспомощности партии. Большинство молодежи наверняка вышло на улицы для того, чтобы подтолкнуть руководство страны к действиям; с той же целью к колоннам примкнули тысячи других демонстрантов. Но результат оказался иным. Ведь не только человеку свойственно порой терять голову, действовать вопреки собственным желаниям и намерениям может и толпа. Разыгравшиеся страсти за какие-то несколько часов вынесли на поверхность годами, десятилетиями сдерживаемые боль, горечь, возмущение, ненависть.

...Разумеется, методичная, целенаправленная деятельность радиостанции «Свободная Европа» тоже сыграла роль в разжигании массовой истерии. Она хотела раздуть в Венгрии пожар — и добилась этого, хотя в итоге все сложилось не так, как желали ее покровители.

Организованный штурм радиокомитета, когда гремели уже не отдельные выстрелы и взрывались не только бутылки с бензином и гранаты со слезоточивым газом, когда охрана обороняла студию не штыками и собственными телами, начался около полуночи... Защитники здания получили приказ открыть огонь примерно в половине первого (об этом говорят почти все свидетельства). Кто отважился на такое решение, неизвестно. После этого радиокомитет держался еще восемь часов. Его руководители и командовавшие обороной офицеры вновь и вновь пытались связаться по телефону с Эрнё Герё, премьер-ми-

нистром Хегедюшем, министерствами обороны и внутренних дел, просили подкрепления, смены, патронов. Их подбадривали, обещали помочь, но и только...

На рассвете радиопередачи начались еще из здания комитета, затем, когда ситуация становилась все более безнадежной, вещание переключили на радиобашню горы Лакхедь, а еще позднее на Парламент. Программу радиостанции «Кошут» транслировали из привратницкой в здании Парламента, где имелись лишь один микрофон и проигрыватель, установленный на старом радиоприемнике.

Радиокомитет пал около девяти часов утра. Сколько человек и когда захватили весь комплекс зданий, мы точно не знаем: каждый свидетель вспоминает о той комнате, о том коридоре, этаже, корпусе, где он находился. Неизвестно, сколько нападавших были убиты и ранены; судя по потерям оборонявшихся, очень много.

Ранним утром к звучавшим на улицах выстрелам и мелодиям из оперетт, без конца транслировавшимся по радио, прибавился мощный гул: с юга и востока в Будапешт входили советские танки.

3. Чрезвычайное положение

...23 октября в 22 часа 22 минуты по радио передали: «Уважаемые радиослушатели! Поступило чрезвычайное сообщение. Политбюро ВПТ срочно созвало заседание Центрального комитета партии». Сообщение повторялось каждые десять минут. О том, что случилось, что происходит в городе, население страны не получало никакой информации до утра следующего дня...

В заседании, длившемся до рассвета, принял участие и Имре Надь, который не входил ни в какой руководящий орган, да и в партии-то был восстановлен лишь несколько дней назад. Сегодня уже невозможно установить, пригласил ли его Эрнё Герё или он сам решил перейти из Парламента в здание ЦК...

Центральный комитет произвел значительные кадровые изменения. Он утвердил новый состав Политбюро, куда вошли Антал Апро, Шандор Гашпар, Эрнё Герё, Андраш Хегедюш, Янош Кадар, Дюла Каллаи, Карой Кишш, Йожеф Кёбёл, Дёрдь Марошан, Имре Надь, Золтан Санто; в качестве кандидатов — Геза Лошонци и Шандор Ронаи. Первым секретарем был вновь утвержден Эрнё Герё, секретарями — Ференц Донат, Кадар, Каллаи. Из них Кадар, Каллаи, Марошан, Лошонци и Донат в годы культа личности не по одному году провели в тюрьмах. Надь и Санто были противниками обанкротившегося руководителя, Апро Гашпар, Кишш, Кёбёл и Ронаи не играли значительной роли в минувшие годы; из числа былых сподвижников Ракоши остались только Герё и Хегедюш. Таким образом, родился новый состав партийного руководства, который мог бы ознаменовать и новую политическую линию... Однако, когда утром 24 октября радио сообщило об этих изменениях, на улицах города уже вовсю шли настоящие бои и никакие кадровые перемещения не могли разрешить кризис...

В новом руководстве страна по-настоящему знала лишь двух людей, представлявших два полюса, кажущихся непримиримыми: Эрнё Герё и Имре Надя. С той же яростью, с какой демонстранты требовали восстановления на посту главы правительства Имре Надя, они требовали и смещения Эрнё Герё, в прошлом правой руки Ракоши. Венгрия уже однажды испытала, что такое борьба между первым секретарем и премьер-министром, и знала, что это не сулит ничего хорошего. Кроме того, 24 октября 1956 года ситуация в стране была уже совсем не той, что в 1953-м или даже 1955 году.

Трудно сейчас сказать, почему партийное руководство вопреки всему общественному мнению оставило Герё на посту первого секретаря, но это было жестокой ошибкой...

Известна еще одна причина, по которой изменения в составе партийного руководства не произвели на будапештцев желаемого впечатления. В 4 часа 30 минут по радио прозвучало следующее сообщение, повторенное затем в 7 часов 10 минут: «Фашиствующие и реакционные элементы осуществили нападения на наши общественные учреждения, атаковали подразделения охраны правопорядка. В интересах восстановления порядка в городе до особого распоряжения запрещаются любого рода собрания, митинги и демонстрации. Органам внутренних дел дано указание поступать с нарушителями по всей строгости закона. Совет министров Венгерской Народной Республики».

То, что не прозвучало в речи Герё, прозвучало сейчас: восставших назвали фашистами. Правда, ситуация с тех пор существенно изменилась: демонстрация переросла в восстание, которое вскоре стало вооруженным. Вот только этапы эти не были отделены друг от друга. Те, кто вышел 23 октября на улицы, кто митинговал перед Парламентом, толпился перед радиокомитетом, перед редакцией газеты «Сабад неп», кто ликовал, кричал, бесновался,— фашистами не были. Не были ими и те, кто добыл оружие и стрелял, и даже те, кто убивал. А если кто и был фашистом, то едва ли декларировал свои взгляды. Поэтому миллионы людей почувствовали себя оскорбленными, с возмущением протестовали против прозвучавшего заявления. К тому же перед страной был польский пример, где тоже произошли кровавые столкновения, но там руководство страны признало события следствием законного недовольства народа, а не фашистского подстрекательства.

У польских и венгерских событий действительно было много общего. Но в Польше вооруженные силы подавили восстание, а затем, после упорной политической борьбы, родилось оправдывающее восставших решение. В Венгрии же

мятеж не подавлен, зато восставших назвали фашистами...

В четверть десятого ввели комендантский час. Сотни тысяч людей в это время шли на работу, так что улицы были полны народу. В таких условиях комендантский час выглядел бессмыслицей. На предприятиях, в учреждениях лихорадочно обсуждали события, яростно протестовали против того, что их называют фашистами. Тысячи людей вышли на улицы, большинство — просто из любопытства, подгоняемые инстинктивным желанием быть там, где что-то происходит. На главных улицах волновалась толпа, то тут, то там возникала перестрелка; вид убитых и раненых разжигал страсти, ненависть к «госбезам» становилась всеобщей, многие присоединялись к повстанцам, осуждая введение чрезвычайного положения. Город бурлил.

...Судя по всему, вооруженные мятежники устали, большинство из них всю ночь не сомкнули глаз. Еду и питье они получали от населения. Магазины закрылись или не открывались с утра. Подразделения внутренних войск и армии заняли здания радиокомитета и редакции «Сабад неп», международную телефонную станцию, разоружили повстанцев, обосновавшихся в здании Национального музея...

В девять часов по радио передали сообщение. «По просьбе правительства в целях восстановления порядка в город прибывают советские войска». Запоздалая информация: советские танки вошли в город еще до рассвета, и весть об этом разнеслась по столице со скоростью молнии.

Обращение за помощью к Красной Армии было, пожалуй, самым роковым из всего предпринятого венгерским руководством 23 октября. Антисоветские настроения вспыхнули с новой силой. Уже не только ожили призраки прошлого, вскормленные четвертьвековой антисоветской пропагандой, не только отозвались политические ошибки недавних лет, сработало звучавшее изо дня в день злобное напоминание «Свободной Европы». в Будапеште советские солдаты сражались против венгров. Ненависть к Советскому Союзу удалось разжечь элементарными усилиями, родилась легенда об освободительной борьбе против «советов», и у мятежников появилась конкретная цель...

Прибывшие в Будапешт советские части не были готовы к ведению уличных боев. Похоже, они вообще не рассчитывали, что придется применять силу: первые же нападения застали их врасплох. Возможно, они считали, что одно появление танков положит конец восстанию, как во время берлинского мятежа 1953 года. Бронированные машины прибыли без пехоты, так что в переулках и подворотнях мятежники оказывались для них недосягаемыми; лишенные прикрытия бронетранспортеры были очень уязвимы для бутылок с бензином, гранат и даже просто для пуль. Советские подразделения плохо ориентировались в городе, не знали, куда им двигаться. Характерный пример: они прибыли в Будапешт задолго до взятия мятежниками радиокомитета, но так и не смогли вовремя попасть на нужную улицу. Их появление в столице было чем угодно, только не продуманной, спланированной военной операцией.

Командиры спешно поднятых по тревоге советских частей еще в меньшей мере знали, что им следует делать, чем руководство венгерской армии. Они получили только один приказ: прийти на помощь венгерскому правительству. Как и венгерским подразделениям, им поручили охрану Парламента, ЦК партии, мостов через Дунай, а также советского посольства. Во многих местах солдаты выходили из машин, вступали в разговоры с горожанами, что вряд ли делали бы, будь у них приказ атаковать мятежников. Всего несколько десятков танков и самоходных орудий с грохотом двигались из конца в конец по главным магистралям. Если из какого-то дома по ним открывали огонь, они стреляли в ответ и ничего другого сделать не могли.

Крупных венгерских частей больше в столицу не направляли. По мнению многих, опасались, что солдаты перейдут на сторону восставших...

В 10 часов 41 минуту, через два часа после объявления чрезвычайного положения, вновь прервали музыкальную радиопрограмму: «Внимание, внимание! В целях восстановления порядка и спокойствия просим жителей Будапешта выставить радиоприемники на подоконники и открыть окна. Скоро будет передано радиозаявление премьер-министра страны Имре Надя».

Эпоха переносных и карманных радиоприемников в Венгрии тогда еще не наступила, и обратиться к снующим по улицам и площадям массам людей иначе было невозможно. Во всем Будапеште в распахнутых окнах появились приемники — погода стояла достаточно теплая,— но по радио еще более часа без перерыва звучала музыка. Она стихла лишь в 12 часов 10 минут, когда, уже без предупреждения, заговорил премьер-министр: «Говорит Имре Надь, Председатель Совета министров Венгерской Народной Республики. Жители Будапешта! Сообщаю вам, что все те, кто во избежание дальнейшего кровопролития сегодня до 14 часов прекратит борьбу и сложит оружие, не будут преданы чрезвычайному суду». Призвав население к спокойствию, премьер-министр продолжал: «Первоочередная и самая главная задача сейчас — срочно нормализовать положение. После этого мы и обсудим с вами все вопросы. Ведь правительство и большинство венгерского народа хотят одного и того же. Рассчитывая на общее для всех высокое чувство ответственности за судьбы нации, призываю вас, всех венгров и венгерок — молодежь, рабочих, крестьян, интеллигенцию,— сохранять мужество и спокойствие, противостоять провокациям, оказывать помощь и поддержку органам правопорядка». В заключение Имре Надь сказал: «Спла-

чивайте ряды вокруг партии и правительства! Верьте, что, избавившись от ошибок прошлого, мы найдем верный путь к процветанию нашей родины». И зазвучал гимн...

Чувствовалось, что Имре Надь искренне полагал, будто уже самого факта его обращения к народу окажется достаточно, чтобы беспорядки прекратились. Премьер-министр не знал, что утреннее заявление, в котором мятежников назвали фашистами, обращение за помощью к советским войскам, введение чрезвычайного положения основательно пошатнули его авторитет...

Призывы сложить оружие звучали в тот день по радио еще несколько раз, причем все менее уверенно. Правительство, похоже, начало понимать, что улица не обращает на его призывы никакого внимания... В 12 часов 22 минуты, почти сразу же после выступления Имре Надя, по радио выступил Золтан Тилди, возглавлявший до 1948 года Партию мелких сельских хозяев; в 13 часов 22 минуты передали обращение Всевенгерского совета женщин и Всевенгерского совета мира; в 13.24 — комитета МЕФЕС Политехнического института и исполкома Будапештского горсовета, в 14.53 — президиума Всевенгерского совета профсоюзов и руководства кружка имени Петефи, в 15.25 — Союза журналистов, в 17.45 — ЦК Союза трудящейся молодежи. В 17.48 выступил бывший лидер социал-демократов Арпад Сакашич, занимавший до 1950 года пост Председателя Президиума ВНР. В 19 часов 47 минут с призывом к мятежникам прекратить кровопролитие обратился архиепископ Калочайский Йожеф Грёс, несколько лет просидевший в тюрьме во времена культа личности. Все эти выступления и призывы не дали никакого эффекта. Восстание уже жило собственной, автономной жизнью.

ЦК партии 24 октября заседал почти непрерывно. Как утверждает в воспоминаниях Андраш Хегедюш, Герё выглядел настолько решительным и уверенным в себе, что никому и в голову не пришло смещать его с поста первого секретаря. Возможно, так оно и было, однако от имени руководства партии в тот день по радио выступал не Герё, а Янош Кадар. Имре Надь подчеркнуто обращался к народу только как премьер-министр...

25 октября в 4 часа 30 минут утра радио начало программу обычными словами: «Говорит Будапешт. Точное время — 4 часа 30 минут. Доброе утро, уважаемые радиослушатели». Затем последовал такой текст: «Прежде чем начать нашу традиционную музыкальную программу, передаем обращение Будапештского горкома партии и городского совета. Жители Будапешта! Товарищи! Контрреволюционные банды в основном ликвидированы».

Приходится только гадать, откуда взялась эта информация и почему передавалась она от имени руководителей столицы. Подразумевалось, что восстание не вышло за пределы Будапешта? В те дни радио ни разу не сообщило, как обстоят дела в других городах страны, в сельских районах.

В половине шестого передали, что бои идут только в районах гостиницы «Палас», улицы Магдолна, Ференцварошского вокзала и радиокомитета. Это была неправда: ожесточенные перестрелки продолжались на площадях Барошш и Сэна, в окрестностях переулка Кишфалуди. Тем не менее трудящихся призвали после 6 утра, как обычно, выйти на работу, объявив, правда, что в школах и вузах занятий в этот день не будет... В половине девятого радио предупредило, что не сможет ознакомить слушателей с содержанием передовой статьи газеты «Сабад неп», поскольку очередной номер центрального органа партии не вышел в свет... В 9 часов 13 минут прозвучал приказ министра обороны Иштвана Баты: «...подразделениям народной армии к полудню окончательно ликвидировать в столице остатки контрреволюционных сил».

Приказ решительный, но бессмысленный. Откуда взялась у министра уверенность, что менее чем за три часа мятеж удастся подавить? И какие меры, кроме данного приказа, он предпринял для этого? Снова возникает впечатление, что высшее руководство страны пользовалось искаженной, а то и вовсе ложной информацией, проверить которую не имело возможности, и отдавало практически безадресные распоряжения, которые никто не выполнял. Государственная машина застопорилась. И это представляло гораздо большую опасность, чем несколько сотен вооруженных мятежников на улицах, опасность, которую как следует оценили слишком поздно.

В 12 часов 32 минуты по радио объявили: решением Политбюро ЦК ВПТ Эрнё Герё смещен с поста первого секретаря, вместо него избран Янош Кадар. В 15 часов 18 минут Кадар, а затем Имре Надь выступили с речами...

Утром в Будапешт прибыли Микоян и Суслов, два руководителя советской компартии; с аэродрома к зданию ЦК их доставили в танке. Тотчас было созвано заседание Политбюро, которое, однако, пришлось прервать: с улицы по окнам зала открыли огонь.

Советские руководители, очевидно, осведомились о положении дел и вновь проанализировали его. Днем раньше они согласились ввести в город для устрашения мятежников советские танковые подразделения; венгерские вооруженные силы тем временем должны были подавить восстание. Советские части, однако, ввязались в бой, потеряли около десятка бронетранспортеров и орудий, были и убитые, а мятеж так и не подавлен. И гости из Москвы рекомендовали то, что давно уже следовало бы сделать: сместить Герё...

И для Кадара, и для Надя это было первое выступление после разрешившегося кризиса руководства... Цитирую их речи по текстам, опубликованным в «Сабад неп».

Янош Кадар:

«Трудящиеся Венгрии! Дорогие товарищи! В этот сложный и тяжкий момент Политбюро нашей партии доверило мне пост первого секретаря Центрального комитета. Нет времени, чтобы говорить долго, поэтому я лишь вкратце коснусь нескольких вопросов. Ситуация, в которой мы оказались, характеризуется тем, что в ней перемешаны разные элементы. Молодежная демонстрация, подавляющее большинство участников которой преследовали честные, открытые цели, несколько часов спустя, в результате подстрекательства антинародных контрреволюционных элементов, превратилась в вооруженное выступление против народно-демократической государственной власти.

Мы вынуждены были принимать решение в этом тяжелом положении. Руководство партии в полном единстве выступило за то, чтобы всеми возможными средствами отразить вооруженное выступление, направленное против нашего народно-демократического государственного строя. Власть трудового народа, рабочего класса, партии, воплощенная в народной республике, для нас свята и должна стать святым делом для всякого, кто не желает, чтобы на шею народа вновь легло ярмо господства капиталистов, банкиров, крупных землевладельцев. Вооруженное выступление уже вызвало кровопролития, разрушения, тяжкие материальные потери и будет вызывать их до тех пор, пока с помощью всего нашего трудового народа мы не положим ему конец. Поскольку для всех очевидно, что самое главное в данный момент — восстановить порядок и условия для мирного созидательного труда, Центральный комитет партии обращается за поддержкой в решении этой задачи ко всему народу, особенно — к населению столицы. Главная сила сейчас — решительная позиция и единство всех членов партии и рабочего класса. Выражая надежду на согласованность общих действий всех рабочих, крестьян и служащих, всех честных патриотов, я прошу молодежь отказать в своей поддержке нарушителям порядка и поверить, что руководство партии непременно изучит ее предложения и примет по ним решения в соответствии с интересами всего народа. А сейчас пусть товарищи осознают, насколько важно, чтобы все коммунисты, весь рабочий класс в этот час действовали в нерушимом единстве.

Руководство партии твердо намерено сразу же после восстановления порядка открыто рассмотреть все те жгучие вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Все эти задачи мы будем решать путем углубления демократизма внутрипартийной, государственной и общественной жизни, с учетом реальных возможностей и без промедления.

Товарищи! Центральный комитет партии предлагает правительству начать после восстановления порядка переговоры с советским правительством на основе полного равноправия, дружеского сотрудничества и интернационализма с целью справедливого и взаимоприемлемого для обеих сторон урегулирования проблем, существующих между нашими социалистическими странами.

Рабочие, коммунисты, храните стойкость и непреклонность! Вставайте на защиту народной власти, нашего социалистического государства, будущего трудового народа!»

Имре Надь.

«Трудящиеся Венгрии! В течение минувших дней наша родина пережила трагические события. Немногочисленная группа контрреволюционеров и подстрекателей организовала вооруженное выступление против народно-демократического строя, в которое оказались частично втянутыми трудящиеся Будапешта, остро переживающие тяжелое положение в стране. Это положение было вызвано тяжкими политическими и экономическими ошибками, исправления которых требовали интересы страны, народные массы. Новое руководство партии и правительства призвано сделать из трагических событий самые серьезные выводы. После восстановления порядка немедленно будет созвано Государственное собрание страны. На его сессии я представлю всестороннюю и обоснованную программу реформ, которая охватит все важные вопросы нашей национальной жизни. Эта программа подразумевает реорганизацию правительства на основе взаимодействия обновленного Отечественного народного фронта и самых широких демократических сил. Необходимыми условиями осуществления этой программы являются немедленное прекращение вооруженных столкновений, восстановление порядка и спокойствия, возобновление производительного труда.

Я призываю трудящихся страны, всех подлинных патриотов оказать в этом посильную помощь. Как Председатель Совета Министров сообщаю, что венгерское правительство выступает с инициативой начать переговоры между ВНР и Советским Союзом о связях между двумя странами, в том числе о выводе с территории Венгрии советских войск, об установлении отношений между нашими социалистическими странами и коммунистическими партиями на основе пролетарского интернационализма, равноправия и национальной независимости. Я убежден, что построенные на этой основе венгеро-советские отношения явятся прочным фундаментом искренней, подлинной дружбы между нашими народами, национального развития, социалистического будущего. Вывод тех советских подразделений, чье вмешательство являлось жизненно важным для защиты социалистического строя, будет осуществлен незамедлительно после восстановления порядка и спокойствия.

Ко всем тем, кто взял в руки оружие не с целью свержения народно-демократического строя, кто немедленно прекратит борьбу и сдаст оружие, ко всем тем молодым людям, рабочим, служа-

щим армии, кто так поступит, правительство проявит высшую гуманность, и они не предстанут перед чрезвычайным судом. В то же время в интересах стремящегося к порядку и спокойствию трудового народа, в целях защиты народно-демократического строя мы применим всю строгость закона по отношению к тем, кто продолжит вооруженные действия, к подстрекателям и мародерам. Особенно предостерегаю трудящихся от доверия тем, кто безответственно поднимает панику, распространяет лживые слухи, нанося огромный вред и создавая одно из главных препятствий восстановлению порядка и спокойствия.

Острейшей болью отзывается во мне каждая капля крови невинных жертв этих трагических дней. Да наступит конец трагической борьбе и бессмысленному кровопролитию. Венгры, друзья мои, товарищи! Под руководством партии вперед по пути мирного созидательного труда, строительства лучшего, прекрасного социалистического будущего нашего народа!»

С момента образования однопартийной системы первым лицом в Венгрии являлся не Председатель Президиума, не премьер-министр, а первый секретарь партии. Новый первый секретарь Янош Кадар родился в 1912 году, учился на прибориста, в 20 лет стал членом подпольной коммунистической партии. Много раз его арестовывали, в общей сложности три с половиной года он провел в тюрьмах, и с 1942 года перешел на нелегальное положение; как секретарь ЦК он являлся одним из руководителей партии. После освобождения страны Яноша Кадара избрали в состав Политбюро; он занимал посты заместителя начальника управления милиции Будапешта, заведующего отделом кадров ЦК, секретаря столичного горкома партии, секретаря ЦК, затем — заместителя генерального секретаря, являлся депутатом Национального собрания. В 1948 году его назначили министром внутренних дел, в 1950-м — сняли, а в 1951 году арестовали. В 1954 году Янош Кадар вновь вышел на свободу, стал секретарем Пештского обкома, вскоре — опять секретарем ЦК.

Однако 25 октября 1956 года первым лицом в стране был не он, а Имре Надь. После вынужденного пятилетнего отсутствия Кадар всего несколько месяцев как снова вошел в состав высшего руководства, его меньше знали, и популярность его была высока главным образом среди ветеранов партии. К личности же премьер-министра внимание страны было приковано уже три года.

Имре Надь призвал народ строить социалистическое будущее под руководством партии, однако программу свою объявил от лица правительства. Правительства, которое с 23 октября практически не функционировало.

В 1953 году Имре Надь отчетливо осознал, что стремление партии управлять всем и вся в стране — крупнейшая ошибка. Вот почему он с такой активностью боролся за возрастание роли Отечественного народного фронта, Государственного собрания, расширение функций и круга влияния правительства. Теперь он вновь сформулировал ту же программу. Вот только народ в нее уже не поверил, поскольку хорошо помнил ее крах в 1953 году; кроме того, Имре Надь ведь ограничился в своей речи лишь очень общими фразами о реформах...

...А пока партийное руководство обсуждало вопрос о смещении Герё, в нескольких кварталах от здания ЦК, на площади Кошута, разразилась трагедия...

25 октября комендантский час был на время отменен, чтобы население могло выйти за продуктами... На улице Ракоци столпились тысячи будапештцев. По всей вероятности, кто-то организовывал демонстрацию; известно лишь, что главари ряда вооруженных групп приняли в ней участие. Когда прозвучал призыв: «К Парламенту!» — туда устремилась десятитысячная толпа. Какие в те минуты звучали лозунги, установить трудно; громче всего раздавалось: «Долой Герё!» и «Да здравствует восстание!» Герба республики уже не было ни на одном знамени. На углу Музейного кольца к процессии присоединились советские танки: знавшие русский язык студенты объяснили солдатам, что демонстрация мирная и проходит под знаком социализма.

Танкисты, охранявшие здание Парламента, тоже вступили в беседу с демонстрантами. И тогда с крыш соседних домов по площади открыли огонь. Предположительно более ста человек были убиты или ранены, в том числе — советские солдаты.

На площади началась паника. Люди бежали, наступая на упавших. Взломали двери одного из подъездов Парламента, карабкались в окна первого этажа министерства земледелия, прятались от пуль за советскими танками. Танки открыли ответный огонь. Тот, кому привелось быть свидетелем этого ужаса, слышал, как хрипели умирающие и кричали раненые, видел не укладывающиеся в сознании сцены: человека с раздробленной пулеметной очередью ногой, пытающегося, прыгая на одной ноге, найти какое-нибудь убежище; мальчишку, удивленно разглядывающего свою руку с оторванной кистью, в то время как кровь брызжет ему в лицо; женщину, которая вертится на одном месте, пытаясь закрыть собой лежащего у нее на руках ребенка; юную пару, которая, взявшись за руки, мечется туда-сюда до тех пор, пока юноша не падает замертво, и тогда девушка садится на землю с ним рядом...

Западные авторы в один голос утверждают, что стрельбу по толпе открыли сотрудники госбезопасности: венгерские же издания — что кровавое побоище было сознательной провокацией, организованной контрреволюционерами... Несколькими днями позже, когда не только город, но и пресса была полна слухами о «зверствах» служащих УГБ, никто

не заводил речь о событиях на площади Кошута; не нашлось ни одного человека, который бы утверждал, будто видел там стрелявших «госбезов»... А ведь в октябре 1956 года солдаты и офицеры госбезопасности стали козлами отпущения за все злодеяния...

Сегодня мы знаем обо всех значительных акциях октября 1956 года, но о расстреле толпы на площади Кошута — ничего. Не удалось выявить никого из участников этой кровавой провокации...

По мнению многих, стрельба на площади Кошута явилась поворотным пунктом. С точки зрения событий это не так. Бои на улицах не только не вспыхнули с большей силой, а, напротив, стихли, и к вечеру в городе воцарился, можно сказать, покой.

Впрочем — только на улицах. Те, кто был убежден, что это именно «госбезы» ни за что ни про что открыли огонь по безоружным манифестантам, окончательно укрепились в уверенности, что ведут справедливую борьбу против угнетателей, и теперь решительно встали на сторону повстанцев. Очевидно, в этот момент и родился миф о том, что в стране началась революция, в этот момент мятежники превратились в революционеров.

В событиях 1956 года перемешались многие элементы, намерения, направления; к этому нужно добавить и неизбежно присутствующий в истории слепой случай. Революции, однако, не было, по крайней мере — в марксистском понимании; не было революции как массового движения, имеющего целью образование нового, более прогрессивного, чем прежний, общественного строя.

Кое-кто, однако, оценивал и оценивает октябрь 1956 года именно так. В те дни очень многие называли события революцией потому, что полагали, будто их цель — решительно очистить социализм от преступлений, ошибок. Те же, кто сегодня применяет к событиям 1956 года понятие революции, объясняют, что борьба тогда шла за установление вместо кровавой социалистической диктатуры — мирной, свободной и независимой буржуазной демократии. Парадокс истории: строго консервативное американское радио, которым, в свою очередь, руководили крайне консервативные люди, с утра до вечера расточало похвалы этой революции. Оно поступает так и сегодня, хотя понятие революции ни в американской политике, ни в американском обществе, ни на радиостанции «Свободная Европа» положительным не считается...

26 октября обстановка не изменилась, хотя радио начало свою программу со следующего текста: «Уважаемые радиослушатели, начинаем наши передачи. Совет Министров Венгерской Народной Республики призывает жителей Будапешта в течение всего дня не выходить на улицы. Такая необходимость вызвана тем, что сегодня рано утром по всему городу начинается ликвидация остатков вооруженных контрреволюционных групп и восстановление порядка». Незадолго до 6 часов утра, однако, министр внутренних дел вновь разрешил населению выходить за покупками в период между 10 и 15 часами.

Трудно сказать, кто принимал все эти решения и чем каждый раз руководствовался. Неужели на рассвете не было ясно, что людям потребуется выходить за продуктами? А в 6 утра уже не считали необходимым ликвидировать вооруженные группы? Или полагали, что это не представит опасности для населения? И кто подсчитал, что для покупки продуктов необходимо пять часов?

Начиная с 23 октября руководство страны занималось исключительно реорганизацией партийного и государственного управления, принципиальными политическими вопросами, препоручив повседневные дела различным органам и лицам. И в этом не было бы ничего ненормального, функционируй государственный механизм исправно; он же не действовал вообще — потому и рождались взаимоисключающие распоряжения, только усиливавшие хаос...

В 14 часов 8 минут радио передало текст призыва: «Вооруженная молодежь! К вам, еще продолжающим борьбу, обращаемся мы. На улицах Будапешта льется драгоценная венгерская кровь. Прекратите бессмысленное кровопролитие! Новое правительство готово удовлетворить ваши законные требования. Молодые патриоты! Довольно уже пролилось крови. Нас, венгров, мало на свете, так пусть же не гибнут больше наши соотечественники. Сложите оружие, и народное правительство не станет привлекать вас к чрезвычайному суду. Без страха сдавайтесь подразделениям вооруженных сил охраны порядка. Молодые патриоты! Идите к нам, мы ждем вас! Правительство заверяет вас, что не причинит вам вреда. Командование силами охраны порядка».

И вновь сплошные вопросы. Что случилось с тех пор, как речь шла о ликвидации остатков контрреволюционных групп? И что такое «командование силами охраны порядка», орган, о котором никто не слышал ни до, ни после этого радиозаявления? Откуда вдруг столь патетический тон? Так или иначе, фашисты за два дня превратились в молодых патриотов.

В тот день на заседании ЦК ВПТ Лошонци и Донат признали восстание справедливым. Их точку зрения не поддержали, высказался против такой оценки и Имре Надь.

В четверть пятого пополудни по радио передали заявление ЦК: «Таких трагических дней наша родина не знала со времен обеих мировых войн, в столице бушуют братоубийственные сражения. Тысячи раненых, сотни убитых. Кровопролитию следует незамедлительно положить конец». ЦК вынес решение о том, что необходимо реорганизовать правительство, начать переговоры об урегулировании советско-венгерских отношений на основе принципов полного равноправия и невмешательства во внутренние дела, о немедленном выводе советских войск из столицы сразу же после восста-

новления порядка; сообщалось об амнистировании всех тех, кто до 10 часов вечера сложит оружие; партия еще раз призвала к защите завоеваний социализма, к укреплению демократии, подчеркнув, что после восстановления порядка первоочередной задачей станет обновление политической и экономической жизни.

Трезвая программа, рассчитанная, однако, на трезвое же восприятие, а потому не получившая никакого отклика в массах мятежников и сочувствовавших им.

Вскоре после 8 часов вечера прозвучало странное сообщение — совместное воззвание ЦК партии и Совета Министров: «Служащие вооруженных сил, бойцы-добровольцы, вооруженные рабочие, товарищи! Партия и правительство глубоко признательны вам за ту героическую борьбу, которую вы четвертый день ведете, защищая народную демократию».

Заявление полностью противоречит переданному ранее обращению командования силами охраны порядка. Кому выражена глубокая признательность? Тем, кто защищает народную демократию от молодых патриотов? Абсурд, но выходило так.

Текст этого заявления свидетельствовал об отсутствии у руководства страны достоверной информации. Центральный комитет партии еще поздним вечером 23 октября принял решение о необходимости вооружить рабочих, но, как и многие другие, оно не было выполнено. Почему именно — неизвестно. 26 октября столичный комитет партии призвал «всех честных рабочих, всех любящих родину молодых людей, всех коммунистов» вступать в ряды рабочей охраны. О создании таких подразделений мы сегодня ничего не знаем. Зато, как свидетельствуют записи в журналах дежурных по зданиям ЦК партии, столичного горкома и Министерства металлургии и машиностроения, 25 и 26 октября с заводов и фабрик, из райкомов партии поступили десятки настоятельных просьб, криков о помощи: пришлите оружие, чтобы мы могли защищаться.

24 октября и позднее на многих заводах создали собственные отряды рабочей охраны, однако оружия у них, как правило, не было. В течение трех дней мятежники захватили несколько сот предприятий; прежде всего они искали оружие и боеприпасы, взрывчатку, горючее. Они требовали прекратить работу, отстраняли от руководства дирекцию, призывали к созданию рабочих советов...

Не имели оружия и коммунисты, которым было поручено охранять здания райкомов партии. С 25 октября райкомы один за другим оказывались в руках мятежников...

Основную силу, на поддержку которой рассчитывало руководство страны, должны были составлять коммунисты. Их насчитывалось тогда около миллиона. Куда же исчезли они в октябре 1956 года?

Куда делись сотни тысяч тех, кто десять лет назад восторженно приветствовал новые, несущие свободу, идеи? кто распределял землю между крестьянами и, страдая от голода и холода, восстанавливал страну из руин? кто по вечерам, усталый, шел не в корчму, а читать Маркса?.. кто благодаря победе социализма становился директором завода, офицером, получал высокий пост?.. кто организовывал сельскохозяйственные кооперативы, коллективы художественной самодеятельности, электрифицировал города и села, чтобы народу жилось светлее? кто сооружал мосты и возводил заводы, прокладывал каналы и разводил фруктовые сады? кто гордился своим строем, своей страной?..

Партия в Венгрии не была боевитой организацией. В отличие от своих «старших братьев», большевиков, подавляющее число членов венгерской партии не прошли закалку подпольной борьбой, многолетней гражданской войной. Миллион членов партии еще не означал миллион коммунистов; искусственное раздувание численности партии обернулось катастрофой.

До 1945 года быть коммунистом в Венгрии означало ежедневно рисковать жизнью. После освобождения страны от фашизма каждая партия стремилась обеспечить своим членам привилегированное положение, получала взамен поддержку. Когда на внутриполитической арене осталась только одна партия, эта практика не исчезла, а даже укрепилась: членство в партии непременно давало те или иные преимущества. Инженер мог надеяться, что станет главным инженером, выпускник школы — что его примут в университет, рядовой рабочий или крестьянин — что выдвинется в руководство. Лишь позднее оказалось, что членство в партии означает не только благо. Казнь Ласло Райка и других коммунистов-руководителей обозначила лишь верхушку айсберга, но и этого было достаточно, чтобы сотни тысяч членов партии убедились, что в случае чего им грозит более суровая мера наказания, чем беспартийным.

Трудно даже грубо прикинуть, сколько человек, сколько сотен и тысяч вступили в партию ради карьеры, из материальных соображений. Немало среди них и таких, кто лишь в очень общих чертах принимал социалистические идеи. А сколько было идейно убежденных, но слабых характером, нерешительных? Сколько — грубиянов и наглецов, властолюбцев, готовых на что угодно слепых фанатиков-исполнителей, людей с замашками феодальных князьков, торгашей?

Ну, а те, кто служил коммунистическим идеям еще в период с 1935 по 1945 год, рыцари партии без страха и упрека, что ощущали, знали и видели в 1956 году они? Глубочайшее разочарование, горечь, гнев — вот что они испытывали. То, что еще вчера считалось хорошим, назавтра объявлялось плохим, и наоборот. Не об идеях и целях размышляли они в те дни, а из последних сил

цеплялись за веру в правоту дела, за которое боролись. И мучились от бессилия, от незнания, что предпринять. Преступления и ошибки «вышестоящих товарищей», их карьеризм и самоуправство, беспринципность и трусость, властолюбие и краснобайство — все это тяжким грузом общей ответственности давило на плечи ветеранов, кадровых бойцов партии. Почему не были они в свое время смелее, мудрее, почему так слепо верили?

Разумеется, не только это явилось причиной недееспособности партии. Большую роль тут сыграла и ее структура, основанная на принципе полной централизации. Деятельность рядовых коммунистов направляли освобожденные секретари, но и они являлись лишь винтиками в огромном механизме; все делалось по указаниям сверху, из центра. Нет указаний — нет действий.

В райкомах кипели страсти, сталкивались мнения, аргументы и контраргументы, но никаких решений не принималось, не говоря уже о практических шагах. Ждали распоряжений свыше. Члены партии входили в организации заводов, учреждений; в эти дни они или приходили на работу, или нет. А если приходили, то в парткоме им ничего сказать не могли — ждали советов и указаний из райкома, а там — из ЦК. ЦК же был занят другим. Партийный механизм застопорился.

Тем временем обстановка продолжала осложняться. В 21 час 42 минуты по радио передали сообщение: «Через 18 минут истекает назначенный Центральным комитетом партии и Советом Министров срок сдачи оружия. Пора прекратить братоубийственную войну. Борьба, начатая венгерской молодежью, можно сказать, завершилась победой. В дальнейшем кровопролитии нет никакого смысла. Будапештские студенты вышли на улицы с требованиями независимости Венгрии, углубления демократии, наказания виновных в преступлениях против народа, образования правительства во главе с Имре Надем. Большинство из них ради этого взяли в руки оружие... Пусть кончится кровопролитие! Прекращайте борьбу! Это главное наше стремление, и это в наших общих интересах. Венгры! Отнеситесь всерьез к амнистии, обещанной в правительственном воззвании. В вашем распоряжении еще 16 минут. Складывайте оружие!»

У этого сообщения тон опять совершенно иной. В оценке причин восстания оно перенимает аргументацию улицы; подчеркивает, что у власти и у восставших общие интересы; повстанцев называет венграми: значит, адресовано всем и каждому; новое определение событий: братоубийственная война; сообщение утверждает, что восстание победило.

Противоречиво звучит обращенный к мятежникам призыв складывать оружие; если они победили, то почему должны это делать?

Около полуночи от имени «командования армии» (еще один непонятный руководящий орган) объявили, что комендантский час остается в силе; населению разрешалось отправиться за продуктами в близлежащие магазины не ранее 10 часов утра...

В тот день газета «Сабад неп» вышла с большим опозданием и только на одном крупноформатном листе... На первой полосе сообщалось об образовании нового правительства: «Возглавляет правительство Имре Надь, в результате произвола Ракоши долгие годы находившийся в стороне от политической жизни страны. В составе правительства — министр Золтан Тилди, бывший президент республики; Бела Ковач, в прошлом генеральный секретарь Партии мелких сельских хозяев; ученый с мировым именем Дёрдь Лукач; давний и известный деятель рабочего движения Ференц Мюнних, при Ракоши устраненный от участия в управлении страной. В правительство также вошли известный венгерский профессор медицины Антал Бабич, рабочие-металлисты Карой Янза и Янош Чергё, текстильщица Яношне Надь, инженер-химик Гергей Сабо».

Перемены означали, что из состава правительства выведен целый ряд политиков, чьи имена были связаны с периодом культа личности Матяша Ракоши; в первую очередь — Андраш Хегедюш, являвшийся до Имре Надя премьер-министром, а затем его заместителем. Лишились своих постов также министр внутренних дел Ласло Пирош и министр обороны Иштван Бата. Вместе с Эрнё Герё все они вчетвером в тот же день уехали из Венгрии в Советский Союз...

В целом подбор новых членов правительства свидетельствовал о том, что коммунисты предоставляют возможность участвовать в управлении государством всем, кто искренне желает служить делу строительства социализма. Однако впечатление во многом было испорчено выдвижением на посты министров Янзы, Яношне Надь и Чергё, которые давно уже не являлись рабочими, а занимали высокие посты в аппарате. Но суть не в этом: ритуальное указание происхождения укрепилось в эпоху Ракоши, и теперь у людей сложилось впечатление, что изменилось лишь несколько имен, а сущность осталась прежней.

...Утром 28 октября венгерские вооруженные силы при поддержке советских танков планировали атаковать наиболее многочисленную и опасную группировку мятежников, засевших в окрестностях переулка Кишфалуди. В половине шестого, однако, операцию пришлось отменить: Имре Надь заявил, что в случае ее осуществления он подаст в отставку...

В 13 часов 20 минут по радио передали: «Внимание, внимание! Зачитываем важное сообщение. Правительство Венгерской Народной Республики в интересах прекращения дальнейшего кровопролития и восстановления спокойствия объявляет начиная с данного момента общее прекращение огня. Правительство предписывает вооруженным силам открывать огонь только в случа-

ях нападения на них. Председатель Совета Министров Имре Надь».

Четыре часа спустя Имре Надь выступил с обращением к народу... «На протяжении всей тысячелетней истории судьба щедро одаривала наш народ, нашу нацию своими ударами. Но такого потрясения наша родина еще никогда не испытывала... Правительство осуждает ту точку зрения, в соответствии с которой нынешнее мощное народное движение является контрреволюцией... Да, к нему примкнули и реакционные, контрреволюционные элементы, пытавшиеся использовать события с целью свержения народно-демократического строя. Однако бесспорно и то, что в ходе этих событий с силой стихии развернулось грандиозное, охватившее весь народ национально-демократическое движение. Это движение объявило своей целью защиту нашей национальной независимости, самостоятельности и суверенитета, оно требует большего демократизма нашей общественной, экономической и политической жизни, ибо только демократизм может составить основу социализма в нашей стране. Это мощное выступление вызвано тяжкими преступлениями минувшего исторического периода. Положение еще более обострилось из-за того что руководство почти до самого последнего момента не решалось окончательно порвать со своей прежней преступной политикой».

От имени правительства Имре Надь огласил конкретную программу условившись о немедленном выводе советских войск из Будапешта, начать переговоры с правительством Советского Союза о выводе войск со всей территории Венгрии; немедленно прекратить вооруженные действия; организовать подразделения охраны порядка из числа служащих армии и милиции с участием повстанцев распустить органы госбезопасности; упорядочить заработную плату, ввести демократические нормы и признать полномочия рабочих советов на предприятиях; в качестве герба страны утвердить герб Кошута, объявить 15 марта национальным праздником.

Итак, контрреволюция теперь превратилась в народное движение, а отсюда следствие против народного движения у правительства нет ни причин, ни права применять насилие...

Пока продолжались ожесточенные перестрелки, правительство и думать не могло об осуществлении своих целей. Руководство с самого начала стремилось прекратить бои. 28 октября этого как будто удалось добиться. Правда, не так, как хотелось бы: повстанцы не были разбиты, оружия никто не сдал, перемирие предложило правительство. Мятежники хотели признания законности их действий и удовлетворения требований. Они тоже своего добились, причем добились именно с помощью оружия. О том, что причины сложившейся ситуации кроются не в нескольких сотнях ружей и автоматов, а гораздо глубже, никто тогда не думал. Вторая часть трагедии октября 1956 года завершилась.

Вскоре после обращения Имре Надя по радио прозвучало заявление ЦК ВПТ, одобрявшее программу премьер-министра. Сообщалось также, что ввиду чрезвычайного положения руководство партией берет на себя ее президиум в составе председатель — Янош Кадар, члены президиума — Антал Апро, Карой Кишш, Имре Надь, Ференц Мюнних, Золтан Санто.

В течение многих лет все серьезные решения выносило руководство партии, а Совет Министров их принимал. Теперь премьер-министр представил правительственную программу, а руководство партии с ней согласилось. Решения, однако, выносил не Совет Министров — по своему составу и роли он не в силах был что-либо решать. Страной управляла не партия, но и не правительство, а небольшая горстка людей. Практически же вся власть сосредоточилась в руках Имре Надя.

(Продолжение следует)

ТОНИ ШУМАХЕР

СУДЕЙСКИЙ СВИСТОК

Фрагменты книги

Вступление и перевод с немецкого
ПАВЛА ФРЕНКЕЛЯ

Лет до двадцати Шумахера все, без исключения, звали первым именем — Харальд. Тони — производное от второго, Антон. Так окрестила его вся болельщицкая рать, когда он утвердил себя искусным стражем заповедного прямоугольника, занавешенного с тыльной стороны крупноячеистой сетью. Тони... В этом одомашненном варианте угадывается еще и намек на легендарного немецкого вратаря 50-х годов Тони Турека, кумира Шумахера. Это и называется — **сделать себе имя.**

Вратарь — особая фигура в футболе. Недаром говорят: «Вратарь — половина команды». Его позиция уникальна: он единственный видит **все происходящее на поле.** И наверное, не случайно книга, фрагменты которой мы предлагаем вниманию читателей, вышла из-под пера искушенного голкипера.

В точном переводе название книги «Anpfiff» означает «судейский свисток к началу игры». Шумахер, однако же, не думал рядиться в традиционно черную униформу футбольного судьи, который поминутно, осаживающим посвистом, подкрепляемым безапелляционными жестами, узурпирует право на истину в конечной инстанции. И уж тем более не задавался целью — в чем его сейчас обвиняют — чернить всех и вся.

«Начали!» — как бы подает знак тем, кто профессионально связан с футболом, Тони Шумахер. Начали — говорить друг другу правду, разрушать мифы и ложные стереотипы, называть вещи своими именами: футбол — бизнесом, игроков — рекламными столбами, ходячим, или, вернее, бегающим капиталом, жизнь профессионала с ее жестокой необходимостью всегда быть в наивысшей форме — потогонной системой, порождающей искус прибегнуть к «бодрящей химии», разного рода стимуляторам и т. д.

Говоря нашим языком, книга Шумахера — своеобразный призыв к гласности и перестройке в футболе.

«Anpfiff» — это исповедь человека, который попросту не мог молчать. Хотя его откровенность — и это было ясно с самого начала — не обещала пойти ему на пользу.

Неопровержимые свидетельства о нравах и порядках в западногерманском футболе, высказанные таким «национальным авторитетом», как Шумахер (да притом — игроком действующим, а не повесившим бутсы на гвоздь), повергли деятелей Немецкого футбольного союза и околоспортивных дельцов в шоковое состояние.

Последовали драконовские санкции: Шумахера незамедлительно изгнали из родного клуба, которому он верой и правдой служил долгие годы, отлучили от сборной, чьи цвета он защищал более семидесяти раз, в том числе на чемпионатах Европы и мира. Не без труда Шумахер нашел себе пристанище в одном из клубов Западного Берлина, участвующем в чемпионате бундеслиги...

Как бы то ни было, Шумахер надеется играть еще долго. Его вдохновляет пример прославленного советского вратаря Льва Яшина, с которым он встречался в Москве и которого он считает «вратарем века». Буквально в последних строках своей книги Шумахер, не скрывая восхищения, говорит о том, что Яшину удалось продержаться в воротах до сорока лет!

Перефразируя Маяковского, страстного поклонника спорта, про тридцатичетырехлетнего Харальда Антона Шумахера можно без всяких скидок сказать: он спортсмен. Тем и интересен.

Мой отец работал на стройке. Уже в семь утра уходил из дому. По вечерам приходил еле живой. Бывал малоразговорчив. Зимой усаживался у печки, вытягивал усталые ноги. «Отец» — долгие годы для меня это означало: ноги перед очагом. Пьяницей он не был. Слава богу. Это был уравновешенный, простой, порядочный человек. Да он и сегодня такой же. Не будь он таким, я бы, возможно, покатился по наклонной. Многие из моих друзей-приятелей плохо кончили, пойдя по стопам спившихся родителей.

Решающее влияние на меня оказала мать. Она обшивала своих заказчиков, а я неотлучно находился при ней, дни напролет наблюдая, как она работает. Она беспрестанно твердила мне:

— Не тужи, сынок, бедность — не порок. Главное в жизни — всегда быть честным и усердным. Чтоб не приходилось за себя стыдиться.

На игровой площадке нам, кроме песочницы, почти ничего не мешало: полно места, чтобы гонять мяч. Футбол стал для меня отдушиной. Наконец-то появилось пространство, где можно резвиться сколько душе угодно. Вон из опостылевших четырех стен. Я играл в нападении. Мог и блеснуть по-настоящему.

— У парня бойцовский характер, он пробьется,— говаривал тренер «Черно-белых», моего первого футбольного клуба в Дюрене.

Это мать посчитала, что мне надо заниматься в секции.

Тем, у кого бойцовский характер, живется труднее, и в детстве тоже.

— Ты слишком много носишься, Харальд. Выкладываешься до потери пульса,— ворчал тренер. — Нужно научиться лучше распределять свои силы и эмоции.

— Верно,— вторила ему мать. — Вечно является домой без задних ног, потный, как черт. Больно честолюбив, вот и лезет из кожи. Совсем уже на клячу стал похож

Оба пеклись о моем здоровье. И снова последнее слово было за матерью:

— Пора тебе найти надежное, спокойное место на поле. Встань-ка в ворота. Это для тебя в самый раз.

Так я и стал вратарем. Потому что это было «спокойное место»... Мне тогда стукнуло двенадцать.

Но и в воротах я оставался непомерно честолюбивым. Мне было ясно: ты ж из бедных, аттестата зрелости тебе не видать, об институте и мечтать нечего. Но тем, кому дано учиться, им ты покажешь, на что способен.

Я никогда никому не завидовал. Только не мог уразуметь, отчего каждому от рождения уготовано свое место под солнцем. А кому и под обложным дождем. Привилегированные ребята не виноваты, что у них богатые родители. Зависть — не от большого ума. Вот вглядываться в будущее — умно. Мне пришлось добывать все потом и кровью, просто потому, что я не был особо одарен от рождения. Но в итоге бойцы добиваются в жизни большего, нежели те, кто разнежен природными способностями. Это мое железное убеждение. Изначальный гандикап не раз уже становился для многих лестницей, ведущей на самый верх. И Стрейзанд с ее «серебристым» взглядом, и Кларк Гейбл, который поначалу безбожно заикался, сумели в конце концов многого добиться. Благодаря стальной воле, упорству и фанатичной работе над собой. У меня с волей уже тогда все было в порядке. В дуэли «вратарь — полевой игрок» я всегда выглядел достойно. Я не испытывал страха перед травмами и не думал об опасных последствиях. Победить. Быть лучшим.

Пятнадцати лет я уже тренировался четыре раза в неделю: дважды с юношеской и дважды с первой мужской командой. Жил по-монашески. Сплошной футбол не оставлял времени на девочек. Мопеда у меня не было, а дискотеки я знал лишь снаружи — по вывескам. Футбол стал смыслом жизни. Мной владела одна сокровенная мечта: стать вровень с кумирами 50-х годов, «вратарскими звездами» — Тони Туреком и Фрицем Херкенратом.

По воскресеньям мои броски за мячом срывали аплодисменты признания и восхищения. Я заряжался гордостью и самоуважением на всю неделю. Забывал о малости и убогости своего поселка.

— Видал, как стоял Харальд? — казалось мне, перешептывались за моей спиной. — Это же сын Хельги и Манфреда. Парень еще удивит мир.

Такие вот фразы лились на мельницу моих честолюбивых помыслов.

Карьера через спорт. Вот чем это для меня было. Я усматривал и параллели с другими аутсайдерами общества. Разве большинство олимпийцев — спринтеров и прыгунов — не негры? Подобно им гнался за признанием и я. Для меня и сегодня еще загадка, почему не все чемпионы мира — темнокожие. У нас в кёльнском клубе, в начале 80-х, был один темнокожий игрок. Восемнадцатилетний Тони Бафо играл в первой юношеской команде и не прочь был стать профессионалом. Играл он неровно, быстро падал духом, был склонен к самоедству. Меня это просто бесило.

— Послушай-ка,— пытался я его встряхнуть,— если б я был черным, а это в глазах многих все равно что дерьмо, если б я торчал на самом дне, для меня, черт побери, цвета кожи было бы вполне достаточно, чтобы стать лучшим футболистом мира. Не позволяй себе раскисать, чудак-человек. Покажи им, чего ты стоишь!

Бафо, к сожалению, не хватало упрямства и, в отличие от меня, стойкого иммунитета против унижений.

Я полностью сосредоточился на тренировках. Постоянно прибавляя, я рассчитывал попадать в различные сборные. Что мне и удалось: сборная округа Дюрен — первая ступень; сборная Среднего Рейна — вторая ступень; сборная западного региона ФРГ — третья ступень; юниорская сборная страны — четвертая ступень. До конца 60-х годов все катилось как по наезженной колее.

© Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München, 1987

Тренером юниорской сборной был в ту пору Герберт Видмайер. Он наблюдал за мной на разных турнирах. Кульминацией стала игра за сборную западного региона: финал, послематчевые пенальти. Из пяти ударов я отразил три. После этого мое имя как по мановению волшебной палочки оказалось у всех на устах.

— Видели Шумахера из дюренского клуба «Черно-белые»? За парнем стоит последить.

Селекционеры из клубов и НФС [1] не дремали. Приглашение в юниорскую сборную страны было лишь вопросом времени. Большинство «сборников» успели даже заключить контракты с клубами бундеслиги. Вот так и мне в один прекрасный день Юпп Рёриг, тренировавший дубль 1-го ФК «Кёльн», предложил выступать за их юниорскую команду. Мне было тогда шестнадцать, и чувствовал я себя невероятно польщенным. Однако пришлось — против воли — это предложение отклонить.

— Надо иметь в руках профессию,— решила мать. — Футбол не исключается, но это дело будущего. Сперва надо выучиться чему-то путному.

Сказано — сделано. Я стал медником — между прочим, профессия, требующая огромного физического напряжения.

После экзамена на подмастерье снова объявился Рёриг. Час пробил.

— Еду. Мать согласна.

Я как бы начал новую жизнь. Футбол — ничего, кроме футбола. Каждый день. Фантастика! Я стал «профи», но пока без установки на максимальный результат, без журналистских облав, без необходимости сделаться первым номером.

Впервые в жизни я зарабатывал деньги, даже много денег: 1200 марок в месяц — это в восемнадцать-то лет. В последний год учебы я получал ежемесячно 320 марок. Кроме того, мне причиталась годовая премия в 30 тысяч марок. На круг ежегодный доход составлял более 45 тысяч. Я был в полном восторге. Столько денег мой отец никогда бы не наскреб, даже если б вкалывал круглые сутки.

Конец сентября 1986 года. Мы в Копенгагене: сборная страны готовится к товарищеской встрече с датчанами. Профессор Лизен узнал из печати о моем недовольстве его врачебными ухищрениями. Он обижен.

— Мне надо с вами поговорить, господин Шумахер,— обращается он ко мне с мрачным видом.

— Не возражаю, профессор, когда угодно. По мне, так хоть сейчас, не сходя с этого места.

— Ваши претензии к моей работе я бы предпочел узнавать от вас, а не из газет.

— Так вышло безо всякого умысла с моей стороны. Я говорил об этом в узком кругу, исключительно среди друзей, я и не думал выносить это на всеобщее обсуждение.

— Тем не менее я нахожу это достойным сожаления, ибо создалось впечатление, будто вы меня...

— Да я и не помышлял нападать на вас, подвергать сомнению вашу компетентность или подрывать ваш авторитет. Если б это входило в мои планы, то я начал бы с научной экспертизы. Но считаю не случайным, что все игроки, участники чемпионата мира, играют сегодня через пень колоду. Эти «мексиканцы» в клубах бундеслиги являют собой весьма плачевное зрелище. Они жутко переутомлены. И свое критическое замечание я оставляю в силе. В Мексике нас напичкивали до умопомрачения, а потом взяли и бросили, то есть никакой опеки после сверхопеки.

— Да вы сами не обращались ни за советом, ни за помощью,— нашелся профессор.

— Довод абсурдный. Разве я могу сам себе быть врачом? Каким это образом я мог бы поставить достоверный диагноз в связи с моей депрессией и полной потерей сил?

Можно заглушить боль, преодолеть сомнения, но против утомленности ты бессилен. У человеческого организма, этой почти совершенной машины, есть свои пределы. Она изнашивается. Не выдерживает каждодневных соревновательных перегрузок. Наступает естественное истощение.

С другой стороны, непрерывно повышаются требования к уровню подготовленности. Медицинский контроль и даже сверхконтроль мало чем помогает. Зато все сильнее искушение прибегнуть к стимулирующим средствам.

Одна из серьезнейших опасностей для спортсменов экстра-класса: они ломаются в стрессовых ситуациях, становятся зависимыми от стимуляторов.

Нам ведь это хорошо знакомо по велоспорту. Там слово «допинг» в ходу уже многие десятилетия; скандалам, связанным с употреблением допинга велогонщиками, давно уже несть числа. Амфетамины, анаболики... Стимуляторы, которые сегодня известны всем и каждому.

Допинг и футбол. Мыслимо ли вообще такое сочетание? В отличие от спортсменов-велогонщиков футболисты мочу на анализ не сдают — кроме как на чемпионатах мира и Европы. А то, что не подвергается проверке,— того, может статься, и вовсе в природе нет. Но это верно лишь с оговорками. В футбольном мире допинг тоже имеет место, но, разумеется, он под строжайшим секретом и запретом, о нем — ни гугу.

С полной откровенностью признаю: на тренировках я применял препарат со стимулирующим эффектом. Каптагон — так эта штука называется. Используют также различные микстуры от кашля, содержащие эфедрин. Как я узнал, это вещество возбуждает агрессивность, повышает выносливость и волевой настрой.

Последствия плачевны: повышаются предельные возможности организма, а это почти равнозначно самоизнасилованию. Продолжительное время расходуются биологические ресурсы — совершенно бесконтрольно, без какого-либо внятного сигнала со стороны самого организма: «Больше не могу!»

[1] Немецкий футбольный союз. *(Здесь и далее прим. перев.)*

В результате на многие дни ты просто не человек. Несмотря на огромную усталость, освежающий сон так и не приходит. Что до интимной жизни — дохлый номер. Полный штиль.

Из всего этого я вынес для себя урок: многоразовое употребление допинга не только опасно для жизни, но еще и унизительно. Так что держитесь-ка от подобных экспериментов подальше.

Ночь — сна ни в одном глазу. Тупо смотрю в потолок. Меня кидает то в жар, то в холод. Болят все до единой мышцы.

После европейского чемпионата 1984 года в Париже я сглупил. Из любопытства. Чтобы проверить предельные нагрузки, которые способна выдержать моя машина, именуемая «организмом», я прибег к стимуляторам. Хотелось превысить порог стопроцентной отдачи и заставить себя работать с удвоенной энергией. Хотелось узнать, до какой степени и какое время можно себя сверхэксплуатировать. Кроме того, у меня была травма, и я опасался за свою форму — боялся появления признаков атрофии мышц, сухожилий, суставов.

Уже тогда я страдал от стрессов, жил на грани депрессии — из-за чрезмерных нагрузок. В то время я транжирил свое здоровье, измывался над своей «машиной» как обезумевший автогонщик: приборный щиток сигналит красными лампами, тахометр показывает 9—10 тысяч оборотов в минуту. Полный газ! Я сознавал, на какой риск иду — так можно и в ящик сыграть. Дикость. Безответственность. Безумие.

Врачи предостерегали меня, описывали побочные эффекты, вызываемые стимуляторами, но я хотел испытать все на собственной шкуре, не довольствуясь одной лишь глюкозой как дополнительным источником энергии.

Вот почему я и сейчас, задним числом, себя не виню. «Подопытным кроликом» в конце концов был я сам. «Кролик» — не больно-то подходящее сравнение, ведь тогда я чувствовал себя скорее как локомотив. Раскочегаривал себя на тренировке, на разминке перед играми на кубок и чемпионатом бундеслиги.

Был ли я исключением?

Кёльн, осень 1984 года. Правление в который уже раз твердило о «матче жизни». Снова речь шла о выживании клуба. Некоторые мои кёльнские одноклубники тоже воспользовались стимуляторами: лошадиными дозами глотали мы микстуры от кашля, содержащие высокий процент эфедрина. Намикстуренные игроки чертометом носились по полю. Мы победили. Но какой ценой? Многосуточное состояние полной изможденности. После чего мы решили: никогда в жизни! Никто из нас не станет подбивать кого бы то ни было на подобную глупость.

Мои кёльнские друзья далеко не единственные, кто не смог устоять перед допинговым искушением. У допинга в бундеслиге богатая история.

Будучи совсем молодым игроком, я частенько шоферил — на своем маленьком желтом «Р-5» возил многих корифеев 1-го ФК «Кёльн» к одному врачу. Он давал им таблетки и делал инъекции перед важными матчами. Мне казалось странным, что здоровый как бык игрок так накачивает себя лекарствами.

А ведь многие из тех футболистов вообще не мыслили себе дальнейшей спортивной карьеры без специальных таблеток, обеспечивавших пик формы. Таблетки и спортивная форма — эти понятия стали для них тождественными.

Характерная деталь. Этот врач пользовал известных спортсменов в то время, когда вся пресса трубила про допинг. Предполагаю, что в число специальных препаратов входили анаболики, амфетамины и разные другие стимуляторы. Все это в ходу и сейчас.

Если разобраться, между допингом и количеством травм у игроков существует прямая зависимость. Частые разрывы мышечных волокон у полевого игрока говорят о том, что он употребляет допинговый препарат, который снимает ощущение предела собственных возможностей. Поэтому вполне естественно, что мышцы и суставы не выдерживают. Сигнальная система организма отключена; надо ли удивляться, что мышцы «бастуют»?

Допинг — яд, не меньший, чем наркотики. Так что руки прочь от этого проклятого, дьявольского снадобья. Знаю, что наибольшую угрозу оно представляет для неустойчивых натур. Поэтому здесь необходима профилактика. Запомните: кто попытается выжать из малолитражного «фольксвагена» 500 лошадиных сил, далеко не уедет.

Футбол — это спорт не для маменькиных сынков, а для железных парней, которым то и дело приходится выдерживать немыслимые нагрузки.

В профессиональном футболе игрок прежде всего не что иное, как солидное капиталовложение. Из-за болезней и травм футболист реже выходит на поле, а это чревато финансовыми убытками. На тебя вечно давит пресс — наилучшая форма и наилучший результат. Велико искушение «уколоться», чтобы побыстрее «встать на ноги». Врачи и игроки нередко испытывают явный нажим со стороны менеджеров и тренеров. Разрыв крестовидной связки лечится восемь—двенадцать месяцев. А тренер полагает, что для излечения довольно и шести.

Я живу в постоянном страхе перед травмами, способными отлучить меня от игры на длительный срок. А оставлять без внимания мой «мешок с костями» мне удавалось только потому, что до сих пор я с успехом внушал себе, будто боль — это от лукавого, плод воображения. Примером для меня был и остается Зепп Майер, с блеском отыгравший — с травмами и вопреки им — свыше 400 игр подряд.

Глубокая рваная рана в области колена — играю как ни в чем не бывало. Терпеть, стиснув зубы, даже если они и скрипят. Затем — в больницу, полдюжины швов. Следующая суббота — я снова в воротах. Жалостливость мне не по нутру.

Год 1980-й. Чемпионат Европы в Риме. На тренировке я падаю, неудачно приземлившись.

ляюсь на ладони. Роковой хруст. Немедленно появившийся отек сразу же подтверждает мои опасения: перелом безымянного пальца на левой — рука вышла из строя. Не паникуй, Тони, знай помалкивай. Если Дерваль[1] и врач команды пронюхают о травме, они как пить дать отправят меня домой. Мое место в воротах займет Франке, запасной вратарь. А место в рядах сборной — кто даст гарантии, что оно сохранится за мной?

О случившейся «неприятности» я рассказал лишь Рюдигеру Шмицу[2]. Держим совет у меня в гостиничном номере. Вскоре уже делаем наброски Особой Вратарской Перчатки. С потайной гипсовой манжетой. Благодаря ей сломанный палец будет прикрыт здоровым средним пальцем и зафиксирован в неподвижном положении. Спасет ли меня это?

Рюдигер моментально собрался в Метцинген. Там живет Гебхард Ройш, перчаточный фабрикант, чью продукцию я рекламирую. Швабские перчаточники все понимают с полуслова. В темпе изготавливают две пары спецперчаток — для сухой и сырой погоды. С «ценными предметами» в багаже Рюдигер летит обратно в Рим.

Финал чемпионата Европы. Сломанный палец держался молодцом. Все остальные части Тони Шумахера — тоже Мы стали чемпионами Европы. Общий восторг и ликование. После нашей победы я наконец поставил в известность Дерваля и других официальных лиц. Смущенные взгляды: испуг, облегчение и в конце концов одобрение.

Они засыпают меня вопросами: сознавал ли я всю меру ответственности? Не боялся ли провала?

— Только при мысли, что в сегодняшней игре могу сломать себе еще парочку пальцев,— улыбнулся я, сбросив напряжение и будучи уверенным, что остаюсь номером один.

Сколько себя помню, я всегда играл невзирая на болячки. Лечение мышечных травм, операции по поводу мениска, всевозможная чинка при помощи скальпеля — все в отпускное время. Выглядит это так: в субботу я еще играю последний матч сезона. В понедельник взбираюсь на операционный стол в клинике профессора Шнайдера в Кёльне. После двух больничных недель у меня остается одна неделя «отпуска» дома. Пока снова не возобновятся тренировки. Только так я могу подойти к первой игре нового сезона в боевой форме.

Ты — номер один. И должен им остаться. Вопрос жизни! Нельзя давать второму вратарю никаких шансов, пилить сук, на котором сидишь.

Дружба, конкурентная борьба... Караулить свой шанс... Уповать на травму соперника... Судьба вратаря...

Среди футболистов, в том числе и среди игроков национальной сборной, всегда находятся такие, кто подобно детям обладает несколько садистскими наклонностями. Бывали случаи, когда на сборах какой-нибудь придурок раскалял над свечкой чайную ложечку, а затем прижимал ее к руке одного из сотоварищей, словно метил тавром скот — как в вестернах! Все жертвы этой идиотской «шутки» орали как резаные. Кроме меня. Вытерпеть!

Моя жена Марле не хотела этому верить.

— Попробуй,— сказал я.— Погаси горящую сигарету об мою руку.

Марле храбро взяла сигарету. Запахло жженными волосами и паленым мясом. Я и бровью не повел, лишь высвободил руку, чтобы подхватить Марле, которой стало плохо.

Я хочу быть как Рокки. Не слабаком. Поддерживать физическое состояние на должном уровне — это непрерывная борьба. Мысль о полноценном отпуске приводит меня чуть ли не в ужас. В затянувшихся перерывах между тренировками мне становится страшно, что у меня разболтаются связки, ослабнут мускулы. Не развалюсь ли я тогда, чего доброго, на запчасти? Вывод: лучше последовательно тренироваться, даже в отпуске. Дважды в день. В паузах позволяю себе расслабиться, занимаюсь детьми, провожу досуг с Марле, встречаюсь и беседую по душам с родителями и друзьями. А в подсознании всегда шебуршится опаска — как бы не разнежиться от сладкого безделья. Марле ужасается: «Слушай! У нас же отпуск! Отдохни хоть раз по-человечески — все три недели!» Я же лишь вяло отбиваюсь: «Золотко! Не получится. Не могу я себе этого позволить в моем-то положении. Вообрази: я так войду во вкус, что потом мне уже не захочется спускать с себя семь шкур...»

Душевные страдания куда хуже, чем разбитые вдрызг руки-ноги. Телесные раны и переломы костей можно увидеть, а душевные травмы — нет. Их чувствуешь где-то там, глубоко внутри, и они могут свести с ума.

После мирового первенства в августе — сентябре 1986 года от меня буквально остались руины. Мириады злых духов обрабатывали мои нервы наждачной бумагой. Навес с фланга, который я прошляпил в финальной игре, и счет 0:1 — по моей вине — сидели во мне занозой. Наконец выкроились две недели, свободные от игр, но никуда уехать я не мог: у детей начались занятия в школе. За три дня «домашнего отпуска» я вдосталь наудивлял Марле — не покладая рук мыл посуду, прибирал, гладил. Ненароком я заглянул на тренировочный стадиончик. Потребность в деятельности. Страх остаться один на один с поражением в Мексике.

Тренер Кесслер постучал по лбу.

— Проваливай отсюда, неврастеник. О тренировке не может быть и речи. Иди, кому сказано, отдохни как следует, побездельничай, псих ненормальный!

Опять тоска зеленая. Сам не свой слонялся я по дому, путался под ногами у Марле. Более 70 матчей за сборную, чемпионаты мира и Европы. После шести лет без отпуска я был в невменяемом состоянии. Просто уже не мог отключиться. Деньги я заработал. Признание тоже. У меня любящая жена, двое здоровых де-

[1] Старший тренер сборной ФРГ.
[2] Менеджер Тони Шумахера.

тей. А я, законченный кретин, боялся, что утрачу работоспособность, расслаблюсь и отупею. Хуже того. Поймал себя на мысли, что мне не хватает моего привычного «больничного отпуска». Это уже не лезло ни в какие ворота.

Куда еще загонит меня страх перед серыми буднями? Марле не представляет, что я когда-нибудь смогу обходиться без любимой «смирительной рубашки» — футбола.

— Все-то ты не так понимаешь,— слабо протестую я.— Моя мечта — жить на крестьянском подворье. Кругом зелень. Тишина. Абсолютный покой. Никаких стрессов. Никаких отрицательных эмоций, никакого «надо», которому я до сих пор подчинялся ради того, чтоб у нас было свое место под солнцем. Да я просто мечтаю о спокойной, безмятежной жизни.

Марле не только красива, но и умна. Мои разглагольствования она встречает смехом. И молчит. Она знает, что я в очередной раз себя обманываю. Необходимость всегда побеждать в условиях футбольного стресса приносит и своеобразное удовольствие. Ты заставляешь трепетать массы. Сам вибрируешь вместе с массами. Успех. Аплодисменты. Острые ощущения, которым не так просто найти замену. Футбол — это всепоглощающая страсть, требующая все большей и большей отдачи.

Потеря зрителей. Финансовые рифы и пугающие цифры задолженностей. Вложенный в земельные участки капитал клуба тает, как весенний снег. Финансовый паралич поразил почти все клубы — за малым исключением. Среди счастливцев — «Бавария» (Мюнхен), где блистательно работает руководство, «Леверкузен» (за которым стоит фирма «Байер»). Доходами от рекламы футболок и от уступок прав на телетрансляцию тоже всех дыр не залатаешь.

Деньги, как говорится, центральный нерв любой войны. В футболе золотой телец — не главенствующий нерв, но все же принадлежность нервного антуража. Желание насытить стервятника банкротства рождает в головах молодых, оптимистично настроенных менеджеров самые рискованные идеи. Особенно хитроумно рассуждает Манфред Оммер, по воле случая президент ФК «Хомбург», а по профессии бухгалтер.

— Почему бы не объявить наших футболистов,— разудало вопрошает сей пострел,— доходными единицами, так сказать, своеобычными объектами капиталовложения?

Очаровательно! Люди в качестве бегающих доходных объектов: то-то славно — капитал носится! Какая честь для игроков бундеслиги! Эта «свеженькая» сенсационная идея воплощается в жизнь с незапамятных времен техасскими воротилами: они вкладывают деньги в четвероногих — в обширные стада крупного рогатого скота, что известно каждому грамотному любителю вестернов.

Быть дойной коровой? Нет!

Профессиональный футбол стал меж тем ареной сугубо меркантильных дел. Чисто деляческий подход все более оттесняет спорт на задний план. Благодаря рекламе деньги стекаются в кассы клубов, а благодаря деньгам клубы добиваются качественного уровня и успехов. Что в свою очередь привлекает к ним внимание спонсоров, стимулирует спрос. Ценностная стоимость двуногих, пинающих мяч рекламных столбов, растет. Примерно так осуществляет бизнес свой круговорот вокруг мяча. Финансируемая промышленностью реклама и спорт до такой степени повязаны друг с другом, что уже больше не способны прожить порознь.

— Между профессиональным спортом и промышленностью такая же связь, как между повешенным и веревкой,— утверждают циники.

«Промышленность» в данном случае — термин весьма туманный. Назовем вещи своими именами: «Адидас» и «Пума». На мировом рынке спорттоваров эти фирмы противостоят друг другу словно сверхдержавы. Как американцы и русские во времена «холодной войны».

«Адидас» и «Пума» делят меж собой львиную долю (80 процентов) этого рынка — четыре миллиарда годового оборота у «Адидаса» и полтора миллиарда у «Пумы», с тенденцией роста у обоих рыночных законодателей. Вне сферы власти этих исполинов не происходит абсолютно ничего. Пора наконец сформулировать это со всей прямотой. Ни в Западной Европе, ни в Африке, ни в Азии ни один командный вид спорта не может развиваться без их участия.

Менеджерам в точности известно, какие астрономические доходы приносит спорт — неудивительно, что «Пума» и «Адидас» ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть. Любыми средствами.

В последние десятилетия «Адидасу» удалось заполучить в свой лагерь самых популярных и лучших игроков профессионального футбола. Ничто, буквально-таки ничто не передоверялось здесь случаю. У «Пумы» нет ни малейшего шанса, даже доли шанса, чтобы взять верх, покуда что-то значит голос таких людей, как Беккенбауэр, Брайтнер и Оверат[1]. И никуда от этого не денешься.

В порядке встречного обязательства «Адидас» бесплатно экипирует как звезд футбола, так и юную поросль клуба. Дорогостоящая привилегия.

«Пума» пытается где только можно переверbовать у «Адидаса» законтрактованных игроков и целые команды, предлагая им колоссальный куш. Разгадка фантастических окладов и сверхдоходов некоторых звезд заключается именно в такого рода предложениях. Марадона получает от «Пумы» ежегодно около миллиона западногерманских марок — у него контракт на пять лет. У Руди Фёллера[2] тоже пятилетний контракт с «Пумой», и зарабатывает он на круг порядка четверти миллиона марок.

Чтобы не потерять нас, «Адидас» старается не отставать. Предлагает аналогичные

[1] Футбольные знаменитости, рекламирующие продукцию «Адидаса».
[2] Нападающий сборной ФРГ.

суммы — Руммениге, Беккенбауэру и мне. С этим все ясно, тут все о'кей. Это конкуренция.

А вообще капиталовложения «Адидаса» и других фирм в западногерманский футбол окупились сторицей. Разве мы не входим — уже десятилетия — в элиту мирового футбола? Реклама посредством сборной страны, в сущности, цены не имеет. И деятели в Герцогенаурахе [1] это знают. Вот уже многие годы они стабильно получают восемь процентов годового прироста, осваивают новые рынки, например в Азии. И этот успех валится к ним отнюдь не с неба.

«Пума» тоже прекрасно понимает, что такие клубы, как «Вердер» (Бремен), «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Фортуна» (Дюссельдорф), внесли свой вклад в успех фирмы: 1,5 миллиарда марок годового оборота, а сбыт ежегодно возрастает на 10 процентов.

Получив первое в жизни отчисление от «Адидаса», я был приятно удивлен.

Для рекламы обуви мое имя не очень-то подходило. То ли дело вратарский свитер, в разработке моделей которого я мог принимать посильное участие. Я регулярно посещаю головное предприятие «Адидаса» и помогаю разрабатывать самоновейшие модели спортивной одежды. При этом я пытаюсь дать тот или иной совет дизайнерам-текстильщикам с позиции «потребителя». Почему бы, скажем, не пустить полосы по диагонали? Размеры, фасон, «удобная» ширина, места с прокладкой, вид материала... Я счастлив, как ребенок, что могу соучаствовать в решении всех этих проблем. Могу что-то сделать, чтобы промышленность учитывала желания и потребности самих спортсменов.

Перчаточная фабрика «Ройш» прислушивается к моим советам с еще большей заинтересованностью. Я видел, как работает вырубной пресс, чувствую себя своим среди рабочих.

Перчатки постоянно совершенствуются. Гебхард Ройш всерьез относится к самым моим смелым идеям.

Особенно запомнилась история, приключившаяся со мной в лондонском двухэтажном автобусе. Я сидел у огромного окна. Стекло покоилось на резиновой основе, без вакуум-присосов, без оправы, при этом оно не ерзало, а держалось как влитое. Это впечатляло. Я отколупнул кусочек резины (знаю, знаю — вандал!) и прихватил с собой для господина Ройша. Тот отдал его химикам на анализ. Результат ошеломляющий: это вещество, обладающее невероятной влагосопротивляемостью, применяется теперь при изготовлении перчаток, носящих мое имя.

Промышленный шпионаж? Пустое! Вратарская реакция.

[1] Городок, где находится штаб-квартира фирмы «Адидас».

Говорят, писать — значит познавать себя. Знаю ли я себя сейчас лучше, чем прежде? Стоило ли обо всем этом трезвонить? Что это даст? Массу неудовольствия, это уж точно. Во всяком случае, мне хотелось предельно честно и откровенно высказать все, что думаю. И быть может, благодаря книге в какой-то степени преодолеть одиночество вратаря, этого престранного одиннадцатого игрока, стоящего в своей клетке.

Футбольная жизнь такова, что вскоре я стану «досрочным» пенсионером. Намного раньше, чем все нормальные люди. В 35 лет. Сумею ли я найти новый смысл в жизни, когда окажусь «перестарком»? «Кризис на середине жизни» — как утверждают некоторые умные психологи. И впрямь чудная ситуация: нет ничего невозможного, но уже далеко не все возможно.

Футбол по сути не что иное, как продолжение наших дворовых игр. Мы, футболисты, помогаем зрителям по выходным возвращаться в детство, рискуя при этом самим остаться большими детьми. Я живу в достатке, удачно женат, у меня идеальные советчики. И тем не менее меня просто жуть берет, когда, трезво глядя на вещи, я понимаю, что, кроме как «ловить мяч», ничего по-настоящему не умею. Что мне там, допустим, известно о компьютерной технике, о литературе, о классической музыке или театре? Чисто инстинктивно, на сугубо эмоциональном уровне я схватываю и то и се. Да только вот *знаю* я, к сожалению, куда как мало... Конечно, я мог бы в любой момент все бросить. Зашвырнуть подальше вратарские перчатки, получить то, что мне набежало. Но при одной этой мысли мне становится не по себе.

Сегодня: вечная погоня за результатом, стремление доставить удовольствие болельщикам, убийственный стресс. Завтра: кладбищенский покой, скука, разведение кроликов? Страх перед пустотой.

Другие до меня совладали с этим раннепенсионным бытием. У меня есть Марле — значит, и мне это удастся. Но мандраж все же остается: почем фунт лиха, если ты уже не на «самом верху»? Верно ли утверждение Арнольда Шварценеггера [1], геркулеса-похвальбишки из Австрии, покорившего Америку:

— Пока ты наверху, можешь класть на всех с прибором. Но как только это кончается, они будут топтать тебя, пинать, сотрут в порошок. Ни одно телесное повреждение не сравнишь с унижением, которое испытывают самые яркие звезды, когда они спускаются с небес на землю. Неудивительно, что многие из них тянутся к алкоголю и наркотикам.

Популярность — палка о двух концах. Не поддержанная очередным успехом, она лишь ненужный балласт.

[1] Многократный чемпион мира по культуризму, ныне популярный киноактер США.

◆

Критика

Д. ЗАТОНСКИЙ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Штрихи к портрету Элиаса Канетти

В 1935 году некоему молодому человеку удалось опубликовать в Вене свой довольно толстый роман. Факт сам по себе упоминания, может быть, и не заслуживает: ведь с тех пор, как Иоганн Гутенберг из Майнца занялся книгопечатанием, это удавалось множеству молодых людей. Имя им — легион. Но нашего молодого человека звали Элиас Канетти, а его роман именовался «Ослепление» [1].

Никакого шума роман не наделал. Канетти был литератором начинающим, публике не известным; его напечатанная в 1932 году в Берлине комедия «Свадьба» осталась и вовсе не замеченной.

Роман был написан до нее, только не находился издатель, готовый пойти на риск ради такого романа. Потом богатый филантроп из Страсбурга согласился, даже не полистав манускрипт, взять на себя все вероятные, с публикацией связанные убытки.

По-своему на риск не пошел и Томас Манн: посланную ему автором рукопись он вернул непрочитанной. Правда, когда роман вышел в свет, откликнулся на него письмом более чем доброжелательным: «Я искренне захвачен богатством этого романа, его бьющей через край фантазией, горьким величием его идеи, его художественным бесстрашием, его грустью и его озорством» [2]. Так написал Томас Манн и присовокупил, что среди книг года более всего заинтересовался этой и еще «Юностью короля Генриха IV» собственного старшего брата.

Уважительно отозвался об «Ослеплении» и Герман Брох. Но он был не только большим художником, не только проницательным мыслителем, в чем-то обогнавшим свое время, но и добрым знакомым, даже старшим другом Канетти. Так что наиболее пожалуй, любопытна рецензия П. фон Хазельберга, помещенная весной 1936 года в газете «Франкфуртер цайтунг». В ней сказано, что автор «Ослепления» в некотором роде пошел дальше Джойса. И сказал это человек, ничем с Канетти не связанный, никакой неловкости перед ним не испытывавший.

Впрочем, к Хазельбергу никто не присоединился, его даже никто не понял. В 1937 году «Ослепление» было переведено в соседней с Австрией Чехословакии — и это, кажется, последнее (или по крайней мере наиболее примечательное), что случилось с романом Канетти до второй мировой войны. В конце 30-х годов он был забыт — прочно, надежно, казалось, навсегда...

В 1946 году вышло его английское издание, в 1947-м — американское. Тогда зашевелились и немцы: как-никак книга написана на их языке. Тот венский тираж, за который в свое время поручился чудакова-

[1] Роман готовится к публикации издательством «Радуга». *(Прим. ред. Далее — примечания автора.)*

[2] Цит. по Annemarie Auer. Nachwort, in: Elias Canetti. Die Blendung, Berlin, 1969. Далее произведения Элиаса Канетти цитируются по этому и следующим изданиям: E. Canetti. Alle vergeudete Verehrung. Aufzeichnungen 1949-1960, München, 1970. E. Canetti. Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937. München-Wien, 1985. E. Canetti. Das Gewissen der Worte. Essays, München-Wien, 1976. E. Canetti. Welt im Kopf, Graz-Wien, 1962, E. Canetti. Dramen, Frankfurt a. M., 1981, E. Canetti. Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931, München-Wien, 1980, E. Canetti. Masse und Macht, Frankfurt a. M., 1980.

тый филантроп из Страсбурга, был ничтожным, и мюнхенское издание 1948 года, в сущности, открывало Канетти заново. Шуму не наделало и оно, в то время как французское издание 1949 года было отмечено высокой международной премией «Prix International»

Особенно высоко Канетти оценивали англичане. Критик Р. Уильямс отнес «Ослепление» к пяти или шести значительнейшим книгам, выходившим в Британии после 1918 года, а профессор Лондонского университета Дж. Айзекс сопоставил его с «Братьями Карамазовыми» и обнаружил в нем черты, присущие всем великим аллегориям мировой литературы [3]. Лишь следующее мюнхенское издание 1963 года имело успех. «Наконец слава все-таки настигла его» [4],— сказал о Канетти западногерманский литературовед М. Дурзак. В самом деле, литературные премии посыпались на писателя как из рога изобилия: премия им. Георга Бюхнера (1972), премия им. Нелли Закс (1975), премия им. Готфрида Келлера (1977). А в 1981 году фортуна и вовсе его приветила: Шведская Академия присудила ему Нобелевскую премию. Это случилось ровно через полвека после того, как роман «Ослепление» был завершен.

Такое случается: читатели до поры до времени не понимают книгу, и нация (иллюстрируя правильность мысли, будто нет героя в своем отечестве) не спешит увенчать последнего лаврами. Но чаще, когда признание приходит, то по-иному, чем пришло оно к Канетти. Признание, известность накапливаются постепенно. Писатель пишет все новые книги, они завоевывают умы и сердца; написанное им прежде начинает рассматриваться сквозь призму написанного потом и осмысляется по-новому или просто одобряется в качестве творения рук уже состоявшейся знаменитости. Во всяком случае, так, как правило, бывает с живыми писателями. Да и с некоторыми мертвыми. Кафку, скончавшегося еще в 1924 году, говорят, открыли заново примерно в те же 40—50-е годы, что и Канетти, ибо лишь тогда вполне доросли до его мироощущения и его поэтики. Это и верно и не верно. Ведь многое из написанного Кафкой продолжало приходить к читателю и после второй мировой войны, что-то в представлении о нем меняя и, главное, представление это обогащая.

С Канетти было по-другому. Он очень мало написал после «Ослепления». И особенно мало в те годы, когда пребывал в безвестности. К тому же большинство из им написанного к литературе художественной прямого отношения не имеет. После упомянутой «Свадьбы» было еще две пьесы: «Комедия тщеславия» (создана в 1933—1934 годах, издана в 1950 году) и «Ограниченные сроком» (создана в 1952 году, поставлена в Оксфорде в 1956-м, издана в Мюнхене в 1964-м). Остальное — заметки, статьи, путевые очерки, эссе. Среди них особо примечательны три книги мемуаров («Спасенный язык», 1977; «Факел в ухе», 1980; «Перемигивание», 1985) и двухтомный труд «Масса и власть» (1960), являющийся в буквальном смысле слова трудом всей жизни Канетти. Так или иначе он работал над ним начиная с 1925 года и лишь в 1948 году завершил собирание колоссального исторического, фольклорного, этнографического материала. Процесс его оформления занял еще добрый десяток лет.

Западногерманский исследователь И. Шикель полагает, что Канетти все-таки не оценен по заслугам: «Того, кто более всего достоин славы, выносят за скобки — философа, автора «Массы и власти» [5]. Канетти оспаривал Зигмунда Фрейда, соперничал с Хосе Ортегой-и-Гассетом, соревновался с Клодом Леви-Строссом, но в своих областях науки они известностью и авторитетом действительно превосходили его. Так что даже «Масса и власть» (как бы высоко ни ставил эту книгу И. Шикель) отнюдь не торила путь роману. Он, подобно барону Мюнхгаузену, сам вытянул себя за косицу. Но без каких бы то ни было усилий со стороны автора: тот, казалось, сидел и ждал, когда роман увенчают лаврами, уверенный, что день наступит, и он до этого дня доживет. Здесь мы сталкиваемся с некоей особостью человеческого и писательского пути Канетти. И сказанным упомянутая особость не ограничивается.

«Дома я чувствую себя тогда, когда наношу карандашом на бумагу немецкие слова, а все вокруг меня говорит по-английски». Эта датированная 1959-м годом запись высвечивает почти курьезную неоднозначность отношений писателя с такими понятиями, как «язык», «отечество», «традиции», «национальная культура», неоднозначность, обусловленную причудами происхождения и биографии.

Он родился 25 июля 1905 года в болгарском городе Рущук (ныне Русе) на Дунае. Его предки были сефардами, то есть евреями, столетия тому назад переселившимися с Пиренейского полуострова на Ближний Восток (по преимуществу в пределы Оттоманской империи) и говорящими на языке ладино, близком к испанскому XV века. В 1911 году семья переехала в Манчестер, где отец занимался коммерцией. Но уже через два года в связи с его ранней трагической смертью мать с тремя сыновьями перебирается в Вену. Английский язык юный Элиас выучил в шестилетнем возрасте, немецкий — в восьмилетнем. Обоими языками он владел в равной мере, но писателем стал немецкоязычным. Сказать со всей определенностью, почему вышло именно так, трудно. И все же поискать объяснений стоит: это поможет лучше понять творчество Канетти.

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: лишь два года, да и то ребенком, Канетти провел в Англии, а потом с 1916 по 1924 год посещал школы в Цюрихе и во Франкфурте-на Майне, с 1924 по 1929 год изучал химию в Венском университете вообще осел в австрийской столице, оставался там и после отъезда матери с братья-

[3] См. J. Isaacs. An Assessement of Twentieth-Century Literature, London, 1951.

[4] "Text+Kritik". Nov. 1973. Hf. 28, Elias Canetti, 2 Aufl. S. 17.

[5] "Text+Kritik". Nov. 1973.

ми в Париж, женился. Только гитлеровский «аншлюс» 1938 года выкурил его с насиженного места. С тех пор он живет в Лондоне. Приехал туда молодым человеком, теперь он — старик.

Владимир Набоков, долгие годы проведший в США, в конце концов стал писать по-английски. А ведь он был не только русским писателем, но и русским человеком. Канетти в Западной Европе — пришелец, английским владеет с детства и в совершенстве, тем не менее, обрекая себя на немалые издательские сложности, упорно продолжает писать по-немецки. Почему?

Тот факт, что для полиглотов-родителей именно немецкий в годы их страстной любви был языком интимного общения, вряд ли может рассматриваться всерьез: сентиментальное воспоминание не способно определить целую человеческую жизнь. Столь же сомнительно, что эту жизнь сумела определить властная мать-германофилка, твердившая, будто Элиас «в духовном смысле ее сын от Стриндберга»: с матерью он дурно ладил; кроме того, германофилка убыла в Париж, а он остался в Вене.

Вена, вероятно, и является разгадкой. Канетти пришел в восторг от литературного Берлина конца 20-х годов, но лучше всего чувствовал себя на Гринцинге. В сущности, он был австрийским писателем. Дело не только в том, что критика установила зависимость его драматургии от влияний со стороны Раймунда, Нестроя, К. Крауса и что действие единственного его романа развертывается в венских квартирах и на венских улицах. Типично австрийским является само отношение Канетти к собственному творчеству, собственной удаче, собственной славе. Как Грильпарцер, как Музиль, как Кафка, как Брох, он писал и не спешил публиковать написанное, проявлял безразличие к минутному успеху и готов был ждать своего часа.

Впрочем, во всем этом можно бы усмотреть случайное совпадение умонастроений, привычек, вкусов, если бы не было чего-то другого, главного. Уже говорилось, что Канетти ощущал себя в Европе пришельцем. Он, конечно, принадлежал к средиземноморской культуре, но как бы глядел на нее с другого, восточного берега. «Я не могу порвать с исламом...— писал он.—Мое освобождение и развитие как человека есть не что иное, как освобождение от моего внутреннего ислама».

Он по капле выдавливал из себя немилосердность мусульманского мира, посреди которого жили его предки, как Чехов по капле выдавливал из себя раба. Но у Чехова в Таганроге, в Москве, в Мелихове — всюду были еще и его русские корни. А у Канетти в Европе корней не было. И в Англии (по крайней мере пока был молодым, начинающимся человеком и писателем) он должен был бы чувствовать себя индивидом без тени — в Англии, где незыблемая чистота традиций возводилась в ранг религии.

Иное дело — Австро-Венгерская монархия. Объединив под скипетром и державой в некотором смысле случайного немецкого князя множество разноликих и разноязыких центрально-, восточно-, южноевропейских народов, она чем-то напоминала если не вавилонское столпотворение, то восточный базар. Коренному венцу полагалась чешская бабушка, мадьярский дедушка, хорватский дядюшка и множество прочих родственников и свойственников из Словении, Польши, Галиции, Германии, а коль повезет, то и из далеких Нидерландов и Испании. Тут и такому пришельцу, как Канетти, мыслимо было ощутить себя «коренным». И он обрел корни. Иными словами, стал австрийским писателем. И им остался. Упомянутый Дж. Айзекс, когда Канетти давно уже жил в Англии, назвал его среди трех наиболее показательных для австрийской литературы имен, поставив рядом с ним лишь Кафку и Броха.

Об австрийском искусстве первой трети нашего столетия Канетти отзывается с раздражением: оно манерно, поверхностно, безвкусно. Он имеет в виду литературную пену, которую Брох окрестил «веселым Апокалипсисом» [6]. Манерное, поверхностное, безвкусное пользовалось популярностью у завсегдатаев салонов и венских кафе. Создавались идолы, среди которых, впрочем, попадались и настоящие поэты — вроде Гуго фон Гофмансталя. Время все расставило по местам, и оказалось, что новое австрийское искусство создавали совсем другие люди. Подобно Музилю и Броху они творили в безвестности и продолжали дело, начатое классиками XIX века — и прежде всего Грильпарцером и Штифтером.

Дело это по преимуществу состояло в выявлении трещин, раскалывавших фундамент дряхлой тысячелетней империи. Габсбургская вотчина была государством почти комичным в своей слепой анахроничности, в непременной своей обреченности. И оттуда было как-то виднее, что весь мир уже стоит на пороге великих катастроф и глобальных перемен. Правда, видели это лишь самые прозорливые.

Канетти относится к ним. В его пьесе «Свадьба» (хоть и написана она в манере Аристофана, великого комедиографа, как-то остерегаешься наречь ее комедией) представлена катастрофа — типично австрийская, но по сути глобальная. Обычный венский доходный дом. В прологе действие переносится из квартиры в квартиру (домовладелицы, школьного учителя, дворника и т. д.), а затем оккупирует жилище советника Зегенрайха, строителя дома, который выдает замуж дочь.

С одной стороны, вещь сработана по правилам античной драмы: единство места (злополучный дом), единство времени (считанные часы, в которые все завершается), единство действия (взрывы своекорыстия и похоти, сливающиеся в тотальное разрушение). А с другой стороны, пьеса Канетти во многом предвосхищает театр абсурда Беккета и Ионеско: характеры предельно гротескны, психологическая мотивация поведения исключена начисто, лицо заменено маской, конкретное, единичное растворено в притчевой символике.

[6] См. Hermann Broch. Hofmannsthal und seine Zeit, Zürich, 1974.

Поскольку за пределами упомянутого доходного дома в «Свадьбе» не существует ничего, он отправляет функции человеческой вселенной. Но социальный аспект при этом не утрачен. Каждый из персонажей силится чем-нибудь *завладеть* или *овладеть*. Кто — домом, поскольку его хозяйка, старуха Гильц, уже дышит на ладан. Кто — «ближним» иного пола: мать невесты совращает жениха, невеста жаждет ласк восьмидесятилетнего старца Бока[7] и т. д. и т. п. Особо прытких вожделеют того и другого. Инстинкт владения, частнособственническая, так сказать, страсть, вызывает разобщение, ведет к взаимной вражде. Люди не слышат друг друга, не видят, не понимают. Связи распались, отношения расторгнуты.

Катастрофа как бы приходит извне. Рушится одна стена, затем — другая. И наконец, всех погребает под своими обломками крыша. Но это лишь метафора внутреннего неблагополучия общественного организма. Только она доведена до крайней, чисто сценической степени наглядности.

Монархии Франца-Иосифа в дни, когда писалась «Свадьба», давно не существовало. Но повсюду лежали оставленные ею морены. И надвигались катастрофы новые: на горизонте уже маячил Гитлер. А через год он завладел Германией, пустил в рейхстаге «красного петуха», разжигал костры из книг. И Канетти ответил на это «Комедией тщеславия».

Интрига, вырастающая из запрета глядеться в зеркало, с некоторых пор занимала его (возможно, не без влияния венского народного театра, ибо зеркало — обманывающее или, напротив, разоблачающее — нередко присутствует и у Раймунда и у Нестроя). «Но когда дело в Германии дошло до сожжения книг,— вспоминает Канетти,— когда мы увидели, какие вдруг стали издаваться и проводиться в жизнь запреты, с каким упорством они использовались для сколачивания восторженных масс, меня точно громом поразило, и шутка с зеркалами обратилась в нечто очень серьезное».

Итак, «Комедия тщеславия» — пьеса антифашистская. Но в несколько ином смысле, чем, например, «Профессор Мамлок» Ф. Вольфа или даже «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта. Отличие не столько в том, что место действия — при всем своем венском колорите — насквозь условно, что ситуации сюрреалистичны, а лица заменены масками. Это есть и у Брехта. Но у Брехта карьера гангстера Уи—притча на тему карьеры Гитлера. А Канетти не то чтобы избегает прямых аналогий, они его просто не прельщают.

Изданный властями запрет пользоваться зеркалами и держать в доме собственные изображения ни на что реальное из жизни складывающегося третьего рейха не намекает. Такая борьба с человеческим тщеславием не более и не менее вписывается в нацистскую практику, чем стихийный бунт, случившийся десятью годами позже и вернувший людей к их зеркалам. Осуществилось это невольными стараниями полубезумного Генриха Фена, который случайно употребил в своей речи нужный демагогический лозунг. Потрясатель основ Фен как раз и смахивает на фюрера. Недаром пьесу завершает ремарка: «На острове в глубине сцены медленно вздымается памятник Генриху Фену». Однако это не делает в глазах автора жизнь без зеркал лучше, чем жизнь с зеркалами. Та и другая — результат несвободы, проявления стадного чувства.

Канетти неинтересны вожди; его занимают обманутые, запуганные, как глина в руках мастера податливые обыватели. Поначалу они послушно, истово, радостно крушат свои зеркала и швыряют в костер семейные фотографии. Но тяга к наживе и тщеславие в этой среде неистребимы. И одни начинают продавать осколки зеркал, а другие — их покупать. Ни угроза тюрьмы, ни даже страх смерти не останавливают жадных и самовлюбленных, хотя доносительство становится нормой. А ревнители запретов прикидывают, не приступить ли к ослеплению девушек, ибо те при встрече заглядывают друг другу в глаза, надеясь различить там свое изображение.

В этой части «Комедия тщеславия» сопоставима с другой пьесой Брехта — «Страхом и отчаянием в третьей империи». Однако сочинение Канетти еще мрачнее, еще безысходнее. И не просто тем, что здесь один вариант фашизма сменяется другим. В «Комедии тщеславия» (как, впрочем, и в «Свадьбе») нет ни одного действующего лица, которое можно было бы назвать положительным. Более того, нет и таких, что способны вызвать хоть тень жалости или сочувствия. Все они если не монстры, то ничтожества.

Наблюдая, как развиваются события в Европе XX века, Канетти бывал склонен к умозаключениям весьма пессимистическим. Вот некоторые из его мизантропических афоризмов: «Может быть, каждый твой вдох — это последний выдох другого». Или: «Шарик, который все время подбрасывают вверх, чтобы позлить небо,— это наша земля».

Но мизантропии Канетти чужд цинизм; не проглядывает сквозь нее и душевная усталость. В речи «Профессия поэта», произнесенной в 1976 году в Мюнхене, он процитировал запись, сделанную неизвестным накануне второй мировой войны: «Если бы я был настоящим поэтом, мне должно было бы удаться предотвратить войну». Канетти отдает себе отчет в наивности этой мысли, тем не менее она его потрясла: «Какая-то иррациональная претензия на ответственность — вот что меня здесь привлекло и подкупило». Ведь и сам Канетти полагает, «что быть поэтом способен лишь тот, кто обладает чувством ответственности... Это ответственность за разрушающуюся жизнь, и не следует стыдиться признания, что такую ответственность питает сострадание».

Без веры в человека и его судьбу это были бы пустые слова. «...Если бы я действительно расстался с надеждой, я не смог бы жить»,— однажды признался молодой Канетти, а Канетти семидесятилетний сформулировал законы, которыми надлежит руководствоваться писателю: «Спускаться к Ничто лишь затем, чтобы найти и всем указывать выход; предаваться грусти и отчаянию, чтобы учиться уберегать от

[7] Der Bock (*нем.*) — козел, сатир.

них других, а не из презрения к счастью, которое подобает живым, хоть они и рвут друг друга на части».

В ноябре 1936 года Канетти выступил на вечере, посвященном пятидесятилетию Германа Броха. Он указал на три признака, которые отличают истинного поэта нашего времени, имея в виду, что все они прежде всего характеризуют Броха. Признак первый: «Поэт оригинален, или он вообще не поэт... Второе качество, которое необходимо сегодня поэту, представляющему эпоху,—это серьезное стремление к обобщению, тяга к универсальности... Третье требование, которое можно бы предъявить поэту, сводится к тому, чтобы он противостоял своему времени». Последняя сентенция способна смутить, поскольку в том же выступлении (лишь несколько ранее) Канетти говорил нечто, казалось бы, целиком противоположное: «Но истинный поэт, каким мы его видим,— добыча своего времени, временем этим закрепощен, ему подчинен, является его последним холопом». И чуть ниже: «...он — пес своего времени». Однако для Канетти противоречия здесь нет. Есть лишь две разные стороны проблемы.

Писатель в том смысле «пес», «последний холоп» времени, что его для себя не выбирает, не волен покинуть его границы, ими пренебречь, обречен его изучать и, по сути, только с ним в творчестве своем считаться. Это, однако, ни в малейшей мере не значит, будто писатель лишен права иметь об эпохе собственное суждение, не смеет принимать или отвергать те или иные стороны окружающей его действительности. В этом смысле он и противостоит своему времени.

Впрочем, в слова о противостоянии Канетти вкладывает и более специфический смысл. Он ждет от писателя, что тот будет «против всего своего времени... против его всеобъемлющего и цельного образа... против его особого запаха, против его облика, против его закона». Было бы излишне поспешным умозаключать из этого, будто Канетти— все-таки модернистский ипохондрик. Он и сам признает, что предъявляет писателю жестокое требование. И продолжает: «Оно столь же жестоко и радикально, как сама смерть. Ибо требование это вытекает из факта смерти. Смерть — первейший и старейший, возникает даже искушение заявить, что она единственный факт».

Все это будто списано у французских экзистенциалистов — у Жан-Поля Сартра или у Альбера Камю. Тем более что на тему о смерти Канетти в 40-е годы писал и такое: «Конец, как его ни приукрашивай, столь бессмыслен, что любая попытка объяснить творение заранее обречена. В том числе и представлением о боге как о забавляющемся ребенке: шутка давно бы ему наскучила» [8].

И все же Канетти вряд ли случайно ни разу не называет Камю по имени, хотя неоднократно с его идеями соприкасается: Канетти не может принять абсурдное в качестве объяснения загадок жизни и смерти.

Да, смерть для него важнейший предмет размышлений, порой еще более важный, чем отношения массы и власти. Но о перспективе собственной неизбежной кончины он всегда говорит спокойно и отрешенно. Следовательно, речь идет как бы не о личном враге; скорее уж об идейном, даже политическом. Во всяком случае, смерть — его враг и враг смертельный. Он ненавидит ее («Твоим единственным оправданием является твоя непоколебимая ненависть к смерти») и гордится тем, что ей «ни разу не п о л ь с т и л». Потому что (как сам он поясняет) «порой мне кажется, что стоит мне признать смерть, и мир обратится в Ничто» [9]

Но как можно ненавидеть неизбежное? Бояться смерти — нормально, а идти на нее крестовым походом — по меньшей мере странно. Такое, как у Канетти, отношение к смерти мыслимо лишь в двух случаях. Если помещать ее внутрь некоей религиозной системы и если придавать ей какое-то внебиологическое значение — философское или даже социальное. Канетти скорее всего атеист: его высказывания о боге иронични, скептичны, подобны приведенному выше. Так что остается одно — заняться значениями внебиологическими, однако и лишенными мистического налета.

В отличие, скажем, от Льва Толстого, философской стороной дела Канетти как будто специально не интересовался. Его исходное неприятие смерти почти спонтанно, это — здоровая реакция жизни на опасность ее насильственного прекращения. Постепенно главным моментом становится именно фактор н а с и л ь с т в е н н о с т и. Канетти отвратительна смерть; оттого он с такой категоричностью отрицает войны — эти фабрики смерти. Вот соответствующий образ в его заметках 1942 года: «Он оторвал мне левое ухо. Я отнял у него правый глаз Он выбил мне четырнадцать зубов. Я зашил ему рот. Он ошпарил мне зад. Я вывернул наизнанку его сердце. Он съел мою печень. Я выпил его кровь: «ВОЙНА». Это не только пародия на ветхозаветный императив «око за око, зуб за зуб», но и вариация на тему полотна Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны» (1936), где рука расчлененного человека отрывает собственную грудь, а почти лишенная мяса нога утвердилась на собственном заду.

Войны XX века неизмеримо убийственнее прежних. Поэтому особой позицией писателя, защитника жизни, сегодня должно стать противостояние своему времени как эпохе массовых смертей. Только так, и никак иначе, можно и должно понимать Канетти. Он знает, что термоядерное оружие угрожает истреблением всему роду людскому, и требует сделать выводы, отсюда вытекающие. Еще в 1957 году, касаясь великих держав, Канетти отметил: «Война между ними становится все более невозможной... Конфликт при всех условиях означал бы полное истребление обеих сторон». А в 1965 году обратил внимание на открывающиеся в связи с этим возможности: «Существование такого оружия впервые в истории человечества подводит к соглашению о необходимости мира».

[8] "Text+Kritik", Nov. 1973, S. 6.

[9] "Text+Kritik", Nov. 1973, S. 24.

Перед нами один из весьма ранних примеров нового мышления XX века.

Мысли о смерти породили третью пьесу Канетти. Иногда у нас ее название переводят как «Обреченные». Но это вряд ли верно — и по форме и по сути. Речь там идет не об обреченных, то есть не о людях, которые вообще знают, что умрут, а именно об ограниченных сроком, то есть о тех, которые знают, когда умрут.

Как в «Свадьбе» и «Комедии тщеславия», место действия пьесы совершенно условно, а время неопределенно. Впрочем, оно относится не к прошлому и не к настоящему, а скорее, к будущему. В прологе двое беседуют о том, как прежде было ужасно, не зная дня своей смерти, ежечасно ожидать ее и непрестанно ее бояться и как замечательно сейчас когда каждый уже из самого своего имени узнает, сколько лет ему определено жить; пока его «мгновение» не наступило, он ничего на свете не боится. Основное же действие «Ограниченных сроком» складывается из множества примеров, свидетельствующих, что страх отнюдь не исчез, лишь видоизменил свои формы и горя у людей ничуть не убавилось.

Если ранние пьесы Канетти еще имели какое-то отношение к комедийному жанру (им по крайней мере не был чужд своеобразный «черный юмор»), то «Ограниченные сроком» — вещь, можно бы сказать, смертельно серьезная, по замыслу поучительная. Она питается уже не аристофановской традицией, а, пожалуй, той, что от французского классицизма вела к французскому же Просвещению. Может быть, поэтому в ней появляется герой-резонер, чем-то напоминающий Альцеста из мольеровского «Мизантропа». Как и у Мольера, он, в сущности, персонаж положительный, что, как мы знаем, необычно для Канетти.

Героя зовут Фюнфциг[10]. Иначе говоря, жить ему определено полвека. Но он не желает с этим примириться. Нет, не с малостью срока, а с тем, что он кем-то или чем-то определен и что люди, несущие непосильный груз этой определенности, глубоко несчастны. И Фюнфциг восстает против сложившейся системы: он продолжает жить после истечения срока, чем разрушает веру в незыблемость системы, а тем самым и в нее самое. Однако облегчение не наступило. На это явственно указывает разговор Фюнфцига с Капселаном (он — нечто среднее между верховным жрецом и главой исполнительной власти): «Фюнфциг: Но чем это все кончится? Капселан: Не будет никакого конца. Все расшаталось. Фюнфциг: Не надо было мне начинать. Капселан: Теперь уже поздно».

Казалось бы, финал как в «Комедии тщеславия»: зло сменяется злом. Но «Комедия тщеславия» касается фашизма, а «Ограниченные сроком» — драма вообще не социальная. Община, управляемая капселаном,— не государство, и смерть в ней не значит ничего иного, кроме смерти. Канетти не уверен, что лучше: знать, когда придет твой конец, или не знать. И эта неуверенность — самое, пожалуй, привлекательное в его наименее сценичной пьесе: ведь она по-своему отражает важные черты его художнического облика — некатегоричность, недогматичность, диалектичность.

Еще будучи гимназистом во Франкфурте, Канетти посещал политические собрания, и ему запомнилось не что там говорилось, а как: «Все старались друг друга переубедить, да так ожесточенно, так настойчиво, так уверенно, будто не существует никакой возможности думать иначе, чем они, хотя тот, к кому они обращались, был столь же непоколебимо убежден в противоположном». С тех пор Канетти всегда опасается, как он это называет, «аристотелизации» собственных мыслей, то есть «классификаций, дефиниций и прочих пустых забав», которые способны отнять у идеи многосторонность, а у точки зрения — подвижность.

Некатегоричность, недогматичность, диалектичность Канетти сформировали идею труда его жизни «Масса и власть»; и они же позволили труд этот завершить. Поставив последнюю точку, он занес в записную книжку: «Теперь я говорю себе, что мне удалось схватить столетие за горло». Быть может, это высказывание слишком красиво, наверное, ему недостает скромности, но в принципе оно верно.

Еще в Древнем Риме правители знали, что требования плебса относительно хлеба и зрелищ следует по возможности удовлетворять; еще средневековая церковь видела для себя нужду в том, чтобы развлекать, отвлекать и распалять толпу пышными театральными церемониями. Словом, между властью и массами спокон веку существовала связь, и, подчиняя себе массы, власть неизменно чувствовала свою от них зависимость. В XX веке связь и зависимость резко возросли. Можно бы даже говорить о некоем качественном скачке. Прежде всего потому, что первая половина нашего века, как известно, эпоха мировых войн и пролетарских революций. Но не только потому. Под прямым и еще более под косвенным воздействием главных движущих сил эпохи на специфическом отношении с массами строили свою власть и силы реакционнейшие — прежде всего итальянский фашизм и немецкий национал-социализм. Гитлер был бы в равной мере немыслим как без рейнских концернов и рейхсвера, так и без восторженной, одурманенной демагогией, послушной каждому жесту вождя толпы.

Канетти исследует именно этот феномен: причуды психологии толпы и мании манипулирующих ею тиранов. Он оперирует видами человеческой массы, всевозможными аспектами, элементами, символами власти, устанавливая механизмы их взаимодействия. Держа в уме по преимуществу фашизм и нацизм, писатель, однако, опирается на примеры из истории восточных деспотий или на архаический быт не столь уж удаленных от нас во времени мелких африканских царств.

Одни критики видели в этом недостаток, другие оправдывали автора «Массы и власти» тем, что с «этнографическим материа-

[10] Funfzig (*нем.*) — пятьдесят.

лом» работал и К. Леви-Стросс. Но Леви-Стросс здесь ни при чем: у него свои задачи, у Канетти — свои.

В связи с опубликованием мемуаров А. Шпеера, который был министром и придворным архитектором Гитлера, Канетти написал в 1971 году статью «Гитлер по Шпееру» [11]. Там идеи «Массы и власти», касающиеся поведения властителя, приложены конкретно к фюреру. И видно, что фюрер, названный по имени лишь на немногих страницах книги, в действительности является одним из главных ее героев. В то же время статья по-своему высвечивает особость подхода Канетти к занимающим его проблемам.

Мемуары Шпеера не случайно его к себе привлекли. Суть даже не в том, что Шпеер хорошо знал Гитлера. Важней, что Шпеер знал Гитлера близко, наблюдал в ситуациях чуть ли не интимных, что ему были известны факты, характеризующие Гитлера не столько как политика, сколько как биопсихический тип властителя. По Шпееру, зодчество и война — главные страсти фюрера; он обуян жаждой разрушения и манией непрерывно побеждать, надеется во всем превзойти диктаторов минувших времен и пережить всех своих новых соперников.

Такой образ Гитлера мыслим в короткой статье (да еще написанной «по Шпееру»), но вряд ли возможен в книге, ибо взят он вне последствий Версальского договора, вне интриг армии и промышленности, вне расовой политики и империалистических претензий, словом, вне истории. Этим объясняется, почему Гитлер почти не фигурирует в «Массе и власти» и почему там по преимуществу фигурируют африканские князьки или султаны ислама: в своем волюнтаристском деспотизме они как бы «очищены» от истории, как бы «освобождены» от следования ее законам. В роли голых тиранов на голой земле они явственно выигрывают с точки зрения своей биопсихической типичности. А взять их в таком качестве было не просто заманчивым, но и, наверное, в чем-то полезным. Но при одном условии: если смотреть на это как на эксперимент, видеть в «очищении» от истории средство, а не цель исследования.

Канетти в принципе не пренебрегает общим в угоду единичному. Напротив. Фрейд тем его и не устраивает, что, исходя из индивидуальной психологии, пытается толковать психологию массы. Оттого «размежевание с Фрейдом,— по собственным его словам,—стало началом работы над книгой...» (то есть «Массой и властью»). Вообще он убежден, что «загадка жизни является социальной загадкой». И, берясь ее разгадывать, Канетти хочет быть объективным, избегать поспешности и односторонности в суждениях. Вот лишь один из множества возможных примеров:

«Попытки выяснить, что есть нации, таили в себе, как правило, одну существенную ошибку. Стремились добыть определение национального вообще... брали язык или территорию, литературу, историю, характер правления, так называемое национальное чувство. И каждый раз исключения оказывались важнее правила. Каждый раз нечто живое норовили ухватить за краешек случайной одежки; оно ускользало, и ты оставался с пустыми руками».

Однако много легче распутывать узелки чужой негибкой мысли, чем замечать негибкость в своей. В статье «Власть и желание пережить другого» (1962) Канетти пишет: «...совершенно ясно, какую цель преследуют в действительности войны: эта цель — убийство, массовое убийство». Высказывание смущает не только категоричностью, совершенно для его автора непривычной; оно неверно и по сути, ибо войны, как известно,— прежде всего продолжение политики иными средствами. Заостряя внимание на извращениях вождизма и на массовой психологии (то есть на вопросах, которые часто недооценивались социальными науками), Канетти в то же время порой перегибает палку.

Думается, известную роль здесь сыграло то, что «Масса и власть» и ей сопутствующие статьи — по жанру нечто стоящее между наукой и искусством, в равной мере оглядывающееся на их не во всем совместимые законы. И дело не просто в стиле, как всегда у Канетти, насыщенном, сжатом, образном. Решая проблемы из области социологии, он попутно создает о б р а з властителя и о б р а з толпы; иными словами, порождает нечто художественное, но за счет средств и доводов науки.

Художественный образ способен оказаться, так сказать шире самого себя; он предназначен к этому собственной природой. Научная точность, научная логика, великолепные в своих пределах, образности, метафорике по большей части противопоказаны. И если образ «война — это убийство» поэтически верен, то мысль «истинные цели войны — это убийство» существенно хромает.

Что не всегда удавалось Канетти в трудах теоретических, получилось в удивительном его романе «Ослепление». Роман вобрал в себя проблематику чуть ли не всех прочих книг писателя, но (что и делает его удивительным) еще до того, как они были написаны.

Обычно художник поднимается к своей вершине. Творчество Канетти с вершины началось — случай чрезвычайно редкий. Правда, нечто подобное случилось и с Михаилом Шолоховым, в возрасте двадцати трех лет выпустившим в свет первую и вторую книги «Тихого Дона». Но в отличие от менявшегося Шолохова Канетти с

[11] Эта статья заинтересовала советских социологов. Под названием «Власть и личность» она была опубликована в № 4 журнала «Социологические исследования» за 1986 г. Переводчик статьи Л. Ионин присовокупил к ней собственную работу «Фашизм — патология истории», в которой, в целом высоко оценив сочинения Канетти, относящиеся к проблемам массы и власти, полемизировал с некоторыми их положениями. Тот же Л. Ионин опирается на Канетти в своей статье «...И воззовет прошедшее (размышления социолога о новом фильме Т. Абуладзе)», напечатанной в № 3 журнала «Социологические исследования» за 1987 г.

годами почти не меняется. Вот что он сказал по этому поводу в 1957 году: «Они разъезжают по свету, возвращаются, снова уезжают, а я пребываю здесь, всегда один и тот же, ничего со мной не случается, и я всегда занят теми же людьми и мыслями».

Мысли отливались в разные формы — драматические, мемуарно-дневниковые, эссеистские. Однако со всей мыслям этим доступной органичностью воплотились они в романе. Не потому ли, что форма эпическая особенно созвучна натуре и таланту Канетти?

В 1929 году у Канетти возник замысел цикла из восьми романов. В центре каждого должен был стоять герой, выделяющийся каким-нибудь маниакальным свойством. Оттого ему и не полагалось имени — лишь кличка, отмечающая свойство. Подражая Бальзаку, Канетти замышлял свою «Человеческую комедию», но поскольку речь шла о человеках маниакальных, назвал ее «Человеческой комедией заблуждений» («Comédie Humaine an Irren»). Некоторое время он работал над всеми романами сразу, ни одному из героев не отдавая предпочтения. Однако к осени 1930 года определенно стал отличать того, который носил кличку Книжный Червь (Büchermensch). Вскоре у Книжного Червя появилось имя: Бранд [12]. Оно указывало (хотя судьба Бранда во многом еще не была определена), что ему надлежит погибнуть в огне во время пожара.

«Что именем своим и своим концом,— вспоминал много позже Канетти,— он обязан дню 15 июля, я тогда еще не сознавал». Канетти имеет в виду 15 июля 1927 года. В тот день в Вене происходили народные волнения, был подожжен и сгорел Дворец юстиции. Хаймито фон Додерер во всех подробностях описал эти события в своем романе «Бесы» (1956) и устами одного из героев назвал их «Каннами австрийской свободы».

Канетти обязан 15 июля не только мотивами огня, пожара, проникшими в его роман. Он сам был в тот день на улице, среди возбужденной толпы, видел, как она формируется, испытал на себе силу массовой психологии. «Из событий, которые мне довелось познать на собственном опыте,— писал он,— эти более всего напоминали революцию. С тех пор я совершенно точно знаю (мне и читать об этом незачем), как все выглядело в день штурма Бастилии». Если идея «Массы и власти» и явилась ему ранее, то сколько-нибудь четкие очертания она обрела после 15 июля. Но тогда же обрел очертания и роман.

Сюжет его, как и всякого очень хорошего романа (по крайней мере, таково мнение Гёте), может быть передан в немногих словах. Это легко сделать хотя бы потому, что в книге действуют всего пять героев и несколько более двух десятков персонажей второго и третьего плана, часть из которых попадает в поле читательского зрения совсем ненадолго. «Ослепление» как бы прикидывается книгой камерной, далекой от актуальных общественных событий, сосредоточенной на индивидуальной человеческой психологии, на ее капризах и абсурдах. Этим не в последнюю очередь объясняется, почему на первых порах она почти не имела успеха: то было время «Семьи Оппенгейм» (1933) Л. Фейхтвангера, где шел прямой расчет с действиями фашизма, а время «Доктора Фаустуса» (1947) Т. Манна, где фашизм осмыслялся в качестве ложной идеологии, еще не наступило.

Пять героев «Ослепления» — это Петер Кин, крупный синолог [13]; его служанка, а затем жена Тереза; отставной полицейский Бенедикт Пфафф, ныне консьерж дома, где Кин проживает; горбатый карлик Фишерле, сутенер и мошенник; наконец, брат Кина — знаменитый парижский психиатр.

После женитьбы жизнь старшего из братьев — книжного червя, отшельника, аскета — превращается в ад. Тереза, движимая жадностью и похотью (совсем как персонажи «Свадьбы»), вымогает у него завещание, отвоевывает одну за другой комнаты квартиры и выбрасывает мужа на улицу. Поскольку чековая книжка случайно остается в кармане героя, в средствах он не стеснен, но с трудом осваивается с новыми для себя условиями венского городского дна. К тому же он попадает в цепкие лапки Фишерле, озабоченного тем, как избавить свою жертву от принадлежащих ей шиллингов. Однако успешно развивавшиеся планы карлика перечеркивает досадная случайность.

У входа в городской ломбард, где Фишерле разворачивает операции против Кина, тот сталкивается с Терезой и Пфаффом. Заделавшись ее любовником, Пфафф уговорил Терезу через ломбард обратить в деньги библиотеку Кина. Скандал завершается в полицейском участке, после чего блудный муж возвращается восвояси (правда, не к страстно ненавидимой супруге, а в швейцарскую Пфаффа).

Между тем, благополучно избежав ареста, Фишерле вызывает телеграммой Георга Кина: потерпев фиаско с синологом, он надеется поживиться за счет парижского психиатра. В судьбе Фишерле, которого вскоре убивает клиент проститутки-жены, приезд Георга Кина уже ничего изменить не может, а для Петера Кина многое меняется: младший брат удаляет Терезу и Пфаффа и возвращает старшего его книгам. Но, оставшись один, главный герой поджигает свою библиотеку и гибнет в пламени.

Рассказать все это — еще не значит дать хоть какое-нибудь представление о романе. Фабула есть нечто вспомогательное, тем более когда речь идет о романе Канетти. Описывая единичный, анекдотический случай, он стремился «схватить столетие за горло», иными словами— докопаться до сути окружающей действительности, проникнуть к ее пружинам, к управляющим ею законам. И он достиг высокой сте-

[12] Der Brand (*нем.*) — пожар.

[13] На выборе профессии главного героя по-своему сказался интерес Канетти к философии буддизма и конфуцианства, интерес, не иссякающий на протяжении всей его жизни.

пени обобщения. Но не за счет типизации обстоятельств, а за счет типизации характеров. При этом сгущение, концентрация признаков, гротескная гиперболизация превратили их из личностей в некие условные «фигуры».

Прочитав роман еще в рукописи, Брох сказал: «Но это уже не настоящие люди. Они становятся чем-то абстрактным. Настоящие люди состоят из многого. Они несут в себе противоречивые импульсы, которые между собою борются. Можно ли представить истинную картину мира, если с этим не считаться? Можно ли до такой степени искажать людей, чтобы их немыслимо было узнать?»

«Это ф и г у р ы,— ответил Канетти.— Люди и фигуры — не одно и то же. Роман как литературный жанр начинался с фигур. Первым романом был «Дон Кихот». Что вы думаете о его главном герое? Не представляется ли он вам достоверным именно потому, что он — крайность?»

Канетти не соревновался с Сервантесом. Он указывал на традиции, которыми живилась собственная его поэтика. В разговоре с Брохом он также назвал Гоголя.

«Однажды мне пришло в голову,— пишет Канетти,— что мир не следует более изображать так, как это делалось в старых романах, потому что мир р а с п а л с я...» Сказанное, однако, вовсе не означает, будто распасться надлежало и самому роману. Заимствуя у Гоголя «свободу фантазии», в учителя по классу композиции Канетти взял себе совсем другого мастера — Стендаля. В свое время Стендаль, прежде чем макнуть перо в чернильницу, перечитывал одну-две страницы из Гражданского кодекса Наполеона: это настраивало на нужный стилистический лад. Канетти же, когда работал над «Ослеплением» перечитывал «Красное и черное», приобщаясь к сухости его слога, к четкости и логичности его построения.

Это не было попыткой наложить скрепы на внутренний хаос: безудержность и дисциплина для Канетти — две стороны одной медали. И то, чем он занимался, сочиняя роман, «было гневной попыткой отрешиться от себя самого причем за счет превращения»

Впрочем, на первый взгляд форма «Ослепления» не выглядит сколько-нибудь экспериментальной, скорее традиционной. Роман делится на три части; части, в свою очередь, на главы — более короткие или более длинные. Каждой (вне зависимости от размеров) присуще единство места, а нередко и действия, почти как в пьесе «Свадьба». Архитектоника романа вообще подчеркнуто сценична, особенно в первой его части.

Не берусь судить, пошел ли Канетти (как утверждал еще в 1936 году П. фон Хазельберг) дальше Джойса. Но в сторону от Джойса, в чьем «Улиссе» (не говоря уже о «Поминках по Финнегану») «мозгового», «ученого» хоть отбавляй, он и правда пошел. При всей своей необозримой книжной эрудиции Канетти — художник более спонтанный, более непосредственный. Он ближе к Кафке, который, по словам своего друга и душеприказчика М. Брода, «мыслил образами и высказывался образами» [14]. Канетти тоже полагал, что «путь к действительности ведет через образы». Но ближе всего он тем не менее к Гоголю, которого назвал «м о и м величайшим русским».

Кто готов удовлетворительно объяснить, почему нос майора Ковалева то обнаруживается в буханке хлеба (и, следовательно, не превышает нормальных размеров), то, облаченный в генеральскую шинель, разъезжает в карете (и, следовательно, величиной своей начинает догонять хозяина)? Вообще, что он такое — этот нос? На что намекает, что абстрактное или осязаемое символизирует? Вряд ли на такие вопросы был бы в состоянии ответить сам Гоголь. Но это почему-то не важно. Важно, что через посредство смещенного гоголевского образа мы проникаем в смещенный мир императорского Петербурга. Мир этот обретает для нас реальность, начинает выдавать нам свои на деле существующие тайны. Тут, однако, требовалось одно условие: смещение мира и смещение образа должны быть качественно равновелики и друг с другом стыковаться. Соблюсти меру, стыковку обеспечивающую, не может ничто, кроме писательского таланта.

Автор «Ослепления» им обладает.

В романе ситуаций невероятных сколько угодно, но фантастических нет. Кроме одной. Изгнанник Кин лишился общения со своими книгами, что для него непереносимо. Потому он обзаводится новой, сравнительно небольшой библиотекой. Но в скитаниях по гостиницам не имеет, где ее хранить. Выход, однако, находится: прежде чем покинуть утром временный приют, герой, обладая абсолютной памятью, «складирует» книги в своей голове, а по вечерам загромождает ими всю комнату. Когда Фишерле становится при Кине кем-то вроде Санчо Пансы, он помогает в загрузке и разгрузке хозяйской головы. Так что здесь мы сталкиваемся с иным нарушением реальности, чем тогда, когда из-за библиотечных полок в квартире Кина выходил Конфуций и вступал с Кином в беседу. То — видение, нечто субъективное, это «объективное», на что указывает присутствие Фишерле.

Что это — шутка, игра? В какой-то мере игра, но не беспричинная, не бесцельная. Как и у Гоголя. Киновское «книгоглотательство» стыкуется с изломом изображаемого мира. И не только там, где с наглядностью примитивистских полотен конкретизируется метафора: м и р в г о л о в е. «Ослепление» — это царство теней, царство маний, царство вымыслов. С веселой дерзостью ставя рядом с вымыслами Терезы или Фишерле свой собственный, автор подчеркивает беззаконность, ненормальность всего в романе происходящего. И одновременно утверждает свое право, свою свободу.

Как уже упоминалось, Канетти представил на обозрение не индивидуализированные характеры, а решительно укрупненные литературные типы — типы людей,

[14] M a x B r o d. Franz Kafka als wegweisende Gestalt. St. Gallen, 1951, S. 36.

живущих и действующих в ослеплении. Хотя образ этот подсказан ему рембрандтовским «Ослеплением Самсона», хотя оба Кина неоднократно размышляют о слепоте и боятся ее, а Петер даже дает зарок умереть, если она будет ему угрожать, писатель разумеется, занят в романе слепотой социальной.

Пятеро героев — ее воплощения. И одновременно — ее варианты. Ибо ни внешне, ни внутренне они нисколько друг на друга не похожи — и потому, что предельно «специализированы» в качестве литературных типов, и потому, что в каждом из них есть нечто свое, живое (может быть, не индивидуальное, но, без сомнения, характерное).

И все же определяющим является то общее, что их объединяет.

Ни один из протагонистов «Ослепления» органически не способен стать на чужую точку зрения и взглянуть на себя как бы со стороны. Оттого мир предстает перед ними до неузнаваемости искаженным. Из жадности, из эгоизма, из чувства самосохранения «фигуры» Канетти лгут — лгут окружающим, лгут себе; и ложь становится их правдой. Они начинают верить ей и жить, с нею сообразуясь: миф весит больше свидетельства собственных глаз.

Кин или Тереза так и существуют — заключенные в свои мифы, как в капсулу, как в броню. И при неизбежном общении они не вступают во взаимоотношения, а непримиримо и болезненно сталкиваются, будто изначально чужие, изначально враждебные, друг друга отрицающие миры.

Воображаемое и действительное, субъективное и объективное, ложь и истина подаются в романе нерасчлененными, катятся единым потоком. Не всегда сразу различишь, где сон, а где явь, случилось ли такое с героем на самом деле или только ему привиделось, придумалось. Порой граница между реальным и ирреальным проходит через одну фразу.

Впрочем, такая нерасчлененность достаточно условна. Ведь существуют самостоятельные миры Кина, Терезы, Фишерле, Пфаффа. Своей взаимной нетерпимостью они не только ставят друг друга под сомнение, но и в некоем философском смысле друг друга «снимают». То, что остается, как после решительного размена фигур на шахматной доске, и есть искомая истина.

Да и сам повествователь не столь уж невидим, как могло бы показаться. Нет, он не сопровождающий нас по кругам ада Данте. Он судья. И тоже необычный: его оружие — насмешка, ирония, сарказм, и одновременно его оружие — это мысль, идея, теория.

«Ослепление» не просто связано с «Массой и властью» воспоминаниями о дне 15 июля 1927 года, когда сгорел Дворец юстиции. Отношения массы с властью — одна из важнейших проблем романа.

Правда, в отличие от научного трактата в романе (как и в «Комедии тщеславия») за кадром оставлена верхушка пирамиды — все эти султаны ислама и африканские князьки. Взгляд Канетти обращен на ее подножие, то есть на «маленьких человеков», в совокупности своей служивших питательной средой для всех фашистских движений, для всех тоталитаристских идеологий.

Именно как масса они изображены в «Ослеплении» только раз, но с той художественной убедительностью, которая многого стоит. Речь идет о памятной сцене у входа в ломбард. Скандал между Терезой и Кином с умеренным участием Пфаффа и Фишерле обрастает (по причине странного вида и поведения действующих лиц) мифотворческими толкованиями одно другого кошмарнее. Толпе зевак мерещатся трупы, кровавые убийства, кража бесценного жемчужного колье. Толпа вдруг начинает ощущать себя единым организмом, обладающим тысячью рук и глоток. Сплачивает ее ненависть, иррационально вспыхнувшая против Фишерле, в данном случае невинного, аки агнец. Но Фишерле — карлик, калека: он уродлив, и уродство выделяет его, противопоставляет толпе.

Уже познав на себе тупую агрессивность Терезы, Петер Кин в речи, которую держит перед книгами собственной библиотеки, призывает их остерегаться людей толпы. Себя он видит неким избранником. Да и нам способен показаться если не избранником, то по крайней мере жертвой. Возникает ощущение, будто имеешь дело с конфликтом между беспомощным интеллектуалом и его беззастенчивым, сильным своей практичностью окружением. Не без лукавства Канетти наделяет главного своего героя обликом Дон Кихота: хоть оба они — «фигуры», Кин, вопреки высокому росту, худобе и лихорадочному упорству, отнюдь не Рыцарь Печального Образа.

В окружении безумных своих фантазий тот все-таки шел в мир, этот — от мира бежит. Библиотека — его бастион; но ради чего он там замкнулся? Книги не столько верные друзья, сколько безгласные и безответные подданные. Он именует себя «библиотекарем», но книг никому не дает. Для него это логично: в его глазах книга — форма консервации, а не распространения знаний. Бесплодны, непродуктивны и его научные занятия: они — способ удовлетворения эгоистической страсти.

В интерпретации критика из ГДР А. Ауэр автор «Ослепления» на примере Петера Кина решал вопрос, «удастся ли остановить и поставить под гуманный контроль мнимую самодостаточность науки и техники, превращающуюся на деле в злоупотребление ими» [15]. Но вряд ли знаменитый синолог интересовал Канетти в первую очередь как ученый. Думается, ему представлялось заманчивым, выделив Петера Кина из толпы, тут же его в толпу вернуть.

Благодаря своим занятиям психиатрией Георг Кин, не в пример старшему брату, знал о существовании «глубочайшей и подлиннейшей движущей силы истории — о стремлении человека раствориться в форме высокой организации животного мира, массе, и там столь надежно затеряться, будто никогда и не существовало никакого отдельного человека». Образован-

[15] A. Auer. Nachwort, in: E. Canetti. Die Blendung, S. 529-530.

ность, знания — заслон против такой добровольной обезличенности, но, увы, не всегда надежный.

Если в своем романе Канетти что-то высказывает устами героя, то этим героем является Георг Кин. Что же до Петера Кина, то он, скорее, задуман как иллюстрация к мыслям младшего брата.

К растворению в массе его, правда, не тянет, но по сути он ей не столь чужд, как воображает. Ничуть не в меньшей мере, чем Тереза, Фишерле, Пфафф, главный герой подвержен маниям, искажающим представления о действительности. Это не те коллективные мифы, что сплачивали толпу, готовую растерзать Фишерле. Но они — мании человека толпы. Толпа способна распасться столь же внезапно, как и слиться в единый организм, однако ее атомы сохраняют свойства уже исчезнувшего целого. В том числе разные заряды, заряды, нацеленные как на пресмыкательство перед сильным, так и на злоупотребление властью.

Тереза тиранит Кина. И она же покорна каждому слову Гроба, продавца из мебельного магазина, а позднее подвластна воле Пфаффа. Пфафф тиранит Терезу, но готов унижаться перед Кином. Даже Фишерле имеет свою рабыню: это карлица Фишерша, в него влюбленная, ему преданная, ради него готовая принять смерть.

Петер Кин включен в такое взаимодействие между массой и властью. И Канетти настойчиво подталкивает нас к выводу, что диктатор — это человек толпы, «массовик», только наделенный властью или ее узурпировавший. И если Пфафф или Тереза предвосхищают исполнителей параноических приказов, то есть тех, кто расстреливал, кто надзирал в лагерях, то старший из Кинов вырастает в финале до размеров самодеятельного диктатора. Его акт самосожжения, его жест разрушения того, что даже ему самому прежде виделось святым, начинает неожиданно ассоциироваться с самоубийственной гонкой термоядерных вооружений.

Канетти, конечно, ничего такого в виду еще не имел. Но он писал «Ослепление» в те годы, когда тоталитарные режимы стали расползаться по планете, и уже накопил некоторый опыт. Помноженный на талант предвидения и талант сочинительства, опыт этот породил произведение сколь необычное, столь и значительное.

Только мир по-настоящему созрел до понимания этой значительности, когда вызрели все те тревоги и страхи, на которых она еще в 30-е годы была замешана.

◆

Возвращаясь к напечатанному

В. ЛАКШИН

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЁРДЕ ЛУКАЧЕ*

1

Учеников Лукача называли «лукачистами». Ни я, ни мои товарищи по Московскому университету 50-х годов к «лукачистам» себя не относили. Но Лукача часто бранили с кафедры, невнятно объясняя его «ошибки», и это подогревало острый сочувственный интерес к странной одинокой фигуре критика и философа-марксиста, вокруг имени которого вечно вскипали споры. Из рук в руки ходила его книга «К истории реализма» в потрепанном черном переплете, вышедшая перед войной, кто-то раздобыл старый номер «Литературного критика» со статьей Лукача «Интеллектуальный облик литературного героя»...

До нас докатывались лишь затухающие отголоски литературных бурь 30-х годов, но и по ним можно было судить о накале той литературной борьбы. Лукача упрекали, что, ценя в литературе по преимуществу способность познания средствами искусства, он ставит литературу «вне классов»; что, поднимая на щит классический реализм Бальзака и Толстого, он, враг буржуазного модернизма, находит и в советской литературе черты декаданса.

Трудно было не заметить, что аргументы противников Лукача, например В. Ермилова, были обычно слабее, чем у его сторонников, а мнимая победа над его взглядами достигалась по преимуществу силовыми приемами — безапелляционным тоном, громыханием голоса. При этом порой с реверансами и оглядкой — будто охота шла на крупного и опасного зверя.

Дёрдь Лукач и впрямь находился в наших литературных спорах несколько в особой позиции уже потому, что философ-марксист, обладавший широкой европейской образованностью, он как бы принадлежал одновременно трем культурам — венгерской, немецкой и русской. В Германии он подолгу жил, учился в Гейдельбергском университете. Существует легенда, что его лекции слушал Томас Манн — и даже кое-что из навеянного Лукачем запечатлено в «Волшебной горе». В СССР Лукач прожил добрый десяток лет — с начала 30-х годов и вплоть до освобождения Венгрии, органично включившись в качестве критика и теоретика в советский литературный процесс. В ту пору многие его труды впервые появлялись по-русски. Ну, а о Венгрии и говорить нечего: здесь он родился, жил, работал, участвовал в революционной борьбе, заслужил признание как выдающийся деятель национальной культуры.

Написанная им на склоне лет статья «Великий Октябрь 1917-го и современная литература», с которой недавно познакомились читатели журнала, хорошо передает взгляды критика и философа не только на литературу, рожденную Октябрем, но и на советское общество, которое автор знал не понаслышке. Здесь на немногих страницах сошлось все то, что так характерно для Дёрдя Лукача: его истовая вера в марксизм, правоту дела Октябрьской революции и резкое неприятие сталинских методов в политической практике и идеологии; его преклонение перед «великим реализмом» прошлого и готовность признать, не впадая в праздничный ажиотаж, успехи новой советской литературы; ирония над «казенным натурализмом, обрамленным так называемой революционной романтикой» и скепсис по отношению к модернистским приемам «монтажа», «смещения времени», «абсурда», которые, как выясняется, хоть и слывут передовыми, отлично могут служить лживоофициозным задачам. Глубина философских познаний автора не препятствует его интересу к практике, заботам текущего дня. А спокойная созерцательность взгляда «со стороны» дополняется ангажированностью участника малых литературных схваток и больших социальных битв XX века.

* В № 6 «ИЛ» за 1988 год была опубликована статья Д. Лукача «Великий Октябрь 1917-го и современная литература».

Читая эту статью, испытываешь смешанное чувство удивления, восхищения, порою несогласия, но над всей этой амальгамой эмоций — стойкое чувство огромного уважения к неравнодушному философу. С очевидностью, какую приносит дистанция времени, понимаешь: неуступчивость, несгибаемость, даже то, что воспринималось как некий марксистский «догматизм» Лукача,— все это родилось в горниле борьбы, как стойкий протест против сталинского «поглощения тактикой принципов», о котором говорится в статье.

Дёрдь Лукач — философ по преимуществу, то есть человек, который не мог не думать каждую минуту своего бодрствования. А думать он привык не о мелком, бытовом, но о главном: о мире, людях, счастье, о путях борьбы, законах жизни. Не место здесь подробнее говорить о собственно научных заслугах Лукача: им высказано немало оригинальных теоретических идей, им создана своя школа в эстетике и философии (его четырехтомный труд «Эстетика» издан в сокращении у нас недавно). Лукача отличал крупный масштаб мысли: он смело сближал эпохи, страны, гениев разных времен и народов — будто парил над историческим пространством Земли.

Хочу лишь еще раз отметить, что он ценил литературу, извлекающую из жизни смысл, а само наслаждение искусством рассматривал скорее как средство более полного постижения жизни. Идейному схематизму он противопоставлял полнокровие социального реализма. Бездумное, чисто интуитивное творчество, так же как формализм в его претенциозных проявлениях, Лукачу претили. Возможно, это сказалось на мере его чуткости к исканиям искусства XX века, и он не всегда бывал прав, оценивая художников-современников, таких как Бертольт Брехт. Но рыцарская верность своему идеалу, отсутствие соблазна неразборчивости, научная и человеческая принципиальность всегда оставались его девизом. Неудивительно, что он получал удары и «слева» и «справа», слыл одновременно «догматиком» и «ревизионистом», оставаясь между тем верен лишь истине, как он ее понимал.

2

Когда в январе 1969 года я впервые оказался в Венгрии, прекрасный человек, поэт и редактор «Кортарша» Иштван Шимон сказал еще по дороге из аэропорта:

— Я хочу показать тебе настоящую Венгрию. Ведь Венгрия — не один Будапешт, как часто думают. Венгрия — это и деревня, мое родное село Бажи, мы поедем туда. Но главное — я хочу, чтобы ты узнал людей, которыми мы, венгры, гордимся. Надо, чтобы ты познакомился с Дюлой Ийешем: это душа народа, его поэтическая совесть. И с Дёрдем Лукачем: это интеллект Венгрии, ее мысль. Я хочу, чтобы ты говорил с обоими.

И он сделал мне этот царский подарок.

К той поре я немного представлял себе Лукача не только с литературной, но, так сказать, с домашней, неофициальной стороны по рассказам его московских друзей, прежде всего Игоря Александровича Саца: они были знакомы со времен Комакадемии и журнала «Литературный критик».

Издали, по книгам, Лукач рисовался мне в ореоле учености, благородным, упрямым в убеждениях, но несколько отвлеченным философом. Порою же просто пленником своих излюбленных идей, суховатым теоретиком, для которого все цветение и бурление жизни замыкалось сферою мысли. Рассказы Саца, наклонного к парадоксам и юмору, сильно расшатали академически строгий образ. Изгибами своей судьбы Лукач опровергал представление о нем как о педанте-философе, запершемся в кабинете среди книг, подобно Диогену в бочке.

С изумлением узнавал я, что в 1918 году недавний гейдельбергский студент стал членом ЦК и наркомом просвещения Венгерской советской республики. Во время ожесточенных боев за республику он, человек сугубо штатский, стал комиссаром дивизии. Солдатам, которыми он командовал, сменив раненого командира, удалось отбить у противника какой-то мост, и об этой военной операции Лукач рассказывал с тем гордым увлечением, с каким никогда не говорил ни об одном из своих ученых трудов...

После победы контрреволюции Лукач бежал от белого террора сначала в Австрию, потом в Германию. В Венгрию возвращался в те годы лишь нелегально, по заданиям Коминтерна. С приходом в 1933 году к власти Гитлера пришлось перейти в подполье и в Германии. С неторопливым юмором Лукач рассказывал, что нашел способ скрываться от полицейских шпиков. Для успеха нужно было иметь лишь деньги в кармане — в остальном можно было рассчитывать на бюргерскую психологию бережливости. Агенты гестапо получали достаточно денег, чтобы преследовать свою жертву на всех видах транспорта — трамвае, автобусе и берлинской подземке. Но стоило Лукачу взять такси — и он отрывался от «хвоста»: даже имея в кармане марки, ни один шпик уже не хотел на это тратиться — он нес сэкономленное своей фрау.

С 1933 года постоянно живя в СССР, Лукач стал членом Союза писателей, работал в Комакадемии, сотрудничал в советских журналах, дружил с Михаилом Лифшицем, Андреем Платоновым, Еленой Усиевич. Игорь Сац был обычно переводчиком и редактором его статей в «Литературном критике» (Лукач писал их по-немецки).

Перед войной в «Литературной газете» и других изданиях бушевала дискуссия «вопрекистов» и «благодаристов», которая со стороны могла казаться публике чем-то вроде схватки свифтовских остроконечников с тупоконечниками. «Вопрекисты» были одновременно «лукачистами». Они находили, что высокое искусство правды, недосягаемым образцом которого был Лев Толстой, чаще создавалось «вопреки», чем «благодаря» мировоззрению художника, или, точнее, его политическим взглядам. Иначе сказать, создание искусства может оказаться шире, глубже своего творца, и если перед нами действительно значительный художник, если он искренен и верен правде, то в силах воссоздать действительность вернее, чем беллетрист, вытягивающийся по

шнурочку «идеи». Тем самым «правильность» темы, замысла теряла большую часть своей цены. И напротив, получало право на жизнь то, что Толстой называл «энергией заблуждения», то есть искание нового, не застрахованное от ошибок, но плодотворное в овладении реальностью.

Впоследствии Томас Манн тонко передал эту особенность критического метода Лукача, похвалив одну его статью о себе: «Этот коммунист, дорожащий «буржуазным наследием» /.../ отзывался обо мне очень умно и лестно, обнаружив необходимую всякому критику способность различать между мнением писателя и его бытием (или рожденной бытием деятельностью) и принимать за чистую монету не первое, а только второе».

Вразрез с рапповской и пострапповской идейной риторикой Лукач утверждал, что талантливые писатели, не обладавшие «выдержанным» марксистским мировоззрением, могли дать социалистической культуре больше, чем посредственные авторы, вооруженные передовым учением до зубов.

Таким образом, этот по видимости умозрительный спор имел вполне практический резон. «Благодаристы» готовы были отлучить художника, если находили, что его воззрения неортодоксальны (в духе сталинской ортодоксии 30-х годов). Считалось, что с плохим «мировоззрением» (а под мировоззрением понимали политические взгляды) нельзя создать значительного искусства. «Вопрекисты» же хотели приобщать талантливых художников к социалистической культуре, несмотря на их видимую «неортодоксальность» или вовсе «сомнительные» убеждения.

Но вернусь к тому, что я знал о Лукаче из рассказов Саца. В самом начале войны Лукач был арестован. Руководство венгерской эмиграции в Москве и сам Георгий Димитров вступились за него перед Сталиным. Лукач провел в следственной тюрьме всего месяца два, и когда вновь оказался на свободе, тревожившиеся за него московские друзья атаковали его вопросами: «Что это было? За что? Как это понять?» Лукач отвечал односложно: «Sehr komisch» («очень смешно».) Ответ, достойный философа, ибо можно представить себе, что он пережил там, где оказался. Както он проронил еще, усмехнувшись, что прочитал следователю на допросах полный курс истории партии («увы, он был плохо подготовлен»), а заодно рассказал об основных этапах деятельности Коминтерна. Словом: «Sehr komisch». Действительно, то, что его, венгерского революционера, дважды приговоренного хортистским военным судом к смертной казни, допрашивали в советской тюрьме, могло казаться с отвлеченной философской точки зрения смешным обстоятельством.

До дней освобождения Венгрии, когда стало возможно вернуться на родину, Лукач работал в Институте философии АН СССР.

Новый неожиданный виток судьбы Дёрдя Лукача связан с событиями 1956 года в Венгрии. Он был на стороне народа, возмущенного провалами в экономике и жестоким режимом Ракоши — Герё, и согласился войти в правительство Имре Надя. Но когда Надь, сыгравший на руку контрреволюции, готов был обратиться за военной помощью к странам Запада, только два министра его правительства проголосовали против выхода из Варшавского договора: министр внутренних дел Янош Кадар и министр просвещения Дёрдь Лукач. Игорь Сац показывал подробные письма Лукача с попыткой объяснить свою позицию, которые он писал ему в те драматические месяцы. После бурной осени 1956 года Лукач с трудом вписывался в новую общественную жизнь страны. Венгерская коммунистическая партия, ветераном которой он был, оказалась распущена, а в ВСРП он не торопился вступать. За ним были сохранены академические звания и привилегии, но тень опалы легла на него. В ту пору редко кто переступал порог его дома, телефон его замолчал.

Впрочем, время многое сгладило и нормализовало. Незадолго до того, как я оказался в Венгрии и с ним познакомился, произошел знаменательный эпизод. В праздничный вечер 7 ноября 1968 года Лукач впервые после долгого перерыва был приглашен на прием в советское посольство. Присутствовавший там Янош Кадар, не видевшийся с Лукачем с 1956 года, уважительно приветствовал его. После первых официальных тостов Кадар удалился с Лукачем из банкетного зала и долго беседовал с ним с глазу на глаз в кулуарах посольства.

Гражданская репутация Дёрдя Лукача была восстановлена, но, чего-то опасаясь, его не торопились печатать и пропагандировать в Венгрии, совсем избегали публиковать и даже упоминать его имя в нашей стране, которой он отдал так много своего труда и сердца.

Я был в числе первых, если не первым советским литератором, навестившим Лукача в его будапештском доме после 1956 года.

3

В сумеречные январские дни в Будапеште стоял морозный туман, смешанный с прибитым к земле дымом, так что машины и в полдень шли с зажженными фарами. Но в то утро он начал редеть, и сквозь разрывы облаков над низким Пештом брызнуло солнце. Мы шли к Лукачу по дунайской набережной втроем — Иштван Шимон, я и журналист Пал Фехер, вызвавшийся быть на этот случай переводчиком.

Дом, в котором жил Лукач, оказался неподалеку от моста Франца Иосифа, ныне моста Свободы, почти напротив заснеженной горы Геллерт, видной наискосок из его окна. Обстановка кабинета Лукача внушала ложную мысль, что хозяин накануне переезда: на полках, на столе, на стульях и просто на полу лежали хаотическими стопами книги и журналы. Многие из них имели закладки, иные были раскрыты.

Я и до той поры знавал огромные домашние библиотеки видных ученых, и не в диковинку мне был понятный лишь хозяину рабочий беспорядок на письменных столах. Но тут наблюдалось нечто особенное: похоже было, что книги учинили в доме дебош. Это было наводнение журналов,

брошюр, книг в переплетах и без, на нескольких языках — они вышли из берегов, соскочили со своих полок, переплеснулись через застекленные дверцы шкафов и разлились по диванам и паркету. Мы с трудом нашли место, где сесть. Сам хозяин, привставший с кресла, чтобы приветствовать нас, казалось, прекрасно ориентировался в этом хаосе, махнув рукой на беспорядок. Когда он снова погрузился в глубокое кожаное кресло за столом, то показался маленьким, щуплым. Но едва начал говорить, приковал к себе внимание.

Отставив в сторону руку с зажженной сигарой, он произнес первую фразу, старательно выговорив ее по-русски, и она меня ошеломила:

— Сейчас моя э к о н о м и к а принесет нам кофе...

В устах старого марксиста это звучало волшебно. Гостеприимная пожилая женщина, жившая в доме на правах экономки и угощавшая нас крепчайшим кофе, и не подозревала о таком речевом эффекте.

Но, почувствовав, что с русским языком, в котором ему давно не приходилось упражняться, его поджидают трудности, Лукач быстро перешел на родной венгерский. Говорил он подробно, долгими периодами, как проповедник: может быть, соскучился по свежим слушателям. Мои венгерские спутники смотрели на Лукача с плохо скрытым восхищением, а Шимон временами оглядывался на меня с торжествующей улыбкой: цени, мол, куда я тебя привел!

Помнится, сначала мы поговорили немного о той величавой статуе Свободы, что виднелась за окном, на другом берегу Дуная. Я уже прежде слышал ее необычную историю. Фашистский диктатор Хорти заказал знаменитому скульптору Штроблю монумент в память сына-летчика, погибшего на восточном фронте, но скульптор затянул работу. В 1944 году, когда советские войска освободили Будапешт, Штробля просили соорудить памятник погибшим нашим воинам — с этой просьбой к нему в мастерскую приходил сам К. Е. Ворошилов. Скульптору жаль было понапрасну сделанной для Хорти работы. Он взял за основу старый проект, недели за две изваял фигуру советского солдата у подножия статуи, а пропеллер на вытянутых руках скорбящей женщины-матери заменил пальмовой ветвью, и вышел памятник, которым гордится весь Будапешт.

— Я не стану осуждать скульптора за неразборчивость. В искусстве есть вечные темы — такова скорбь о погибших. И не иллюстрирует ли этот случай мудрость древних: ars longa, vita brevis,— улыбаясь, подытожил Лукач.

Слушая старательный перевод Пала Фехера, я разглядывал Лукача с понятным любопытством: лицо его обладало своей выразительностью — крупный нос, уши вразлет, чуть вывернутая нижняя губа и спокойный внимательный взгляд из-под прикрытых веками глаз... Толстая сигара между пальцами, пепел сыплется на пиджак, но он не торопится его стряхнуть, занятый ходом разговора.

Расспрашивает о московских друзьях, о Елене Феликсовне Усиевич, Игоре Саце. Я говорю, что Сац, по обыкновению, больше занят редактированием чужих рукописей, чем сочинением своих; впрочем, собирается писать о Луначарском.

— Ну, да, — отзывается Лукач. — Он в «Литературном критике» так умел выправить скверно написанную по-немецки статью, что сам автор потом себе удивлялся... А что касается Луначарского, то неплохо, если бы в Советском Союзе его лучше узнали... У вас ведь нет серьезной критики. Заслуживают, конечно, уважения статьи Владимира Гриба, Александрова, Усиевич...

Я решился возразить, что все это давние воспоминания, имена 30-х годов. А знаком ли Лукач с нашей новейшей литературной жизнью? Ну, хоть с журналом «Новый мир», который я представляю? О «Новом мире» он, конечно, слышал, но согласился, что недостаточно знает новых писателей и критиков. И тут он с одушевлением заговорил о Солженицыне. Для меня это тоже была не посторонняя тема. Прославившийся «Одним днем Ивана Денисовича» и рассказами, напечатанными в «Новом мире», автор оставался еще в те дни членом Союза писателей. Но все яснее становилось, что развязка близка. Недальновидная литературная политика, рассчитанная на «отторжение», непрерывные нападки в печати оскорбляли, озлобляли Солженицына и все дальше уносили его лодку от берегов советской литературной жизни. Но большой талант писателя и сила правды в его начальных, лучших работах были бессомненны, и Лукач говорил о нем с горячей заинтересованностью. Для него, быть может, главное у Солженицына было то, что в самых невыносимых условиях лагеря человек остается человеком и как важен для писателя взгляд с «низовой», демократической точки зрения. Словно предчувствуя будущую эволюцию Солженицына к антисоветизму, Лукач говорил, что большого художника нельзя судить лишь по сумме политических взглядов, что его картина всегда шире узкой позиции.

Лукача интересовали успехи новейшей советской литературы, я называл ему имена Айтматова, Быкова, Федора Абрамова, Залыгина, но, к сожалению, они были ему незнакомы. (Впрочем, Айтматова, как мне говорили, он успел прочесть после нашей встречи и по заслугам оценил.) Он расспрашивал и о новых веяниях в советской философии, экономической науке, социологии. Когда я рассказал ему об успехах конкретных социологических исследований, проводившихся, в частности, в Новосибирске, он выразил по отношению к этому осторожный скептицизм. «Социологические исследования — дело прикладное, — сказал Лукач, — они не заменят общей философской позиции, возможной лишь при творческом развитии марксизма, которому препятствовал Сталин».

Во время нашей беседы он несколько раз взрывался яростными филиппиками против Сталина — в эти минуты он преображался, куда девалось эпическое спокойствие философа! Впрочем, он заявил, что не любит, когда в истории возникает «фигура умолчания», исчезают неугодные нам фигуры: перестают упоминаться то Троцкий, то Ракоши, то Сталин, то Хру-

щев, вместо того чтобы трезво и по заслугам анализировать деятельность каждого.

Лукач напомнил, что, хотя он сам многое критиковал у нас в стране, совсем недавно резко высказался против антисоветских кампаний на Западе.

— Я думаю, что без Советского Союза невозможно дальнейшее движение, обновление социализма,—сказал Лукач,— как невозможно и живое развитие марксизма.

Заговорили о том, что Запад порой оказывает дурную услугу советским писателям, когда выхватывает некоторые острые, правдивые книги, делая их предметом политической сенсации.

— О, это я по себе знаю! — воскликнул Лукач.— Но ведь, кажется, у вас в стране до сих пор считают меня ревизионистом...

Затянувшись табачным дымом, он сделал глубокую паузу. Отставил руку с сигарой в сторону, над нею вилась тонкая голубая струйка, и сказал задумчиво и серьезно, даже сурово:

— Маркс умер в 1883 году, за два года до того, как родился ваш собеседник. При всей его гениальности он, к сожалению, не успел сообщить нам все, что касается нашей жизни в 1969 году. Нам приходится думать самим, хотя многие от этого отвыкли. Но если за каждую попытку самостоятельной мысли вас будут называть ревизионистом, прогресса в великом социальном учении не будет... Маркс не должен отвечать за наши глупости. Давайте вместе работать над теорией марксизма в современном мире — и тогда социализм на земном шаре победит непременно, и не только в экономическом и политическом, но и в духовном отношении. Считают, что это может произойти лет через 50 или 100, но если мы будем хорошо работать и не мешать друг другу думать, глядишь, это случится чуть раньше, лет этак через сорок...

Он сам улыбнулся своему пророчеству и замолчал, уйдя глубже в кресло. «Экономика» уносила пустые кофейные чашечки с гущей на донце.

Возвращаясь от Лукача и перебирая свои впечатления, я должен был признаться себе, что ничего неожиданного, ничего такого, за чем идешь к великому мудрецу, я от него как бы и не услыхал. Но отчего же тогда встреча с ним производила сильное и ободряющее действие на душу?

Я увидел человека, живущего в свои 83 года желанием понять мир, жизнь в ее целом, чтобы ее перестроить. Но это был к тому же мыслитель, сквозь полстолетия пронесший верность себе и своим убеждениям. Пусть в его «твердокаменности» находили и некую ограниченность, узость вкуса, не приемлющего философский и художественный модернизм, но он стоял как скала, одинаковая в любую погоду — палимая солнечными лучами и выветриваемая на юру, временами заносимая снегом, иссеченная дождями и градом, покрытая мхами и лишайником, но гордая своей неизменностью. Многое менялось вокруг — он не менялся. Время обтекало его, делало старомодным, почти смешным, а потом вдруг снова, словно спохватившись, не потеряло ли что-то из неоспоримых ценностей по дороге, снова поворачивалось к нему. И то, что казалось ошибкой, напрасным упрямством, негибкостью взгляда или вкуса, обретало вид соблазнительной новинки, давно искомой где-то поодаль, а оказавшейся вблизи.

Дёрдь Лукач предстал предо мною могиканином живого марксизма, последнее слово которого — он в это свято верил — далеко не сказано.

О романе Гюнтера де Бройна «Новое благоденствие» [1]

ИРИНА РАКША

КРАСОТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАМЫСЛА

Главный герой романа Гюнтера де Бройна «Новое благоденствие» Виктор Кёслинг однажды снежной зимой приезжает в дом отдыха под названием «Новое благоденствие» для работы над диссертацией. Обитатели этого уютного дома радушно принимают его в свою большую семью. И вот уже довольно скоро это знакомство порождает в его душе теплоту и привязанность, жалость и увлечение. Даже любовь.

Диссертация не пишется, поскольку налицо и увлечение юной Тильдочкой, и попытка поддержать надежды и игру в любовь стареющей фрау Эрики, и попытка облегчить старость фрау Титы, бабушки Тильды.

А вот и другие герои де Бройна. Отец Виктора, человек преуспевающий, занимающий где-то высокий пост — в сущности бездарен и ничтожен; его первая жена, молодящаяся мать Виктора; «держатели» пансионата Макс и Ольга, их тоже непрочные семейные отношения при всей беспредельной привязанности Макса (отнюдь не молодого отца) к первой и единственной, поздней дочке Пюппи... В общем, сюжет, да и герои, как можно судить, в том или ином виде в литературе уже встречавшиеся. Но не будем спешить. Мне думается, главное тут сокрыто глубже.

К каким же открытиям стремился автор? Каковы были его задачи? Что утверждал Гюнтер де Бройн, что отрицал? Для чего делал этот подробный срез, эту препарацию определенного слоя современной ему жизни?

Читая главу за главой и, честно сказать, не сразу преодолевая размеренный и порою нарочито вялый текст, не сразу входя в быт и настроения героев, постепенно начинаешь понимать, что у автора были серьезные цели, глубокий замысел и многочисленные задачи. Может быть, даже — сверхзадачи, решаемые в том числе и посредством формы, и посредством стиля повествования, воссоздание которого на русском языке представляло, думается, немалый труд для прекрасного переводчика Евгении Александровны Кацевой.

Но в чем же, собственно, это главное? Ведь внутренние конфликты (противоречия и непонимание между героями) искусственно гасятся. Смягчены краски, приглушены звуки. И острота проблем буквально тонет в мягком снегу, порошащем на крыши «Нового благоденствия», в снегу, засыпающем всю округу. Автор словно умышленно распыляет читательское внимание на незначительные эпизоды, слишком равномерно распределяет их по живописному полотну. Не позволяет читателю выделить главное, подчеркнуть его, вычленить. Эта равномерность почти совсем исключает акценты. Будто бы кто-то спрашивает: а к чему они? Повсюду благолепие, новое благоденствие...

Однако постепенно нарастает тревожный вопрос: а благоденствие ли это? Во всем — вялость, полумеры, все ничтожно. Но это все тоже получает завидное место под солнцем. Как видите, это уже острый социальный ракурс. И от главы к главе читателя начинают тревожить и метафоричность повествования, и гротесковые названия глав. Например, «О всемогуществе желаний», «Гармония душ», «Работа и любовь с диалектической точки зрения». Какое всемогущество и каких желаний? Гармония ли это и каких душ? И воистину ли тут работа и любовь?

В ответах на эти вопросы и скрыта суть проблемы, а также и суть творческого ее воплощения. Можно сказать, «метод де Бройна». И вот уже приходишь к выводу: опытный прозаик де Бройн сознательно не

[1] Опубликован в «ИЛ», 1988, № 1. Перевод с немецкого Е. Кацевой.

выбирает острых ситуаций, не ищет напряженных моментов. На фоне вяло текущих зимних дней дома отдыха, иронично названного «Новым благоденствием», на фоне этих будней становится особенно очевидна несостоятельность и даже ничтожность иных героев повествования, их беспомощность. Если угодно, духовная нищета и бесплодие. Невозможность предпринять что-либо или найти в себе силы вырваться из этого липкого «благоденствия», из состояния постоянной дисгармонии и фальши.

Возможно, при ином художественном решении обострение конфликта могло бы обострить в романе и противоречия, как внутренние, так и внешние. Но де Бройн избегает этого, подчеркивая, что в жизни значительно больше обыденности, нежели экстремальных моментов. Он как бы говорит, что в повседневности, в которой живут на земле люди, подобные его героям, все более чем нудно. И одновременно с этим автор подводит к мысли: имя им, этим антигероям,— обыватель. И почти беспристрастно, порой даже слишком беспристрастно, воссоздает эту трясину бытия, эту на первый взгляд асоциальную жизнь.

Явление вскрыто. В этом и есть, на мой взгляд, удача и сила писателя. О, ведь «обыватель» — это уже остросоциальное явление, опасность которого все нарастает в наши дни. Тем более что де Бройн препарирует не просто образ обывателя. Перед нами предстает преуспевающий фарисей во многих ликах и ипостасях (как мужских, так и женских). Речь в конечном счете идет о распаде человеческой личности.

Как видим, задача, поставленная автором, необычайно остра, современна, как принято говорить, актуальна. И на мой взгляд, требует активной авторской позиции. Вернее даже — выявления авторской позиции, авторской страсти, авторского отношения к своим героям.

Может быть, писатель полагал, что сама форма подачи материала, форма саркастически-условная, как бы непроизвольно должна подчеркивать суть содержания и замысел, заключенный в нем. То есть автор в определенную форму как бы влил содержание вместе с идеей и надеялся, что они станут едины и гармоничны. По известной классической формуле. Вот и получилось одно в другом (последовательно и внутрь), как матрешка; форма, содержание, идея. Однако у формы оказалась такая плотная толща, что зародыш идеи проклевывается с неким трудом. Читатель, мне кажется, не ощущает сопричастия. Он не сопереживает, не проживает задуманного автором. Временами ему, как и герою повествования, может стать даже скучно.

При чтении романа у меня, например, возникал закономерный вопрос: если автор нарочито выбрал такую однообразную, такую «вязкую» форму повествования, пусть даже наполненного сарказмом, порою и юмором, то каким представлял он себе читательское восприятие и самого читателя? Как читатель, находящийся сегодня в потоке повседневной хлопотливой и трудной жизни, должен был сопережить и прочувствовать его замысел? Как загореться им? Как стать активным его соавтором?

Есть у Чехова рассказ «Спать хочется». Небольшой рассказ. В нем несчастная, измученная девчонка-нянька, качая орущего хозяйского младенца, поминутно засыпает. И так, промучившись всю ночь, наконец не выдерживает и душит его, чтобы поспать. Однако, читая чеховский рассказ строка за строкой, читатель не испытывает желания заснуть вместе с героиней. Читательский интерес не гасится в такт колыбельной. Напротив, весь строй рассказа и форма его столь остры, что заставляют читателя быть напряженным, соучаствовать, активно переживать. Любить, ненавидеть. Быть пристрастным соавтором происходящего. Ибо читательское СОАВТОРСТВО и есть успех автора, и есть достижение цели.

Повторяю: де Бройн — прекрасный, опытный мастер слова. Характеры в его повествовании безусловно сложились, сформировались достаточно определенно, целенаправленно. Они живут, действуют по своим рисункам, по своим законам. Автор легко и естественно раскрывает их глубину, добивается психологической точности. Умышленно выявляет и подчеркивает типичность и даже некоторую банальность образов и ситуаций.

Виктор, главный герой,— человек словно без позвоночника, без стержня. Он не знает, чего он, в сущности, хочет, чего добивается, что ему в жизни нужно. Не пишется диссертация (он даже забыл ее первоначальное название), не развивается, не перерастает в истинное, глубокое чувство любовь к женщине, нет ясного, конкретного отношения к окружающим людям, к явлениям и вообще — к миру. К миру, который существует как будто где-то вовне, далеко. А вернее — сам мирок этого «Нового благоденствия» словно витает где-то, как чуждая, запорошенная легким снежком планета. Практически Виктор безразличен к судьбам живущих с ним рядом. Он апатичен, инертен. Его попытки выйти из этого состояния — любовь, заботы об умирающей Тите — слишком слабы, неопределенны. Они не могут ни к чему привести, дать хоть какой-нибудь выход, результат. Хочется думать — и имя главного героя выбрано автором не случайно. «Победитель»— это словно обманчивый курьез. В нем — сама неосуществленность, несостоятельность.

Да и прочие герои романа бездеятельны, равнодушны. Их страсти бескровны. Все это лишь суррогаты чувств. Жизнь, ограниченная стенами «Нового благоденствия», узким кругом привычных и надоевших лиц,— убога. Однообразие, которое не в силах разрушить не только приезд Виктора, но даже любовь, даже смерть — неистребимо. Вся атмосфера дома, суть его, дух заразны и ядовиты. Все это воссоздано в романе точно и верно.

Однако не случайно я вспомнила чеховскую новеллу. Тяжеловесность описаний, длинноты, отсутствие видимого авторского отношения, взгляд как бы со стороны на поток жизни — весь этот арсенал средств, призванный, казалось бы, работать на идею, на писательский замысел, с моей точки зрения, по существу подрывает его. Во всяком случае значительно ослабляет.

Есть в искусстве и литературе понятие —

«поток жизни». Оно пришло к нам в 50-е годы и началось с кинематографа. Сперва с документального, потом — и игрового. Пришло и в литературу (впрочем, элементы этого понятия, называемого сегодня «потоком жизни», имели место и в более давние времена и эпохи).

Ставилась камера, запускали мотор, и снималось все, что происходило вокруг — на улице ли, в интерьере ли. Порою камера скрытая. Так сказать, представала жизнь без прикрас. Как она есть. И смешное, и грустное, и трагическое. Этот метод увлек тогда, захватил многих мастеров. Да ведь и был он очень заманчив. Был как протест против жестких рамок классических построений произведения. Дегероизация, десюжетизация. Нет ничего насильственного, ничего искусственного. Авторы вырвались из прежних привычных рамок на вольный простор жизненных волн.

И пошли одно за другим гулять по экранам и страницам книг произведения свободного, раскованного, манящего стиля. И хотя на этом поприще были в искусстве несомненные удачи, постепенно, с годами «бум» этот схлынул, страсти поостыли... Но почему же, в чем дело?.. А в том, что есть здесь одно, казалось бы, малое претковение.

С написанным или снятым на пленку «потоком» надо ведь было как-то справляться, как-то опять-таки организовывать его — ведь поток жизни не может быть адекватен потоку искусства. «Поток жизни», превращаясь в произведение искусства, должен становиться уже как бы потоком жизни. И вот степень и талантливость этого «как бы» и определяет успех произведения, меру его удачи. Художник Кипренский однажды сказал, что если правдиво отобразить саму жизнь посредством искусства, то там уже обязательно будут заложены и мысль и идея. Но заметьте — «правдиво, посредством искусства». А это и есть — создать «как бы». Это и предполагает большую или меньшую степень авторского вмешательства, внесение активной авторской позиции. Искусство не может быть рождено без искусства. Так получается лишь искусственность.

Повторяю: Гюнтер де Бройн — опытный мастер, достигший во многих своих произведениях немалого совершенства. В предисловии к «Новому благоденствию», видимо, не случайно он сказал: «На пути от головы к бумаге продуманное обретает четкость, *но (замысел ведь всегда лучше осуществления) блекнет красота*» (курс. И. Р.).

Хотя предыдущие творческие высоты писателя опровергают эту его мысль, в нынешнем романе автор словно сам почувствовал, что выбранная форма повествования отчасти затуманила красоту первоначального замысла.

Во всяком случае, на мой взгляд, она не смогла проявиться в полной и желаемой мере.

А ведь так тревожна, так глубока основная мысль писателя о потерянном поколении современников, живущих в духовном вакууме, который они не в силах чем-то заполнить, о несостоятельности бездуховного существования, изолированного от забот мира, в котором не прекращаются катаклизмы: боли, беды и возрождения.

П. ТОПЕР

ОПЫТ ПЕРВОГО ПРОЧТЕНИЯ РОМАНА

Гюнтер де Бройн — писатель иронический. Живописуя своего современника, он уподобил его ослу из средневековой нравоучительной притчи, который сдох от голода, не сумев сделать выбор между двумя охапками сена. Герой «Буриданова осла», хотя и не умирает физически, но так долго и суетливо колеблется между двумя женщинами, с каждой из которых он мог бы соединить свою судьбу, что безнадежно гибнет и в их глазах, и в глазах читателей.

Героя «Присуждения премии», тоже современника, Гюнтер де Бройн заставляет выступать на торжественном собрании в двух разных ботинках, одном парадном (для официальных мероприятий), другом — будничном (для неофициальной жизни), которые он перепутал, будучи в смятении перед необходимостью публично произносить панегирик человеку, которого не любит, и хвалить написанную тем книгу, которую не считает достойной похвалы. Причем столь явный, «овеществленный» знак нерешительности и раздвоенности говорит в этом случае не о нравственной несостоятельности, как в «Буриданове осле», а о неумении идти на компромиссы даже и при желании.

Герой «Нового благоденствия» тоже нерешителен, так сказать, «исходно», в силу своего характера: он даже именуется на страницах романа «Гамлетом, принцем датским». Но в отличие от библиотекаря Карла Эрпа, героя «Буриданова осла», и профессора Тео Овербека, героя «Присуждения премии», он привык извлекать из нерешительности выгоду и с ее помощью добиваться своего. Отсюда и его иронически звучащее имя — Виктор, то есть «победитель».

Очень заманчиво рассматривать эти книги, посвященные современной жизни ГДР, с их по-разному нерешительными героями, вместе, как своего рода трилогию [1]. О едином замысле, правда, Гюнтер де Бройн, кажется, никогда не говорил, однако в беседе, опубликованной в 1983 году (он объявил в ней о том, что начал работать над романом под названием «Новое благоденствие»), сказал буквально следующее: «В последнее время мне порой кажется, будто я снова и снова пишу на одну и ту же тему. Но прошу вас, не требуйте от ме-

[1] Все три книги были опубликованы в журнале «Иностранная литература»: «Буриданов осел» (1968) — в 1969 году, «Присуждение премии» (1971) — в 1973 году; «Новое благоденствие» (1985) — в 1988 году; на страницах журнала «Иностранная литература» в 1982 году печаталась повесть Г. де Бройна «Бранденбургские изыскания» (1978), действие которой происходит в тех же местах, что и действие «Нового благоденствия».

ня, чтобы я сформулировал вам эту тему. Это я хотел бы предоставить критикам» [2].

Но кроме близости тематической бросается в глаза и близость в творческой манере — иронически-дотошной, скрупулезной, философско-раздумчивой.

На все вопросы о своих творческих пристрастиях Гюнтер де Бройн неизменно отвечает: реализм. В реализме он ценит прежде всего «точность и конкретность», называет их «всеобщими критериями реализма». Конечно, это очень определенное, свое, отнюдь не «всеобщее» понимание реализма. Де Бройна-художника, например, не увлекают ни глобальность проблем, ни вселенский масштаб сюжетов; все его книги по-своему камерны. Эпический, «толстовский» размах ему не присущ, и его романы, как говорит сам де Бройн, следовало бы, в сущности, называть «повестями». Он писатель интеллектуальный и признается, что за каждой его книгой стоит литературный «первотолчок». Его статьи (как и статьи критиков о его книгах) полны писательскими именами и литературными сопоставлениями. Говоря о своих учителях в немецкой классической традиции, он чаще других упоминает Теодора Фонтане, имея в виду, прежде всего, «позднего» Фонтане, автора «Эффи Брист», «Шаха фон Вутенов», «Путей-перепутьев». Жан-Полю Рихтеру он посвятил целую книгу. Он постоянно подчеркивает роль иронии в искусстве, но не связывает ее с романтическим мироощущением, а видит в ней «реалистический принцип»: «благодаря дистанции, которую она создает, она делает возможным наблюдение, даже противоречие» [3].

Не трудно увидеть, что ирония в понимании Гюнтера де Бройна — это средство аналитичности в самом непосредственном выражении, путь к познанию в искусстве человека и общества. Каждая деталь повествования существует в его «камерном» микрокосмосе не сама по себе, а в бесчисленных связях и опосредованиях, подлежащих «наблюдению», каждый поступок, жест, душевный порыв его героев не случайны, за ними стоят закономерности, личные и общие судьбы. Повествовательную манеру Гюнтера де Бройна можно сравнить с замедленной съемкой в кино: читателю предлагается внимательно рассмотреть каждую деталь, причем с разных сторон и разных точек зрения, в разных ракурсах (де Бройн никогда не поддавался соблазну переносить в искусство убыстренный темп современной жизни). Сам автор при этом постоянно присутствует «в кадре», словно своего рода кукольник, открыто управляющий марионетками. Мы видим людей и события, они показаны нам, и в то же время слышим «очуждающий» (в брехтовском смысле) авторский голос, который рассказывает нам о них, да еще рассуждает при этом вслух, словно сам не всегда твердо знает что к чему.

Так совершается в «камерных» книгах де Бройна переход от конкретной повседневности к стоящей за ней всеобщности, от быта к бытию, ибо — это повторил он совсем недавно в статье «Писатель как открыватель» — «литература живет открытием действительности, без нее она умирает, она больше действительности, но без нее она ничто». Однако литература «открывает» не только классы или трудовой мир водителя такси, но и «дух времени, настроение времени, проблему эпохи, взгляд на мир, страх перед жизнью, или пафос прорыва, или тоску гибели, стремление, тягу к лучшему» [4].

Ирония, как художественный «прием», восходит в книгах де Бройна, конечно, ко временам немецких романтиков (которые очень популярны сегодня в ГДР), но скорее не непосредственно, а через писателей-реалистов современности, прежде всего Томаса Манна, «Волшебную гору» которого он неизменно называет первой среди своих самых любимых книг. Два великих немецких писателя XX века, так не похожие друг на друга, почти антагонисты — Брехт и Томас Манн,— оказываются в равной мере учителями иронического, ехидного аналитика Гюнтера де Бройна.

Заметим при этом, что о литературе ГДР де Бройн говорит как о единственной из всех современных немецкоязычных литератур, на протяжении долгого времени сохранившей «реалистические традиции» [5], имея в виду ее конкретный социальный характер. Личная судьба предстает под его пером всегда как судьба социальная. О любви, которая занимает так много места в его книгах («Новое благоденствие» он тоже считает «любовной историей»), де Бройн, например, не боясь обвинений в вульгаризации, пишет так: «Счастливый брак в наше время — это союз двух активных членов общества, которые ежедневно приносят в дом все радости и бури общественного бытия, которые живут, так сказать, под общественным небом» [6].

Карл Эрп из «Буриданова осла» оказался несостоятельным, конечно, не просто потому, что никак не мог решить, какая из двух женщин ему милее, а потому, что этот «личный» выбор влек за собой бесчисленные другие «выборы», которые обнимали все стороны его отношения с обществом и мужеством для которых он, образцовый, казалось бы, гражданин социалистического государства, не обладал.

Точно так же смятение Тео Овербека было порождено не просто тем, то он не знал, хвалить или не хвалить книгу своего бывшего друга, а сложным переплетением и личных и общественных обстоятельств, давно преследующих его, ибо оценка книги оказалась самым непосредственным образом связана с оценкой жизни республики двадцатилетней давности, в которой он сегодня видит так много устаревшего и неправильного.

И история Виктора, чуть было не влюбившегося в Тильду, горничную в доме отдыха под странным названием «Новое благоденствие», тянет за собой множество исторических, социальных, политических проблем, оказывается включенной в широкую картину общественной жизни.

[2] Karin Hirdina. Günter de Bruyn. Leben und Werk, Berlin, 1983, S. 18.

[3] Karin Hirdina, S. 18.

[4] Günter de Bruyn. Schriftsteller als Entdecker ("Neue deutsche Literatur", 1987, N 11, S. 67).

[5] Karin Hirdina, S. 25.

[6] «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 12.

В рецензиях на «Новое благоденствие» вспоминался и Т. Фонтане, и Т. Манн. Собственно говоря, занесенный снежными буранами, расположенный в «бранденбургской глуши» («глушь» находится в сотне километров от Берлина) дом отдыха представляет собой ироническое повторение горного санатория в «Волшебной горе», куда герой Томаса Манна, Ханс Касторп, приезжает ненадолго, а остается на семь лет, отрезанный от всего света, оторванный от привычных, устойчивых связей, поскольку и у него обнаружилось «влажное пятнышко» в легких, признак болезни. Сходство на этом, в сущности, кончается, ибо приехавший на три месяца Виктор благополучно уезжает уже через несколько дней. Но вот вопрос: что мешает ему сосредоточиться на диссертации, ради которой он сюда приехал (или, точнее, ради которой мама послала его сюда)? Только ли собственная лень, избалованность, уверенность в своем будущем? Нет, конечно, он встретил здесь, вопреки предположениям матери, жизнь — обыденную, повседневную жизнь, которую так мало знал; семья, «состоящая из обломков нескольких семей», в которую он попал, не претендует на то, чтобы быть копией большого мира, но все же ее существование — это неупорядоченная, неоднозначная, пестро текущая действительность, не укладывающаяся в заранее придуманные схемы, среди которых он, привилегированный сын всемогущего отца, вырос и процветал. Какие-то струны отозвались в его душе. «Выдрессированный на любви к порядку, он не может признаться, что испытывает чувство свободы, когда порядок нарушается».

Слово «порядок» не раз встречается в романе. Воплощение порядка — Пруссия; диссертация, которую никак не может написать Виктор,— о прусской политике; на прусской (бранденбургской) земле стоит и сам дом отдыха; да и это здание, как сообщает нам автор, было выстроено сыном разбогатевшего трактирщика в 1895 году, то есть в разгар грюндерского ажиотажа, который во времена Вильгельма Второго начинался под лозунгом «нового курса». Слово «благоденствие» (собственно, «процветание», «слава» — «Herrlichkeit») было тогда у всех на устах, стало чуть ли не поговоркой. Молодой кайзер, выступая в 1892 году перед бранденбургским ландтагом (то есть за три года до того, как был выстроен этот дом), с пафосом воскликнул: «Бранденбуржцы, мы предназначены еще для многих великих дел, и я еще поведу вас навстречу славным дням (herrlichen Tagen)» [7].

О Пруссии и ее роли в истории Германии (политической, военной, идеологической, нравственной) немало говорят и спорят в последние годы в ГДР. Эти споры представляют собой часть общего процесса более глубокого и дифференцированного осознания своей связи — связи социалистического настоящего — со всей многовековой толщей немецкой истории. И на страницах романа старший Кёслинг (который «за старые добрые черно-белые краски») недаром замечает в разговоре с сыном, что теперь опять пишут о Пруссии. В романе немало говорится и о «прусских добродетелях» (дисциплине, послушании, аккуратности, точности, исполнительности и т. д.). О «порядке» как всеобщем законе (и природы и общества) Виктор спорит с Себастианом — садовником и единственным подсобным рабочим в доме, делающим все, что только не потребуется по хозяйству. По биографии — это одна из так называемых «маргинальных» фигур, человек, еще недавно занимавший твердое и высокое положение в обществе, но предпочевший добровольно «отойти в сторону»; по сюжетной роли — соперник Виктора в любви к смуглой Тильде; по месту в концепции романа — главный выразитель ее философии и часто рупор авторских идей. (Кстати, в его уста автор вкладывает мечту весьма конкретную, о саде, который будет разбит на месте свалки и преобразит всю местность вокруг «Нового благоденствия»). Себастиан противопоставляет «порядок» человеческим связям («порядок предполагает обособленность»), приказ («суть порядка») — самостоятельности, стереотипы общественной деятельности — человеку, ибо порядок означает неизменность, а живая жизнь всегда находится в движении.

Себастиан, в котором совмещается малосовместимое,— наиболее условная и наименее удавшаяся фигура в романе. Хотя — кто знает,— может быть, автор сделал его таким не без умысла?

Ироническая интонация и в прежних книгах Гюнтера де Бройна заходила нередко так далеко, что превращалась в сатиру, сатиру безжалостную, гротесковую, то есть нарочито, в целях заострения проблемы, искажающую реальные пропорции явлений. Несмотря на всю приверженность к «точности», далеко не все в его книгах поддается проверке «бытовым» правдоподобием, в «Новом благоденствии» в особенности. В современном искусстве от «точности» до «символа» рукой подать. Причем область гротеска захватывает здесь прежде всего слой «власть имущих»: вдову всем известного, знаменитого борца и политического деятеля, живущую в доме отдыха, носящем его имя, как приживалка, в выдуманном ею мире голубых грез и пустопорожней любви; мать Виктора, вцепившуюся в славу и привилегии своего бывшего мужа; и самого этого бывшего мужа, отца Виктора, появляющегося в одной-единственной главе (хотя упоминающегося постоянно). Он возникает на страницах романа, стоя в санях, запряженных лошадьми (несмотря на распутицу), собственноручно погоняя их и щелкая бичом,— выразительно очерченная фигура энергичного, волевого деятеля «золотых пятидесятых» (его слова), одного из строителей нового государства. Он и сейчас поражает всех силой и организационным умением, он великий воспитатель, ему даже удается в считанные минуты заставить есть капризную и избалованную трехлетнюю Пюппи, да так успешно, что она просит добавки, но во всем этом фейерверке энергии и

[7] Этот лозунг кайзеровских времен можно прочесть в сборнике крылатых выражений, выпущенном в ГДР коллективом под руководством К. Бётхера (Geflügelte Worte. Zitate, Sentenzen und Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. Berlin, 1981).

бурной деятельности сегодня больше показного, чем реального, да и ироническая болезнь, которой наградил его автор, говорит о том, что что-то уже не так, что-то уже миновало, чего-то он уже не может. Его волевые методы воспитания сделали Виктора таким, каким мы его видим. Однако между отцом порядка и дитем порядка, как сказано в романе, «антагонистические противоречия отсутствуют».

Чуткий писатель-реалист, де Бройн не мог бы возложить всю меру вины на молодое поколение, на «детей», но и снимать с них вину он не собирается.

Главный конфликт этой книги — между Тильдой, воплощением природной естественности и порядочности, не нашедшей своего принца Золушкой, которой так нужно, чтобы жизнь изменилась, и Виктором, которому не требуется никаких перемен, ибо он и сейчас имеет все, включая возможность, не меняясь самому и не меняя окружающий мир, менять свои привязанности. Несчастья и горе, безысходность и трагедии проходят мимо него — арест Макса, разрушенная судьба Ольги, смерть бабушки Тильды. На ее похороны, как ни ждет его Тильда, он не приедет, хотя телеграмму соболезнования послать не забудет, к Тильде он не вернется. «Новое благоденствие» со всеми его обитателями — только пустячный эпизод в его безоблачной жизни. Но всегда ли он был таким, заложены ли эти «злые» качества в нем от природы? Почему всех, кого Виктор встречает на своем небрежном жизненном пути, влечет к нему — от случайно увиденной стюардессы до самой Тильды, бедной «цыганочки» Тильды, оставшейся полной сиротой, без всякой поддержки, в доме, который она именует «адом»? Последняя короткая главка романа названа «Выздоровление», хотя о болезни Виктора раньше не было ни слова. Значит, все же и у него, как у героя «Волшебной горы» Томаса Манна, было свое «влажное пятнышко», и он чуть было не заболел «живой жизнью», с которой соприкоснулся в занесенном снегом доме отдыха?

Книга начинается с того, что обитатели дома спорят — пока еще заочно,— присуща ли Виктору «естественность»; в конце книги, познакомившись с ним, мы понимаем, что могла быть присуща, но «сын своего отца» и «сын своей матери» (названия глав), он с их помощью избежал опасности стать человеком.

Ах, какой это выразительный тип современной жизни, внутрипустотный экземпляр рода человеческого, самозабвенный имитатор, которого так и хочется назвать Климом Самгиным новейшего социалистического общества; освобожденный от было опутавших его привязанностей, он мчится один на сверхсовременном воздушном лайнере на высоте нескольких километров прочь от республики, от ее забот и свершений, от ее граждан, куда-то вдаль, где будет лицедействовать на почетном дипломатическом поприще от имени ее народа.

А на земле — мрачная картина похорон. Традиционный траурный обряд совершается на фоне свалки, под рев грузовиков и грохот пустых консервных банок, среди пепла и обрывков грязной бумаги. На земле — нерешенные проблемы, которые вряд ли могут быть решены одними только энергичными указаниями Кёслинга-старшего.

Роман Гюнтера де Бройна публицистичен в том смысле, что горячая злободневность пронизывает и «тему», и «сюжет», и «приемы» этой прозы. В чем эта публицистичность идет в ущерб творческой силе Гюнтера де Бройна (в критике ГДР было высказано немало претензий к роману), а в чем, наоборот, увеличивает ее, как и почему это происходит — все это особые вопросы (они очень близки, если не сказать — совпадают, с теми, которые занимают в последнее время советскую литературу и советскую критику), но, несомненно, что она не случайна и коренится не только в особенностях таланта автора, но и в его позиции.

Несомненно и то, что в этой очень немецкой книге, написанной в 1984 году, есть много такого, что близко советским читателям и читателям в других социалистических странах сегодня. Не будем ставить знак равенства между «неподвижностью порядка», тем более в том виде, в каком эту мысль излагает в романе Себастиан, и нашим пониманием «застоя», но роман заставляет задуматься над проблемами наших дней, сомневаться тут не приходится.

Читать роман надо внимательно, как и другие книги Гюнтера де Бройна, их нельзя перелистывать; легкими для восприятия их не назовешь, автор рассчитывает на тех, кто готов шаг за шагом, слово за словом следить за ходом его мысли. Арнольд Цвейг, писатель, которого Гюнтер де Бройн также называет среди своих учителей, опубликовал однажды статью под необычным названием «Прилежное искусство читать романы». Возражая рецензентам, он говорил, то сам процесс чтения есть процесс творческий, требующий внимания к авторскому замыслу и сопонимания его. Роман Гюнтера де Бройна и в самом деле надо читать «прилежно»; тогда за его неторопливым ритмом, столкновением немногих характеров, их продуманной расстановкой откроется то, что хотел сказать писатель.

Было бы наивно, конечно, допытываться у иронического автора, почему он отказался сформулировать тему своих новых книг, или всерьез принимать его слова о том, что он от критиков ждет ответа на этот вопрос. Поищем ответ у него самого и найдем такие слова:

«Литература извлекает на свет то, что скрывается, непознанное или непризнанное, внутри человека, внутри общества,— или, по крайней мере, должна это делать. Ее задача состоит в том, чтобы ставить вытесненные вопросы; если они достаточно серьезны, то этого уже достаточно, чтобы вызвать беспокойство. А в читателе она, может быть, укрепит мужество быть честным»[8].

[8] Karin Hirdina, S. 25.

◆

Из месяца в месяц

Бельгия

ДЕБЮТ КРИСТИНЫ

Казалось, французов не удивишь блестящими дебютами молодых писательниц, рассуждает на страницах журнала «Нувель обсерватёр» обозреватель Нита Руссо. Известно, какой успех сопутствовал когда-то первым книгам Колетт, потом роману Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» и их своенравным, может быть чересчур раскованным, героиням. Но вот парижское издательство «Меркюр де Франс» публикует роман шестнадцатилетней дебютантки — Кристины Авантен, живущей в предместье Льежа (Бельгия). Здесь все сулит сенсацию, не говоря уже о возрасте автора: героиня книги, Алекс, открывает читателю тайны преступного мира, ведя его по переулкам, где «продается любовь» и проститутки ждут «клиентов», где шумят игорные притоны,— а в конце... выходит к тюремным воротам...

Писать этот невеселый роман, как ни странно, Кристина начала для того, чтобы позабавить подружек по лицею. Ей было тогда всего... 13 лет. Наткнувшись на отложенную до поры до времени рукопись, она переработала ее и отправила ксерокопию текста в издательство «Галлимар». В результате делового соглашения крупнейшая издательская фирма Франции передала книгу Кристины Авантен для публикации в «Меркюр де Франс».

Телепрограмма «Антенн-2» готовит к выпуску на экран большое интервью с Кристиной. Речь пойдет об учебе в лицее, о друзьях, о ее семье. «Рады ли успеху домашние?» — задает традиционный вопрос Нита Руссо. «Да!— звонким голосом отвечает девочка.— Мама только беспокоится — что скажут о моей книжке соседи».

Кристина Авантен.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Великобритания

ХОГАРТ И ЕГО СОБРАТЬЯ

В знаменитой лондонской галерее Тейт прошла выставка «Обычаи и нравы: Хогарт и британская живопись 1700—1760 гг.». Она охватывает период зарождения английской национальной школы живописи, представленный более чем 220 произведениями, многие из них до сих пор были неизвестны широкой публике.

При подборе картины организатор экспозиции Элизабет Айнберг, отмечает еженедельник «Обсервер», стремилась отразить характерные черты британской живописи той эпохи: обилие портретов и пейзажей, выполнявшихся по заказам знати и наиболее состоятельных людей, которых мало интересовали мифологические и исторические сюжеты, символы и образность живописи. «Эта выставка показывает, что даже ценители, методично и со знанием дела скупавшие шедевры повсюду, но только не в Англии, проявляли поразительное безразличие к работам своих соотечественников»,— пишет в еженедельнике «Санди таймс» обозреватель Марина Вайзи. Художники практически не получали никакой поддержки «сверху», и искусство носило чисто утилитарный характер.

На таком фоне начала развиваться английская национальная живопись, основателем и наиболее известным и признанным представителем которой стал Уильям Хогарт (1697—1764), — его критики единодушно называют «первым великим английским художником». Рецензент Тим Хилтон на страницах «Обсервер» отмечает, что У. Теккерей не без оснований связывал творчество Хогарта с произведениями Т. Смоллета и Г. Филдинга, ибо Хогарт, «художник современных ему обычаев и нравов», как и эти писатели, «сумел живо отразить в своих картинах окружающую его жизнь». Для данной экспозиции в числе прочих были отобраны известные его произведения — «Выборы», «Дети семьи Грэхем», «Завоевание Мексики», «Карьера шлюхи», «Портрет сэра Томаса Корэма», «Автопортрет».

Помимо работ Хогарта широко представлены картины других художников. Среди них — Дж. Торнхилл, работавший в стиле барокко, Дж. Хаймор — портретист, создатель серии иллюстраций к роману С. Ричардсона «Памела», Дж. Рейнольдс (среди прочих его работ показан портрет писателя Л. Стерна); шотландец Д. Уилки, Каналетто — итальянец по происхождению, живший в Англии,— мастер детали и светлого, изящного пейзажа, Т. Гейнсборо (в экспозиции представ-

У. Хогарт. Дети семьи Грэхем.

(Еженедельник «Санди таймс»)

лены его ранние, полные свежести и энергии работы).

«Важно, что художников много,— подчеркивает «Обсервер»,— зритель словно видит мощно вздымающуюся «волну живописи». А «Санди таймс» добавляет, что полнее и лучше понять творчество художников помогает прекрасно изданный каталог выставки.

ПОРТРЕТ ОСКАРА УАЙЛЬДА

В списке бестселлеров свое место прочно заняла новая книга об Оскаре Уайльде, написанная Ричардом Элманом — «лучшим современным биографом», по определению «Таймс литерари сапплмент». На страницах еженедельника известный американский писатель Гор Видал анализирует особенности этой биографии.

Видал высоко оценивает литературную деятельность Уайльда: «Его произведения не требуют объяснений или интерпретаций — их нужно лишь читать, смотреть или слушать... Уайльд — подлинный мастер, создатель замечательных пьес «ни о чем и обо всем одновременно», к его шуткам не нужны комментарии — люди просто смеются и при этом недоумевают: как же до сих пор никто не додумался до этой превосходной словесной игры?»

Гор Видал напоминает, что Р. Элман уже обращался к творчеству и личности Уайльда в книге «Четыре дублинца» (1987), где он писал и о других «великих ирландцах» — У.-Б. Йейтсе, Дж. Джойсе и С. Беккете, о любопытных переплетениях их человеческих и творческих судеб.

В книге-биографии Уайльда показана его тесная связь с современной ему литературной жизнью, причем не только Англии, но также Франции, США и других стран. Уайльду импонировал интерес молодого тогда М. Пруста к английской литературе, особенно к произведениям Дж. Рескина и Джордж Элиот. В предисловии к роману «Портрет Дориана Грея» некоторые афоризмы об искусстве являются своеобразной данью уважения С. Малларме, которого Уайльд посетил в период написания предисловия. Уайльд испытал огромное влияние творчества Ж.-К. Гюисманса, а также Малларме (знаменитая «Саломея», написанная Уайльдом по-французски, — результат этого влияния). По признанию известного французского писателя Андре Жида, Оскар Уайльд произвел на него поистине неизгладимое впечатление. («Творчество начинается в день твоего появления на свет и кончается в день твоей смерти»,— сказал ему как-то Уайльд.)

Оскар Уайльд.

(Еженедельник «Ньюсуик»)

Сложная, противоречивая личность Уайльда, безусловно, оставила яркий след в культуре и жизни современного ему общества, считает Гор Видал. Известность его в Англии не знала себе равных; он завоевал и Францию, особенно после выхода статьи «Упадок лжи»; знаменито его турне по США — Р. Элман перечисляет сотни городов, где Уайльд читал лекции о Прекрасном (Гор Видал рассказывает, что его дедушка в молодости присутствовал на одной из лекций и на всю жизнь сохранил впечатление о ней).

За последние несколько десятилетий, отмечает «Таймс литерари сапплмент», отношение к О. Уайльду заметно изменилось — постепенно он превратился в мученика и жертву ханжеского общества (вспомним хотя бы известную позицию Дж. Джойса). В результате этих перемен Уайльда не принято больше считать «преступником». Как остроумно замечает Гор Видал, «он был просто плохо приспособлен к обществу, к которому и приспосабливаться-то не стоило».

Однажды Уайльд написал: «В произведениях А. Ч. Суинберна мы впервые сталкиваемся с воплем плоти, терзаемой желаниями и воспоминаниями, радостью и раскаянием, силой и бессилием. Английское общество, как всегда лицемерное, пуританское и ханжеское, не способное в произведении искусства найти само искусство, принялось искать в нем автора». В полной мере, полагает Гор Видал, эти слова можно отнести и к судьбе самого Уайльда — «замечательного человека, искренне стремившегося изменить бесконечно дурное общество».

Венгрия

ВОЗОБНОВЛЕНА ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

На венгерском телевидении после десятилетнего перерыва возобновлена передача «Открытая книга» — теперь она будет называться «Новая открытая книга», сообщает журнал «Фильм, синхаз, мюжика».

«Для меня необыкновенно важно второе слово — «открытая», — пишет на страницах журнала ведущий передачи Ласло Бернат, — именно оно вызывает волнение, оно притягательно. Чтобы открывать книги, надо и самому быть открытым для самых разных жанров, художественных миров и эпох, надо и в самом себе ощущать готовность узнавать, воспринимать новое».

Венгерским телезрителям в этой передаче скоро бу-

Лайош Мештерхази. Кадр из телевизионного фильма.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

дут представлены новые книги Тибора Череша, Эржебет Галгоци. Но для премьеры был выбран фильм о романе Лайоша Мештерхази (1916—1979) «Отцовское сердце» (в «ИЛ» публиковался его роман «Загадка Прометея» — 1976, № 4, 5; главы из книги «Воспоминания» — 1986, № 12). Роман-биография «Отцовское сердце», написанный в 1971 году, посвящен острым, злободневным проблемам, в частности проблеме социальной пассивности, приспособленчества. Его герой — «эластичная» личность, он мгновенно пересматривает «концепции», легко приспосабливается к любым изменениям общественной атмосферы, к любой политической конъюнктуре, всегда готов выкрикивать актуальные лозунги.

Телевизионный фильм об этом романе был снят пятнадцать лет назад, но телезрители его так и не увидели. На несколько минут на экране появляется и сам Лайош Мештерхази. «Какая радость,— восклицает Ласло Бернат, — что сохранились эти старые кадры! Благодаря им мы снова сможем встретиться с уже отдалившимся от нас писателем, сможем услышать то, что было сказано им пятнадцать лет назад, услышать, к сожалению, только теперь».

«BESZTOLKOVSCSINA»

Так назвал обозреватель еженедельника «Элет эш иродалом» Тамаш Колтаи свою статью о постановке гоголевского «Ревизора» на сцене будапештского театра имени Йожефа Катоны (режиссер Габор Жамбеки).

Мир «Ревизора» в интерпретации Жамбеки — не комедийное смещение «разумной действительности», не крушение старого мира, как в эпохальной постановке Мейерхольда, не трагедия маленьких людей в бюрократическом обществе, как, например, в постановке Плучека, где главные роли играли Миронов и Папанов, — нет, он скорее напоминает «черный» мир Беккета и Ионеско.

На подмостках театра Катоны, пишет Т. Колтаи, предстает общество людей, словно изолированных друг от друга, не видящих, не слышащих, не понимающих друг друга, — общество, в котором нарушены естественные логические связи, общество, для обозначения которого подходит только русское слово «бестолковщина», вырастающее в спектакле до символа. Очень важна в этой связи фигура доктора Хюбнера, немца, не понимающего ни слова по-русски. Этот персонаж неизвестен зрителям, Гоголь исключил его из окончательной редакции, а Габор Жамбеки восстановил. В венгерской версии Хюбнер присутствует на сцене в течение всего спектакля, он сидит, наблюдая за происходящим, с погасшей сигарой в зубах, в своей «бестолковости» ничем не отличаясь от других персонажей. Комичность «Ревизора» Жамбеки пугающа, пишет обозреватель, в ней заключена угроза возврата мира в доисторический хаос, в дочеловеческое начало времен. Словно ископаемые окаменелости, восседают на своих местах власть предержащие, бесчувственные и равнодушные ко всему окружающему. Декорации и костюмы спектакля — вне времени, вне стилей, они как бы призваны объединить реальность абсурда с абсурдом реальности, помочь зрителям узнать на сцене самих себя.

Горький опыт «бестолковщины», сконцентрированный в постановке Жамбеки, представляется глубоко осознанным и указующим на возможность его преодоления. В этом, считают венгерские критики, секрет его высокой художественности и успеха.

Дания

АНТОЛОГИЯ СКАЗКИ

В издательстве «Гюльдендаль» вышла антология «Сказки датских писателей», составленная известным литературоведом и критиком Торбеном Брострёмом. «Авторская сказка — жанр, весьма характерный для датской литературы», — пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк» Курт Даль. Еще Ханс Кристиан Андерсен на основе народных сказок создал подлинные литературные шедевры. Эту традицию продолжили Йоханнес В. Йенсен, Мартин Андерсен-Нексё, Мартин А. Хансен. В годы фашистской оккупации Дании сказка, напоминает критик, была «оружием сопротивления, рупором гнева и протеста». Этот жанр близок и современным писателям — Улле Рюум, Перу Хёхольту, Эске К. Матисену.

«Антология Торбена Брострёма, в которую включено тридцать сказок, написанных за два века, подтверждает тот факт, что сказка и в самом деле — удивительный жанр, сочетающий аллегорию и гротеск, сатиру и иронию, реальность и вымысел», —заканчивает рецензию К. Даль.

Индия

ПРЕМИЯ ПИСАТЕЛЮ-КОММУНИСТУ

Центральный орган КПИ, еженедельник «Нью эйдж», сообщает, что писателю Б. К. Каккилайю присуждена премия Литературной академии штата Карнатака за книгу «Биография Фридриха Энгельса» (1987). Книга является вторым томом задуманной автором трилогии о классиках марксизма. Первый том — биография Карла Маркса — был удостоен в 1985 году премии имени

Джавахарлала Неру, учрежденной англоязычным журналом «Совьет лэнд» (СССР). В настоящее время автор работает над третьим томом трилогии, который будет посвящен жизни и деятельности В. И. Ленина.

Газета особо отмечает, что это первый в истории штата случай, когда премия Литературной академии штата присуждается за труд, принадлежащий перу писателя-коммуниста. «Мы уверены,— заявил секретарь организации КПИ в штате Карнатака Т. С. Кришнан,— трилогия станет источником вдохновения для молодых писателей-коммунистов и всех тех, кто придерживается прогрессивных взглядов».

Испания

«ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ»

Так будет называться шестисерийный фильм, который по заказу испанского телевидения снимают сейчас кинематографисты этой страны, а также Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Аргентины и Колумбии. В его основу легли шесть рассказов Габриэля Гарсиа Маркеса. О ходе работы над этим необычным, во многом экспериментальным телесериалом рассказывает газета «Паис».

Бразилец Руй Герра, снявший недавно фильм по новелле «Эрендира», возглавил творческий коллектив, который создал первый фильм «Трудной любви» — «Сказку о прекрасной голубятнице». Премьера киноленты состоялась в декабре прошлого года на фестивале в Гаване. Колумбийский писатель сказал об этой работе: «Впервые то, что я вижу на экране, точно соответствует написанному мной».

При этом, подчеркивает Гарсиа Маркес, речь идет не об иллюстрации к литературному тексту. Получилось самостоятельное произведение, выстроенное по законам киноискусства. Теперь зрители смогут воочию увидеть легендарное Макондо.

Над второй серией фильма работает кубинский режиссер Томас Гутьеррес Алеа. Она называется «Письма из парка» и воспроизводит небольшой эпизод из романа «Любовь во время чумы». Лисандро Луне (Колумбия) завершает съемки третьей серии — «Римское чудо». Мексиканец Хайме Умберто Эрмосильо готовит ленту «Лето сеньоры Форбес», где главную роль исполняет актриса из ФРГ Ханна Шигулла. Следующим будет фильм «Счастливое воскресенье». Режиссер Олегорио Баррера заканчивает его съемки в Венесуэле. Последним звеном телесериала станет картина «Я тот, кого ты ищешь» испанца Хайме Чаварри.

Ханна Шигулла в фильме «Лето сеньоры Форбес» режиссера Х. У. Эрмосильо.

(Газета «Паис»)

Предполагается, пишет газета, что все эти ленты, сюжетно не связанные между собой и рассчитанные приблизительно на полтора часа экранного времени каждая, можно будет показывать не только по телевидению, но и в кинотеатрах.

«Паис» считает, что разговор об этой телекартине нельзя закончить, не упомянув еще один фильм — «Очень старый человек с огромными крыльями» аргентинского режиссера Фернандо Бирри. Он вышел на экраны в минувшем году и также представляет собой экранизацию рассказа Гарсиа Маркеса. По мнению газеты, эта лента могла бы стать седьмой серией «Трудной любви».

Италия

СБОРНИК ЛЕКЦИЙ КАЛЬВИНО

В выпущенный американским издательством «Гарвард юниверсити пресс», а затем и итальянским «Гарцанти» сборник «Шесть рекомендаций на следующее тысячелетие» вошли тексты лекций, которые выдающийся итальянский писатель Итало Кальвино (1923—1985) намеревался прочесть в Гарвардском университете (работе над ними он посвятил последние восемь месяцев жизни). Лекции (вопреки названию книги их пять: «Легкость», «Стремительность», «Точность», «Наглядность», «Многообразие»; шестую, «Последовательность», автор обдумал, но не успел записать) представляют собой апологии соответствующих достоинств литературных произведений. Как и все, созданное Кальвино, они изобилуют неожиданными сопоставлениями, прихотливыми поворотами мысли, отмечает в еженедельнике «Панорама» Гвидо Альманси.

Кальвино делит литераторов на тех, кто творит «под знаком» Меркурия (у них живой темперамент и бойкое перо), и тех, чей покровитель — Сатурн (они созерцатели и меланхолики, сочинения их тяжеловесны). Себя он называет «сатурнийцем», который старается быть «меркурианцем», а свой метод работы характеризует как «вычитание тяжести», «облегчение» героев и атрибутов действия, позиции и стиля (так появились, например, «Барон на дереве», «Невидимые города»). Образцом «легкости» выступает у Кальвино поэзия старшего современника Данте Гвидо Кавальканти (подтвердить это призван остроумный сравнительный анализ его стихотворения и сходного по тематике отрывка из «Божественной комедии»). Метафорой рекомендуемого литераторам творческого метода становится «неожиданный легкий скачок поэта-философа, поднявшегося ввысь над тяжеловесным миром», описанный Боккаччо в одной из новелл «Декамерона».

Увлекательным повествование делают не только и не столько сюжетные хитросплетения, сколько стремительный ритм, отмечается во второй лекции. Именно интерес к быстрой смене эпизодов в народных сказках побудил Кальвино в середине 50-х годов заняться фольклором.

В следующей лекции автор настаивает на необходимости тщательного выбора писателем «единственно верного слова», осуждает «приблизительность устной речи» по сравнению с письменной, выражает беспокойство о судьбе языка, на развитие которого отрицательно влияют средства массовой информации.

В четвертой лекции речь идет о необходимости конкретных, ярких образов для выражения той или иной идеи (таковы, например, аллегорические герои романов Кальвино «Разрубленный виконт», «Барон на дереве», «Несуществующий рыцарь»).

Последняя лекция посвящена «энциклопедическому» направлению в развитии романа — от флоберовского «Бувара и Пекюше» (1881) до произведений К. Э. Гадды, Х. Л. Борхеса, Реймона Кено и Жоржа Перека, чей роман «Жизнь: способ употребления», уподобленный самим автором мозаике-головоломке, Кальвино оценивает как «подлинное событие в истории жанра».

«Тексты лекций,— отмечает Гвидо Альманси,— отличаются редким для академического издания изяществом стиля и легкостью изложения. Они представляют собой еще одно свидетельство исключительной эрудиции и исследовательской педантичности Кальвино».

ИЗДАНИЕ НАСЛЕДИЯ КАРДУЧЧИ

В Италии принято решение об издании нового полного собрания сочинений выдающегося поэта Джозуэ Кардуччи (1835—1907). Учрежден подготовительный комитет в составе девяти ученых (среди них — известные литературоведы Джорджо Петрокки и Марио Скотти). Комитет разместится в Болонье, неподалеку от дома Кардуччи, где хранятся почти все рукописи и книги поэта, а также его библиотека.

Новая публикация собрания сочинений Кардуччи, отмечает обозреватель «Унита», предпринята потому, что предыдущее, вышедшее в свет в 1935—1940 годах и переизданное в 60-х, уже стало библиографической редкостью.

Новое издание будет включать двадцать пять томов, а также библиографию и системно-аналитический указатель. Все собрание составят четыре части. Первая соберет в десяти томах произведения, предназначенные для публикации самим автором. Вторую часть (два тома) займут прежде не издававшиеся поэтические наброски, переводы, полемические статьи, дневники, заметки. В третьей (пять томов) будут приведены тексты различных писателей, комментированные Кардуччи. Последняя часть (восемь томов) будет охватывать все эпистолярное наследие Кардуччи: его письма и ответы корреспондентов, в хронологической последовательности, начиная с 1850 года и кончая 1903-м.

Колумбия

«ВСЛЕД ЗА РУССКИМИ КЛАССИКАМИ»

Так называется книга, недавно выпущенная мадридским издательством «Прогрессо». Аргентинская газета «Пренса» опубликовала интервью с ее автором — поэтом, критиком и литературоведом Энри Луке Муньосом.

Луке Муньос, пишет «Пренса», — один из наиболее ярких представителей литературного поколения, заявившего о себе в Колумбии в 70-е годы. Его перу принадлежат три поэтических сборника, большое количество статей и эссе. Это имя часто встречается на страницах крупных журналов Латинской Америки и Европы.

Новая книга Луке Муньоса посвящена четырем крупнейшим представителям русской литературы: Пушкину, Тургеневу, Достоевскому и Толстому. Автор, отмечает обозреватель газеты «Пренса» Армандо Альмада Роче, поставил перед собой сложную задачу. Во-первых, он стремился создать портреты конкретных, «из плоти и крови», людей, во-вторых, возможно полнее рассказать об их творчестве и, в-третьих, через судьбы великих писателей взглянуть на историю России.

Колумбийский писатель признался, что стал горячим поклонником русской литературы еще в студенческие годы. Именно тогда испытал он сильнейшее влияние Достоевского, с головой окунулся в поразительный мир Гоголя, задумался над вопросами, мучившими героев Чехова. «Но самую важную роль в моей творческой жизни сыграл Пушкин. Он раздвинул для меня границы поэзии, открыл возможности, о которых я раньше и не подозревал. Пушкин — символ свободолюбия, русский Шекспир, величайший мастер слова».

Не случайно, пишет газета, именно Пушкин стал центральной фигурой книги. А то, что она увидела свет в год 150-летия со дня смерти поэта, привлекло особое внимание к главам, где рассказывается история его гибели. «Я хотел, — говорит Луке Муньос, — высветить социальные корни этого убийства, показать, что главным преступником был русский царизм».

В Мадриде, по словам обозревателя, книгу «Вслед за русскими классиками» раскупали «как хлеб». Сейчас она уже появилась на книжных прилавках Колумбии, Мексики, Венесуэлы, Перу, Никарагуа, Бразилии, Аргентины. Большой успех издания показал, как велик в этих странах интерес к культуре России. А ведь подобные работы на испанском языке — явление крайне редкое.

Энри Луке Муньос сообщил, что продолжает работу: он планирует написать трех-четырехтомное исследование о русских писателях и русской литературе.

Куба

НА СЦЕНЕ ЗВУЧИТ МОНОЛОГ

Состоявшийся на Кубе первый конкурс артистов разговорного жанра превратился в настоящий театральный праздник, пишет обозреватель газеты «Гранма» Хосе Отеро. Конечно, всякий конкурс неизбежно выявляет как сильных, так и слабых участников, как яркие, так и малоинтересные программы. Но в данном случае, по мнению рецензента, уже саму идею проведения такого состязания можно назвать удачной, а его результаты — «заслуживающими внимания», ибо конкурсанты выходили на сцену «Театрального кафе Брехта» с искренним стремлением раскрыть лучшие стороны этого сложного и трудного жанра — монолога.

Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, жюри достаточно строго отнеслось к выступавшим артистам, продолжает Х. Отеро. Тем весомее успех разделивших первое место Элены Уэрты (монолог Н. Дорра «У меня есть бриллиант») и Ньевеса Риовальеса («Монолог для театрального кафе» К. Франко). Они лучше других сумели найти контакт со слушателями и представить им своих персонажей, каждый — в своем индивидуальном стиле и манере исполнения.

«Зрители ждут новых фестивалей в надежде, что это «первое зерно» ляжет в благодатную почву,— отмечает в заключение Х. Отеро.— Ведь если начало им положено с таким воодушевлением и добрыми намерениями, то последующие конкурсы должны еще выше поднять авторитет «любимого сына театра — монолога».

Польша

ГРОТОВСКИЙ И ИСКУССТВО ТЕАТРА

Имя Ежи Гротовского (р. в 1933 г.) — польского мыслителя, режиссера, педагога — символ всего живого в искусстве театра и «искусстве жизни». Создатель первого в Польше профессионального «Театра-Лаборатории» под названием «13 рядов» (1959, с 1966 — Институт изучения актерского метода), Гротовский шел через «бедный театр» к «активной культуре» и «антропологическому» театру. Его труды, пишет журнал «Радар», направлены на рас-

Ежи Гротовский.

(Журнал «Радар»)

Афиша спектакля Е. Гротовского «Apocalypsis cum Figuris».

ширение границ познания, достижение полного контакта человека с человеком, воссоздание его духовности. Своих задач Гротовский, его соратники и ученики добиваются с помощью особого психофизического тренинга, требующего огромной концентрации. Комплексный метод включает отработку медитационной техники, занятия пантомимой и акробатикой, голосовые упражнения.

В историю мирового театра навсегда вошли спектакли Гротовского «Орфей» (1959), «Каин» (1960), «Сакунтала» (1960), «Дзяды» (1961), «Кордиан» (1962), «Акрополь» (1962, совместно с Ю. Шайной), «Трагическая история доктора Фауста» (1963), «Стойкий принц» (1965), «Apocalypsis cum Figuris» (1968). В начале 70-х годов Гротовский открыл серию стажировок, рабочих встреч в театральных мастерских, организованных его последователями в разных странах. Члены труппы «Театр-Лаборатория» в 70—80-е годы проводят творческие семинары во всем мире. Сам Ежи Гротовский с 1980 года, когда он приступил к осуществлению программы «театра истоков», постоянно пребывает за пределами Польши — ведет поиск забытых, древних истоков театра в Индии, на Гаити, в Мексике. В 1982—1984 годах он завершил цикл опытов на основе драмы Ибсена «Пер Гюнт» под рабочим названием «Объективная драма», в 1986—1987 годах экспериментирует на основе «Фауста» Гёте в рамках программы «антропологического театра». 31 августа 1984 года, ровно через 25 лет после основания «Театра-Лаборатории», к полной неожиданности Гротовского и его ближайших единомышленников, остававшаяся в Польше часть актеров заявила о самороспуске театра.

Однако уже через полгода в той же старой вроцлавской ратуше, где два десятилетия жил «Театр-Лаборатория», была основана Вторая Вроцлавская студия, которую возглавил ближайший соратник Гротовского, актер и педагог Збигнев Цинкутис, исполнитель главных ролей в наиболее значительных его спектаклях. Под его руководством в студии было подготовлено четыре премьеры-проекта по мотивам античной драмы и «Песни песней», готовилась пятая. В январе 1987 года Збигнев Цинкутис трагически погиб в автомобильной катастрофе, в последние годы ушли из жизни другие ведущие актеры труппы Гротовского — Антони Яхолковский, Яцек Змысловский, Станислав Сцерский.

С 1987 года в старом помещении Лаборатории и Студии постоянно действует выставка «Театр-Лаборатория — конец 25-летнего странствия». Ее экспонаты — фотографии, афиши, плакаты, программы, книги, костюмы, элементы декораций — отражают этапы творческого пути Ежи Гротовского и его труппы.

Как считает журнал «Радар», и после смерти Цинкутиса, второго духовного вождя польского театра поисков, Вроцлав остался одной из столиц театрального мира. Вторая Вроцлавская студия продолжает действовать под руководством Иоланты Цинкутис, здесь работают стажеры из разных стран, международная труппа уже поставила «Турандот», «Гамлета» и «В ожидании Годо», но вопрос о том, кто будет преемником Гротовского и Цинкутиса, остается открытым.

В СССР подготовлена к изданию книга Ежи Гротовского «К бедному театру».

Румыния

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ О КРЕСТЬЯНАХ

Лучшим фильмом на крестьянскую тематику за всю историю румынского кино единодушно назвала критика СРР ленту режиссера С. Гули «Морометы» по одноименному роману писателя Марина Преды (1922—1980). Кинолента рисует жизнь румынского села в межвоенный период, когда страна вступила на путь интенсивного капиталистического развития, расслоения деревни на бедноту и кулаков. В центре картины — судьба семейства Морометов, которое постепенно разоряется. Классический по своей простоте и строгости фильм обладает удивительной эмоциональной силой, пишет «Лучафэрул», и, несомненно, является лучшей экранизацией румынского литературного произведения. С. Гуля глубоко проник в суть романа и выразил ее средствами современного кино. Журнал подчеркивает, что режиссеру и актерам удалось не только достоверно передать внешний колорит сельской жизни, но и показать внутренний мир румынского крестьянина.

Главный персонаж романа и фильма — Илие Моромете — представляет собой тип патриархального крестьянина, который в годы распада традиционного уклада жизни чувствует, что почва уходит у него из-под ног. Ломка старого мира, формирование сельской буржуазии, утверждение закона чистогана вступают в острое противоречие с философией и моралью Илие Моромете, роль которого, по мнению критиков, блестяще исполняет актер В. Ребенджюк. Так, ход истории отразился в жизни крестьянской семьи из небольшого села Придунайской равнины. По замыслу авторов романа и фильма, образ

Кадр из фильма «Морометы».

(Газета «Лучафэрул»)

Илие Моромете — это воплощение исконных черт румынского крестьянина.

В интервью еженедельнику «Ромыния литерарэ» режиссер С. Гуля отметил, что он во всем стремился следовать духу романа М. Преды. Для достижения большей правдивости киногруппа приехала в село, выбранное для съемок, за две недели до их начала. Актеры все это время жили среди крестьян, участвовали в полевых работах. Это позволило им глубже вжиться в роли, проникнуться атмосферой картины.

Среди фильмов, оказавших на него сильное влияние, С. Гуля назвал «Андрея Рублева» А. Тарковского и «Калину красную» В. Шукшина.

США

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ВЕСНЫ СВЯЩЕННОЙ»

«Едва зазвучала увертюра, раздались свистки и шиканье. Когда же подняли занавес, разразилась настоящая буря. Зрители вопили, свистели, размахивали руками. Одни откровенно веселились, другие были вне себя от гнева... И лишь горстка ценителей осознала то, что позже подтвердила история: день 29 мая 1913 года стал днем рождения модернизма». Этим редакционным введением журнал «Ньюсуик» напоминает читателям о приеме, который получил ныне всемирно признанный, классический спектакль «Весна священная» в исполнении труппы Сергея Дягилева.

Балет в постановке Вацлава Нижинского (декорации к нему создал Н. К. Рерих, музыку написал Игорь Стравинский) был показан русскими танцовщиками всего восемь раз. Документальных свидетельств — рабочих записей, фотографий, рисунков — сохранилось на редкость мало. Между тем Роберту Джоффри, руководителю труппы «Джоффри Бэллей», и Миллисент Ходсон, выпускнице университета Беркли, очень хотелось «восстановить» хореографию Нижинского, вплоть до мельчайших деталей, пишет обозреватель «Ньюсуик» Лора Шапиро.

Разыскания начались в 1971 году. М. Ходсон побывала во Франции, Индии, СССР, Великобритании. Она познакомилась с английским искусствоведом Кеннетом Арчером, который вскоре стал ее мужем, и продолжила работу вместе с ним. Информацию они собирали буквально по крупицам: случайно встретили гобоиста из состава оркестра, игравшего на премьере, потом обнаружили партитуру, размеченную специальными обозначениями рукой помощника Нижинского, сумели найти дочь врача русской труппы.

Беатрис Родригес, исполняющая партию Избранницы в спектакле труппы «Джоффри Бэллей» «Весна священная».

(Еженедельник «Ньюсуик»)

Шли годы, продолжает Л. Шапиро, и Миллисент Ходсон заполняла все новые и новые лакуны в «летописи великого балета», раскрывала его тайны одну за другой. Когда нелегкий труд был завершен, труппа «Джоффри Бэллей» подготовила «возрожденный спектакль» к большому турне по Соединенным Штатам.

«Весна священная» сегодня потрясает зрителей так же, как и в 1913 году! — восклицает Л. Шапиро. — Хореографический гений Нижинского проявляется в оригинальности его видения, в глубочайшей музыкальности и яркой эпичности постановки, вдохновленной искусством языческой Руси».

НОВЫЙ ФИЛЬМ ОЛИВЕРА СТОУНА

Американский режиссер Оливер Стоун, получивший премию «Оскар» за фильм «Взвод» (см. «ИЛ», 1987, № 6), снял новую киноленту под названием «Уолл-стрит», сообщает еженедельник «Ньюсуик». В фильме рассказывается история о том, как начинающий биржевой маклер Бад Фокс стремится любыми путями пробиться наверх и как в этом ему «помогает» (безусловно, в своих корыстных целях) специалист по искусственному понижению курса Гордон Гекко. Цель у обоих одна — деньги и власть, и ради этой цели Гекко умело манипулирует Фоксом, делая его своим осведомителем, поставляющим необходимую биржевую информацию. Конечно, Фокс при этом получает свою долю барышей, но в конце концов после взлета его ждет падение — ведь он всего лишь орудие обогащения расчетливого и хладнокровного Гекко (недаром его фамилия напоминает нам о гекконе — охотящейся на мелких животных ящерице с немигающим взглядом).

В фильме «Уолл-стрит» подробно показана жизнь

Кадр из фильма О. Стоуна «Уолл-стрит».

(Еженедельник «Ньюсуик»)

делового мира, различные биржевые операции (точнее, махинации), здесь мелькают картины современного города, кабинеты с ультрамодным оборудованием, безупречные клерки и т. д. Однако, замечает «Ньюсуик», за блестящим современным «фасадом» скрывается все та же «голливудская история о добре и зле», на этот раз с уклоном в биржевую тематику.

Критики отмечают точную, психологически выверенную игру актеров. В роли Фокса снялся Чарли Шин; его отца, противостоящего мошеннику Гекко, сыграл Мартин Шин (отец Чарли Шина). Образ жесткой, не гнушающейся ничем в стремлении достичь социальных верхов подруги Фокса создала молодая актриса Дерил Ханна, знакомая советским зрителям по фильму «Роксана».

По мнению рецензента, в центре фильма все же стоит Гекко — этот «современный «мефистофель», чью роль прекрасно сыграл популярный актер и продюсер Майкл Дуглас. Его имя хорошо известно любителям кино по фильмам «Полет над гнездом кукушки» и «Китайский синдром», в которых он выступал как продюсер, а также по нашумевшему фильму «Роковое влечение» о проблеме СПИДа и по ленте «Влюбленный в камень», где он снялся в главных ролях. К роли Гекко в «Уолл-стрите» Дуглас тщательно готовился, изучая документы и стиль работы биржевых воротил. О его актерских качествах О. Стоун отозвался так: «Съемкам, игре он отдает всего себя». Дуглас же считает, что Оливер Стоун — настоящий «командир на съемочной площадке».

В Африке, у подножия Килиманджаро, закончились натурные съемки шестичасового телевизионного фильма об Эрнесте Хемингуэе, сообщает западногерманский журнал «Бунте». Сорокашестилетний актер Стейси Кич, по мнению обозревателя журнала, создал поразительно достойный образ писателя, которому тридцать четыре года, и не менее убедительный — писателя, которому уже за пятьдесят. Полину Пфайфер, вторую жену Хемингуэя, играет Мариза Беренсон.

На снимке: Стейси Кич в роли 34-летнего и 54-летнего Эрнеста Хемингуэя.

(Журнал «Бунте»)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

«Любимая» — так называется новый, пятый по счету роман американской писательницы Тони Моррисон, анализу которого посвящает свою статью рецензент газеты «Таймс литерари сапплмент» К. Руменс.

Действие романа происходит в штате Огайо в середине 80-х годов прошлого века. «Гражданская война, манифест Линкольна об освобождении рабов и последовавшие конституционные поправки положили конец рабству, но для освобожденных рабов повседневная жизнь оставалась ареной постоянной борьбы, причем борьбы не только с проявлениями расовой дискриминации, но и с бременем собственной памяти»,— пишет критик.

По жанру книга является бытовым романом, «семейной сагой». Основную сюжетную линию — рассказ о жизни негритянки Себы — дополняет повествование о прошлом главных героев, бывших рабов на ферме «Уютная обитель». Здесь, по мнению рецензента, Т. Моррисон удается вызвать у читателей обостренное чувство неприятия рабства. Сначала писательница представляет институт рабовладения не в самом его диком, а в самом «цивилизованном» варианте: воспитание рабов в духе «настоящих мужчин», идиллия семейной жизни Себы. Но призрачное благополучие разом кончается с появлением нового «наставника» рабов — «зловещего надсмотрщика с расистскими убеждениями».

Отмечая художественное мастерство писательницы — «силу воздействия», «оживление стертых метафор», «яркость описания в сценах ужасов», «смелый замысел»,— К. Руменс, однако, считает, что результат, то есть написанный ею роман, во многом уступает самому замыслу. Отдельные сюжетные линии не доведены до конца: не ясна, например, судьба двух сыновей Себы, равно как и будущее ее дочери. Незавершенность романа очевидна, и в недавнем интервью газете «Гардиан» Т. Моррисон высказывала нежелание довести роман до логического конца. Но все же не исключено, что волнующий и горький роман «Любимая», предполагает рецензент, окажется лишь сравнительно малой частью более крупного произведения.

Финляндия

МУЗЕЙ МУМИ-ТРОЛЛЯ

«Вы когда-нибудь слышали о Муми-тролле? — спрашивает обозреватель журнала «Букс фром Финланд».— Это смешное, добродушное существо. Обычно тролли злые, а этот — настоящий добряк».

Его и его забавных друзей из Муми-дола в 40-е годы придумала финская писательница Туве Янссон. Сегодня книги о нем переведены на 28 языков. Советский читатель знаком с повестью-сказкой «Муми-тролль и комета», сказкой «Шляпа волшебника» и другими книгами Туве Янссон. В последних ее произведениях на смену фантастическим персонажам пришли вполне реальные, «взрослые», но книги о Муми-тролле переиздаются вновь и вновь. И вот теперь благодаря стараниям Т. Янссон, сообщает «Букс фром Финланд», у него появился собственный домик: в Тампере, в здании новой городской библиотеки открылся музей Муми-тролля.

Туве Янссон у домика Муми-тролля в Тампере.

(Журнал «Букс фром Финланд»)

Карта Муми-дола. *Рисунок Туве Янссон.*

Здесь можно не только собственными глазами увидеть, где обитает этот необыкновенно популярный сказочный герой, но и перелистать книги о его приключениях, посмотреть их красочные иллюстрации. Гостей у Муми-тролля бывает много, в том числе и иностранных: они проявляют к музею не меньший интерес, чем к знаменитому лондонскому Музею восковых фигур.

Франция

ЗАБЫТАЯ МУЗА

Образ женщины, судьба которой сложилась трагически, воссоздала в новом фильме актриса Изабель Аджани. Она сыграла Камиллу, «почти никому не известную сестру известного французского писателя Поля Клоделя», сообщает журнал «Грация». Имя талантливой скульпторши мало кто помнил уже при ее жизни, отмечает критик, хотя маленькие шедевры ее учителя и возлюбленного Огюста Родена — «Поцелуй», «Вечная весна», «Вечный идол» — без Камиллы, возможно, никогда не были бы созданы. Но быть музой, как видно, — нелегкая участь. Собственные скульптурные работы Камиллы, и среди них бюст Родена, только теперь начинают по-настоящему оценивать специалисты... «Запоздалое признание! — с горечью восклицает критик. — Впро-

Изабель Аджани в роли Камиллы.

(Журнал «Грация»)

чем, запоздалым оно было бы уже и в начале века: между юной Камиллой и Роденом, который был намного ее старше, произошел разрыв, Камилла была сломлена душевно и физически и последние тридцать лет жизни провела в психиатрической больнице».

«НОВЫЙ РОМАН» — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В конце 50-х годов группа молодых французских писателей, шокируя читателей и критиков и круша все литературные каноны, провозгласила принципы «антироманa», или «нового романа». Школа эта стала одним из ярких литературных явлений, которыми Франция не перестает удивлять мир. И хотя давно отгремели бои между сторонниками и хулителями этого направления, «новый роман» все же сохранил пусть не слишком широкий, но постоянный круг читателей, а его родоначальник Ален Роб-Грийе продолжает преподносить публике сюрпризы. Одним из них стало интервью журналу «Нувель обсерватёр» по случаю недавнего выхода в свет второго тома автобиографического произведения писателя «Романески» (первый том появился в 1985 г.).

Мемуары — жанр, ориентированный на внутренний мир личности, в основе их не «сконструированные ситуации», а прожитая жизнь; все это как-то не вяжется с именем Роб-Грийе, ниспровергавшего всякий психологизм, ратовавшего за романы без героя и сюжета и зарекомендовавшего себя бесстрастным, рассудочным писателем. Как же объяснить этот неожиданный поворот? Именно в таком ключе начинает беседу журналист Паскаль Брюкнер, сразу же вызвав бурный протест писателя.

«Вот уже более тридцати лет, — возмущенно сказал Роб-Грийе, — как за мной закрепилась репутация этакого монстра, отстраненного от мира. Избавиться от этого ярлыка я не могу по сей день. Напрасно твердил я, что «новый роман» стремится к абсолютной субъективности, — все были глухи к этим утверждениям... Для меня «Романески» — естественное продолжение того, что я делал прежде, но другими средствами».

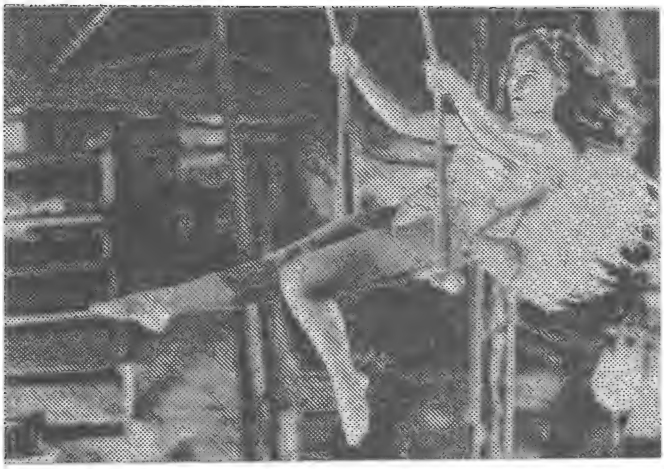
Доказывая эту мысль, Роб-Грийе анализирует истоки, традиции, историю направления. «Новый роман» был не школой, а боевым братством», — говорит писатель, — именно это проглядели критики и не поняли представители второго поколения «нового романа» во главе с Жаном Рикарду, которые пытались создать некий «катехизис школы». Членов этого братства объединял бунт против «официальной, усредненной, академической литературы». По признанию главы бунтарей, их теоретические работы и уж тем более художественные произведения продиктованы «не догматизмом, а страстью». «Не что иное, как страсть заставляет меня писать, — утверждает Роб-Грийе, — но работаю я, преодолевая собственный темперамент: текст заряжается напряжением обузданной страсти».

При всей своей экстравагантности «новый роман» все же имел корни в мировой литературе. Роб-Грийе называет его предтечей не только Кафку, но и Флобера, тонко подмечая у последнего элементы «бредового реализма» в отличие от «реализма правильного». «Каждый раз, когда герой Флобера испытывает смятение, он начинает видеть

«Новый роман»: представители направления. Фотография 60-х годов.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

лишние детали, в которых проступает хаотичность мира. В «правильном» же, бальзаковском реализме каждая деталь закономерна». Роб-Грийе отмечает три стадии в развитии «нового романа»: стадию накопления идей (в творчестве Флобера, Кафки, Камю, Сартра), стадию выработки форм, взрывающих старые повествовательные нормы, и наконец стадию стабилизации, когда каждый писатель выбирает свой путь и от шокирования публики переходит к поискам сближения с ней. Введение в творчество автобиографического момента и должно, по замыслу Роб-Грийе, послужить средством такого сближения. Впрочем, его мемуары, отмечает П. Брюкнер, далеки от привычных образцов этого жанра, они призваны «воспроизводить изменчивость, фрагментарность и непоследовательность самой жизни».



Кадр из фильма В. Вендерса «Небо над Берлином».

(Журнал «Шпигель»)

ФРГ

ВИМ ВЕНДЕРС О СВОЕМ НОВОМ ФИЛЬМЕ

Имя режиссера Вима Вендерса известно кинозрителям далеко за пределами ФРГ. Недавно он — один из самых видных выпускников западногерманской Высшей школы телевидения и кинематографии, основатель независимого «Киноиздательства авторов» — выпустил на экраны свой тринадцатый фильм — «Небо над Берлином». В связи с выходом этой картины журнал «Шпигель» опубликовал интервью с В. Вендерсом.

«Собственно говоря, — заметил Вендерс, — это мой первый фильм о любви». В «Небе над Берлином» два «обитателя небес» спускаются с заоблачных высот в хаос современного большого города. Один из них отрекается от вечности и становится простым смертным ради любви земной женщины. Обретший плоть ангел спасает печальную героиню, которую терзает страх перед жизнью. «Правда, в действительности чаще бывает наоборот — женщина избавляет от страданий мужчину», — комментирует режиссер основную коллизию фильма. «Шпигель» отмечает высокое профессиональное мастерство известных актеров Сольвейг Доммартин, Бруно Ганца и Отто Зандера, исполнивших главные роли в этой «перенесенной в будничную реальность сказке». «Я верю, что сказки открывают нам глаза на мир, — говорит Вендерс, — и, лишь прозрев, можно хоть в какой-то степени изменить действительность».

В создании сценария фильма принимал участие Петер Хандке, сотрудничеству с которым положила начало экранизация повести «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1971).

Об одной из своих новых работ — признанном критикой неудачным фильме «Хэммет» (вышел на экраны в 1982 году), который Вендерс в течение четырех лет снимал в США, он сказал: «Понятно, что теперь в Голливуде мне не сделать больше ни одного фильма. Но я и сам этого не хочу. Слишком велика цена за потерю самостоятельности. Как снимать фильм, определяют не кинематографисты, а адвокаты и коммерческие агенты... Снять, например, такую ленту, как «Париж, Техас», в Голливуде было бы просто немыслимо».

«Может быть, поэтому я и вернулся в Европу и уже три года живу в Западном Берлине. В Америке господствует рекламное, развлекательное телевидение, представляющее огромную опасность. Индустрия развлечений рано или поздно займет главенствующее положение. Ее дьявольская машина способна подавить любую культуру, любую личность... Именно об этом будет идти речь в моем следующем фильме — «На самый край света».

КНИГА ОБ ОДИНОКИХ И ОДИНАКОВЫХ

«Люди вокруг» — так называется один из разделов новой книги известного западногерманского писателя Бото Штрауса «Никто другой», выпущенной мюнхенским издательством «Ханзер». Ее персонажи — люди, ничем не примечательные, с такими встречаешься каждый день: вот разведенная женщина, тяжело переживающая новое увлечение своего бывшего мужа, вот девица из компании панков, в платье с вызывающей надписью, старуха, ожидающая в гости дочь и зятя, которые между тем совсем про нее забыли — они веселятся в ресторане, а потом будут оправдываться и лгать, не испытывая никаких угрызений совести... Такая повседневность страшит писателя.

«Упорядоченность мира вещей парализует сознание,— пишет в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» критик Кристоф Найдхарт.— Люди оказываются унифицированными, лишенными индивидуальности». Герои Штрауса «одиноки и одинаковы». Они захлебываются в потоке информации. «Я ничего не знаю, знаю только, что я информирован»,— говорит один из них. Информированность уравнивает глупых и умных, как одинаковая мода не позволяет на улице отличить богача от бродяги».

Штраус наблюдает за тем, как гоняются его герои «за убогим счастьем»: «Их чувства опустошены, мотивы их действий ничтожны, язык удручающ». Писатель демонстрирует нам «целую коллекцию искалеченных душ». Но в этой наблюдательности коллекционера критика смущает какая-то холодность: «Острый взгляд Бото Штрауса подобен скальпелю. Писатель точно производит вскрытие, сам оставаясь безучастным, как патологоанатом».

Чехословакия

«ЗЕМЛЯ ЖЕНЩИН»

Творчество писателя Владимира Парала (род. в 1932 г.) было в основном ориентировано на морально-этические проблемы, стоящие перед обществом, но несколько лет назад он обратился к новому для себя жанру — к научной фанта-

стике. Критичность, с которой писатель отображал современность, анализируя «моральные недуги» общества и человека, наложила отпечаток и на его фантастические произведения — своеобразные антиутопии-предостережения, пародирующие современную действительность и доводящие до абсурда ее негативные тенденции.

Первым научно-фантастическим произведением В. Парала стал роман «Искушение А-Зет-Зет» (1982); недавно вышла новая книга писателя в этом жанре — роман «Земля женщин», где, иронизируя и предостерегая, Парал призывает к восстановлению равновесия природного и социального начал в жизни человека, к обретению гармонии в отношениях мужчины и женщины, часто разрушаемой современной цивилизацией, к устранению любой искусственно созданной несвободы, унижающей и уродующей личность. Чешская критика упрекала писателя за то, что в новом романе человек рассматривается скорее как существо биологическое, чем социальное. «И все же Парал принадлежит к тем писателям, чьих правдивых и художественно сильных произведений всегда с нетерпением ждут читатели»,— отмечает в своей статье рецензент газеты «Руде право» Фр. Цингер.

Чили

РОМАН ХОСЕ ДОНОСО

В Барселоне увидел свет новый роман известного чилийского прозаика Хосе Доносо «Безнадежность», сообщает обозреватель испанской газеты «Инсула».

В центре романа стоят нравственные проблемы современного Чили. Яркие особенности творческой манеры Доносо, отмечает обозреватель газеты, — точность психологических характеристик, умение сжато и лаконично рассказать о сложных и неоднозначных событиях. Произведение объединяет размышления автора о сегодняшнем Чили, уместившиеся в короткий отрезок «реального времени» — с момента возвращения в страну после долгого отсутствия известного певца Маньунго Веры до назначенных на следующее утро похорон вдовы Неруды.

Хосе Доносо, продолжает обозреватель, всегда был писателем-аналитиком, по сути повествовавшим во всех «семейных хрониках» об упадке буржуазии и созданного ею общества. В романе «Безнадежность» друг

Хосе Доносо.

(Журнал «Магазин литтерер»)

другу противостоят различные типы персонажей, причем большая их часть принадлежит к левой оппозиции, группировавшейся вокруг Пабло Неруды. Но в книге показаны и убежденные приверженцы режима, и те, кто откровенно приспособился к создавшимся условиям, и фанатики-палачи. Среди резко и бескомпромиссно обрисованных персонажей — Дон Селедоньо, вымышленный «литературный палач» Неруды, и чиновник Фредди Фокс.

Герои Доносо — Маньунго Вера, левая активистка Джудит Торре — испытывают чувство вины за неверно прожитые годы, за минутную слабость и страх. Так, Маньунго страдает от того, что в трудные и трагические для страны годы был вдали от родной земли (это чувство терзает и самого Доносо), Джудит Торре томится воспоминаниями о пытках и мучениях, которым подверглись ее товарищи, а ей чудом удалось спастись. И все же главные герои находят в себе силы и мужество продолжить борьбу. Хотя Маньунго Вера и понимает, что для него «вернуться в Чили, в государство осады» — значит «присоединиться к безумию второго государства, когда уже не существует первого», он сознательно присоединяется к революционному движению, постигая «историю не прожитого, не пережитого им лично».

Название романа — «Безнадежность», — по мнению обозревателя журнала, следует толковать «от противного»: ведь «надо потерять всякую надежду, чтобы начать еще раз с нуля» в борьбе за будущее страны. Книга Доносо, подчеркивает обозреватель, завершается оптимистической нотой: в главе «Чили в миниатюре» появляются трое юношей, с надеждой и верой внимающие рассказу о подвиге погибших за свободу.

Швеция

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»

Шведский писатель Рольф Фридхольм, в 1987 году посетивший нашу страну, известен в первую очередь как автор метких, остроумных афоризмов. За годы работы в литературе он опубликовал тридцать тонких книжек афоризмов и стихов общим тиражом 90 тысяч экземпляров, что для Швеции совсем немало. «Если сложить все это вместе, получится нормальная книга», — шутит писатель.

Рольф Фридхольм занимается и общественной деятельностью: будучи членом писательского центра «Вест», он организует выступления своих коллег по перу в школах и на предприятиях. Писателям нужно помогать зарабатывать на жизнь, считает Р. Фридхольм, ибо «без работы писатель никогда не останется, а вот без дохода — вполне может».

Недавно Фридхольм порадовал почитателей своего таланта первым небольшим романом «Белый медведь», который вышел в гетеборгском издательстве «Тре беккер». Роман, написанный в форме притчи, затрагивает проблемы одиночества, охраны окружающей среды.

Главный герой книги — белый медведь, он «гуляет сам по себе», но иногда делает безуспешные попытки сблизиться с другими обитателями полярных льдов. Фридхольм считает, что у него много общего с этим героем. Например, умение посмеяться над собой, которое помогает справиться с невзгодами, жизнерадостность.

И писателя, и его героя волнует отношение людей к окружающей среде. Белый медведь Рольфа Фридхольма воспринимает человека как «стихийное бедствие», докатившееся даже до берегов Северного Ледовитого океана.

Первый роман Фридхольма был высоко оценен шведской критикой, отметившей актуальность проблематики, оригинальность изложения и присущую автору афористичность.

Авторы этого номера

В подборке стихов молодых поэтов Греции представлены:

ЯННИС ПАТИЛИС (род. в 1947 г.) — автор поэтических сборников «Малыш и чудовище» (1970), «Но теперь берегитесь» (1973), «В пользу плодов» (1977). Публикуемые стихи взяты из книги «Некурящий в стране курящих» (Афины, «Ипсилон», 1980).

МИХАЛИС ГАНАС (род. в 1944 г.) — выпустил в свет сборники стихов «Акафистная вечеря» (Афины, «Кимена», 1978) и «Черные камни» (Афины, «Кимена», 1981), из которых взяты публикуемые стихи.

ГЕОРГОС МАРКОПУЛОС (род. в 1951 г.) — автор поэтических сборников «Седьмая симфония» (1968), «Грусть предместий» (1976), «Чужой и печальная» (1987). Публикуемые стихи взяты из сборника «Пиротехники» (Афины, «Эстиа», 1979).

ЯННИС ИФАНДИС (род. в 1949 г.) — автор поэтических сборников «Мантраспента» (Салоники, «Трам», 1977), «Зеркало Протея» (Салоники, «Ианос», 1986), из которых взяты публикуемые стихи.

ИЛЬИНСКАЯ СОФЬЯ БОРИСОВНА — советский литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографий «Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения» (1974), «Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века» (1984), «Яннис Рицос. Очерк жизни и творчества» (1986), а также статей в научных изданиях и периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе». Переводила произведения К. Кавафиса, Я. Рицоса, Г. Сефериса, Н. Вреттакоса, Т. Ливадитиса, Г. Ксенопулоса, А. Терзакиса, М. Александропулоса и др.

ДЭШИЛ ХЭММЕТ (DASHIELL HAMMETT; 1894—1961) — американский писатель. Автор детективных романов «Красная жатва» («Red Harvest», 1929), «Проклятие Дэйна» («Dain Curse», 1929), «Мальтийский сокол» («The Maltese Falcon», 1930), «Худой человек» («The Thin Man», 1932), рассказов, сценариев. В русском переводе опубликован его роман «Стеклянный ключ».
Перевод повестей «Большой налет» («The Big Knockover») и «106 тысяч за голову» («$ 106,000 Blood Money») выполнен по английскому изданию — сборнику повестей и рассказов Д. Хэммета («The Big Knockover and Other Stories», London, Penguin Books, 1966).

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — советский переводчик с английского. В его переводе издавались романы Р. П. Уоррена «Вся королевская рать», К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», Т. Уайлдера «Теофил Норт» («ИЛ», 1976, № 6—8), фантазия для маленького экрана В. С. Найпола «Флаг над островом» («ИЛ», 1981, № 4) и др.

ЁСАНО АКИКО (1878—1942) — японская поэтесса жанра танка. Автор сборников стихов «Спутанные волосы» (1901), «Маленький веер», (1904), «Наряд любви» (1905), «Белые цветы вишни» (1942) и других.

ВАКАЯМА БОКУСУЙ (1885—1928) — японский поэт. Автор сборников танка «Разлука» (1910), «Смерть или искусство» (1912), «Песни осеннего ветра» (1915), «Утренняя песня» (1919), «Печальные деревья» (1922) и др.
Стихи Ёсано Акико и Вакаяма Бокусуй публикуются по изданию «Нихон-но сика» («Японская поэзия нового времени»), т. 4, Токио, «Тюокоронся», 1969.

ДОЛИН АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1949 г.) — советский востоковед, кандидат филологических наук. Автор книг «Японский романтизм» (1978), «Очерки современной японской поэзии» (1984). Составитель и переводчик сборников классической и современной японской поэзии: «Осенние цикады» (1981), «Времена года» (1984), «Одинокий сверчок» (1987).

СИНКЛЕР РОСС (SINCLAIR ROSS; род. в 1908 г.) — канадский прозаик. Автор нескольких романов, в том числе «Про меня и про мой дом» («As for Me and My House», 1941), многочисленных новелл. Книга «Лампа, зажженная в полдень» и другие рассказы» вышла в 1968 г. и затем переиздавалась. По-русски рассказы С. Росса печатались в сборнике «Затерянная улица. Современная канадская новелла» (М., 1971). Рассказ «Звуки корнета в ночи» взят из сборника «Лампа, зажженная в полдень» («The Lamp at Noon and Other Stories». Toronto, McClelland and Stewart, 1968).

УИЛЬЯМ ПАТРИК КИНСЕЛЛА (WILLIAM PATRIC KINSELLA; род в 1935 г.) — канадский писатель. Окончил университет в Виктории. Преподает писательское мастерство в университете в Калгари. Автор книги рассказов «Потанцуем на воле» («Dance Me Outside», 1977), романа «Босоногий Джо» («Shoeless Joe», 1982), новелл и других произведений. Рассказы У. Кинселлы неоднократно печатались в сборниках «Лучший канадский рассказ года». В русском переводе — в сборнике «Лампа, зажженная в полдень». Рассказы канадских писателей о молодежи» (М., 1986).
Рассказ «Ласки и горностаи» взят из его сборника «индейского» цикла «Рожденный индейцем» («Born Indian». Ottawa, Oberon Press. 1981).

СЬЮ ТАУНСЕНД (SUE TOWNSEND; род. в 1946 г.) — английская писательница. Автор нескольких пьес, романа «Тайный дневник

Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду» («The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13¾») — первое крупное произведение, принесшее Сью Таунсенд признание и успех. Фрагменты романа напечатаны в «Иностранной литературе» (1986, № 4). Затем вышло продолжение романа «Тяжкое отрочество Адриана Моула», главы которого публикуются в этом номере (Sue Townsend. «The Growing Pains of Adrian Mole». London, Methuen, 1984).

ЗАРАХОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский переводчик с английского. В его переводе выходили произведения Питера Устинова: роман «Крамнэгел» («ИЛ», 1981, № 8 — 10), пьеса «Десятая Бетховена», сборник рассказов «День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд» («Библиотека «ИЛ», 1985), рассказы Вуди Аллена и др.

ЛАСЛО ДЮРКО (GYURKÓ LÁSZLÓ; род. в 1930 г.) — венгерский писатель, драматург, критик, лауреат премий имени Аттилы Йожефа и Кошута. Автор исторического эссе «Ленин, октябрь» («Lenin, október», 1967), романов и повестей «Четверг» («Csütörtök», 1963), «Смертельный прыжок» («Halálugrás», 1978), «Благополучное путешествие доктора Фаустуса в ад» («Faustus doktor boldogságos pokoljárása», 1979), пьес «Электра, любовь моя» (1968), «Кошмарные приключения и прекрасная смерть Дон Кихота Ламанчского, Рыцаря Печального Образа» (1973), «Дороги» (1977) и других произведений.
Книга «1956» вышла в Венгрии в 1987 году (Budapest, Magvetö Könyvkiadó).

БОНДАРОВСКИЙ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ (род. в 1953 г.) — советский журналист, переводчик с венгерского, автор ряда статей о культуре Венгрии. В его переводе публиковались рассказы Миклоша Тот-Матэ («ИЛ», 1986, № 7), Эрвина Лазара («Библиотека «ИЛ», 1987), публицистическая книга Андраша Керести «Чэлленджер»: видеолента» («ИЛ», 1987, № 9, 10), статья Элемера Ханкиша «В кривом зеркале?» («ИЛ», 1988, № 6) и др.

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.) — советский критик и литературовед, член-корреспондент АН УССР, доктор филологических наук. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время» (1979), «Европейские реалисты XIX века. Линии и лики» (1984), «Австрийская литература в XX столетии» (1985), «Художественные ориентиры XX века» (1988) и многих статей в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

ЛАКШИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — советский литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Толстой и Чехов» (1963, 1975), «Островский» (1976, 1982), «Физиология успеха» (на венгерском языке. Будапешт, «Европа», 1978), «Биография книги» (1979), «Вторая встреча» (1984) и др.

РАКША ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА — советский прозаик, публицист, сценарист. Автор повестей «Утрата» (1975), «Весь белый свет» (1977), «Далеко ли до Чукотки?» (1979), «Хозяин» (1980), «Вечное с вами прощание» (1987), сценариев «Бабье лето», «Веришь — не веришь» и др.

ТОПЕР ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ (род. в 1923 г.) — советский литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор многих работ по проблемам советской и зарубежных литератур, в том числе книг: «Арнольд Цвейг» (1960), «Ради жизни на земле. Литература и война. Традиции. Решения. Герои» (1970, 1975, 1985), «Овладение реальностью» (1980) и др., а также статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Информационный сборник **«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ»** публикуется с 1961 года. Его подготавливает Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы — крупнейшее в стране хранилище зарубежных книг и журналов — и выпускает издательство «Радуга».

Основная форма критико-библиографической информации в сборнике — **рецензирование** текущей мировой литературы (за год рецензируется около 400 книг). Постоянно печатаются также **тематические обзоры** по регионам или проблемам. Авторами рецензий и обзоров выступают крупные советские специалисты-зарубежники.

Сборник адресован всем тем, кто интересуется новыми явлениями зарубежной литературы, драматического и кинематографического искусства. Его широко используют преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений, критики и литературоведы, искусствоведы и переводчики, журналисты и библиотекари.

Каждый год публикуются особые выпуски сборника, разбирающие специфические явления современного литературного развития: научную фантастику, детективную и приключенческую литературу, «массовую» и «тривиальную», документальную и очерковую, взаимодействие литературы и кинематографа и т. д. В 1989 году появится номер, посвященный «белым пятнам» в мировой словесности последних десятилетий, которые по тем или иным причинам до сих пор оставались вне поля зрения критики и читателя.

Предполагается также значительное расширение спектра и характера информации: предварительные сведения о новых книгах на базе каталогов, проспектов, книговедческих изданий и рецензий в иностранной прессе, новости книжного рынка, литературно-издательская хроника и т. д.

Подписка на информационный сборник «СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ» принимается во всех отделениях связи без ограничения. Периодичность — шесть выпусков в год. Подписка на сборник только годовая. Цена подписки — 3 р. 60 коп. Индекс в каталоге «Союзпечати» — 70931.

Отзывы и пожелания просьба направлять по адресу: Москва, 109189. Ульяновская ул., д. 1, ВГБИЛ, «Современная художественная литература за рубежом». Телефон редакции 227-88-85.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Роман итальянского писателя и историка культуры УМБЕРТО ЭКО «Имя розы» — детектив, действие которого разворачивается в средневековом монастыре. Читателю предлагается несколько видов увлекательной игры: с криминальной интригой, с богатой культурной и философской символикой, с перекличками между давней историей и историей наших дней.

Повесть китайского писателя ЧЖАН СЯНЛЯНА «Мимоза», рассказывающая о мрачной эпохе «культурной революции». Молодой поэт после лагеря попадает на «перевоспитание» в сельскую коммуну.

ПЕТЕР ШЮТТ — «Поездка в Иран». Фрагменты книги путевых очерков западногерманского писателя впервые открывают советскому читателю реальную картину жизни сегодняшнего Ирана.

В рубрике «Классика и мы» статьи Т. МОТЫЛЕВОЙ «Перечитывая Льва Толстого» и ЮРИЯ КАРЯКИНА «Примечание Ламарка, сны Достоевского и расчеты Брейта».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

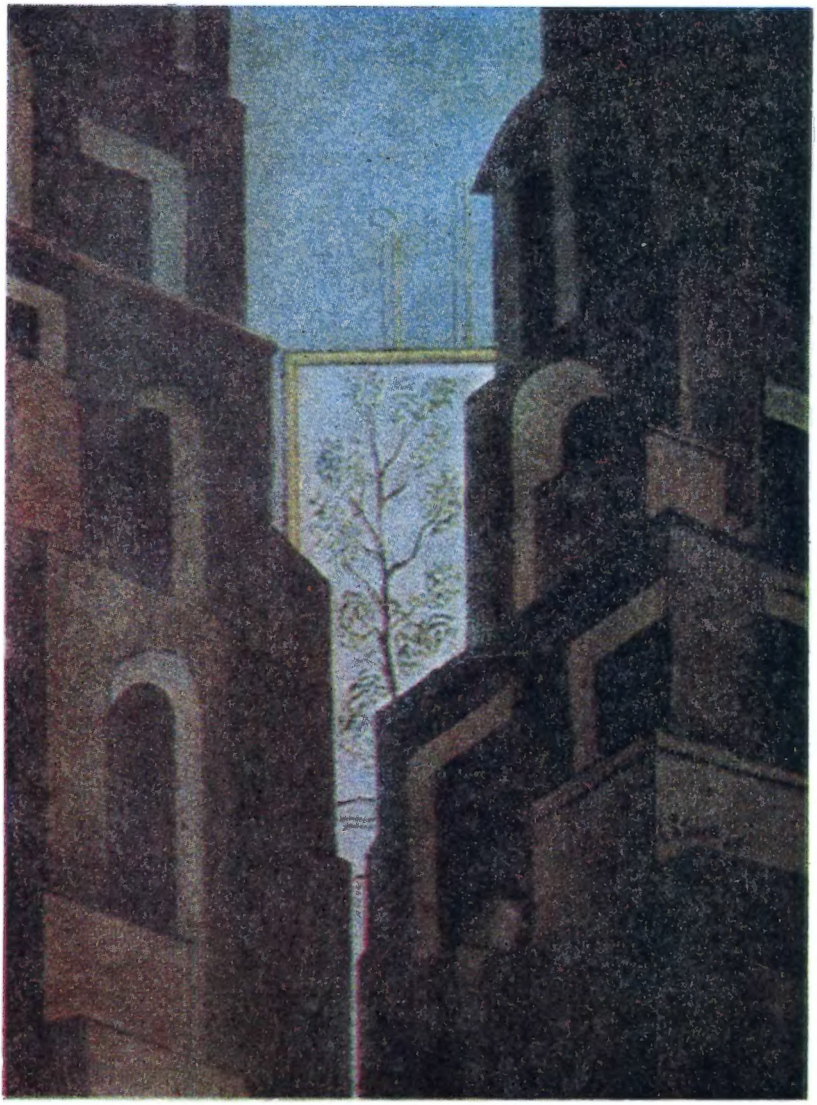
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.04.88. Подписано в печать 07.06.88. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 28,12. уч.-изд. л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 1464.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Чистота сна

Цена 1 руб. 80 коп. **ИНДЕКС 70394**

В 1989 году
ЖУРНАЛ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ДЖЕЙМС ДЖОЙС *(Ирландия)*
Улисс

ЖАН-ПОЛЬ САРТР *(Франция)*
Тошнота

ЮКИО МИСИМА *(Япония)*
Золотой храм

ГРЭМ ГРИН *(Великобритания)*
Монсеньор Кихот

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА *(Венесуэла)*
Камень, который был Христом

ВЕРНЕР ГАЙДУЧЕК *(ГДР)*
Прегрешение

ДЖОН ФАУЛЗ *(Великобритания)*
Дэниэл Мартин

РАЙМОНД ЧЭНДЛЕР *(США)*
Долгое прощание

АРТУР МИЛЛЕР *(США)*
В наплывах времени: история одной жизни

РЭЙ КОННОЛИ *(Великобритания)*
Джон Леннон: 1940—1980

АКИО МОРИТА *(Япония)*
Сделано в Японии

ИНГМАР БЕРГМАН *(Швеция)*
Laterna magica

ДЖОНАТАН ЛИНН, ЭНТОНИ ДЖЕЙ *(Великобритания)*
Да, премьер-министр